

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

# МЕДИЦИНА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Хрестоматия  
для студентов медицинских учебных заведений

Составитель – *А.Х. САТРЕТДИНОВА*

2-е издание, переработанное

АСТРАХАНЬ  
2014

УДК 378.16  
ББК 83.3

**МЕДИЦИНА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ: Хрестоматия для студентов медицинских учебных заведений / Сост.: А.Х. САТРЕТДИНОВА. – Астрахань: Изд-во ГОУ ВПО АГМА, 2009. – 266 с.**

В хрестоматию вошли художественные тексты, а также отдельные главы из произведений русских писателей, в которых затронута медицинская тематика (рассказы А.П. Чехова, «Записки юного врача» М.А. Булгакова, «Записки врача» В.В. Вересаева, повесть «Раковый корпус» А.И. Солженицына, новеллы Ю.З. Крелина). В статьях, предваряющих художественные тексты, даны основные сведения об авторах, а также характеристика их творчества в рамках поставленной проблемы. Цель составления хрестоматии - на примере литературных текстов продемонстрировать студентам-медикам образцы этического поведения врача в тех или иных ситуациях.

Сборник адресован студентам медицинских учебных заведений, так как содержит обширный и редкий материал по истории медицины, а также широкому кругу читателей.

**Рецензенты:** доктор филологических наук, профессор Золотых Л.Г. (заведующая кафедрой современного русского языка АГУ), кандидат филологических наук, профессор АГМА Татаринова Л.А. (заведующая кафедрой иностранных языков педиатрического факультета с курсом латинского языка АГМА).

Рекомендовано к печати редакционно-издательским советом ГОУ ВПО АГМА

© Сатретдинова А.Х.  
© ГОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия»

*Профессия врача, медицина, как и литература, подвиг.  
Она требует самоотверженности, чистоты души и помыслов,  
не всякий способен на это.*  
А.П. Чехов

## **ВВЕДЕНИЕ**

Один из главных объектов литературы на протяжении всей истории - это человек и его здоровье. Художественные произведения вбирали представления времени о жизни и смерти, о причинах болезней, отражали способы их лечения. История литературы хранит имена плеяды врачей, ставших известными писателями. Среди них – А.П. Чехов, В.В. Вересаев, В.И. Даль, М.А. Булгаков, Ю.З. Крелин. Каждый из них внес огромный вклад в литературу. Такие классики мировой литературы, как Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, А.И. Солженицын и др., не будучи врачами, затрагивали в своем творчестве медицинскую тематику, касались вопроса врачебной практики. Многие художественные произведения являются важнейшими источниками по истории медицины, для авторов других обращение к медицине дало возможность ставить и решать фундаментальные мировоззренческие вопросы, заниматься литературным творчеством.

Данное издание представляет собой сборник произведений русских писателей, в которых присутствует медицинская тематика. Это рассказы А.П. Чехова, «Записки юного врача» М.А. Булгакова, «Записки врача» В.В. Вересаева, отрывки из повести «Раковый корпус» А.И. Солженицына, новеллы Ю.З. Крелина. В статьях, предваряющих художественные тексты, даны основные сведения об авторах, а также характеристика их творчества в рамках поставленной проблемы. Цель составления хрестоматии - на примере литературных текстов продемонстрировать студентам-медикам образцы этического поведения врача в тех или иных ситуациях.

Литература в художественно-образной форме осмысливает, отражает окружающий мир и участвует в его преобразовании. Во все времена литература служила моральному и эстетическому воспитанию людей. Ее роль всегда была значительной в выработке деонтологических норм. «Врач должен быть гуманным и всесторонне образованным человеком. Сколько бы вы, милостивые государи, ни выслушивали, ни выстукивали, вы никогда не сможете безошибочно определить болезнь, если не прислушиваетесь к показаниям самого больного», - наставлял своих учеников Г.А. Захарьин. И в этом заключается глубокая врачебная мудрость, так как для успешного лечения больного необходим тесный контакт врача и больного, проникновение во внутренний мир пациента. Образование врача не может ограничиваться лишь комплексом профессиональных медицинских знаний, необходимы и такие общечеловеческие качества, как доброта, терпимость, сострадание, милосердие. Не менее важным является и широкий кругозор и эрудиция. Все эти обстоятельства объясняют выдвижение цели гуманизации и гуманитаризации медицинского образования в нашей стране. Некогда врач допускался к медицинской деятельности только при наличии степени бакалавра искусств, - гуманитарное образование было обязательным для врача.

Традиция объединения литературы и медицины восходит к античности; символ этого «странного брака» — Аполлон, бог поэзии и медицины. Параллель между литератором и врачом очевидна: медик наблюдает за пациентом, писатель - за природой... Искусство, как и медицина, - это поиск. Вот почему, наверное, медицину называют искусством. Процессами, происходящими в человеческом организме, занимаются различные естественные науки, в частности, физиология, биология, генетика и анатомия. Именно на них базируется медицина. Но в то же время ни в коем случае нельзя пренебрегать и духовной стороной исцеления. А уж объяснение человеческого духа полностью подвластно художественному слову. Глубина проникновения во внутренний мир человека сродни пристальному изучению фи-

зиологических особенностей человеческого организма.

Современному обществу необходим образованный врач, воспринимающий каждого пациента как отдельную личность, со своими мыслями и чувствами. Польза литературы для медицинского образования очевидна: она вносит в него эмоциональную ноту. Вымышленные доктора становятся образцами для подражания, истории болезней литературных персонажей студенты-медики могут обсуждать на занятиях. Медикам искусство, в частности литература как его род, необходимо для понимания типических человеческих реакций или эмоций, не сводимых исключительно к физиологическим или биологическим, для рассмотрения индивидуальной человеческой жизни, для обогащения языка и мышления.

Сборник представляет интерес в первую очередь для студентов медицинских учебных заведений, так как содержит обширный и редкий материал по истории медицины, а также для всех интересующихся литературой. К сожалению, ограниченный объем издания обусловил выбор лишь тех произведений или отдельных их глав, которые необходимы для создания целостного представления о развитии медицины в разные периоды времени. При подборе художественных текстов учитывалось и то, что многие их создатели писали о медицине не понаслышке, а руководствуясь личным опытом, так как профессионально занимались врачебной практикой. В этом заключается особая ценность этих произведений. В качестве приложения в сборник включен отрывок из книги Г.А. Шалюгина «Чехов: жизнь, которой мы не знаем».

Думаем, что чтение представленных в хрестоматии произведений о врачах повлияет на формирование у студентов положительного отношения к медицине, а личностные качества литературных героев создадут в сознании читателя образ идеального врача, на которого хочется равняться и быть похожим. По мысли выдающегося хирурга С.С. Юдина, каждый врач должен обладать внутренней потребностью в непрерывном повышении своего интеллектуального развития, которое достигается чтением художественной литературы, посещением театров, музеев. Без такой духовной пищи врач не будет развиваться и в собственной специальности. Литература и искусство, многообразно связанные с медициной, могут сыграть важную роль не только в повышении общей культуры, но и в профессиональном становлении медика.

## А.П. Чехов (1860-1904)



**Антон Павлович Чехов** - великий русский писатель. Родился в г. Таганроге в 1860 году. Отец А.П. Чехова - Павел Егорович Чехов - был купцом 3-й гильдии и имел в Таганроге бакалейную лавку. Мать - Евгения Яковлевна – домохозяйка. В семье Чеховых было шестеро детей. В 1876 году произошел переезд семьи Чеховых в Москву. Антон, зарабатывая на жизнь репетиторством, остается до окончания учебы в гимназии в Таганроге и приезжает в Москву только в 1879 году для того, чтобы сразу поступить в университет на медицинский факультет. Он исправно посещает лекции, работает в анатомичке, зубрит латынь, одним словом, делает все, чтобы стать хорошим врачом. Он получает диплом врача, однако главным делом его жизни еще во время учебы становится литература. За время учебы в университете Чехов опубликовал более двухсот различных материалов. Создавая свои смешные рассказы,

задумывая монументальные труды, например «История полового авторитета» (о взаимодействии полов на всех ступенях развития) и «Врачебное дело в России», Чехов выбирает профессию врача и писателя.

А.П. Чехов писал литератору Билибину: «Фамилию я отдал медицине, с которой не расстанусь до гробовой доски. С литературой же мне рано или поздно придется расстаться.» (из книги: Дмитриев В. Г. Скрывшие свое имя. — М.: Наука, 1980). А.П. Чехов, подчеркивает большинство его биографов, не сменил одну профессию на другую, как это сделали, например, его великие коллеги-предшественники: профессор медицины в Монпелье Франсуа Рабле и полковой немецкий врач Фридрих Шиллер. Антон Павлович до последних дней своей жизни сохранил тесную связь с врачебной своей профессией.

В 1890 году Чехов отправляется в Сибирь, чтобы затем посетить остров Сахалин - место ссылки осужденных на каторгу. «Если я врач, то мне нужны больные и больницы, если я литератор, то мне нужно жить среди народа», — пишет Чехов. Во время холерной эпидемии Чехов работал земским врачом, обслуживал сразу 25 деревень. Открыл на свои средства в Мелихове медицинский пункт, принимая множество больных и снабжая их лекарствами. Чехов с большим уважением относился к своим коллегам, земским врачам, высоко ценя их подвижнический труд. Он открыто выступал в защиту врачей, систематически помещал в газетах небольшие заметки, в которых писал о «...благородстве, самоотверженности и великодушии медицинской молодежи, работавшей на холерной эпидемии во имя долга, а не ради славы и наград». В своем творчестве А.П. Чехов отобразил различные стороны земской медицины того времени. В его произведениях «Хирургия», «Неприятность», «Палата №6», «Попрыгунья», «Сельские эскулапы», «Врачи», «Остров Сахалин» нашлось место простым земским врачам и их пациентам, фельдшерам-недоучкам и людям, выгораживающим их, больничной атмосфере и тем проблемам, с которыми сталкивалась земская медицина. Являясь свидетелем описываемых событий, Чехов рисует яркую реалистичную картину с позиции врача-профессионала, ориентируя читателя проникать вглубь проблемы.

В Чехове-враче сочеталось тонкое понимание душевного мира больного с научным осмыслением существа болезни. Его подход к больному с точки зрения его психических переживаний явился результатом изучения трудов русских ученых С.П. Боткина, Г.А. Захарьина, А.А. Остроумова, Н.И. Пирогова. Чехов научился вникать в неизученную об-

ласть субъективных ощущений больного. Он вникал в эти ощущения не только как врач, но и как писатель. Антон Павлович Чехов проецировал своё заболевание (туберкулез легких) и многочисленные проявления болезней своих пациентов, близких, друзей, родственников на своих героев.

В 1897 году у Чехова резко обострился туберкулезный процесс, и он вынужден был лечь в больницу. Здоровье, и без того слабое, подорванное поездкой на Сахалин, ухудшилось настолько, что доктора настаивают на переезде Чехова на юг. Чехов приобретает в Ялте участок земли и начинает строительство дома. В мае Чехов женится на О.Л. Книппер – ведущей актрисе Московского Художественного театра. Туберкулезный процесс усиливается настолько, что в мае 1904 года Чехов покидает Ялту и вместе с женой едет в Баденвейлер, знаменитый курорт на юге Германии. Но о выздоровлении не могло быть речи, здесь Чехов только на время облегчил свои страдания. 15 июля 1904 г. Антон Павлович Чехов скончался. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

*Произведения печатаются по изданию: Собрание сочинений в 12-ти томах. «Сельские эскулапы» - Том 1, «Хирургия» - Том 2, «Враги» - Том 5, «Неприятность» - Том 7, «Палата №6» - Том 8.*

## СЕЛЬСКИЕ ЭСКУЛАПЫ

Земская больница. Утро.

За отсутствием доктора, уехавшего с станovým на охоту, больных принимают фельдшера: Кузьма Егоров и Глеб Глебыч. Больных человек тридцать. Кузьма Егоров в ожидании, пока запишутся больные, сидит в приемной и пьет цикорный кофе. Глеб Глебыч, не умывавшийся и не чесавшийся со дня своего рождения, лежит грудью и животом на столе, сердится и записывает больных. Записывание ведется ради статистики. Записывают имя, отчество, фамилию, звание, место жительства, грамотен ли, лета и потом, после приемки, род болезни и выданное лекарство.

— Черт знает что за перья! — сердится Глеб Глебыч, выводя в большой книге и на маленьких листочках чудовищные мыслете и азы. — Что это за чернила? Это деготь, а не чернила! Удивляюсь я этому земству! Велит больных записывать, а денег на чернила две копейки в год дает! — Подходи! — кричит он.

Подходят мужик с закутанным лицом и «бас» Михайло.

— Кто таков?

— Иван Микулов.

— А? Как? Говори по-русски!

— Иван Микулов.

— Иван Микулов! Не тебя спрашиваю! Отойди! Ты! Звать как?

Михайло улыбается.

— Нешто не знаешь? — спрашивает он.

— Чего же смеешься? Черт их знает! Тут некогда, время дорого, а они с шутками! Звать как?

— Нешто не знаешь? Угорел?

— Знаю, но должен спросить, потому что форма такая... А угореть не отчего... Не такой пьяница, как ваша милость. Не запоем пьем... Имя и фамилия?

— Зачем же я стану тебе говорить, ежели ты сам знаешь? Пять лет знаешь... Аль забыл на шестой?

— Не забыл, но форма! Понимаешь? Или ты не понимаешь русского языка? Форма!

— Ну, коли форма, так черт с тобой! Пиши! Михайло Федотыч Измученко...

— Не Измученко, а Измученков.

— Пуцай будет Измученков... Как хочешь, лишь бы вылечил... Хоть Шут Иваныч... Все одно...

- Сословия какого?
- Бас.
- Лет сколько?
- А кто ж его знает! На крестинах не был, не знаю.
- Сорок будет?
- Может, и будет, а может, и не будет. Пиши, как знаешь.

Глеб Глебыч смотрит некоторое время на Михайлу, думает и пишет 37. Потом, подумав, зачеркивает 37 и пишет 41.

- Грамотен?
- А нешто певчий может быть неграмотный? Голова!
- При людях ты должен мне «вы» говорить, а не кричать так. Следующий! Кто таков? Как звать?

- Микифор Пуголова, из Хапловой.
- Хапловских не лечим! Следующий!

— Сделайте такую божескую милость... Ваше высокоблагородие. Верстов двадцать пешком шел...

- Хапловских не лечим! Следующий! Отойди! Не курить здесь!
- Я не курю, Глеб Глебыч!
- А что это у тебя в руке?
- Это у меня палец завязан, Глеб Глебыч!
- А не сигарка? Хапловских не лечим! Следующий!..

Глеб Глебыч оканчивает записывание. Кузьма Егоров напивается кофе, и начинается прием. Первый берет на себя фармацевтическую часть — и идет в аптеку, второй — терапевтическую — и надевает клеенчатый фартук.

- Марья Заплаксина! — вызывает по книге Кузьма Егоров.
- Здесь, батюшка!

В приемную входит маленькая, в три погибели сморщенная, как бы злым роком приплюснутая, старушонка. Она крестится и почтительно кланяется эскулапствующему.

- Кгм... Затвори дверь!.. Что болит?
- Голова, батюшка.
- Так... Вся или только половина?
- Вся, батюшка... как есть вся...
- Головы так не кутай... Сними эту тряпку! Голова должна быть в холоде, ноги в тепле, корпус в посредственном климате... Животом страдаешь?
- Страдаю, батюшка...
- Так... А ну-ка потяни себя за нижнюю веку! Хорошо, довольно. У тебя малокровие... Я тебе капле дам... По десяти капле утром, в обед и вечером.

Кузьма Егоров садится и пишет рецепт.

*«Rp. Liguor ferri (раствор железа) 3 гр. того, что на окне стоит, а то, что на полке Иван Яковлич не велели без него распечатывать по десяти капле три раза в день Марьи Заплаксиной.»*

Старуха спрашивает, на чем принимать капли, кланяется и уходит. Кузьма Егоров бросает рецепт в аптеку через окошечко, сделанное в стене, и вызывает следующего больного.

- Тимофей Стукотей!
- Здесь!

В приемную входит Стукотей, тонкий и высокий, с большой головой, очень похожий издали на палку с набалдашником.

- Что болит?
- Сердце, Кузьма Егорыч.
- В каком месте?

Стукотей показывает под ложечку.

— Так... Давно?

— С самой Святой... Давеча пешком шел, так разов десять садился... Знобит, Кузьма Егорыч... В жар бросает, Кузьма Егорыч.

— Гм... Еще что болит?

— Признаться сказать, Кузьма Егорыч, все болит, ну, а уж вы лечите одно сердце, а насчет другого прочего — не беспокойтесь... Другое пусть бабы лечат... Вы мне спиртику какого-нибудь дайте, чтоб к сердцу не подкатывало. К сердцу все это так подкатывает, подкатывает, а потом как подхватит, значит, вот в это самое место, как подхватит, так и... того... Спину дерет... В голове точно камень... И кашель тоже.

— Appetit есть?

— Ни, боже мой...

Кузьма Егоров подходит к Стукотею, нагибает его и давит ему кулаком под ложечку.

— Этак больно?

— Ой... ой... ввв... Больно!

— А этак больно?

— Ввв... Смерть!!

Кузьма Егоров задает ему несколько вопросов, думает и зовет на помощь Глеба Глебыча. Начинается консилиум.

— Покажи язык! — обращается Глеб Глебыч к больному.

Больной широко раскрывает рот и вываливает язык.

— Высунь больше!

— Больше невозможно, Глеб Глебыч.

— На этом свете все возможно.

Глеб Глебыч смотрит некоторое время на больного, о чем-то мучительно думает, пожимает плечами и молча выходит из приемной.

— Должно быть, катар! — кричит он из аптеки.

— Дайте ему olei ricini (касторового масла) и amonii caustici (нашатырного спирта) — кричит Кузьма Егоров. — Растирать живот утром и вечером! Следующий!

Больной выходит из приемной и идет к окошечку, ведущему из коридора в аптеку. Глеб Глебыч наливает треть чайного стакана касторки и подает Стукотею. Стукотей медленно выпивает, облизывается, закрывает глаза и трет палец о палец, то есть просит заесть чем-нибудь.

— Это тебе спирт! — кричит Глеб Глебыч, подавая ему склянку с нашатырным спиртом.

— Растирать живот суконной тряпкой утром и вечером... Посуду возвратить! Не облокачиваться! Отойти!

К окошечку, закрывая рот шалью и ухмыляясь, подходит кухарка отца Григория, Пелагея.

— Что вам угодно-с? — спрашивает ее Глеб Глебыч.

— Кланялись вам, Глеб Глебыч, Лизавета Григорьевна и просили у вас мятных лепешек.

— С удовольствием-ссс... Для прекрасных особ женского пола на все готов-с!

Глеб Глебыч достает с полки банку с мятными лепешками и полбанки высыпает в платок Пелагее.

— Скажите им, — говорит он, — что Глеб Глебыч улыбался от чувств, когда лепешки давал. Письмо мое получили?

— Получили и порвали. Лизавета Григорьевна любовью не занимается.

— Какая же она гризетка! Скажите ей, что она гризетка!

— Михайло Измученков! — вызывает Кузьма Егоров.

В приемную входит «бас» Михайло.



— Михаилу Федотычу! Наше глубочайшее! Что болит?

— Горло, Кузьма Егорыч! Пришел к вам, собственно говоря, чтоб вы, с вашего позволения, относительно моего здоровья того... Не так больно, как убыточно... Через болезнь петь не могу, а регент за каждую обедню сорок копеек вычитает. За всюнощную вчера четвертак вычел. Нынче у господ панихида была, певчим дадено было три рубля, и на мою долю чрез болезнь ничего не досталось. И, с вашего позволения, относительно глотки могу вам предположить, что очень уж дерет и хрипит. Точно у тебя в горле какой-то кот сидит и лапами того... Кгм... Кгм...

— От горячих напитков, стало быть?

— Не могу сказать, отчего собственно болезнь моя произошла, но могу выразиться вам, что, с вашего позволения, горячие напитки на теноров действуют, а на басов нисколько. Бас от напитков, Кузьма Егорыч, гуще делается и представительнее... На бас действует простуда больше.

Из окошечка высовывается голова Глеба Глебыча.

— Чего старухе-то дать? — спрашивает Глеб Глебыч. — Железо, что на окне стояло, вышло. Я распечатаю то, что на полке.

— Нет, нет! Не приказывал Иван Яковлич! Сердиться будет.

— Чего же ей дать?

— Чего-нибудь!

«Дать чего-нибудь» на языке Глеба Глебыча значит «дать соды».

— Горячих напитков употреблять не следует.

— Я и так уже три дня не употребляю... У меня от простуды... Действительно, водка хрипоту придает басу, но от хрипоты октава, Кузьма Егорыч, как вам известно, лучше... Без водки нельзя нашему брату... Что за певчий, ежели он водки не употребляет? Не певчий, а одна только, с вашего позволения, ирония!.. Не будь у меня такой должности, я и в рот бы ее, проклятой, не взял. Водка есть кровь сатаны...

— Вот что... Я дам вам порошок... Вы разведете его в бутылке и полощите себе горло утром и вечером.

— Глотать можно?

— Можно.

— Очень хорошо... Досадно бывает, ежели глотать нельзя. Полощешь, полощешь, да и выплюнешь — жалко! И вот о чем я хотел вас, собственно говоря, спросить... А к тому, как я животом слаб, и по этой самой причине, с вашего позволения, каждый месяц кровь себе пуцаю и травку пью, то можно ли мне в законный брак вступить?

Кузьма Егоров некоторое время думает и говорит:

— Нет, не советую!

— Чувствительно вам благодарен... Славный вы у нас целитель, Кузьма Егорыч! Лучше докторов всяких! Ей-богу! Сколько душ за вас богу молится! И-и-и!.. Стра-ась!

Кузьма Егоров скромно опускает глазки и храбро прописывает *Natri bicarbonici*, то есть соды.

1882

## ХИРУРГИЯ

Земская больница. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин, толстый человек лет сорока, в поношенной чечунчовой жакетке и в истрепанных триковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности. Между указательным и средним пальцами левой руки — сигара, распространяющая зловоние.

В приемную входит дьячок Вонмигласов, высокий, коренастый старик в коричневой рясе и с широким кожаным поясом. Правый глаз с бельмом и полузакрит, на носу бородавка, похожая издали на большую муху. Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя та-

ковой, крестится на бутылку с карболовым раствором, потом вынимает из красного платочка просфору и с поклоном кладет ее перед фельдшером.

— А-а-а... моё вам! — зевает фельдшер. — С чем пожаловали?

— С воскресным днем вас, Сергей Кузьмич... К вашей милости... Истинно и правдиво в псалтыри сказано, извините: «Питие мое с плачем растворях». Сел намедни со старухой чай пить и — ни, боже мой, ни капельки, ни синь — порошок, хоть ложись да помирай... Хлебнешь чуточку — и силы моей нету! А, кроме того, что в самом зубе, но и всю эту сторону... Так и ломит, так и ломит! В ухо отдает, извините, словно в нем гвоздик, или другой какой предмет: так и стреляет, так и стреляет! Согрешихом и беззаконновахом... Студными бо окалях душу грехми и в лености житие мое иждих... За грехи Сергей Кузьмич, за грехи! Отец иерей после литургии упрекает: «Косноязычен ты, Ефим, и гугнив стал. Поёшь, и ничего у тебя не разберешь». А какое, судите, тут пение, ежели рта раскрыть нельзя, все, распухши, пишите, и ночь не спавши...

— М-да... Садитесь... Раскройте рот!

Вонмигласов садится и раскрывает рот.

Курятин хмурится, глядит в рот и среди пожелтевших от времени и табаку зубов усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом.

— Отец диакон велели водку с хреном прикладывать — не помогло. Гликерия Анисимовна, дай бог им здоровья, дали на руку ниточку носить с Афонской горы да велели теплым молоком зуб полоскать, а я, признаться, ниточку-то надел, а в отношении молока не соблюл: бога боюсь, пост...

— Предрассудок... (Пауза.) Вырвать его нужно, Ефим Михеич!

— Вам лучше знать, Сергей Кузьмич. На то вы и обучены, чтоб это дело понимать, как оно есть, что выкать, а что каплями или прочим чем... На то вы, благодетели, и поставлены, дай бог вам здоровья, чтоб мы за вас денно и ночью, отцы родные... по гроб жизни...

— Пустяки... — скромничает фельдшер, подходя к шкафу и роясь в инструментах. — Хирургия — пустяки... Тут во всем привычка, твердость руки... Раз плюнуть... Намедни тоже, вот, как и вы, приезжает в больницу помещик Александр Иваныч Египетский... Тоже с зубом... человек образованный, обо всем расспрашивает, во все входит, как и что. Руку пожимает, по имени и отчеству... В Петербурге семь лет жил, всех профессоров перенюхал... Долго мы с ним тут... Христом-богом молит: вырвите вы мне его, Сергей Кузьмич! Отчего же не вырвать? Вырвать можно. Только тут понимать надо, без шприца нельзя... Зубы разные бывают. Один рвешь шприцом, другой козьей ножкой, третий ключом... Кому как.

Фельдшер берет козью ножку, минуту смотрит на нее вопросительно, потом кладет и берет щипцы.

— Ну-с, раскройте рот пошире... — говорит он, подходя с щипцами к дьячку. — Сейчас мы его... тово... Раз плюнуть... Десну подрезать только... тракцию сделать по вертикальной оси... и все...(подрезывает десну) и все...

— Благодетели вы наши... Нам, дуракам, и невдомек, а все господь просветил...

— Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт... Это легко рвать, а бывает так, что одни только корешки... Этот — раз плюнуть... (Накладывает щипцы.) Пойдите, не дергайтесь... Сидите неподвижно... В мгновение ока... (Делает тракцию.) Главное, чтоб поглубже взять (тянет)... чтоб коронка не сломалась...

— Отцы наши... Мать пресвятая... Ввв...

— Не тово... не тово... как его? Не хватайте руками! Пустите руки! (Тянет.) Сейчас... Вот, вот... Дело-то ведь нелегкое...

— Отцы... радетели... (Кричит.) Ангелы! Ого-го... Да дергай же, дергай! Чего пять лет тянешь?

— Дело-то ведь... хирургия... Сразу нельзя... Вот, вот...

Вонмигласов поднимает колени до локтей, шевели пальцами, выпучивает глаза, пре-

рывисто дышит... На багровом лице его выступает пот, на глазах слезы. Курятин сопит, топчется перед дьячком и тянет... Проходят мучительнейшие полминуты — и щипцы срываются с зуба. Дьячок вскакивает и лезет пальцами в рот. Во рту нащупывает он зуб на старом месте.

— Тянул! — говорит он плачущим и в то же время насмешливым голосом. — Чтоб тебя так на том свете потянуло! Благодарим покорно! Коли не умеешь рвать, так не берись! Света божьего не вижу...

— А ты зачем руками хватаешь? — сердится фельдшер. — Я тяну, а ты мне под руку толкаешь и разные глупые слова... Дура!

— Сам ты дура!

— Ты думаешь, мужик, легко зуб-то рвать? Возмись-ка! Это не то, что на колокольню полез да в колокола отбарабанил! (Дразнит.) «Не умеешь, не умеешь! Скажи, какой указчик нашелся! Ишь ты... Господину Египетскому, Александру Иванычу, рвал, да и тот ничего, никаких слов... Человек почище тебя, а не хватал руками... Садись! Садись, тебе говорю!

— Света не вижу... Дай дух перевести... Ох! (Садится.) Не тяни только долго, а дергай. Ты не тяни, а дергай... Сразу!

— Учи ученого! Экий, господи, народ необразованный! Живи вот с такими... очумеешь! Раскрой рот... (Накладывает щипцы.) Хирургия, брат, не шутка... Это не на клиросе читать... (Делает тракцию.) Не дергайся... Зуб, выходит, застарелый, глубоко корни пустил... (Тянет.) Не шевелись... Так... так... Не шевелись... Ну, ну... (Слышен хрустящий звук.) Так и знал!

Вонмигласов сидит минуту неподвижно, словно без чувств. Он ошеломлен... Глаза его тупо глядят в пространство, на бледном лице пот.

— Было б мне козьею ножкой... — бормочет фельдшер. — Этакая оказия!

Придя в себя, дьячок сует в рот пальцы и на месте больного зуба находит два торчащих выступа.

— Паршивый черт... — выговаривает он. — Насажали вас здесь, иродов, на нашу погибель.

— Поругайся мне еще тут... — бормочет фельдшер, кладя в шкаф щипцы. — Не вежа... Мало тебя в бурсе березой потчевали... Господин Египетский, Александр Иваныч, в Петербурге лет семь жил... образованность... один костюм рублей сто стоит... да и то не ругался... А ты что за пава такая? Ништо тебе, не околеешь!

Дьячок берет со стола свою просфору и, придерживая щеку рукой, уходит восвояси...

1884

## ВРАГИ

В десятом часу темного сентябрьского вечера у земского доктора Кирилова скончался от дифтерита его единственный сын, шестилетний Андрей. Когда докторша опустила на колени перед кроваткой умершего ребенка и ею овладел первый приступ отчаяния, в передней резко прозвучал звонок.

По случаю дифтерита вся прислуга еще с утра была выслана из дому. Кирилов, как был, без сюртука, в расстегнутой жилетке, не вытирая мокрого лица и рук, обожженных карболкой, пошел сам отворять дверь. В передней было темно, и в человеке, который вошел, можно было различить только средний рост, белое кашне и большое чрезвычайно бледное лицо, такое бледное, что, казалось, от появления этого лица в передней стало светлее...

— Доктор у себя? — быстро спросил вошедший,

— Я дома, — ответил Кирилов. — Что вам угодно?

— А, это вы? Очень рад! — обрадовался вошедший и стал искать в потемках руку

доктора, нашел ее и крепко стиснул в своих руках. — Очень, очень рад! Мы с вами знакомы!.. Я - Абогин... имел удовольствие видеть вас летом у Гнучева. Очень рад, что застал... Бога ради, не откажите поехать сейчас со мной... У меня опасно заболела жена... И экипаж со мной...

По голосу и движениям вошедшего заметно было, что он находился в сильно возбужденном состоянии. Точно испуганный пожаром или бешеной собакой, он едва сдерживал свое частое дыхание и говорил быстро, дрожащим голосом, и что-то неподдельно искреннее, детски-малодушное звучало в его речи. Как все испуганные и ошеломленные, он говорил короткими, отрывистыми фразами и произносил много лишнего, совсем не идущих к делу слов.

— Я боялся не застать вас,— продолжал он.— Пока ехал к вам, исстрадался душой... Одевайтесь и едемте, ради бога... Произошло это таким образом. Приезжает ко мне Папчинский, Александр Семенович, которого вы знаете... Поговорили мы... потом сели чай пить; вдруг жена вскрикивает, хватая себя за сердце и падает на спинку стула. Мы отнесли ее на кровать, и... я уж и нашатырным спиртом тер ей виски, и водой брызгал... лежит, как мертвая... Боюсь, что это аневризма... Поедемте... У нее и отец умер от аневризмы...

Кирилов слушал и молчал, как будто не понимал русской речи.

Когда Абогин еще раз упомянул про Папчинского и про отца своей жены и еще раз начал искать в потемках руку, доктор встряхнул головой и сказал, апатично растягивая каждое слово:

— Извините, я не могу ехать... Минут пять назад у меня... умер сын...

— Неужели? — прошептал Абогин, делая шаг назад. — Боже мой, в какой недобрый час я попал! Удивительно несчастный день... удивительно! Какое совпадение... и как нарочно!

Абогин взялся за ручку двери и в раздумье поник головой. Он, видимо, колебался и не знал, что делать: уходить или продолжать просить доктора.

— Послушайте,— горячо сказал он, хватая Кирилова за рукав,— я отлично понимаю ваше положение! Видит бог, мне стыдно, что я в такие минуты пытаюсь овладеть вашим вниманием, но что же мне делать? Судите сами, к кому я поеду? Ведь, кроме вас, здесь нет другого врача. Поедемте ради бога! Не за себя я прошу... Не я болен!

Наступило молчание. Кирилов повернулся спиной к Абогину, постоял и медленно вышел из передней в залу. Судя по его неверной, машинальной походке, по тому вниманию, с каким он в зале поправил на не горевшей лампе мохнатый абажур и заглянул в толстую игу, лежавшую на столе, в эти минуты у него не было ни намерений, ни желаний, ни о чем он не думал и, вероятно, уже не помнил, что у него в передней стоит чужой человек. Сумерки и тишина залы, по-видимому, усилили его ошалелость. Идя из залы к себе в кабинет, а поднимал правую ногу выше, чем следует, искал руками дверных косяков, и в это время во всей его фигуре чувствовалось какое-то недоумение, точно он попал чужую квартиру или же первый раз в жизни напился пьян и теперь с недоумением отдавался своему новому ощущению. По одной стене кабинета, через шкафы с книгами, тянулась широкая полоса света; вместе с тяжелым, спертым запахом карболки и эфира этот свет шел из слегка отворенной двери, ведущей из кабинета в спальню... Доктор опустился в кресло перед столом; минуту он сонливо глядел на свои освещенные книги, потом поднялся и пошел в спальню.

Здесь, в спальне, царил мертвый покой. Все до последней мелочи красноречиво говорило о недавно пережитой буре, об утомлении, и все отдыхало. Свечка, стоявшая на табурете в тесной толпе склянок, коробок и баночек, и большая лампа на комодке ярко освещали всю комнату. На кровати, у самого окна, лежал мальчик с открытыми глазами и удивленным выражением лица. Он не двигался, но открытые глаза его, казалось, с каждым мгновением все более темнели и уходили внутрь черепа. Положив руки на его туловище и спрятав лицо в складки постели, перед кроватью стояла на коленях мать. Подобно мальчику, она не шевелилась, но сколько живого движения чувствовалось в изгибах ее тела и в руках! Припадала

она к кровати всем своим существом, с силой и жадностью, как будто боялась нарушить покойную и удобную позу, которую наконец нашла для своего утомленного тела. Одежда, тряпки, тазы, лужи па полу, разбросанные повсюду кисточки и ложки, белая бутылка с известковой водой, самый воздух, удушливый и тяжелый,— все замерло и казалось погруженным, в покой.

Доктор остановился около жены, засунул руки в карманы брюк и, склонив голову набок, устремил взгляд на сына. Лицо его выражало равнодушие, только по росинкам, блестящим на его бороде, и заметно было, что он недавно плакал.

Тот отталкивающий ужас, о котором думают, когда говорят о смерти, отсутствовал в спальне. Во всеобщем столбняке, в позе матери, в равнодушии докторского лица лежало что-то притягивающее, трогающее сердце, именно та тонкая, едва уловимая красота человеческого горя, которую не скоро еще научатся понимать и описывать и которую умеет передавать, кается, одна только музыка. Красота чувствовалась и в угрюмой тишине; Кирилов и его жена молчали, не плакали, как будто, кроме тяжести потери, сознавали также и весь лиризм своего положения: как когда-то свое время, прошла их молодость, как теперь, вместе с этим мальчиком, уходило навсегда в вечность их право иметь детей! Доктору сорок четыре года, он уже сед и выглядит стариком; его поблекшей и больной жене тридцать пять лет. Андрей был не только единственным, но и последним.

В противоположность своей жене доктор принадлежал к числу натур, которые во время душевной боли чувствуют потребность в движении. Постояв около жены минут пять, он, высоко поднимая правую ногу, из спальни прошел в маленькую комнату, наполовину занятую большим широким диваном; отсюда прошел в кухню. Поблуждав около печки и кухаркиной постели, он нагнулся и сквозь маленькую дверцу вышел в переднюю.

Тут он опять увидел белое кашне и бледное лицо.

—Наконец-то!— вздохнул Абогин, берясь за ручку двери. — Едемте, пожалуйста!

Доктор вздрогнул, поглядел на него и вспомнил

— Послушайте, ведь я уже сказал вам, что мне нельзя ехать! — сказал он, оживляясь. — Как странно!

— Доктор, я не истукан, отлично понимаю ваше положение... сочувствую вам! — сказал умоляющим голосом Абогин, прикладывая к своему кашне руку. — Но ведь я не за себя прошу... Умирает моя жена! Если бы вы слышали этот крик, видели ее лицо, то поняли бы мою настойчивость! Боже мой, а уж я думал, что вы пошли одеваться! Доктор, время дорого! Едемте, прошу вас!

— Ехать я не могу! — сказал с расстановкой Кирилов и шагнул в залу.

Абогин пошел за ним и схватил его за рукав.

—У вас горе, я понимаю, но ведь приглашаю я вас не зубы лечить, не в эксперты, а спасать жизнь человеческую! — продолжал он умолять, как нищий.— Эта жизнь выше всякого личного горя! ну, я прошу мужества, подвига! Во имя человеколюбия!

—Человеколюбие — палка о двух концах,— раздраженно сказал Кирилов. — Во имя того же человеколюбия я прошу вас не увозить меня. И как странно, ей-богу! Я едва на ногах стою, а вы человеколюбием пугаете! Никуда я сейчас не годен... не поеду ни за что, да и на кого я жену оставлю? Нет, нет...

Кирилов замахал кистями рук и попятился назад

— И, и не просите! — продолжал он испуганно.— Извините меня... По тринадцатому тому законов я обязан ехать, и вы имеете право тащить меня за шиворот... Извольте, тащите, но... я не годен... Даже говорить не в состоянии. Извините...

—Напрасно, доктор, вы говорите со мной таким тоном! — сказал Абогин, опять беря доктора за рукав.— Бог с ним, с тринадцатым томом! Насиловать вашей воли я не имею никакого права, Хотите — поезжайте, не хотите — бог с вами, но я не к воле вашей обращаюсь, а к чувству. Умирает молодая женщина! Сейчас, вы говорите, у вас умер сын, кому же, как не вам, попятить мой ужас?

Голос Абогина дрожал от волнения; в этой дрожи и в тоне было гораздо больше убедительности, чем в словах. Абогин был искренен, но замечательно, какие бы фразы он ни говорил, все они выходили у него ходульными, бездушными, неуместно цветистыми как будто даже оскорбляли и воздух докторской квартиры, и умирающую где-то женщину. Он и сам это чувствовал, а потому, боясь быть непонятым, изо всех сил старался придать своему голосу мягкость и нежность, чтобы взять если не словами, то хотя бы искренностью тона. Вообще фраза, как бы она ни была красива и глубока, действует только на равнодушных, но не всегда может удовлетворить тех, кто счастлив или несчастлив; потому-то высшим выражением счастья или несчастья является чаще всего безмолвие; влюбленные понимают друг друга лучше, когда молчат, а горячая, страстная речь, сказанная на могиле, трогает только посторонних, вдове же и детям умершего кажется она холодной и ничтожной.

Кирилов стоял и молчал. Когда Абогин сказал еще несколько фраз о высоком призвании врача, о самопожертвовании и проч., доктор спросил угрюмо:

— Далеко ехать?

— Что-то около тринадцати — четырнадцати верст. У меня отличные лошади, доктор! Даю вам честное слово, что доставлю вас туда и обратно в один час. Только один час!

Последние слова подействовали на доктора сильнее, чем ссылки на человеколюбие или призвание врача. Он подумал и сказал со вздохом:

— Хорошо, едемте!

Он быстро, уже верною походкой пошел к своему кабинету и немного погодя вернулся в длинном сюртуке. Мелко семена возле него и шаркая ногами, обрадованный Абогин помог ему надеть пальто и вместе с ним вышел из дома.

На дворе было темно, но светлее, чем в передней. В темноте уже ясно вырисовывалась высокая сутуловатая фигура доктора с длинной узкой бородой и с орлиным носом, у Абогина, кроме бледного лица, тепе видна была его большая голова и маленькая студенческая шапочка, едва прикрывавшая темя. Кашне белело только спереди, позади же оно пряталось длинными волосами,

— Верьте, я сумею оценить ваше великодушие, бормотал Абогин, подсаживая доктора в коляску. Мы живо домчимся. Ты же, Лука, голубчик, поезжай как можно скорее! Пожалуйста!

Кучер ехал быстро. Сначала тянулся ряд невзрачных построек, стоявших вдоль больничного двора; всюду было темно, только в глубине двора из чьего-то окна, сквозь палисадник, пробивался яркий свет, да три окна верхнего этажа больничного корпуса казались бледнее воздуха. Затем коляска въехала в густые потемки; тут пахло грибной сыростью и слышался шепот деревьев; вороны, разбуженные шумом колес, закопошились в листве и подняли тревожный жалобный крик, как будто знали, что у доктора умер сын, а у Абогина больна жена. Но вот замелькали отдельные деревья, кустарник; сверкнул угрюмо пруд, на котором спали большие черные тени, — и коляска покатила по гладкой равнине. Крик ворон слышался уже глухо, далеко сзади и скоро совсем умолк.

Почти всю дорогу Кирилов и Абогин молчали. Только раз Абогин глубоко вздохнул и пробормотал:

— Мучительное состояние! Никогда так не любишь близких, как в то время, когда рискуешь потерять их.

И когда коляска тихо переезжала реку, Кирилов вдруг встрепенулся, точно его испугал плеск воды, и задвигался.

— Послушайте, отпустите меня, — сказал он тоскливо. — Я к вам потом приеду. Мне бы только фельдшера к жене послать. Ведь она одна!

Абогин молчал. Коляска, покачиваясь и стуча о камни, проехала песочный берег и покатила далее. Кирилов заметался в тоске и поглядел вокруг себя. Позади сквозь скудный свет звезд видна была дорога и исчезающие в потемках прибрежные ивы. Направо лежала равнина, такая же ровная и безграничная, как небо; далеко на ней там и сям, вероятно на

торфяных болотах, горели тусклые огоньки. Налево, параллельно дороге, тянулся холм, кудрявый от мелкого кустарника, а над холмом неподвижно стоял большой полумесяц, красный, слегка подернутый туманом и окруженный мелкими облачками, которые, казалось, оглядывали его со всех сторон и стерегли, чтобы он не ушел.

Во всей природе чувствовалось что-то безнадежное, больное; земля, как падшая женщина, которая одна сидит в темной комнате и старается не думать о прошлом, томилась воспоминаниями о весне и лете и апатично ожидала неизбежной зимы. Куда ни взглянешь, всюду природа представлялась темной, безгранично глубокой и холодной ямой, откуда не выбраться ни Кирилову, ни Абогину, ни красному полумесяцу...

Чем ближе к цели была коляска, тем нетерпеливее становился Абогин. Он двигался, вскакивал, вглядывался через плечо кучера вперед. А когда наконец коляска остановилась у крыльца, красиво задрапированного полосатой холстиной, и когда он поглядел на освещенные окна второго этажа, слышно было, как дрожало его дыхание.

— Если что случится, то... я не переживу, — сказал он, входя с доктором в переднюю и в волнении потирая руки. — Но не слышно суматохи, значит, пока еще благополучно, — прибавил он, вслушиваясь в тишину.

В передней не слышно было ни голосов, ни шагов, и весь дом казался спавшим, несмотря на яркое освещение. Теперь уж доктор и Абогин, бывшие до сего времени в потемках, могли разглядеть друг друга. Доктор был высок, сутуловат, одет неряшливо и лицо имел некрасивое. Что-то неприятно резкое, неласковое и суровое выражали его толстые, как у негра, губы, орлиный нос и вялый, равнодушный взгляд. Его нечесаная голова, впалые виски, преждевременные седины на длинной, узкой бороде, сквозь которую просвечивал подбородок, бледно-серый цвет кожи и небрежные угловатые манеры — все это своею черствостью наводило на мысль о пережитой нужде, бездолье, об утомлении жизнью и людьми. Глядя на всю его сухую фигуру, не верилось, чтобы у этого человека была жена, чтобы он мог плакать о ребенке. Абогин же изображал из себя нечто другое. Это был плотный солидный блондин, с большой головой и крупными, мягкими чертами лица, одетый изящно по самой последней моде. В его осанке, в плотно застегнутом сюртуке, в гриве и в лице чувствовалось что-то благородное, львиное; ходил он, держа прямо голову и выпятив вперед грудь, говорил приятным баритоном, и в манерах, с какими он снимал свое кашне или поправлял волосы на голове, сквозило тонкое, почти женское изящество. Даже бледность и детский страх, с какими он, раздеваясь, поглядывал вверх на лестницу, не портили его осанки и не умаляли сытости, здоровья и апломба, какими дышала вся его фигура.

— Никого нет и ничего не слышно, — сказал он, идя по лестнице. — Суматохи нет. Дай-то бог!

Он провел доктора через переднюю в большую залу, где темнел черный рояль и висела люстра в белом чехле; отсюда оба они прошли в маленькую, очень уютную и красивую гостиную, полную приятного розового полумрака.

— Ну, посидите тут, доктор, — сказал Абогин, — я... сейчас. Я пойду погляжу и предупреджу.

Кирилов остался один. Роскошь гостиной, приятый полумрак и само его присутствие в чужом, незнакомом доме, имевшее характер приключения, по-видимому, не трогали его. Он сидел в кресле и разглядывал свои обожженные карболкой руки. Только мельком увидел он ярко-красный абажур, футляр от виолончели, да, покосившись в ту сторону, где тикали часы, он заметил чучело волка, такого же солидного сытого, как сам Абогин.

Было тихо... Где-то далеко в соседних комнатах кто-то громко произнес звук «а!», прозвенела стеклянная дверь вероятно, шкафа, и опять все стихло. Подождав минут пять, Кирилов перестал оглядывать свои руки и поднял глаза на ту дверь, за которой скрылся Абогин.

У порога той двери стоял Абогин, но не тот, который вышел. Выражение сытости и тонкого изящества исчезло на нем, лицо его, и руки, и поза были исковерканы отврати-

тельным выражением не то ужаса, не то мучительной физической боли. Его нос, губы, усы, все черты двигались и, казалось, старались оторваться от лица, глаза же как будто смеялись от боли.

Абогин тяжело и широко шагнул на середину гостиной; согнулся, простонал и потряс кулаками;

— Обманула! - крикнул он, сильно напирая на слог *ну*. — Обманула! Ушла! Заболела и усала меня за доктором для того только, чтобы бежать с этим шутом Папчинским! Боже мой!

Абогин тяжело шагнул к доктору, протянул к его лицу свои белые мягкие кулаки и, потрясая ими, продолжал вопить:

— Ушла!! Обманула! Ну, к чему же эта ложь?! Боже мой! Боже мой! К чему этот грязный шулерский фокус, эта дьявольская, змеиная игра? Что я ей сделал? Ушла!

Слезы брызнули из глаз. Он перевернулся на одной ноге и зашагал по гостиной. Теперь в своем коротком сюртуке, в модных узких браках, в которых ноги казались не по корпусу тонкими, со своей большой головой и гривой он чрезвычайно походил на льва. На равнодушном лице доктора засветилось любопытство. Он поднялся и оглядел Абогина.

— Позвольте, где же больная? - спросил он

— Больная! Больная! - крикнул Абогин, смеясь, плача и все еще потрясая кулаками. - Это не больная, а проклятая! Низость! Подлость, гаже чего не придумал бы, кажется, сам сатана! Усала затем, что бы бежать, бежать с шутом, тупым альфонсом! О боже, лучше бы она умерла! Я не вынесу!

Доктор выпрямился. Его глаза замигали, налились слезами, узкая борода задвигалась направо и налево вместе с челюстью.

— Позвольте, как же это? - спросил он, с любопытством оглядываясь. - У меня умер ребенок, жена в тоске, одна на весь дом... сам я едва стою на ногах, три ночи не спал... и что же? Меня заставляют играть в какой-то пошлой комедии, играть роль бутафорской вещи! Не... не понимаю!

Абогин разжал один кулак, швырнул на пол скомканную записку и наступил на нее, как на насекомое, которое хочется раздавить.

— И я не видел... не понимал! — говорил он сквозь сжатые зубы, потрясая около своего лица одним кулаком, и с таким выражением, как будто ему наступили на мозоль. — Я не замечал, что он ездит каждый день, не заметил, что он сегодня приехал в карете! Зачем в карете? И я не видел! Колпак!

— Не... не понимаю! — бормотал доктор.— Ведь что же такое! Ведь это глумление над личностью, издевательство над человеческими страданиями! Это что-то невозможное... первый раз в жизни вижу!

С тупым удивлением человека, который только что стал понимать, что его тяжело оскорбили, доктор лишь пожал плечами, развел руками и, не зная, что говорить, что делать, в изнеможении опустил в кресло,

— Ну, разлюбила, полюбила другого — бог с тобой, но к чему же обман, к чему этот подлый, изменнический фортель? — говорил плачущим голосом Абогин.— К чему? И за что? Что я тебе сделал? Послушайте, доктор,— горячо сказал он, подходя к Кирилову. — Вы были невольным свидетелем моего несчастья, и я не стану скрывать от вас правды. Клянусь

вам, что я любил эту женщину, любил набожно, как раб! Для нее я пожертвовал всем: поссорился с родней, бросил службу и музыку, прощал ей то, чего не сумел бы простить матери или сестре... Ни разу я не поглядел на нее косо... не подавал никакого повода! За что же эта ложь? Я не требую любви, но зачем этот гнусный обман? Не любишь, так скажи прямо, честно, тем более что знаешь мои взгляды на этот счет...

Со слезами на глазах, дрожа всем телом, Абогин искренне изливал перед доктором свою душу. Он говорил горячо, прижимая обе руки к сердцу, разоблачал свои семейные



тайны без малейшего колебания и как будто даже рад был, что наконец эти тайны вырвались наружу из его груди. Поговори он таким образом час, другой, вылей свою душу, и несомненно ему стало бы легче. Кто знает, выслушай его доктор, посочувствуй ему дружески, быть может, он, как это часто случается, примирился бы со своим горем без протеста, не делая ненужных глупостей... Но случилось иначе. Пока Абогин говорил, оскорбленный доктор заметно менялся. Равнодушие и удивление на его лице мало-помалу уступили место выражению горькой обиды, негодования и гнева. Черты лица его стали еще резче, черствее и неприятнее. Когда Абогин поднес к его глазам карточку молодой женщины с красивым, но сухим и невыразительным, как у монашенки, лицом и спросил, можно ли, глядя на это лицо, допустить, что оно способно выражать ложь, доктор вдруг вскочил, сверкнул глазами и сказал, грубо отчеканивая каждое слово:

— Зачем вы все это говорите мне? Не желаю я слушать! Не желаю! - крикнул он и стукнул кулаком по столу. — Не нужны мне ваши пошлые тайны, черт бы их взял! Не смеете вы говорить мне эти пошлости! Или вы думаете, что я еще недостаточно оскорблен? Что я лакей, которого до конца можно оскорблять. Да?

Абогин попятился от Кирилова и изумленно уставился на него.

— Зачем вы меня сюда привезли? - продолжал доктор, тряся бородой. — Если вы с жиру женитесь, с жиру беситесь и разыгрываете мелодрамы, то при чем тут я? Что у меня общего с вашими романами? Оставьте меня в покое! Упражняйтесь в благородном кулачестве, рисуйте гуманными идеями, играйте (доктор покосился на футляр с виолончелью) — играйте на контрабасах и тромбонах, жирейте, как каплуны, но не смейте глумиться над личностью, умеете уважать ее, так хоть избавьте ее от вашего внимания!

— Позвольте, что это все значит? - спросил Абогин краснея.

— А то значит, что низко и подло играть так людьми. Я врач, вы считаете врачей и вообще рабочих, от которых не пахнет духами и проституцией, своими лакеями и моветонами (людьми дурного тона), ну и считайте, но никто не дал вам права делать из человека, который страдает, бутафорскую вещь!

— Как вы смеете говорить мне это? — спросил тихо Абогин, и его лицо опять запрыгало и на этот раз уже ясно от гнева.

— Нет, как вы, зная, что у меня горе, смели привести меня сюда выслушивать пошлости? — крикнул доктор и опять стукнул кулаком по столу. — Кто вам дал право так издеваться над чужим горем?

— Вы с ума сошли! — крикнул Абогин. — Не великодушно! Я сам глубоко несчастлив и... и...

— Несчастлив, — презрительно ухмыльнулся доктор. — Не трогайте этого слова, оно вас не касается. Шалопаи, которые не находят денег под вексель, тоже называют себя несчастными. Каплун, которого давит лишний жир, тоже несчастлив. Ничтожные люди!

— Милостивый государь, вы забываетесь! — взвизгнул Абогин. — За такие слова... бьют! Понимаете?

Абогин торопливо полез в боковой карман, вытащил оттуда бумажник и, достав две бумажки, швырнул их на стол.

— Вот вам за ваш визит! — сказал он, шевеля ноздрями. — Вам заплачено!

— Не смеете вы предлагать мне деньги! — крикнул доктор и смахнул со стола на пол бумажки. — За оскорбление деньгами не платят!

Абогин и доктор стояли лицом к лицу и в гневе продолжали наносить друг другу незаслуженные оскорбления. Кажется, никогда в жизни, даже в бреду, они не сказали столько несправедливого, жестокого и нелепого. В обоих сильно сказался эгоизм несчастных. Несчастные эгоистичны, злы, несправедливы, жестоки и менее, чем глупцы, способны понимать друг друга. Не соединяет, а разъединяет людей несчастье, и даже там, где, казалось бы, люди должны быть связаны однородностью горя, продельвается гораздо больше несправедливостей и жестокостей, чем в среде сравнительно довольной.

— Извольте отправить меня домой! — крикнул доктор задыхаясь.

Абогин резко позвонил. Когда на его зов никто не явился, он еще раз позвонил и сердито швырнул колокольчик па пол; тот глухо ударился о ковер и издал жалобный, точно предсмертный стон. Явился лакей.

— Где вы попрятались, черт бы вас взял?! — набросился на него хозяин, сжимая кулаки. — Где ты был сейчас? Пошел, скажи, чтобы этому господину подали коляску, а для меня вели заложить карету! Пстой! — крикнул он, когда лакей повернулся уходить.— Завтра чтоб ни одного предателя не оставалось в доме! Все вон! Нанимаю новых! Гадины!

В ожидании экипажей Абогин и доктор молчали. К первому уже вернулись и выражение сытости и тонкое изящество. Он шагал по гостиной, изящно встряхивал головой и, очевидно, что-то замышлял. Гнев его еще не остыл, но он старался показывать вид, что не замечает своего врага... Доктор же стоял, держался одной рукой о край стола и глядел на Абогина с тем глубоким, несколько циничным и некрасивым презрением, с каким умеют глядеть только горе и бездолье, когда видят перед собой сытость и изящество.

Когда немного погодя доктор сел в коляску и поехал, глаза его все еще продолжали глядеть презрительно. Было темно, гораздо темнее, чем час тому назад. Красный полумесяц уже ушел за холм, и сторожившие его тучи темными пятнами лежали около звезд. Карета с красными огнями застучала по дороге и перегнала доктора. Это ехал Абогин протестовать, делать глупости...

Всю дорогу доктор думал не о жене, не об Андрее, а об Абогине и людях, живших в доме, который только что оставил. Мысли его были несправедливы и нечеловечно жестоки. Осудил он и Абогина, и его жену, и Папчинского, и всех, живущих в розовом полумраке и пахнущих духами, и всю дорогу ненавидел их и презирал до боли в сердце. И в уме его сложилось крепкое убеждение об этих людях.

Пройдет время, пройдет и горе Кирилова, но это убеждение, несправедливое, недостойное человеческого сердца, не пройдет и останется в уме доктора до самой могилы.

1887

## НЕПРИЯТНОСТЬ

Земский врач Григорий Иванович Овчинников, человек лет тридцати пяти, худосочный и нервный, известный своим товарищам небольшими работами по медицинской статистике и горячей привязанностью к так называемым «бытовым вопросам», как-то утром делал у себя в больнице обход палат. За ним, по обыкновению, следовал его фельдшер Михаил Захарович, пожилой человек, с жирным лицом, плоскими сальными волосами и серьгой в ухе.

Едва доктор начал обход, как ему стало казаться очень подозрительным одно пустое обстоятельство, а именно: жилетка фельдшера топорщилась складки и упрямо задиралась вверх, несмотря на то, что фельдшер то и дело обдергивал и поправлял ее. Сорочка у фельдшера была помята и тоже топорщилась; на черном длинном сюртуке, на панталонах и даже на галстук кое-где белел пух... Очевидно, фельдшер спал всю ночь не раздеваясь, и, судя по выражению, с каким он теперь обдергивал жилетку и поправлял галстук, одежда стесняла его.

Доктор пристально поглядел на него и понял, в чем дело. Фельдшер не шатался, отвечал на вопросы складно, но угрюмо-тупое лицо, тусклые глаза, дрожь, пробегавшая по шее и рукам, беспорядок в одежде, а главное — напряженное усилие над самим собой и желание замаскировать свое состояние, свидетельствовали, что он только что встал с постели, не выспался и был пьян, пьян тяжело, со вчерашнего... Он переживал мучительное состояние «перегара», страдал и, по-видимому, был очень недоволен собой.

Доктор, не любивший фельдшера и имевший на то свои причины, почувствовал сильное желание сказать ему: «Я вижу, вы пьяны!» Ему вдруг стали противны жилетка, длинно-

полый сюртук, серьга в мясистом ухе, но он сдержал свое чувство и сказал мягко и вежливо, как всегда:

— Давали Герасиму молока?

— Давали-с... — ответил Михаил Захарыч тоже мягко. Разговаривая с больным Герасимом, доктор взглянул на листок, где записывалась температура, и, почувствовав новый прилив ненависти, сдержал дыхание, чтобы не говорить, но не выдержал и спросил грубо и задыхаясь:

— Отчего температура не записана?

— Нет, записана-с! — сказал мягко Михаил Захарыч, но, поглядев в листок и убедившись, что температура, в самом деле не записана, он растерянно пожал плечами и пробормотал: — Не знаю-с, это, должно быть, Надежда Осиповна...

— И вчерашняя вечерняя не записана! — продолжал доктор. — Только пьянствуете, черт вас возьми! И сейчас вы пьяны, как сапожник! Где Надежда Осиповна?

Акушерки Надежды Осиповны не было в палатах, хотя она должна была каждое утро присутствовать при перевязках. Доктор поглядел вокруг себя, и ему стало казаться, что в палате не убрано, что все разбросано, ничего, что нужно, не сделано и что все так же топорщится, мнется и покрыто пухом, как противная жилетка фельдшера, и ему захотелось сорвать с себя белый фартук, накричать, бросить все, плюнуть и уйти. Но он сделал над собою усилие и продолжал обход. За Герасимом следовал хирургический больной с воспалением клетчатки во всей правой руке. Этому нужно было сделать перевязку. Доктор сел перед ним на табурет и занялся рукой.

«Это вчера они гуляли на именинах... — думал он, медленно снимая повязку. — Погодите, я покажу вам именины! Впрочем, что я могу сделать? Ничего я не могу».

Он нащупал на вспухшей, багровой руке гнойник и сказал:

— Скальпель!

Михаил Захарыч, старавшийся показать, что он крепко стоит на ногах и годен для дела, рванулся с места и быстро подал скальпель.

— Не этот! Дайте из новых, — сказал доктор.

Фельдшер засеменил к столу, на котором стоял ящик с перевязочным материалом, и стал торопливо рыться в нем. Он долго шептался о чем-то с сиделками, двигал ящиком по стулу, шуршал, что-то раза два уронил, а Доктор сидел, ждал и чувствовал в своей спине сильное раздражение от шепота и шороха.

— Скоро же? — спросил он — Вы, должно быть, их внизу забыли. Фельдшер подбежал к нему, подал два скальпеля, причем не уберегся и дыхнул в его сторону.

— Это не те! — сказал раздраженно доктор. — Я говорю вам русским языком, дайте из новых. Впрочем, ступайте и проспитеесь, от вас несет как из кабака! Вы невменяемы!

— Каких же вам еще ножей нужно? — спросил раздраженно фельдшер и медленно пожал плечами.

Ему было досадно на себя и стыдно, что на него в упор глядят больные и сиделки, и, чтобы показать, что ему не стыдно, он принужденно усмехнулся и повторил:

— Каких же вам еще ножей нужно?

Доктор почувствовал на глазах слезы и дрожь в пальцах. Он сделал над собой усилие и проговорил дрожащим голосом:

— Ступайте, проспитеесь! Я не желаю говорить с пьяным...

— Вы можете только за дело с меня взыскивать, — продолжал фельдшер, — а ежели я, положим, выпивши, то никто не имеет права мне указывать. Ведь я служу? Что ж вам еще! Ведь служу?

Доктор ударил фельдшера по лицу. Он не понимал, для чего он это делает, но почувствовал

большое удовольствие оттого, что удар кулака пришелся как раз по лицу и что человек солидный, положительный, семейный, набожный и знающий себе цену покачнулся, подпрыгнул, как мячик, и сел на табурет. Ему страстно захотелось ударить еще раз, но, увидев около ненавистного лица бледные, встревоженные лица сиделок, он перестал ощущать удовольствие, махнул рукой и выбежал из палаты.

Во дворе встретилась ему шедшая в больницу Надежда Осиповна, девица лет двадцати семи, с бледно-желтым лицом и распущенными волосами. Ее розовое ситцевое платье было сильно стянуто в подоле, и от этого шаги ее были очень мелкие и часты. Она шуршала платьем, подергивала плечами в такт каждому своему шагу и покачивала головой так, как будто напевала мысленно что-то веселенькое.

«Ага, русалка!» — подумал доктор, вспомнив, что в больнице акушерку дразнят русалкой, и ему стало приятно от мысли, что он сейчас оборвет эту мелкошагающую, влюбленную в себя франтиху.

— Где это вы пропадаете? — крикнул он, поравнявшись с ней. — Отчего вы не в больнице? Температура не записана, везде беспорядок, фельдшер пьян, вы спите до двенадцати часов!.. Извольте искать себе другое место! Здесь вы больше не служите!

Придя на квартиру, доктор сорвал с себя белый фартук и полотенце, которым был подпоясан, со злобой швырнул то и другое в угол и заходил по кабинету.

— Боже, что за люди, что за люди! — проговорил он. — Это не помощники, а враги дела! Нет сил служить больше! Не могу! Я уйду!

Сердце его сильно билось, он весь дрожал и хотел плакать, и, чтобы избавиться от этих ощущений, он начал успокаивать себя мыслями о том, как он прав и как хорошо сделал, что ударил фельдшера. Прежде всего гадко то, думал доктор, что фельдшер поступил в больницу не просто, а по протекции своей тетки, служащей в нянюшках у председателя земской управы (противно бывает глядеть на эту влиятельную тетушку, когда она, приезжая лечиться, держит себя в больнице, как дома, и претендует на то, чтобы ее принимали не в очередь). Дисциплинирован фельдшер плохо, знает мало и совсем не понимает того, что знает. Он нетрезв, дерзок, нечистоплотен, берет с больных взятки и тайком продает земские лекарства. Всем также известно, что он занимается практикой и лечит у молодых мещан секретные болезни, причем употребляет какие-то собственные средства. Добро бы это был просто шарлатан, каких много, но это шарлатан убежденный и втайне протестующий. Тайком от доктора он ставит приходящим больным банки и пускает им кровь, на операциях присутствует с неумытыми руками, ковыряет в ранах всегда грязным зондом — этого достаточно, чтобы понять, как глубоко и храбро презирает он докторскую медицину с ее ученостью и педантизмом.

Дождавшись, когда пальцы перестали дрожать, доктор сел за стол и написал письмо к председателю управы: «Уважаемый Лев Трофимович! Если, по получении этого письма, ваша управа не уволит фельдшера Смирновского и не предоставит мне права самому выбирать себе помощников, то я сочту себя вынужденным (не без сожаления, конечно) просить вас не считать уже меня более врачом N-ской больницы и озаботиться приисканием мне преемника. Почтение Любовь Федоровне и Юсу. Уважающий Г. Овчинников». Прочитав это письмо, доктор нашел, что оно коротко и недостаточно холодно. К тому же почтение Любовь Федоровне и Юсу (так дразнили младшего сына председателя) в деловом, официальном письме было более чем неуместно.

«Какой тут к черту Юс?» — подумал доктор, изорвал и стал придумывать другое. «Милостивый государь...» — думал он, садясь у открытого окна и глядя на уток с утятами, которые, покачиваясь и спотыкаясь, спешили по дороге, должно быть к пруду; один утенок подобрал на дороге какую-то кишку, подавился и поднял тревожный писк; другой подбежал к нему, вытащил у него изо рта кишку и тоже подавился... Далеко около забора в кружевной тени, какую бросали на траву молодые липы, бродила кухарка Дарья и собирала щавель для зеленых щей... Слышались голоса. Кучер Зот с уздечкой в руке и больнич-

ный мужик Мануйло в грязном фартуке стояли около сарая, о чем-то разговаривали и смеялись.

«Это они о том, что я фельдшера ударил...— думал доктор.— Сегодня уже весь уезд будет знать об этом скандале... Итак: «Милостивый государь! Если ваша управа не уволит...»

Доктор отлично знал, что управа ни в каком случае не променяет его на фельдшера и скорее согласится не иметь ни одного фельдшера во всем уезде, чем лишится такого превосходного человека, как доктор Овчинников. Наверное, тотчас же по получении письма Лев Трофимович прикатит к нему на тройке и начнет: «Да что вы это, батенька, вздумали? Голубушка, что же это такое? Христос с вами? Зачем? С какой стати? Где он? Подать его сюда, каналью! Прогнать! Обязательно прогнать! Чтоб завтра же его, подлеца, здесь не было!» Потом он пообедаст с доктором, а после обеда ляжет вот на этом малиновом диване животом вверх, закроет лицо газетой и захрапит; выпавшись, напьется чаю и увезет к себе доктора ночевать. И вся история кончится тем, что и фельдшер останется в больнице и доктор не подаст в отставку.

Доктору же в глубине души хотелось не такой развязки. Ему хотелось, чтобы фельдшерская тетушка восторжествовала и чтобы управа, невзирая на его восьмилетнюю добросовестную службу, без разговоров и даже с удовольствием приняла бы его отставку. Он мечтал о том, как он будет уезжать из больницы, к которой привык, как напишет письмо в газету «Врач», как товарищи поднесут ему сочувственный адрес...

На дороге показалась русалка. Мелко шагая и шурша платьем, она подошла к окну и спросила:

— Григорий Иваныч, сами будете принимать больных или без вас прикажете?

А глаза ее говорили: «Ты погорячился, но теперь успокоился, и тебе стыдно, но я великодушна и не замечаю этого».

— Хорошо, я сейчас, — сказал доктор.

Он опять надел фартук, подпоясался полотенцем и пошел в больницу.

«Нехорошо, что я убежал, когда ударил его...— думал он дорогой. — Вышло, как будто я сконфузился или испугался... Гимназиста разыграл... Очень нехорошо!»

Ему казалось, что когда он войдет в палату, то больным будет неловко глядеть на него и ему самому станет совестно, но когда он вошел, больные покойно лежали на кроватях и едва обратили на него внимание. Лицо чахоточного Герасима выражало совершенное равнодушие и как бы говорило: «Он тебе не потрафил, ты его маленько поучил... Без этого, батюшка, нельзя».

Доктор вскрыл на багровой руке два гнойника и наложил повязку, потом отправился в женскую половину, где сделал одной бабе операцию в глазу, и все время за ним ходила русалка и помогала ему с таким видом, как будто ничего не случилось и все обстояло благополучно. После обхода палат началась приемка приходящих больных. В маленькой приемной доктора окно было открыто настежь. Стоило только сесть на подоконник и немножко нагнуться, чтобы увидеть на аршин от себя молодую траву. Вчера вечером был сильный ливень с грозой, а потому трава немного помята и лоснится. Тропинка, которая бежит недалеко от окна и ведет к оврагу, кажется умытой, и разбросанная по сторонам ее битая аптекарская посуда, тоже умытая, играет на солнце и испускает ослепительно яркие лучи. А дальше за тропинкой жмутся друг к другу молодые елки, одетые в пышные, зеленые платья, за ними стоят березы с белыми, как бумага, стволами, а сквозь слегка трепещущую от ветра зелень берез видно голубое бездонное небо. Когда выглянешь в окно, то скворцы, прыгающие по тропинке, поворачивают в сторону окна свои глупые носы и решают: испугаться или нет? И, решив испугаться, они один за другим с веселым криком, точно потешаясь над доктором, не умеющим летать, несутся к верхушкам берез...

Сквозь тяжелый запах йодоформа чувствуется свежесть и аромат весеннего дня... Хорошо дышать!

— Анна Спиридонова! — вызвал доктор.

В приемную вошла молодая баба в красном платье и помолилась на образ.

— Что болит? — спросил доктор.

Баба недоверчиво покосилась на дверь, в которую вошла, и на дверцу, ведущую в аптеку, подошла к доктору и шепнула:

— Детей нету!

— Кто еще не записывался? — крикнула в аптеке русалка. — Подходите записываться!

«Он уже тем скотина, — думал доктор, исследуя бабу, — что заставил меня драться первый раз в жизни. Я отродясь не дрался».

Анна Спиридонова ушла. После нее пришел старик с дурной болезнью, потом баба с тремя ребятишками в чесотке, и работа закипела. Фельдшер не показывался. За дверцей в аптеке, шурша платьем и звеня посудой, весело щебетала русалка; то и дело она входила в приемную, чтобы помочь на операции или взять рецепты, и все с таким видом, как будто все было благополучно.

«Она рада, что я ударил фельдшера, — думал доктор, прислушиваясь к голосу акушерки. — Ведь она жила с фельдшером, как кошка с собакой, и для нее праздник, если его уволят. И сиделки, кажется, рады... Как это противно!»

В самый разгар приемки ему стало казаться, что и акушерка, и сиделки, и даже больные нарочно стараются придать себе равнодушное и веселое выражение. Они как будто понимали, что ему стыдно и больно, но из деликатности делали вид, что не понимают. И он, желая показать им, что ему вовсе не стыдно, кричал сердито:

— Эй вы, там! Затворяйте дверь, а то сквозит!

А ему уж было стыдно и тяжело. Принявши сорок, пять больных, он не спеша, вышел из больницы. Акушерка, уже успевшая побывать у себя на квартире и надеть на плечи ярко-пунцовый платок, с папироской в зубах и цветком в распущенных волосах, спешила куда-то со двора, вероятно, на практику или в гости. На пороге больницы сидели больные и молча грелись на солнышке. Скворцы по-прежнему шумели и гонялись за жуками. Доктор глядел по сторонам и думал, что среди всех этих ровных, безмятежных жизней, как два испорченных клавиша в фортепьяно, резко выделялись и никуда не годились только две жизни: фельдшера и его. Фельдшер теперь, наверное, лег, чтобы проспаться, но никак не может уснуть от мысли, что он виноват, оскорблен и потерял место. Положение его мучительно. Доктор же, ранее никогда никого не бивший, чувствовал себя так, как будто навсегда потерял невинность. Он уже не обвинял фельдшера и не оправдывал себя, а только недоумевал: как это могло случиться, что он, порядочный человек, никогда не бивший даже собак, мог ударить? Придя к себе на квартиру, он лег в кабинете на диван, лицом к спинке, и стал думать таким образом:

«Он человек нехороший, вредный для дела: за три года, пока он служит, у меня накопилось в душе, но, тем не менее, мой поступок ничем не может быть оправдан. Я воспользовался правом сильного. Он мой подчиненный, виноват и к тому же пьян, а я его начальник, прав и трезв... Значит, я сильнее. Во-вторых, я ударил его при людях, которые считают меня авторитетом, и таким образом я подал им отвратительный пример...»

Доктора позвали обедать... Он съел несколько ложек щей и, вставши из-за стола, опять лег на диван.

«Что же теперь делать? — продолжал он думать. — Надо возможно скорее дать ему удовлетворение... Но каким образом? Дуэли он, как практический человек, считает глупостью или не понимает их. Если в той самой палате, при сиделках и больных, попросить у него извинения, то это извинение удовлетворит только меня, а не его; он, человек дурной, поймет мое извинение как трусость и боязнь, что он пожалуется на меня начальству. К тому же это мое извинение вконец расшатает больничную дисциплину. Предложить ему денег? Нет, это безнравственно и похоже на подкуп. Если теперь, положим, обратиться за

разрешением вопроса к нашему прямому начальству, то есть к управе... Она могла бы объявить мне выговор или уволить меня... Но этого она не делает. Да и не совсем удобно вмешиваться в интимные дела больницы управу, которая, кстати, же не имеет на это никакого права...»

Часа через три после обеда доктор шел к пруду купаться и думал:

«А не поступить ли мне так, как поступают все при подобных обстоятельствах? То есть пусть он подаст на меня в суд. Я, безусловно, виноват, оправдываться не стану, и мировой присудит меня к аресту. Таким образом, оскорбленный будет удовлетворен, и те, которые считают меня авторитетом, увидят, что я был неправ».

Эта идея улыбнулась ему. Он обрадовался и стал думать, что вопрос решен благополучно и что более справедливого решения не может быть.

«Что ж, превосходно! — думал он, полезая в воду и глядя, как от него убегали стаи мелких, золотистых карасиков. — Пусть подает... Это для него тем более удобно, что наши служебные отношения уже порваны, и одному из нас после этого скандала все равно уж нельзя оставаться в больнице...»

Вечером доктор приказал заложить шарабан, чтобы ехать к воинскому начальнику играть в винт. Когда он, в шляпе и в пальто, совсем уже готовый в путь, стоял у себя посреди кабинета и надевал перчатки, наружная дверь со скрипом отворилась, и кто-то бесшумно вошел в переднюю.

— Кто там? — спросил доктор.

— Это я-с... — глухо ответил вошедший.

У доктора вдруг застучало сердце, и весь он похолодел от стыда и какого-то непонятного страха. Фельдшер Михаил Захарыч (это был он) тихо кашлянул и несмело вошел в кабинет. Помолчав немного, он сказал глухим виноватым голосом:

— Простите меня, Григорий Иванович!

Доктор растерялся и не знал, что сказать. Он понял, что фельдшер пришел к нему унижаться и просить прощения не из христианского смирения и не ради того, чтобы своим смирением уничтожить оскорбителя, а просто из расчета: «Сделаю над собой усилие, попрошу прощения, и авось меня не прогонят и не лишат куска хлеба...» Что может быть оскорбительней для человеческого достоинства?

— Простите... — повторил фельдшер.

— Послушайте... — заговорил доктор, стараясь не глядеть на него и все еще не зная, что сказать. — Послушайте... Я вас оскорбил и... должен понести наказание, то есть удовлетворить вас... Дуэлей вы не признаете... Впрочем, я сам не признаю дуэлей. Я вас оскорбил, и вы... вы можете подать на меня жалобу мировому судье, и я понесу наказание... А оставаться нам тут вдвоем нельзя... Кто-нибудь из нас, я или вы, должен выйти! («Боже мой! Я не то ему говорю! — ужаснулся доктор. — Как глупо, как глупо!») Одним словом, подавайте прощение! А служить вместе мы уже не можем!.. Я или вы... Завтра же подавайте!

Фельдшер поглядел исподлобья на доктора, и в его темных, мутных глазах вспыхнуло самое откровенное презрение. Он всегда считал доктора непрактическим, капризным мальчишкой, а теперь презирал его за дрожь, за непонятную суету в словах...

— И подам, — сказал он угрюмо и злобно.

— Да, и подавайте!

— А что ж вы думаете? Не подам? И подам... Вы не имеете права драться. Да и стыдились бы! Дерутся только пьяные мужики, а вы образованный...

В груди доктора неожиданно встрепенулась вся его ненависть, и он закричал не своим голосом:

— Убирайтесь вон!

Фельдшер нехотя тронулся с места (ему как будто хотелось еще что-то сказать), пошел в переднюю и остановился там в раздумье. И, что-то надумав, он решительно вышел...

— Как глупо, как глупо! — бормотал доктор по уходе его. — Как все это глупо и пошло!

Он чувствовал, что вел себя сейчас с фельдшером, как мальчишка, и уж понимал, что все его мысли насчет суда не умны, не решают вопроса, а только осложняют его.

«Как глупо! — думал он, сидя в шарабане и потом играя у воинского начальника в винт. — Неужели я так малообразован и так мало знаю жизнь, что не в состоянии решить этого простого вопроса? Ну, что делать?»

На другой день утром доктор видел, как жена фельдшера садилась в повозку, чтобы куда-то ехать, и подумал: «Это она к тетушке. Пусть!»

Больница обходилась без фельдшера. Нужно было написать заявление в управу, но доктор все еще никак не мог придумать формы письма. Теперь смысл письма должен был быть таков: «Прошу уволить фельдшера, хотя виноват не он, а я». Изложить же эту мысль так, чтобы вышло не глупо и не стыдно, — для порядочного человека почти невозможно.

Дня через два или три доктору донесли, что фельдшер был с жалобой у Льва Трофимовича. Председатель не дал ему сказать ни одного слова, затопал ногами и проводил его криком: «Знаю я тебя! Вон! Не желаю слушать!» От Льва Трофимовича фельдшер поехал в управу и подал там ябеду, в которой, не упоминая о пощечине и ничего не прося для себя, доносил управе, что доктор несколько раз в его присутствии неодобрительно отзывался об управе и председателе, что лечит доктор не так, как нужно, ездит на участки неисправно и прочее. Узнав об этом, доктор засмеялся и подумал: «Этакий дурак!» — и ему стало стыдно и жаль, что фельдшер делает глупости; чем больше глупостей делает человек в свою защиту, тем он, значит, беззащитнее и слабее.

Ровно через неделю после описанного утра доктор получил повестку от мирового судьи.

«Это уж совсем глупо... — думал он, расписавшись в получении. — Глупее и придумать ничего нельзя».

И когда он в пасмурное, тихое утро ехал к мировому, ему уж было не стыдно, а досадно и противно. Он злился и на себя, и на фельдшера, и на обстоятельства...

«Возьму и скажу на суде: убирайтесь вы все к черту! — злился он. — Вы все ослы, и ничего вы не понимаете!»

Подъехав к камере мирового, он увидел на пороге трех своих сиделок, вызванных в качестве свидетельниц, и русалку. При виде сиделок и жизнерадостной акушерки, которая от нетерпения переминалась с ноги на ногу и даже вспыхнула от удовольствия, когда увидела главного героя предстоящего процесса, сердитому доктору захотелось налететь на них ястребом и ошеломить: «Кто вам позволил уходить из больницы? Извольте сию минуту убираться домой!», но он сдержал себя и, стараясь казаться спокойным, пробрался сквозь толпу мужиков в камеру. Камера была пуста, и цепь мирового висела на спинке кресла. Доктор пошел в комнатку письмоводителя. Тут он увидел молодого человека с тощим лицом и в коломёнковом пиджаке с оттопыренными карманами — это был письмоводитель, и фельдшера, который сидел за столом и от нечего делать перелистывал справки о судимости. При входе доктора письмоводитель поднялся; фельдшер сконфузился и тоже поднялся.

— Александр Архипович еще не приходил? — спросил доктор, конфузясь.

— Нет еще. Они дома... — ответил письмоводитель.

Камера помещалась в усадьбе мирового судьи, в одном из флигелей, а сам судья жил в большом доме. Доктор вышел из камеры и не спеша направился к дому. Александра Архиповича застал он в столовой за самоваром. Мировой без сюртука и без жилетки, с расстегнутой на груди рубахой стоял около стола и, держа в обеих руках чайник, наливал себе в стакан темного, как кофе, чаю; увидев гостя, он быстро придвинул к себе другой стакан, налил его и, не здороваясь, спросил:

— Вам с сахаром или без сахару?



Когда-то, очень давно, мировой служил в кавалерии; теперь уж он за свою долголетнюю службу по выборам состоял в чине действительного статского, но все еще не бросал ни своего военного мундира, ни военных привычек. У него были длинные, полицмейстерские усы, брюки с кантами, и все его поступки и слова были проникнуты военной грацией. Говорил он, слегка откинув назад голову и уснащая речь сочным, генеральским «мнэээ...», поводил плечами и играл глазами; здороваясь или давая закурить, шаркал подошвами и при ходьбе так осторожно и нежно звякал шпорами, как будто каждый звук шпор причинял ему невыносимую боль. Усадив доктора за чай, он погладил себя по широкой груди и по животу, глубоко вздохнул и сказал:

— Н-да-с... Может быть, желаете, мнэээ... водки выпить и закусить? Мнэээ?

— Нет, спасибо, я сыт.

Оба чувствовали, что им не миновать разговора о больничном скандале, и обоим было неловко. Доктор молчал. Мировой грациозным манием руки поймал комара, укусившего его в грудь, внимательно оглядел его со всех сторон и выпустил, потом глубоко вздохнул, поднял глаза на доктора и спросил с расстановкой:

— Послушайте, отчего вы его не прогоните?

Доктор уловил в его голосе сочувственную нотку; ему вдруг стало жаль себя, и он почувствовал утомление и разбитость от передряг, пережитых в последнюю неделю. С таким выражением, как будто терпение его наконец лопнуло, он поднялся из-за стола и, раздраженно морщась, пожимая плечами, сказал:

— Прогнать! Как вы все рассуждаете, ей-богу... Удивительно, как вы все рассуждаете! Да разве я могу его прогнать? Вы тут сидите и думаете, что в больнице я у себя хозяин и делаю все, что хочу! Удивительно, как вы все рассуждаете! Разве я могу прогнать фельдшера, если его тетка служит в няньках у Льва Трофимыча и если Льву Трофимычу нужны такие шептуны и лакеи, как этот Захарыч? Что я могу сделать, если земство не ставит нас, врачей, ни в грош, если оно на каждом шагу бросает нам под ноги поленья? Черт их подери, я не желаю служить, вот и все! Не желаю!

— Ну, ну, ну... Вы, душа моя, придаете уж слишком много значения, так сказать...

— Предводитель изо всех сил старается доказать, что все мы нигилисты, шпионит и третирует нас, как своих писарей. Какое он имеет право приезжать в мое отсутствие в больницу и допрашивать там сиделок и больных? Разве это не оскорбительно? А этот ваш юродивый Семен Алексеич, который сам пашет и не верует в медицину, потому что здоров и сыт, как бык, громогласно и в глаза обзывает нас дармоедами и попрекает куском хлеба! Да черт его возьми! Я работаю от утра до ночи, отдыха не знаю, я нужнее здесь, чем все эти вместе взятые юродивые, святоши, реформаторы и прочие клоуны! Я потерял на работе здоровье, а меня вместо благодарности попрекают куском хлеба! Покорнейше вас благодарю! И каждый считает себя вправе совать свой нос не в свое дело, учить, контролировать! Этот ваш член управы Камчатский в земском собрании делал врачам выговор за то, что у нас выходит много йодистого калия, и рекомендовал нам быть осторожными при употреблении кокаина! Что он понимает, я вас спрашиваю? Какое ему дело? Отчего он не учит вас судить?

— Но... Но ведь он хам, душа моя, холуй... На него нельзя обращать внимание...

— Хам, холуй, однако же вы выбрали этого свистуна в члены и позволяете ему всюду совать свой нос! Вы вот улыбаетесь! По-вашему, все это мелочи, пустяки, но поймите же, что этих мелочей так много, что из них сложилась вся жизнь, как из песчинок гора! Я больше не могу! Сил нет, Александр Архипыч! Еще немного, и, уверяю вас, я не только бить по мордасам, но и стрелять в людей буду! Поймите, что у меня не проволоки, а нервы. Я такой же человек, как и вы...

Глаза доктора налились слезами, и голос дрогнул; он отвернулся и стал глядеть в окно. Наступило молчание.

— Н-да-с, почтеннейший...— пробормотал мировой в раздумье. — С другой стороны,

если рассудить хладнокровно, то... (мировой поймал комара и, сильно прищурив глаза, оглядел его со всех сторон, придавил и бросил в полоскательную чашку)... то, видите ли, и прогонять его нет резона. Прогоните, а на его место сядет другой такой же, да еще, пожалуй, хуже. Перемените вы сто человек, а хорошего не найдете... Все мерзавцы (мировой погладил себя под мышками и медленно закурил папиросу). С этим злом надо мириться. Я должен вам сказать, что в настоящее время честных и трезвых работников, на которых вы можете положиться, можно найти только среди интеллигенции и мужиков, то есть среди двух этих крайностей — и только. Вы, так сказать, можете найти честнейшего врача, превосходнейшего педагога, честнейшего пахаря или кузнеца, но средние люди, то есть, если так выразиться, люди, ушедшие от народа и не дошедшие до интеллигенции, составляют элемент ненадежный. Весьма трудно поэтому найти честного и трезвого фельдшера, писаря, приказчика и прочее. Чрезвычайно трудно! Я служу-с в юстиции со времен царя Гороха, и во все время своей службы не имел еще ни разу честного и трезвого писаря, хотя и прогнал их на своем веку видимо-невидимо. Народ без всякой моральной дисциплины, не говоря уж о принципах, так сказать...

«Зачем он это говорит? — подумал доктор. — Не то мы с ним говорим, что нужно».

— Вот не дальше, как в прошлую пятницу, — продолжал мировой, — мой Дюжинский учинил такую, можете себе представить, штуку. Созвал он к себе вечером каких-то пьяниц, черт их знает, кто они такие, и всю ночь пропьянствовал с ними в камере. Как вам это понравится? Я ничего не имею против питья. Черт с тобой, пей, но зачем пускать в камеру неизвестных людей? Ведь, судите сами, выкрасть из дел какой-нибудь документ, вексель и прочее — минутное дело! И что ж вы думаете? После той оргии я должен был дня два проверять все дела, не пропало ли что... Ну, что ж вы подделаете со стервецом? Прогнать? Хорошо-с... А чем вы поручитесь, что другой не будет хуже?

— Да и как его прогонишь? — сказал доктор. — Прогнать человека легко только на словах... Как я прогоню и лишу его куска хлеба, если знаю, что он семейный, голодный? Куда он денется со своей семьей?

«Черт знает что, не то я говорю!» — подумал он, и ему показалось странным, что он никак не может укрепить свое сознание на какой-нибудь одной, определенной мысли или на каком-нибудь одном чувстве. «Это оттого, что я неглубок и не умею мыслить», — подумал он.

— Средний человек, как вы назвали, не надежен, — продолжал он. — Мы его гоним, браним, бьем по физиономии, но ведь надо же войти и в его положение. Он ни мужик, ни барин, ни рыба, ни мясо; прошлое у него горькое, в настоящем у него только двадцать пять рублей в месяц, голодная семья и подчиненность, в будущем те же двадцать пять рублей и зависимое положение, прослужи он хоть сто лет. У него ни образования, ни собственности; читать и ходить в церковь ему некогда, нас он не слышит, потому что мы не подпускаем его к себе близко. Так и живет изо дня в день до самой смерти без надежд на лучшее, обедая впроголодь, боясь, что вот-вот его прогонят из казенной квартиры, не зная, куда приткнуться своих детей. Ну, как тут, скажите, не пьянствовать, не красть? Где тут взяться принципам!

«Мы, кажется, уж социальные вопросы решаем, — подумал он. — И как нескладно, господи! Да и к чему все это?»

Послышались звонки. Кто-то въехал во двор и подкатил сначала к камере, потом к крыльцу большого дома.

— Сам приехал, — сказал мировой, поглядев в окно. — Ну, будет вам на орехи!

— А вы, пожалуйста, отпустите меня поскорее... — попросил доктор. — Если можно, то рассмотрите мое дело не в очередь. Ей-богу, некогда.

— Хорошо, хорошо... Только я еще не знаю, батенька, подсудно ли мне это дело. Отношения ведь у вас с фельдшером, так сказать, служебные, и к тому же вы смазали его при исполнении служебных обязанностей. Впрочем, не знаю хорошенько. Спросим сейчас у Льва Трофимовича.

Послышались торопливые шаги и тяжелое дыхание, и в дверях показался Лев Трофимович, председатель, седой и лысый старик с длинной бородой и красными веками.

— Мое почтение...— сказал он задыхаясь. — Уф, батюшки! Вели-ка, судья, подать мне квасу! Смерть моя...

Он опустил в кресло, но тотчас же быстро вскочил, подбежал к доктору и, сердито тараща на него глаза, заговорил визгливым тенором:

—Очень и чрезвычайно вам благодарен, Григорий Иваныч! Одолжили, благодарю вас! Во веки веков аминь не забуду! Так приятели не делают! Как угодно, а это даже недобросовестно с вашей стороны! Отчего вы меня не известили? Что я вам? Кто? Враг или посторонний человек? Враг я вам? Разве я вам когда-нибудь в чем отказывал? А?

Тараща глаза и шевеля пальцами, председатель напился квасу, быстро вытер губы и продолжал:

— Очень, очень вам благодарен! Отчего вы меня не известили? Если бы вы имели ко мне чувства, приехали бы ко мне по-дружески: «Голубушка, Лев Трофимыч, так и так, мол... Такого сорта история и прочее...» Я бы вам в один миг все устроил, и не понадобилось бы этого скандала... Тот дурак, словно белены объелся, шляется по уезду, кляузничает да сплетничает с бабами, а вы, срам сказать, извините за выражение, затеяли черт знает что, заставили того дурака подать в суд! Срам, чистый срам! Все меня спрашивают, в чем дело, как и что, а я, председатель, ничего не знаю, что у вас там делается. Вам до меня и надобности нет! Очень, очень вам благодарен, Григорий Иваныч!

Председатель поклонился так низко, что даже побагровел весь, потом подошел к окну и крикнул:

— Жигалов, позови сюда Михаила Захарыча! Скажи, чтоб сию минуту сюда шел! Нехорошо-с! — сказал он, отходя от окна. — Даже жена моя обиделась, а уж на что, кажется, благоволит к вам. Уж очень вы, господа умствуете! Все норовите, как бы это по-умному, да по принципам, да со всякими выкрутасами, а выходит у вас только одно: тень наводите...

— Вы норовите все по-умному, а у вас-то что выходит? — спросил доктор.

— Что у нас выходит? А то выходит, что если бы я сейчас сюда не приехал, то вы бы и себя осрамили и нас... Счастье ваше, что я приехал!

Вошел фельдшер и остановился у порога. Председатель стал к нему боком, засунул руки в карманы, откашлялся и сказал:

— Проси сейчас у доктора прощения!

Доктор покраснел и выбежал в другую комнату.

— Вот видишь, доктор не хочет принимать твоих извинений! — продолжал председатель. — Он желает, чтоб ты не на словах, а на деле выказал свое раскаяние. Даешь слово, что с сегодняшнего дня будешь слушаться и вести трезвую жизнь?

— Даю...— угрюмо пробасил фельдшер.

— Смотри же! Бо-оже тебя сохрани! У меня в один миг потеряешь место! Если что случится, не проси милости... Ну, ступай домой...

Для фельдшера, который уже помирился со своим несчастьем, такой поворот дела был неожиданным сюрпризом. Он даже побледнел от радости. Что-то он хотел сказать и протянул вперед руку, но ничего не сказал, а тупо улыбнулся и вышел.

— Вот и все! — сказал председатель. — И суда никакого не нужно.

Он облегченно вздохнул и с таким видом, как будто только что совершил очень трудное и важное дело, оглядел самовар и стаканы, потер руки и сказал:

— Блажена миротворцы... Налей-ка мне, Саша, стаканчик. А впрочем, вели сначала дать чего-нибудь закусить... Ну, и водочки...

— Господа, это невозможно! — сказал доктор, входя в столовую все еще красный и ломая руки. — Это... это комедия! Это гадко! Я не могу. Лучше двадцать раз судиться, чем решать вопросы так водевильно. Нет, я не могу!

— Что же вам нужно? — огрызнулся на него председатель. — Прогнать? Извольте, я прогоню...

— Нет, не прогнать... Я не знаю, что мне нужно, но так, господа, относиться к жизни... ах, боже мой! Это мучительно!

Доктор нервно засуетился и стал искать своей шляпы и, не найдя ее, в изнеможении опу-

тился в кресло.

— Гадко! — повторил он.

— Душа моя,— зашептал мировой, — отчасти я вас не понимаю, так сказать... Ведь вы виноваты в этом инциденте! Хлобыстать по физиономии в конце девятнадцатого века — это, некоторым образом, как хотите, не того... Он мерзавец, но-о-о согласитесь, и вы поступили неосторожно...

— Конечно! — согласился председатель.

Подали водку и закуску. На прощанье доктор машинально выпил рюмку и закусил редиской. Когда он возвращался к себе в больницу, мысли его заволакивались туманом, как трава в осеннее утро.

«Неужели, — думал он, — в последнюю неделю было так много выстрадано, передумано и сказано только для того, чтобы все кончилось так нелепо и пошло! Как глупо! Как глупо!» Ему было стыдно, что в свой личный вопрос он впутал посторонних людей, стыдно за слова, которые он говорил этим людям, за водку, которую он выпил по привычке пить и жить зря, стыдно за свой не понимающий, неглубокий ум... Вернувшись в больницу, он тотчас же принялся за обход палат. Фельдшер ходил около него, ступая мягко, как кот, и мягко отвечая на вопросы... И фельдшер, и русалка, и сиделки делали вид, что ничего не случилось, и что все было благополучно. И сам доктор изо всех сил старался казаться равнодушным. Он приказывал, сердился, шутил, с больными, а в мозгу его копошилось:

«Глупо, глупо, глупо...»

1888

## ПАЛАТА № 6

### I

В больничном дворе стоит небольшой флигель, окруженный целым лесом репейника, крапивы и дикой конопли. Крыша на нем ржавая, труба наполовину обвалилась, ступеньки у крыльца сгнили и поросли травой, а от штукатурки остались одни только следы. Передним фасадом обращен он к больнице, задним — глядит в поле, от которого отделяет его серый больничный забор с гвоздями. Эти гвозди, обращенные остриями кверху, и забор, и самый флигель имеют тот особый унылый, окаянный вид, какой у нас бывает только у больничных и тюремных построек.

Если вы не боитесь ожечься о крапиву, то пойдите по узкой тропинке, ведущей к флигелю, и досмотрим, что делается внутри. Отворив первую дверь, мы входим в сени. Здесь у стен и около печки навалены целые горы больничного хлама. Матрацы, старые изодранные халаты, панталоны, рубахи с синими полосками, никуда не годная, истасканная обувь — вся эта рвань свалена в кучи, перемята, спуталась, гниет и издает душливый запах.

На хламе всегда с трубкой в зубах лежит сторож Никита, старый отставной солдат с порыжелыми нашивками. У него суровое, испитое лицо, нависшие брови, придающие лицу выражение степной овчарки, и красный нос; он невысок ростом, на вид сухощав и жилист, но осанка у него внушительная и кулаки здоровенные. Принадлежит он к числу тех простодушных, положительных, исполнительных и тупых людей, которые больше всего на свете любят порядок и потому убеждены, что их надо бить. Он бьет по лицу, по груди, по спине, почем попало и уверен, что без этого не было бы здесь порядка.

Далее вы входите в большую, просторную комнату, занимающую весь флигель, если не считать сеней. Стены здесь вымазаны грязно-голубою краской, потолок закопчен, как в курной избе, — ясно, что здесь зимой дымят печи и бывает угарно. Окна изнутри обезображены железными решетками. Пол сер и занозист. Воняет кислую капустой, фитильною гарью, клопами и аммиаком, и эта вонь в первую минуту производит на вас такое впечатле-

ние, как будто вы входите в зверинец.

В комнате стоят кровати, привинченные к полу. На них сидят и лежат люди в синих больничных халатах и, по-старинному, в колпаках. Это — сумасшедшие.

Всех их здесь пять человек. Только один благородного звания, остальные же все мещане. Первый от двери, высокий худощавый мещанин с рыжими блестящими усами и с заплаканными глазами, сидит, подперев голову, и глядит в одну точку. День и ночь он грустит, покачивая головой, вздыхая и горько улыбаясь; в разговорах он редко принимает участие и на вопросы обыкновенно не отвечает. Ест и пьет он машинально, когда дают. Судя по мучительному, бьющему кашлю, худобе и румянцу на щеках, у него начинается чахотка.

За ним следует маленький, живой, очень подвижной старик с острою бородкой и с черными, кудрявыми, как у негра, волосами. Днем он прогуливается по палате от окна к окну или сидит на своей постели, поджав по-турецки ноги, и неугомонно, как снегирь, напевает, тихо поет и хихикает. Детскую веселость и живой характер проявляет он и ночью, когда встает затем, чтобы помолиться богу, то есть постучать себя кулаками по груди и поковырять пальцем в дверях. Это жид Мойсейка, дурачок, помешавшийся лет двадцать назад, когда у него сгорела шапочная мастерская.

Из всех обитателей палаты № 6 только ему одному позволено выходить из флигеля и даже из больничного двора на улицу. Такой привилегией он пользуется издавна, вероятно, как больничный старожил и как тихий, безвредный дурачок, городской шут, которого давно уже привыкли видеть на улицах окруженным мальчишками и собаками. В халатишке, в смешном колпаке и в туфлях, иногда босиком и даже без панталон, он ходит по улицам, останавливаясь у ворот и лавочек, и просит копеечку. В одном месте дадут ему квасу, в другом — хлеба, в третьем — копеечку, так что возвращается он во флигель обыкновенно сытым и богатым. Все, что он приносит с собой, отбирает у него Никита в свою пользу. Делает это солдат грубо, с сердцем, выворачивая карманы и призывая бога в свидетели, что он никогда уже больше не станет пускать жида на улицу и что беспорядки для него хуже всего на свете.

Мойсейка любит услуживать. Он подает товарищам воду, укрывает их, когда они спят, обещает каждому принести с улицы по копеечке и сшить по новой шапке; он же кормит с ложки своего соседа с левой стороны, паралитика. Поступает он так не из сострадания и не из каких-либо соображений гуманного свойства, а подражая и невольно подчиняясь своему соседу с правой стороны, Громову.

Иван Дмитрич Громов, мужчина лет тридцати трех, из благородных, бывший судебный пристав и губернский секретарь, страдает манией преследования. Он или лежит на постели, свернувшись калачиком, или же ходит из угла в угол, как бы для моциона, сидит же очень редко. Он всегда возбужден, взволнован и напряжен каким-то смутным, неопределенным ожиданием. Достаточно, малейшего шороха в сенях или крика на дворе, чтобы он поднял голову и стал прислушиваться: не за ним ли это идут? Не его ли ищут? И лицо его при этом выражает крайнее беспокойство и отвращение.

Мне нравится его широкое, скуластое лицо, всегда бледное и несчастное, отражающее в себе, как в зеркале, замученную борьбой и продолжительным страхом душу. Grimасы его странны и болезненны, но тонкие черты, положенные на его лицо глубоким искренним страданием, разумны и интеллигентны, и в глазах теплый, здоровый блеск. Нравится мне он сам, вежливый, услужливый и необыкновенно деликатный в обращении со всеми, кроме Никиты. Когда кто-нибудь роняет пуговку или ложку, он быстро вскакивает с постели и поднимает. Каждое утро он поздравляет своих товарищей с добрым утром, ложась спать — желает им спокойной ночи.

Кроме постоянно напряженного состояния и гримасничанья, сумасшествие его выражается еще в следующем. Иногда по вечерам он запахивается в свой халатик и, дрожа всем телом, стуча зубами, начинает быстро ходить из угла в угол и между кроватей. Похоже на то, как будто у него сильная лихорадка. По тому, как он внезапно останавливается

и взглядывает на товарищей, видно, что ему хочется сказать что-то очень важное, но, по видимому, соображая, что его не будут слушать или не поймут, он нетерпеливо встряхивает головой и продолжает шагать. Но скоро желание говорить берет верх над всякими соображениями, и он дает себе волю и говорит горячо и страстно. Речь его беспорядочна, лихорадочна, как бред, порывиста и не всегда понятна, но зато в ней слышится, и в словах и в голосе, что-то чрезвычайно хорошее. Когда он говорит, вы узнаете в нем сумасшедшего и человека. Трудно передать на бумаге его безумную речь. Говорит он о человеческой подлости, о насилии, попирающем правду, о прекрасной жизни, какая со временем будет на земле, об оконных решетках, напоминающих ему каждую минуту о тупости и жесткости насильников. Получается беспорядочное, нескладное попури из старых, но еще не допетых песен.

## II

Лет двенадцать-пятнадцать тому назад в городе, на самой главной улице, в собственном доме проживал чиновник Громов, человек солидный и зажиточный. У него было два сына: Сергей и Иван. Будучи уже студентом четвертого курса, Сергей заболел скоротечною чахоткой и умер, и эта смерть как бы послужила началом целого ряда несчастий, которые вдруг посыпались на семью Громовых. Через неделю после похорон Сергея старик отец был отдан под суд за подлоги и растраты и вскоре умер в тюремной больнице от тифа. Дом и вся движимость были проданы с молотка, и Иван Дмитрич с матерью остались без всяких средств.

Прежде, при отце, Иван Дмитрич, проживая в Петербурге, где он учился в университете, получал шестьдесят — семьдесят рублей в месяц и не имел никакого понятия о нужде, теперь же ему пришлось резко изменить свою жизнь. Он должен был от утра до ночи давать грошовые уроки, заниматься перепиской и все-таки голодать, так как весь заработок посылался матери на пропитание. Такой жизни не выдержал Иван Дмитрич; он пал духом, захирел и, бросив университет, уехал домой. Здесь, в городке, он по протекции получил место учителя в уездном училище, но не сошелся с товарищами, не понравился ученикам и свое бросил место. Умерла мать. Он с полгода ходил без места, питаясь только хлебом и водой, затем поступил в судебные приставы. Эту должность занимал он до тех пор, пока не был уволен по болезни.

Он никогда, даже в молодые студенческие годы, не производил впечатления здорового. Всегда он был бледен, худ, подвержен простуде, мало ел, дурно спал. От одной рюмки вина у него кружилась голова и делалась истерика. Его всегда тянуло к людям, но благодаря своему раздражительному характеру и мнительности он ни с кем близко не сходил-ся и друзей не имел. О горожанах он всегда отзывался с презрением, говоря, что их грубое невежество и сонная животная жизнь кажутся ему мерзкими и отвратительными. Говоры он тенором, громко, горячо и не иначе, как негодуя и возмущаясь или с восторгом и удивлением, и всегда искренно. О чем, бывало, ни заговоришь с ним, он все сводит к одному: в городе душно и скучно жить, у общества нет высших интересов, оно ведет тусклую, бессмысленную жизнь, разнообразя ее насилием, грубым развратом и лицемерием; подлецы сыты и одеты, а честные питаются крохами; нужны школы, местная газета с честным направлением, театр, публичные чтения, сплоченность интеллигентных сил; нужно, чтоб общество осознало себя и ужаснулось. В своих суждениях о людях он клал густые краски, только белую и черную, не признавая никаких оттенков; человечество делилось у него на честных и подлецов; середины же не было. О женщинах и любви он всегда говорил страстно, с восторгом, но ни разу не был влюблен.

В городе, несмотря на резкость его суждений и нервность, его любили и за глаза ласково называли Ваней. Его врожденная деликатность, услужливость, порядочность, нравственная чистота и его поношенный сюртучок, болезненный вид и семейные несчастья внушали хорошее, теплое и грустное чувство; к тому же он был хорошо образован и начи-

тан, знал, по мнению горожан, все и был в городе чем-то вроде ходячего справочного словаря.

Читал он очень много. Бывало, все сидит в клубе, нервно тербит бородку и перелистывает журналы и книги; и по лицу его видно, что он не читает, а глотает, едва успев разжевать. Надо думать, что чтение было одною из его болезненных привычек, так как он с одинаковою жадностью набрасывался на все, что попадало ему под руки, даже на прошлогодние газеты и календари. Дома у себя читал он всегда лежа.

### III

Однажды осенним утром, подняв воротник своего пальто и шлепая по грязи, по переулкам и задворкам, пробирался Иван Дмитрич к какому-то мещанину, чтобы получить по исполнительному листу. Настроение у него было мрачное, как всегда по утрам. В одном из переулков встретились ему два арестанта в кандалах и с ними четыре конвойных с ружьями. Раньше Иван Дмитрич очень часто встречал арестантов, и всякий раз они возбуждали в нем чувства сострадания и неловкости, теперь же эта встреча произвела на него какое-то особенное, странное впечатление. Ему вдруг почему-то показалось, что его тоже могут заковать в кандалы и таким же образом вести по грязи в тюрьму. Побывав у мещанина и возвращаясь к себе, домой, он встретил около почты знакомого полицейского надзирателя, который поздоровался и прошел с ним по улице несколько шагов, и почему-то это показалось ему подозрительным. Дома целый день у него не выходили из головы арестанты и солдаты с ружьями, и непонятная душевная тревога мешала ему читать и сосредоточиться. Вечером он не зажигал у себя огня, а ночью не спал и все думал о том, что его могут арестовать, заковать и посадить в тюрьму. Он не знал за собой никакой вины и мог поручиться, что и в будущем никогда не убьет, не подожжет и не украдет; но разве трудно совершить преступление нечаянно, невольно, и разве не возможна клевета, наконец, судебная ошибка? Ведь недаром же вековой народный опыт учит от сумы да тюрьмы не зарекаться. А судебная ошибка при теперешнем судопроизводстве очень возможна, и ничего в ней нет мудреного. Люди, имеющие служебное, деловое отношение к чужому страданию, например, судьи, полицейские, врачи, с течением времени, в силу привычки, закаляются до такой степени, что хотели бы, да не могут относиться к своим клиентам иначе, как формально; с этой стороны они ничем не отличаются от мужика, который на задворках режет баранов и телят и не замечает крови. При формальном же, бездушном отношении к личности, для того чтобы невинного человека лишить всех прав состояния и присудить к каторге, судье нужно только одно: время. Только время на соблюдение кое-каких формальностей, за которые судье платят жалованье, а затем — все кончено. Ищи потом справедливости и защиты в этом маленьком, грязном городишке, за двести верст от железной дороги! Да и не смешно ли помышлять о справедливости, когда всякое насилие встречается обществом, как разумная и целесообразная необходимость, и всякий акт милосердия, например оправдательный приговор, вызывает целый взрыв неудовлетворенного, мстительного чувства?

Утром Иван Дмитрич поднялся с постели в ужасе, с холодным потом на лбу, совсем уже уверенный, что его могут арестовать каждую минуту. Если тяжелые вчерашние мысли так долго не оставляют его, думал он, то, значит, в них есть доля правды. Не могли же они, в самом деле, прийти в голову безо всякого повода.

Городовой не спеша, прошел мимо окон: это недаром. Вот два человека остановились около дома и молчат. Почему они молчат?

И для Ивана Дмитрича наступили мучительные дни и ночи. Все проходившие мимо окон и входившие во двор казались шпионами и сыщиками. В полдень обыкновенно исправник проезжал на паре по улице; это он ехал из своего подгородного имения в полицейское правление, но Ивану Дмитричу казалось каждый раз, что он едет слишком быстро

и с каким-то особенным выражением: очевидно, спешит объявить, что в городе появился очень важный преступник. Иван Дмитрич вздрагивал при всяком звонке и стуке в ворота, томился, когда встречал у хозяйки нового человека; при встрече с полицейскими и жандармами улыбался и насвистывал, чтобы казаться равнодушным. Он не спал все ночи напролет, ожидая ареста, но громко храпел и вздыхал, как сонный, чтобы хозяйке казалось, что он спит; ведь если не спит, то, значит, его мучают угрызения совести, — какая улика! Факты и здравая логика убежали его, что все эти страхи — вздор и психопатия, что в аресте и тюрьме, если взглянуть на дело пошире, в сущности, нет ничего страшного, — была бы совесть спокойна; но чем умнее и логичнее он рассуждал, тем сильнее и мучительнее становилась душевная тревога. Это было похоже на то, как один пустынный хотел вырубить себе местечко в девственном лесу; чем усерднее он работал топором, тем гуще и сильнее разрастался лес. Иван Дмитрич, в конце концов, видя, что это бесполезно, совсем бросил рассуждать и весь отдался отчаянию и страху. Он стал уединяться и избегать людей. Служба и раньше была ему противна, теперь же она стала для него невыносима. Он боялся, что его как-нибудь подведут, положат ему незаметно в карман взятку и потом уличат, или он сам нечаянно сделает в казенных бумагах ошибку, равносильную подлогу, или потеряет чужие деньги. Странно, что никогда в другое время мысль его не была так гибка и изобретательна, как теперь, когда он каждый день выдумывал тысячи разнообразных поводов к тому, чтобы серьезно опасаться за свою свободу и честь. Но зато значительно ослабел интерес к внешнему миру, в частности к книгам, и стала сильно изменять память. Весной, когда сошел снег, в овраге около кладбища нашли два полусгнивших трупа — старухи и мальчика, с признаками насильственной смерти. В городе только и разговора было, что об этих трупах и неизвестных убийцах. Иван Дмитрич, чтобы не подумали, что это он убил, ходил по улицам и улыбался, а при встрече со знакомыми бледнел, краснел и начинал уверять, что нет подлее преступления, как убийство слабых и беззащитных. Но эта ложь скоро утомила его, и, после некоторого размышления, он решил, что в его положении самое лучшее — это спрятаться в хозяйкин погреб. В погребе просидел он день, потом ночь и другой день, сильно озяб и, дождавшись потемок, тайком, как вор, пробрался к себе в комнату. До рассвета простоял он среди комнаты, не шевелясь и прислушиваясь. Рано утром до восхода солнца к хозяйке пришли печники. Иван Дмитрич хорошо знал, что они пришли затем, чтобы переключивать в кухне печь, но страх подсказал ему, что это полицейские, переодетые печниками. Он потихоньку вышел из квартиры и, охваченный ужасом, без шапки и сюртука, побежал по улице. За ним с лаем гнались собаки, кричал где-то позади мужик, в ушах свистел воздух, и Ивану Дмитричу казалось, что насилие всего мира скопилось за его спиной и гонится за ним.

Его задержали, привели домой, и послали хозяйку за доктором. Доктор Андрей Ефимыч, о котором речь впереди, прописал холодные примочки на голову и лавровишневые капли, грустно покачал головой и ушел, сказав хозяйке, что уж больше он не придет, потому что не следует мешать людям сходить с ума. Так как дома не на что было жить и лечиться, то скоро Ивана Дмитрича отправили в больницу и положили его там, в палате для венерических больных. Он не спал по ночам, капризничал и беспокоил больных и скоро, по распоряжению Андрея Ефимыча, был переведен в палату № 6.

Через год в городе уже совершенно забыли про Ивана Дмитрича, и книги его, сваленные хозяйкой в сани под навесом, были растасканы мальчишками.

#### IV

Сосед с левой стороны у Ивана Дмитрича, как я уже сказал, жид Мойсейка, сосед же с правой — оплывший жиром, почти круглый мужик с тупым, совершенно бессмысленным лицом. Это — неподвижное, обжорливое и нечистоплотное животное, давно уже потерявшее способность мыслить и чувствовать. От него постоянно идет острый удушливый



смерд.

Никита, убирающий за ним, бьет его страшно, со всего размаха, не щадя своих кулаков; страшно тут не то, что его бьют, — к этому можно привыкнуть, — а то, что это отупевшее животное не отвечает на побои ни звуком, ни движением, ни выражением глаз, а только слегка покачивается, как тяжелая бочка.

Пятый и последний обитатель палаты № 6 — мещанин, служивший когда-то сортировщиком на почте, маленький худощавый блондин с добрым, но несколько лукавым лицом. Судя по умным, покойным глазам, смотрящим ясно и весело, он себе на уме и имеет какую-то очень важную и приятную тайну. У него есть под подушкой и под матрацем что-то такое, чего он никому не показывает, но не из страха, что могут отнять или украсть, а из стыдливости. Иногда он подходит к окну и, обернувшись к товарищам спиной, надевает себе что-то на грудь и смотрит, нагнув голову; если в это время подойти к нему, то он сконфузится и сорвет что-то с груди. Но тайну его угадать нетрудно.

- Поздравьте меня, — говорит он часто Ивану Дмитричу, — я представлен к Станиславу второй степени со звездой. Вторую степень со звездой дают только иностранцам, но для меня почему-то хотят сделать исключение, — улыбается он, в недоумении пожимая плечами. — Вот уж, признаться, не ожидал!

- Я в этом ничего не понимаю, — угрюмо заявляет Иван Дмитрич.

- Но знаете, чего я рано или поздно добьюсь? — продолжает бывший сортировщик, лукаво щуря глаза. — Я непременно получу шведскую «Полярную звезду». Орден такой, что стоит похлопотать. Белый крест и черная лента. Это очень красиво.

Вероятно, нигде в другом месте так жизнь не однообразна, как во флигеле. Утром больные, кроме паралитика и толстого мужика, умываются в сенях из большого ушата и утираются фалдами халатов; после этого пьют из оловянных кружек чай, который приносит из главного корпуса Никита. Каждому полагается по одной кружке. В полдень едят щи из кислой капусты и кашу, вечером ужинают кашей, оставшейся от обеда. В промежутках лежат, спят, глядят в окна и ходят из угла в угол. И так каждый день. Даже бывший сортировщик говорит все об одних и тех же орденах.

Свежих людей редко видят в палате № 6. Новых помешанных доктор давно уже не принимает, а любителей посещать сумасшедшие дома немного на этом свете. Раз в два месяца бывает во флигеле Семен Лазарич, цирюльник. Как он стрижет сумасшедших и как Никита помогает ему делать это, и в какое смятение приходят больные всякий раз при появлении пьяного улыбающегося цирюльника, мы говорить не будем.

Кроме цирюльника, никто не заглядывает во флигель. Больные осуждены видеть изо дня в день одного только Никиту.

Впрочем, недавно по больничному корпусу разнесся довольно странный слух.

Распустили слух, что палату № 6 будто бы стал посещать доктор.

## V

Странный слух! Доктор Андрей Ефимыч Рагин — замечательный человек в своем роде. Говорят, что в ранней молодости он был очень набожен и готовил себя к духовной карьере и что, кончив в 1863 году курс в гимназии, он намеревался поступить в духовную академию, но будто бы его отец, доктор медицины и хирург, едко посмеялся над ним и заявил категорически, что не будет считать его своим сыном, если он пойдет в попы. Насколько это верно — не знаю, но сам Андрей Ефимыч не раз признавался, что он никогда не чувствовал призвания к медицине и вообще к специальным наукам.

Как бы то ни было, кончив курс по медицинскому факультету, он в священники не постригся. Набожности он не проявлял и на духовную особу в начале своей врачебной карьеры походил так же мало, как теперь.

Наружность у него тяжелая, грубая, мужицкая: своим лицом, бородой, плоскими во-

лосами и крепким, неуклюжим сложением напоминает он трактирщика на большой дороге, разевшегося, невоздержного и крутого. Лицо суровое, покрыто синими жилками, глаза маленькие, нос красный. При высоком росте и широких плечах у него громадные руки и ноги; кажется, хватит кулаком — дух вон. Но поступь у него тихая и походка осторожная, вкрадчивая; при встрече в узком коридоре он всегда первый останавливается, чтобы дать дорогу, и не басом, как ждешь, а тонким, мягким тенорком говорит: «Виноват!» У него на шее небольшая опухоль, которая мешает ему носить жесткие крахмальные воротнички, и потому он всегда ходит в мягкой полотняной или ситцевой сорочке. Вообще одевается он не по-докторски. Одну и ту же пару он таскает лет по десять, а новая одежда, которую он обыкновенно покупает в жидовской лавке, кажется на нем такую же поношенную и помятою, как старая; в одном и том же сюртуке он и больных принимает, и обедает, и в гости ходит; но это не из скупости, а от полного невнимания к своей наружности.

Когда Андрей Ефимыч приехал в город, чтобы принять должность, «богоугодное заведение» находилось в ужасном состоянии. В палатах, коридорах и в больничном дворе тяжело было дышать от смрада. Больничные мужики, сиделки и их дети спали в палатах вместе с больными. Жаловались, что житья нет от тараканов, клопов и мышей. В хирургическом отделении не переводилась рожь. На всю больницу было только два скальпеля и ни одного термометра, в ваннах держали картофель. Смотритель, кастелянша и фельдшер грабили больных, а про старого доктора, предшественника Андрея Ефимыча, рассказывали, будто он занимался тайною продажей больничного спирта и завел себе из сиделок и больных женщин целый гарем. В городе отлично знали про эти беспорядки и даже преувеличивали их, но относились к ним спокойно; одни оправдывали их тем, что в больницу ложатся только мещане и мужики, которые не могут быть недовольны, так как дома живут гораздо хуже, чем в больнице; не рябчиками же их кормить! Другие же в оправдание говорили, что одному городу без помощи земства не под силу содержать хорошую больницу: слава богу, что хоть плохая, да есть. А молодое земство не открывало лечебницы ни в городе, ни возле, ссылаясь на то, что город уже имеет свою больницу.

Осмотрев больницу, Андрей Ефимыч пришел к заключению, что это учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. По его мнению, самое умное, что можно было сделать, это — выпустить больных на волю, а больницу закрыть. Но он рассудил, что для этого недостаточно одной только его воли и что это было бы бесполезно; если физическую и нравственную нечистоту прогнать с одного места, то она перейдет на другое; надо ждать, когда она сама выветрится. К тому же, если люди открывали больницу и терпят ее у себя, то, значит, она им нужна; предрассудки и все эти житейские гадости и мерзости нужны, так как они с течением времени перерабатываются во что-нибудь путное, как навоз в чернозем. На земле нет ничего такого хорошего, что в своем первоисточнике не имело бы гадости.

Приняв должность, Андрей Ефимыч отнесся к беспорядкам, по-видимому, довольно равнодушно. Он попросил только больничных мужиков и сиделок не ночевать в палатах и поставил два шкафа с инструментами; смотритель же, кастелянша, фельдшер и хирургическая рожь остались на своих местах.

Андрей Ефимыч чрезвычайно любит ум и честность, но чтобы устроить около себя жизнь умную и честную, у него не хватает характера и веры в свое право. Приказывать, запрещать и настаивать он положительно не умеет. Похоже на то, как будто он дал обет никогда не возвышать голос и не употреблять повелительного наклонения. Сказать «дай» или «принеси» ему трудно; когда ему хочется есть, он нерешительно покашливает и говорит кухарке: «Как бы мне чаю...», или: «Как бы мне пообедать». Сказать же смотрителю, чтоб он перестал красть, или прогнать его, или совсем упразднить эту ненужную паразитную должность, — для него совершенно не под силу. Когда обманывают Андрея Ефимыча, или льстят ему, или подносят для подписи заведомо подлый счет, то он краснеет, как рак, и чувствует себя виноватым, но счет все-таки подписывает; когда больные жалуются ему на голод или

на грубых сиделок, он конфузится и виновато бормочет:

— Хорошо, хорошо, я разберу после... Вероятно, тут недоразумение...

В первое время Андрей Ефимыч работал очень усердно. Он принимал ежедневно с утра до обеда, делал операции и даже занимался акушерской практикой. Дамы говорили про него, что он внимателен и отлично угадывает болезни, особенно детские и женские. Но с течением времени дело заметно прискучило ему своим однообразием и очевидною беспомощностью. Сегодня примешь тридцать больных, а завтра, глядишь, привалило их тридцать пять, послезавтра сорок, и так изо дня в день, из года в год, а смертность в городе не уменьшается, и больные не перестают ходить. Оказать серьезную помощь сорока приходящим больным от утра до обеда нет физической возможности, значит, поневоле выходит один обман. Принято в отчетном году двенадцать тысяч приходящих больных, значит, попросту рассуждая, обмануто двенадцать тысяч человек. Класть же серьезных больных в палаты и заниматься ими по правилам науки тоже нельзя, потому что правила есть, а науки нет; если же оставить философию и педантически следовать правилам, как прочие врачи, то для этого прежде всего нужны чистота и вентиляция, а не грязь, здоровая пища, а не щи из вонючей кислой капусты, и хорошие помощники, а не воры.

Да и к чему мешать людям умирать, если смерть есть нормальный и законный конец каждого? Что из того, если какой-нибудь торгаш или чиновник проживет лишних пять, десять лет? Если же видеть цель медицины в том, что лекарства облегчают страдания, то невольно напрашивается вопрос: зачем их облегчать? Во-первых, говорят, что страдания ведут человека к совершенству, и, во-вторых, если человечество, в самом деле, научится облегчать свои страдания пилюлями и каплями, то оно совершенно забросит религию и философию, в которых до сих пор находило не только защиту от всяких бед, но даже счастье. Пушкин перед смертью испытывал страшные мучения, бедняжка Гейне несколько лет лежал в параличе; почему же не поболеть какому-нибудь Андрею Ефимычу или Матрене Савишне, жизнь которых бессодержательна и была бы совершенно пуста и похожа на жизнь амебы, если бы не страдания?

Подавляемый такими рассуждениями, Андрей Ефимыч опустил руки и стал ходить в больницу не каждый день.

## VI

Жизнь его проходит так. Обыкновенно он встает утром часов в восемь, одевается и пьет чай. Потом садится у себя в кабинете читать или идет в больницу. Здесь, в больнице, в узком темном коридорчике сидят амбулаторные больные, ожидающие приемки. Мимо них, стуча сапогами по кирпичному полу, бегают мужики и сиделки, проходят тощие больные в халатах, проносят мертвецов и посуду с нечистотами, плачут дети, дует сквозной ветер. Андрей Ефимыч знает, что для лихорадящих, чахоточных и вообще впечатлительных больных такая обстановка мучительна, но что поделаешь? В приемной встречает его фельдшер Сергей Сергеич, маленький, толстый человек с бритым, чисто вымытым, пухлым лицом, с мягкими плавными манерами и в новом просторном костюме, похожий больше на сенатора, чем на фельдшера. В городе он имеет громадную практику, носит белый галстук и считает себя более сведущим, чем доктор, который совсем не имеет практики. В углу, в приемной, стоит большой образ в киоте, с тяжелой лампадой, возле — ставник в белом чехле; на стенах висят портреты архиереев, вид Святогорского монастыря и венки из сухих васильков. Сергей Сергеич религиозен и любит благолепие. Образ поставлен его иждивением; по воскресеньям в приемной кто-нибудь из больных, по его приказанию, читает вслух акафист, а после чтения сам Сергей Сергеич обходит все палаты с кадильницей и кадит в них ладаном.

Больных много, а времени мало, и потому дело ограничивается одним только коротким опросом и выдачей какого-нибудь лекарства, вроде летучей мази или касторки. Анд-

рей Ефимыч сидит, подперев щеку кулаком, задумавшись, и машинально задает вопросы. Сергей Сергеич тоже сидит, потирает свои ручки и изредка вмешивается

— Болеем и нужду терпим оттого, — говорит он, — что господу милосердному плохо молимся. Да!

Во время приемки Андрей Ефимыч не делает никаких операций; он давно уже отвык от них, и вид крови его неприятно волнует. Когда ему приходится раскрывать ребенку рот, чтобы заглянуть в горло, а ребенок кричит и защищается ручонками, то от шума в ушах у него кружится голова, и выступают слезы на глазах. Он торопится прописать лекарство и машет руками, чтобы баба поскорее унесла ребенка.

На приемке скоро ему прискучают робость больных и их бестолковость, близость благолепного Сергея Сергеича, портреты на стенах и свои собственные вопросы, которые он задает неизменно уже более двадцати лет. И он уходит, приняв пять-шесть больных. Остальных без него принимает фельдшер.

С приятною мыслью, что, слава богу, частной практики у него давно уже нет и что ему никто не помешает, Андрей Ефимыч, придя домой, немедленно садится в кабинете за стол и начинает читать. Читает он очень много и всегда с большим удовольствием. Половина жалованья уходит у него на покупку книг, и из шести комнат его квартиры три завалены книгами и старыми журналами. Больше всего он любит сочинения по истории и философии; по медицине же выписывает одного только «Врача», которого всегда начинает читать с конца. Чтение всякий раз продолжается без перерыва по нескольку часов и его не утомляет. Читает он не так быстро и порывисто, как когда-то читал Иван Дмитрич, а медленно, с проникновением, часто останавливаясь на местах, которые ему нравятся или непонятны. Около книги всегда стоит графинчик с водкой и лежит соленый огурец или моченое яблоко прямо на сукне, без тарелки. Через каждые полчаса он, не отрывая глаз от книги, наливает себе рюмку водки и выпивает, потом, не глядя, нащупывает огурец и откусывает кусочек.

В три часа он осторожно подходит к кухонной двери, кашляет и говорит:

— Дарьюшка, как бы мне пообедать...

После обеда, довольно плохого и неопрятного, Андрей Ефимыч ходит по своим комнатам, скрестив на груди руки, и думает. Бьет четыре часа, потом пять, а он все ходит и думает. Изредка поскрипывает кухонная дверь, и показывается из нее красное, заспанное лицо Дарьюшки.

— Андрей Ефимыч, вам не пора пиво пить? — спрашивает она озабоченно.

— Нет, еще не время... — отвечает он. — Я погожу... погожу...

К вечеру обыкновенно приходит почтмейстер, Михаил Аверьяныч, единственный во всем городе человек, общество которого для Андрея Ефимыча не тягостно. Михаил Аверьяныч когда-то был очень богатым помещиком и служил в кавалерии, но разорился и из нужды поступил под старость в почтовое ведомство. У него бодрый, здоровый вид, роскошные седые бакены, благовоспитанные манеры и громкий приятный голос. Он добр и чувствителен, но вспыльчив. Когда на почте кто-нибудь из посетителей протестует, не соглашается или просто начинает рассуждать, то Михаил Аверьяныч багровеет, трясется всем телом и кричит громовым голосом: «Замолчать!», так что за почтовым отделением давно уже установилась репутация учреждения, в котором страшно бывать. Михаил Аверьяныч уважает и любит Андрея Ефимыча за образованность и благородство души, к прочим же обывателям относится свысока, как к своим подчиненным.

— А вот и я! — говорит он, входя к Андрею Ефимычу. — Здравствуйте, мой дорогой! Небось, я уже надоел вам, а?

— Напротив, очень рад, — отвечает ему доктор. — Я всегда рад вам.

Приятеля садятся в кабинете на диван и некоторое время молча курят.

— Дарьюшка, как бы нам пива! — говорит Андрей Ефимыч.

Первую бутылку выпивают тоже молча: доктор — задумавшись, а Михаил Аверья-

ныч — с веселым, оживленным видом, как человек, который имеет рассказать что-то очень интересное. Разговор всегда начинается доктор.

— Как жаль, — говорит он медленно и тихо, покачивая головой и не глядя в глаза собеседнику (он никогда не смотрит в глаза), — как глубоко жаль, уважаемый Михаил Аверьяныч, что в нашем городе совершенно нет людей, которые бы умели и любили вести умную и интересную беседу. Это громадное для нас лишение. Даже интеллигенция не возвышается над пошлостью; уровень ее развития, уверяю вас, нисколько не выше, чем у низшего сословия.

— Совершенно верно. Согласен.

— Вы сами изволите знать, — продолжает доктор тихо и с расстановкой, — что на этом свете все незначительно и неинтересно, кроме высших духовных проявлений человеческого ума. Ум проводит резкую грань между животным и человеком, намекает на божественность последнего и в некоторой степени даже заменяет ему бессмертие, которого нет. Исходя из этого, ум служит единственно возможным источником наслаждения. Мы же не видим и не слышим около себя ума, — значит, мы лишены наслаждения. Правда, у нас есть книги, но это совсем не то, что живая беседа и общение. Если позволите сделать не совсем удачное сравнение, то книги — это ноты, а беседа — пение.

— Совершенно верно.

Наступает молчание. Из кухни выходит Дарьюшка и с выражением тупой скорби, подперев кулачком лицо, останавливается в дверях, чтобы послушать.

— Эх! — вздыхает Михаил Аверьяныч. — Захотели от нынешних ума!

И он рассказывает, как жилось прежде здорово, весело и интересно, какая была в России умная интеллигенция и как высоко она ставила понятия о чести и дружбе. Давали деньги взаймы без векселя, и считалось позором не протянуть руку помощи нуждающемуся товарищу. А какие были походы, приключения, стычки, какие товарищи, какие женщины! А Кавказ, — какой удивительный край! А жена одного батальонного командира, странная женщина, надевала офицерское платье и уезжала по вечерам в горы одна, без проводника. Говорят, что в аулах у нее был роман с каким-то князьком.

— Царица небесная, матушка... — вздыхает Дарьюшка.

— А как пили! Как ели! А какие были отчаянные либералы!

Андрей Ефимыч слушает и не слышит; он о чем-то думает и прихлебывает пиво.

— Мне часто снятся умные люди и беседы с ними, — говорит он неожиданно, перебивая Михаила Аверьяныча. — Мой отец дал мне прекрасное образование, но под влиянием идей шестидесятых годов заставил меня сделаться врачом. Мне кажется, что если б я тогда не послушался его, то теперь я находился бы в самом центре умственного движения. Вероятно, был бы членом какого-нибудь факультета. Конечно, ум тоже не вечен и преходящ, но вы уже знаете, почему я питаю к нему склонность. Жизнь есть досадная ловушка. Когда мыслящий человек достигает возмужалости и приходит в зрелое сознание, то он невольно чувствует себя как бы в ловушке, из которой нет выхода. В самом деле, против его воли вызван он какими-то случайностями из небытия к жизни... Зачем? Хочет он узнать смысл и цель своего существования, ему не говорят или же говорят нелепости; он стучится — ему не открывают; к нему приходит смерть — тоже против его воли. И вот, как в тюрьме люди, связанные общим несчастьем, чувствуют себя легче, когда сходятся вместе, так и в жизни не замечаешь ловушки, когда люди, склонные к анализу и обобщениям, сходятся вместе и проводят время в обмене гордых, свободных идей. В этом смысле ум есть наслаждение незаменимое.

— Совершенно верно.

Не глядя собеседнику в глаза, тихо и с паузами, Андрей Ефимыч продолжает говорить об умных людях и беседах с ними, а Михаил Аверьяныч внимательно слушает его и соглашается: «Совершенно верно».

— А вы не верите в бессмертие души? — вдруг спрашивает почтмейстер.

— Нет, уважаемый Михаил Аверьяныч, не верю и не имею основания верить.

— Признаться, и я сомневаюсь. А хотя, впрочем, у меня такое чувство, как будто я никогда не умру. Ой, думаю себе, старый хрен, умирать пора! А в душе какой-то голосочек: не верь, не умрешь!..

В начале десятого часа Михаил Аверьяныч уходит. Надевая в передней шубу, он говорит со вздохом:

— Однако в какую глушь занесла нас судьба! Досаднее всего, что здесь и умирать придется. Эх!..

## VII

Проводив приятеля, Андрей Ефимыч садится за стол и опять начинает читать. Тишина вечера и потом ночи не нарушается ни одним звуком, и время, кажется, останавливается и замирает вместе с доктором над книгой, и кажется, что ничего не существует, кроме этой книги и лампы с зеленым колпаком. Грубое, мужицкое лицо доктора мало-помалу озаряется улыбкой умиления и восторга перед движениями человеческого ума. О, зачем человек не бессмертен? — думает он. — Зачем мозговые центры и извилины, зачем зрение, речь, самочувствие, гений, если всему этому суждено уйти в почву и в конце концов охладеть вместе с земною корой, а потом миллионы лет без смысла и без цели носиться с землей вокруг солнца? Для того чтобы охладеть и потом носиться, совсем не нужно извлекать из небытия человека с его высоким, почти божеским, умом и потом, словно в насмешку, превращать его в глину.

Обмен веществ! Но какая трусость утешает себя этим суррогатом бессмертия! Бессознательные процессы, происходящие в природе, ниже даже человеческой глупости, так как в глупости есть все-таки сознание и воля, в процессах же ровно ничего. Только трус, у которого больше страха перед смертью, чем достоинства, может утешать себя тем, что тело его будет со временем жить в траве, в камне, в жабе... Видеть свое бессмертие в обмене веществ так же странно, как пророчить блестящую будущность футляру после того, как разбилась и стала негодною дорогая скрипка.

Когда бьют часы, Андрей Ефимыч откидывается на спинку кресла и закрывает глаза, чтобы немножко подумать. И невзначай, под влиянием хороших мыслей, вычитанных из книги, он бросает взгляд на свое прошедшее и на настоящее. Прошлое противно, лучше не вспоминать о нем. А в настоящем то же, что в прошлом. Он знает, что в то время, когда его мысли носятся вместе с охлажденною землей вокруг солнца, рядом с докторской квартирой, в большом корпусе томятся люди в болезнях и физической нечистоте; быть может, кто-нибудь не спит и воюет с насекомыми, кто-нибудь заражается рожей или стонет от туги положенной повязки; быть может, больные играют в карты с сиделками и пьют водку. В отчетном году было обмануто двенадцать тысяч человек; все больничное дело, как и двадцать лет назад, построено на воровстве, дрязгах, сплетнях, кумовстве, на грубом шарлатанстве, и больница по-прежнему представляет из себя учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. Он знает, что в палате № 6 за решетками Никита колотит больных и что Мойсейка каждый день ходит по городу и собирает милостыню.

С другой же стороны, ему отлично известно, что за последние двадцать пять лет с медициной произошла сказочная перемена. Когда он учился в университете, ему казалось, что медицину скоро постигнет участь алхимии и метафизики, теперь же, когда он читает по ночам, медицина трогает его и возбуждает в нем удивление и даже восторг. В самом деле, какой неожиданный блеск, какая революция! Благодаря антисептике делают операции, какие великий Пирогов считал невозможными даже в будущем. Обыкновенные земские врачи решаются производить резекцию коленного сустава, на сто чревосечений один только смертный случай, а каменная болезнь считается таким пустяком, что о ней даже не пишут.

Радикально излечивается сифилис. А теория наследственности, гипнотизм, открытия Пастора и Коха, гигиена со статистикой, а наша русская земская медицина? Психиатрия с ее теперешнею классификацией болезней, методами распознавания и лечения — это в сравнении с тем, что было, целый Эльборус. Теперь помешанным не льют на голову холодную воду и не надевают на них горячечных рубаш; их содержат по-человечески и даже, как пишут в газетах, устраивают для них спектакли и балы. Андрей Ефимыч знает, что при теперешних взглядах и вкусах такая мерзость, как палата № 6, возможна разве только в двухстах верстах от железной дороги, в городке, где городской голова и все гласные — полуграмотные мещане, видящие во враче жреца, которому нужно верить без всякой критики, хотя бы он вливал в рот расплавленное олово; в другом же месте публика и газеты давно бы уже расхватали в ключья эту маленькую Бастилию.

«Но что же? — спрашивает себя Андрей Ефимыч, открывая глаза. — Что из этого? И антисептика, и Кох, и Пастор, а сущность дела нисколько не изменилась. Болезненность и смертность все те же. Сумасшедшим устраивают балы и спектакли, а на волю их все-таки не выпускают. Значит, все вздор и суета, и разницы между лучшею венскою клиником и моею больницей, в сущности, нет никакой».

Но скорбь и чувство, похожее на зависть, мешают ему быть равнодушным. Это, должно быть, от утомления. Тяжелая голова склоняется к книге, он кладет под лицо руки, чтобы мягче было, и думает:

«Я служу вредному делу и получаю жалованье от людей, которых обманываю: я нечестен. Но ведь сам по себе я ничто, я только частица необходимого социального зла: все уездные чиновники вредны и даром получают жалованье... Значит, в своей нечестности виноват не я, а время... Родись я двумястами лет позже, я был бы другим».

Когда бьет три часа, он тушит лампу и уходит в спальню. Спать ему не хочется.

## VIII

Года два тому назад земство расщедрилось и постановило выдавать триста рублей ежегодно в качестве пособия на усиление медицинского персонала в городской больнице впредь до открытия земской больницы, и на помощь Андрею Ефимычу был приглашен городом уездный врач Евгений Федорыч Хоботов. Это еще очень молодой человек — ему нет и тридцати, — высокий брюнет с широкими скулами и маленькими глазками; вероятно, предки его были инородцами. Приехал он в город без гроша денег, с небольшим чемоданчиком и с молодою некрасивою женщиной, которую он называет своею кухаркой. У этой женщины грудной младенец. Ходит Евгений Федорыч в фуражке с козырьком и в высоких сапогах, а зимой в полушубке. Он близко сошелся с фельдшером Сергеем Сергеичем и с казначеем, а остальных чиновников называет почему-то аристократами и сторонится их. Во всей квартире у него есть только одна книга — «Новейшие рецепты венской клиники за 1881 г.». Идя к больному, он всегда берет с собой и эту книжку. В клубе по вечерам играет он в бильярд, карт же не любит. Большой охотник употреблять в разговоре такие слова, как канитель, мантифолия с укусом, будет тебе тень наводить и т. п.

В больнице он бывает два раза в неделю, обходит палаты и делает приемку больных. Совершенное отсутствие антисептики и кровососные банки возмущают его, но новых порядков он не вводит, боясь оскорбить этим Андрея Ефимыча. Своего коллегу Андрея Ефимыча он считает старым плутом, подозревает у него большие средства и втайне завидует ему. Он охотно бы занял его место.

## IX

В один из весенних вечеров, в конце марта, когда уже на земле не было снега, и в больничном саду пели скворцы, доктор вышел проводить до ворот своего приятеля, почтмейстера. Как раз в это время во двор входил жид Мойсейка, возвращавшийся с добычи. Он был без шапки и в мелких калошах на босую ногу и в руках держал небольшой мешочек

с милостыней.

— Дай копеечку! — обратился он к доктору, дрожа от холода и улыбаясь.

Андрей Ефимыч, который никогда не умел отказывать, подал ему гривенник.

«Как это нехорошо, — подумал он, глядя на его босые ноги с красными тощими щиколотками. — Ведь мокро».

И, побуждаемый чувством, похожим на жалость и на брезгливость, он пошел во флигель вслед за евреем, поглядывая то на его лысину, то на щиколотки. При входе доктора с кучи хлама вскочил Никита и вытянулся.

— Здравствуй, Никита, — сказал мягко Андрей Ефимыч. — Как бы этому еврею выдать сапоги, что ли, а то простудится.

— Слушаю, ваше высокоблагородие. Я доложу смотрителю.

— Пожалуйста. Ты попроси его от моего имени. Скажи, что я просил.

Дверь из сеней в палату была открыта. Иван Дмитрич, лежа на кровати и приподнявшись на локоть, с тревогой прислушивался к чужому голосу и вдруг узнал доктора. Он весь затрясся от гнева, вскочил и с красным, злым лицом, с глазами навыкате, выбежал на середину палаты.

— Доктор пришел! — крикнул он и захохотал — Наконец-то! Господа, поздравляю, доктор достаивает нас своим визитом! Проклятая гадина! — взвизгнул он и в исступлении, какого никогда еще не видел в палате, топнул ногой. — Убить эту гадину! Нет, мало убить! Утопить в отхожем месте!

Андрей Ефимыч, слышавший это, выглянул из сеней в палату и спросил мягко:

— За что?

— За что? — крикнул Иван Дмитрич, подходя к нему с угрожающим видом и судорожно запахиваясь в халат. — За что? Вор! — проговорил он с отвращением и делая губы так, как будто желая плюнуть. — Шарлатан! Палач!

— Успокойтесь, — сказал Андрей Ефимыч, виновато улыбаясь. — Уверю вас, я никогда ничего не крал, в остальном же, вероятно, вы сильно преувеличиваете. Я вижу, что вы на меня сердиты. Успокойтесь, прошу вас, если можете, и скажите хладнокровно: за что вы сердиты?

— А за что вы меня здесь держите?

— За то, что вы больны.

— Да, болен. Но ведь десятки, сотни сумасшедших гуляют на свободе, потому что ваше невежество не способно отличить их от здоровых. Почему же я и вот эти несчастные должны сидеть тут за всех, как козлы отпущения? Вы, фельдшер, смотритель и вся ваша больничная сволочь в нравственном отношении неизмеримо ниже каждого из нас, почему же мы сидим, а вы нет? Где логика?

— Нравственное отношение и логика тут ни при чем. Все зависит от случая. Кого посадили, тот сидит, а кого не посадили, тот гуляет, вот и все. В том, что я доктор, а вы душевнобольной, нет ни нравственности, ни логики, а одна только пустая случайность.

— Этой ерунды я не понимаю... — глухо проговорил Иван Дмитрич и сел на свою кровать.

Мойсейка, которого Никита постеснялся обыскивать в присутствии доктора, разложил у себя на постели кусочки хлеба, бумажки и косточки и, все еще дрожа от холода, что-то быстро и певуче заговорил по-еврейски. Вероятно, он вообразил, что открыл лавочку.

— Отпустите меня, — сказал Иван Дмитрич, и голос его дрогнул.

— Не могу.

— Но почему же? Почему?

— Потому что это не в моей власти. Посудите, какая польза вам оттого, если я отпущу вас? Идите. Вас задержат горожане или полиция и вернут назад.

— Да, да, это правда... — проговорил Иван Дмитрич и потер себе лоб. — Это ужасно! Но что же мне делать? Что?



Голос Ивана Дмитрича и его молодое умное лицо с гримасами понравились Андрею Ефимычу. Ему захотелось приласкать молодого человека и успокоить его. Он сел рядом с ним на постель, подумал и сказал:

— Вы спрашиваете, что делать? Самое лучшее в вашем положении — бежать отсюда. Но, к сожалению, это бесполезно. Вас задержат. Когда общество ограждает себя от преступников, психических больных и вообще неудобных людей, то оно непобедимо. Вам остается одно: успокоиться на мысли, что ваше пребывание здесь необходимо.

— Никому оно не нужно.

— Раз существуют тюрьмы и сумасшедшие дома, то должен же кто-нибудь сидеть в них. Не вы — так я, не я — так кто-нибудь третий. Погодите, когда в далеком будущем закончат свое существование тюрьмы и сумасшедшие дома, то не будет ни решеток на окнах, ни халатов. Конечно, такое время рано или поздно настанет.

Иван Дмитрич насмешливо улыбнулся.

— Вы шутите, — сказал он, щуря глаза. — Таким господам, как вы и ваш помощник Никита, нет никакого дела до будущего, но можете быть уверены, милостивый государь, настанут лучшие времена! Пусть я выражаюсь пошло, смейтесь, но воссияет заря новой жизни, восторжествует правда, и — на нашей улице будет праздник! Я не дожусь, издохну, но зато чьи-нибудь правнуки дождутся. Приветствую их от всей души и радуюсь, радуюсь за них! Вперед! Помогай вам бог, друзья!

Иван Дмитрич с блестящими глазами поднялся и, протягивая руки к окну, продолжал с волнением в голосе:

— Из-за этих решеток благословляю вас! Да здравствует правда! Радуюсь!

— Я не нахожу особенной причины радоваться, — сказал Андрей Ефимыч, которому движение Ивана Дмитрича показалось театральным и в то же время очень понравилось. — Тюрем и сумасшедших домов не будет, и правда, как вы изволили выразиться, восторжествует, но ведь сущность вещей не изменится, законы природы останутся всё те же. Люди будут болеть, стариться и умирать так же, как и теперь. Какая бы великолепная заря ни освещала вашу жизнь, все же, в конце концов, вас заколотят в гроб и бросят в яму.

— А бессмертие?

— Э, полноте!

— Вы не верите, ну, а я верю. У Достоевского или у Вольтера кто-то говорит, что если бы не было бога, то его выдумали бы люди. А я глубоко верю, что если нет бессмертия, то его рано или поздно изобретет великий человеческий ум.

— Хорошо сказано, — проговорил Андрей Ефимыч, улыбаясь от удовольствия. — Это хорошо, что вы веруете. С такой верой можно жить припеваючи даже замуравленному в стене. Вы изволили где-нибудь получить образование?

— Да, я был в университете, но не кончил.

— Вы мыслящий и вдумчивый человек. При всякой обстановке вы можете находить успокоение в самом себе. Свободное и глубокое мышление, которое стремится к уразумению жизни, и полное презрение к глупой суете мира — вот два блага, выше которых никогда не знал человек. И вы можете обладать ими, хотя бы вы жили за тремя решетками. Диоген жил в бочке, однако же, был счастливее всех царей земных.

— Ваш Диоген был болван, — угрюмо проговорил Иван Дмитрич. — Что вы мне говорите про Диогена да про какое-то уразумение? — рассердился он вдруг и вскочил. — Я люблю жизнь, люблю страстно! У меня мания преследования, постоянный мучительный страх, но бывают минуты, когда меня охватывает жажда жизни, и тогда я боюсь сойти с ума. Ужасно хочу жить, ужасно!

Он в волнении прошелся по палате и сказал, понизив голос:

— Когда я мечтаю, меня посещают призраки. Ко мне ходят какие-то люди, я слышу голоса, музыку, и кажется мне, что я гуляю по каким-то лесам, по берегу моря, и мне так страстно хочется суеты, заботы... Скажите мне, ну что там нового? — спросил Иван

Дмитрич. — Что там?

— Вы про город желаете знать или вообще?

— Ну, сначала расскажите мне про город, а потом вообще.

— Что ж? В городе томительно скучно... Не с кем слова сказать, некого послушать. Новых людей нет. Впрочем, приехал недавно молодой врач Хоботов.

— Он еще при мне приехал. Что, хам?

— Да, некультурный человек. Странно, знаете ли... Судя по всему, в наших столицах нет умственного застоя, есть движение, — значит, должны быть там и настоящие люди, но почему-то всякий раз оттуда присылают к нам таких людей, что не глядел бы. Несчастный город!

— Да, несчастный город! — вздохнул Иван Дмитрич и засмеялся. — А вообще как? Что пишут в газетах и журналах?

В палате было уже темно. Доктор поднялся и стоя начал рассказывать, что пишут за границей и в России и какое замечается теперь направление мысли. Иван Дмитрич внимательно слушал и задавал вопросы, но вдруг, точно вспомнив что-то ужасное, схватил себя за голову и лег на постель спиной к доктору.

— Что с вами? — спросил Андрей Ефимыч.

— Вы от меня не услышите больше ни одного слова! — грубо проговорил Иван Дмитрич. — Оставьте меня!

— Отчего же?

— Говорю вам: оставьте! Какого дьявола?

Андрей Ефимыч пожал плечами, вздохнул и вышел. Проходя через сени, он сказал:

— Как бы здесь убрать, Никита... Ужасно тяжелый запах!

— Слушаю, ваше высокоблагородие!

«Какой приятный молодой человек! — думал Андрей Ефимыч, идя к себе на квартиру. — За все время, пока я тут живу, это, кажется, первый, с которым можно поговорить. Он умеет рассуждать и интересуется именно тем, чем нужно».

Читая и потом ложась спать, он все время думал об Иване Дмитриче, а проснувшись на другой день утром, вспомнил, что вчера познакомился с умным и интересным человеком, и решил сходить к нему еще раз при первой возможности.

## Х

Иван Дмитрич лежал в такой же позе, как вчера, обхватив голову руками и поджав ноги. Лица его не было видно.

— Здравствуйте, мой друг, — сказал Андрей Ефимыч. — Вы не спите?

— Во-первых, я вам не друг, — проговорил Иван Дмитрич в подушку, — а во-вторых, вы напрасно хлопочете: вы не добьетесь от меня ни одного слова.

— Странно... — пробормотал Андрей Ефимыч в смущении. — Вчера мы беседовали так мирно, но вдруг вы почему-то обиделись и сразу оборвали... Вероятно, я выразился как-нибудь неловко или, быть может, высказал мысль, не согласную с вашими убеждениями...

— Да, так я вам и поверю! — сказал Иван Дмитрич, приподнимаясь и глядя на доктора насмешливо и с тревогой; глаза у него были красны. — Можете идти шпионить и пытаться в другое место, а тут вам нечего делать. Я еще вчера понял, зачем вы приходили.

— Странная фантазия! — усмехнулся доктор. — Значит, вы полагаете, что я шпион?

— Да, полагаю... Шпион или доктор, к которому положили меня на испытание, — это все равно.

— Ах, какой вы, право, извините... чудак!

Доктор сел на табурет возле постели и укоризненно покачал головой.

— Но допустим, что вы правы, — сказал он. — Допустим, что я предательски ловлю вас на слове, чтобы выдать полиции. Вас арестуют и потом судят. Но разве в суде и в

тюрьме вам будет хуже, чем здесь? А если сошлют на поселение и даже на каторгу, то разве это хуже, чем сидеть в этом флигеле? Полагаю, не хуже... Чего же бояться?

Видимо, эти слова подействовали на Ивана Дмитрича. Он покойно сел.

Был пятый час вечера — время, когда обыкновенно Андрей Ефимыч ходит у себя по комнатам и Дарьюшка спрашивает его, не пора ли ему пиво пить. На дворе была тихая, ясная погода.

— А я после обеда вышел прогуляться, да вот и зашел, как видите, — сказал доктор. — Совсем весна.

— Теперь какой месяц? Март? — спросил Иван Дмитрич.

— Да, конец марта.

— Грязно на дворе?

— Нет, не очень. В саду уже тропинки.

— Теперь бы хорошо проехаться в коляске куда-нибудь за город, — сказал Иван Дмитрич, потирая свои красные глаза, точно спросонок, — потом вернуться бы домой в теплый, уютный кабинет и... полечиться у порядочного доктора от головной боли... Давно уже я не жил по-человечески. А здесь гадко! Нестерпимо гадко!

После вчерашнего возбуждения он был утомлен и вял и говорил неохотно. Пальцы у него дрожали, и по лицу видно было, что у него сильно болела голова.

— Между теплым, уютным кабинетом и этою палатой нет никакой разницы, — сказал Андрей Ефимыч. — Покой и довольство человека не вне него, а в нем самом.

— То есть как?

— Обыкновенный человек ждет хорошего или дурного извне, то есть от коляски и кабинета, а мыслящий — от самого себя.

— Идите проповедуйте эту философию в Греции, где тепло и пахнет померанцем, а здесь она не по климату. С кем это я говорил о Диогене? С вами, что ли?

— Да, вчера со мной.

— Диоген не нуждался в кабинете и в теплом помещении; там и без того жарко. Лежи себе в бочке да кушай апельсины и оливки. А доведись ему в России жить, так он не то что в декабре, а в мае запросился бы в комнату. Небось, скрючило бы от холода.

— Нет. Холод, как и вообще всякую боль, можно не чувствовать. Марк Аврелий сказал: «Боль есть живое представление о боли: сделай усилие воли, чтоб изменить это представление, откинь его, перестань жаловаться, и боль исчезнет». Это справедливо. Мудрец или попросту мыслящий, вдумчивый человек отличается именно тем, что презирает страдание; он всегда доволен и ничему не удивляется.

— Значит, я идиот, так как я страдаю, недоволен и удивляюсь человеческой подлости.

— Это вы напрасно. Если вы почаще будете вдумываться, то вы поймете, как ничтожно все то внешнее, что волнует нас. Нужно стремиться к уразумению жизни, а в нем — истинное благо.

— Уразумение... — поморщился Иван Дмитрич. — Внешнее, внутреннее... Извините, я этого не понимаю. Я знаю только, — сказал он, вставая и сердито глядя на доктора, — я знаю, что бог создал меня из теплой крови и нервов, да-с! А органическая ткань, если она жизнеспособна, должна реагировать на всякое раздражение. И я реагирую! На боль я отвечаю криком и слезами, на подлость — негодованием, на мерзость — отвращением. По моему, это, собственно, и называется жизнью. Чем ниже организм, тем он менее чувствителен и тем слабее отвечает на раздражение, и чем выше, тем он восприимчивее и энергичнее реагирует на действительность. Как не знать этого? Доктор, а не знает таких пустяков! Чтобы презирать страдание, быть всегда довольным и ничему не удивляться, нужно дойти вот до этакоего состояния, — и Иван Дмитрич указал на толстого, заплывшего жиром мужика, — или же закалить себя страданиями до такой степени, чтобы потерять всякую чувствительность к ним, то есть, другими словами, перестать жить. Извините, я не мудрец и

не философ, — продолжал Иван Дмитрич с раздражением, — и ничего я в этом не понимаю. Я не в состоянии рассуждать.

— Напротив, вы прекрасно рассуждаете.

— Стоики, которых вы пародируете, были замечательные люди, но учение их застыло еще две тысячи лет на зад и ни капли не подвинулось вперед, и не будет двигаться, так как оно не практично и не жизненно. Оно имело успех только у меньшинства, которое проводит свою жизнь в штудировании и смаковании всяких учений, большинство же не понимало его. Учение, проповедующее равнодушие к богатству, к удобствам жизни, презрение к страданиям и смерти, совсем непонятно для громадного большинства, так как это большинство никогда не знало ни богатства, ни удобств в жизни; а презирать страдания значило бы для него презирать самую жизнь, так как все существо человека состоит из ощущений голода, холода, обид, потерь и гамлетовского страха перед смертью. В этих ощущениях вся жизнь: ею можно тяготиться, ненавидеть ее, но не презирать. Да, так, повторяю, учение стоиков никогда не может иметь будущности; прогрессируют же, как видите, от начала века до сегодня борьба, чуткость к боли, способность отвечать на раздражение...

Иван Дмитрич вдруг потерял нить мыслей, остановился и досадливо потер лоб.

— Хотел сказать что-то важное, да сбился, — сказал он. — О чем я? Да! Так вот я и говорю: кто-то из стоиков продал себя в рабство затем, чтобы выкупить своего ближнего. Вот видите, значит, и стоик реагировал на раздражение, так как для такого великодушного акта, как уничтожение себя ради ближнего, нужна возмущенная, сострадающая душа. Я забыл тут в тюрьме все, что учил, а то бы еще что-нибудь вспомнил. А Христа взять? Христос отвечал на действительность тем, что плакал, улыбался, печалился, гневался, даже тосковал: он не с улыбкой шел навстречу страданиям и не презирал смерть, а молился в саду Гефсиманском, чтобы его миновала чаша сия.

Иван Дмитрич засмеялся и сел.

— Положим, покой и довольство человека не вне его, а в нем самом, — сказал он.

— Положим, нужно презирать страдания и ничему не удивляться. Но вы-то, на каком основании проповедуете это? Вы мудрец? Философ?

— Нет, я не философ, но проповедовать это должен каждый, потому что это разумно.

— Нет, я хочу знать, почему вы в деле уразумения, презрения к страданиям и прочее считаете себя компетентным? Разве вы страдали когда-нибудь? Вы имеете понятие о страданиях? Позвольте: вас в детстве секли?

— Нет, мои родители питали отвращение к телесным наказаниям.

— А меня отец порол жестоко. Мой отец был крутой, геморроидальный чиновник, с длинным носом и с желтой шеей. Но будем говорить о вас. Во всю вашу жизнь до вас никто не дотронулся пальцем, никто вас не запугивал, не забивал; здоровы вы, как бык. Росли вы под крылышком отца и учились на его счет, а потом сразу захватили синекуру. Больше двадцати лет вы жили на бесплатной квартире, с отоплением, с освещением, с прислугой, имея притом право работать, как и сколько вам угодно, хоть ничего не делать. От природы вы человек ленивый, рыхлый и потому старались складывать свою жизнь так, чтобы вас ничто не беспокоило и не двигало с места. Дела вы сдали фельдшеру и прочей сволочи, а сами сидели в тепле да в тишине, копили деньги, книжки почитывали, услаждали себя размышлениями о разной возвышенной чепухе и (Иван Дмитрич посмотрел на красный нос доктора) выпивохам. Одним словом, жизни вы не видели, не знаете ее совершенно, а с действительностью знакомы только теоретически. А презираете вы страдания и ничему не удивляетесь по очень простой причине: суета сует, внешнее и внутреннее презрение к жизни, страданиям и смерти, уразумение, истинное благо — все это философия, самая подходящая для российского лежебока. Видите вы, например, как мужик бьет жену. Зачем вступаться? Пускай бьет, все равно оба помрут рано или поздно; и бьющий к тому же оскорбляется побоями не того, кого бьет, а самого себя. Пьянствовать глупо, неприлично, но пить — умирать и не пить — умирать. Приходит баба, зубы болят... Ну, что ж? Боль есть представ-

ление о боли, и к тому же без болезней не проживешь на этом свете, все помрем, а потому ступай, баба, прочь, не мешай мне мыслить и водку пить. Молодой человек просит совета, что делать, как жить; прежде чем ответить, другой бы задумался, а тут уж готов ответ: стремись к уразумению или к истинному благу. А что такое это фантастическое «истинное благо»? Ответа нет, конечно. Нас держат здесь за решеткой, гноят, истязуют, но это прекрасно и разумно, потому что между этою палатой и теплым, уютным кабинетом нет никакой разницы. Удобная философия: и делать нечего, и совесть чиста, и мудрецом себя чувствуешь... Нет, сударь, это не философия, не мышление, не широта взгляда, а лень, факирство, сонная одурь... Да! — опять рассердился Иван Дмитрия. — Стрaдание презираете, а, небось, прищеми вам дверью палец, так заорете во все горло!

— А может, и не заору, — сказал Андрей Ефимыч, кротко улыбаясь.

— Да, как же! А вот если бы вас трахнул паралич или, положим, какой-нибудь дурак и наглец, пользуясь своим положением и чином, оскорбил вас публично и вы знали бы, что это пройдет ему безнаказанно, — ну, тогда бы вы поняли, как это отсылать других к уразумению и истинному благу.

— Это оригинально, — сказал Андрей Ефимыч, смеясь от удовольствия и потирая руки. — Меня приятно поражает в вас склонность к обобщениям, а моя характеристика, которую вы только что изволили сделать, просто блестяща. Признаться, беседа с вами доставляет мне громадное удовольствие. Ну-с, я вас выслушал, теперь и вы благоволите выслушать меня...

## XI

Этот разговор продолжался еще около часа и, по-видимому, произвел на Андрея Ефимыча глубокое впечатление. Он стал ходить во флигель каждый день. Ходил он туда по утрам и после обеда, и часто вечерняя темнота заставляла его в беседе с Иваном Дмитричем. В первое время Иван Дмитрич дичился его, подозревал в злом умысле и откровенно выражал свою неприязнь, потом же привык к нему и свое резкое обращение сменил нанисходительно-ироническое.

Скоро по больнице разнесся слух, что доктор Андрей Ефимыч стал посещать палату № 6. Никто — ни фельдшер, ни Никита, ни сиделки не могли понять, зачем он ходил туда, зачем просиживал там по целым часам, о чем разговаривал и почему не прописывал рецептов. Поступки его казались странными. Михаил Аверьяныч часто не заставлял его дома, чего раньше никогда не случалось, и Дарьюшка была очень смущена, так как доктор пил пиво уже не в определенное время и иногда даже запаздывал к обеду.

Однажды, это было уже в конце июня, доктор Хоботов пришел по какому-то делу к Андрею Ефимычу; не застав его дома, он отправился искать его по двору; тут ему сказали, что старый доктор пошел к душевнобольным. Войдя во флигель и остановившись в сенях, Хоботов услышал такой разговор:

— Мы никогда не споемся, и обратить меня в свою веру вам не удастся, — говорил Иван Дмитрич с раздражением. — С действительностью вы совершенно незнакомы, и никогда вы не страдали, а только, как пьявица, кормились около чужих страданий, я же страдал непрерывно со дня рождения до сегодня. Поэтому говорю откровенно: я считаю себя выше вас и компетентнее во всех отношениях. Не вам учить меня.

— Я совсем не имею претензии обращать вас в свою веру, — проговорил Андрей Ефимыч тихо и с сожалением, что его не хотят понять. — И не в этом дело, мой друг. Дело не в том, что вы страдали, а я нет. Страдания и радости преходящи; оставим их, бог с ними. А дело в том, что мы с вами мыслим; мы видим, друг в друге людей, которые способны мыслить и рассуждать, и это делает нас солидарными, как бы различны ни были наши взгляды. Если бы вы знали, друг мой, как надоели мне всеобщее безумие, бездарность, ту-пость и с какою радостью я всякий раз беседую с вами! Вы умный человек, и я на-

слаждаюсь вами.

Хоботов отворил на вершок дверь и взглянул в палату; Иван Дмитрич в колпаке и доктор Андрей Ефимыч сидели рядом на постели. Сумасшедший гримасничал, вздрагивал и судорожно запахивался в халат, а доктор сидел неподвижно, опустив голову, и лицо у него было красное, беспомощное, грустное. Хоботов пожал плечами, усмехнулся и переглянулся с Никитой. Никита тоже пожал плечами.

На другой день Хоботов приходил во флигель вместе с фельдшером. Оба стояли в сенях и подслушивали.

— А наш дед, кажется, совсем сдрейфил! — сказал Хоботов, выходя из флигеля.

— Господи, помилуй нас, грешных! — вздохнул благолепный Сергей Сергеич, старательно обходя лужицы, чтобы не запачкать своих ярко вычищенных сапогов.

— Признаться, уважаемый Евгений Федорыч, я давно уже ожидал этого!

## ХП

После этого Андрей Ефимыч стал замечать кругом какую-то таинственность. Мужики, сиделки и больные при встрече с ним вопросительно взглядывали на него и потом шептались. Девочка Маша, дочь смотрителя, которую он любил встречать в больничном саду, теперь, когда он с улыбкой подходил к ней, чтобы погладить ее по головке, почему-то убегала от него. Почтмейстер Михаил Аверьяныч, слушая его, уже не говорил: «Совершенно верно», а в непонятном смущении бормотал: «Да, да, да...» и глядел на него задумчиво и печально; почему-то он стал советовать своему другу оставить водку и пиво, но при этом, как человек деликатный, говорил не прямо, а намеками, рассказывая то про одного батальонного командира, отличного человека, то про полкового священника, славного малого, которые пили и заболели, но, бросив пить, совершенно выздоровели. Два-три раза приходил к Андрею Ефимычу коллега Хоботов; он тоже советовал оставить спиртные напитки и без всякого видимого повода рекомендовал принимать бромистый калий.

В августе Андрей Ефимыч получил от городского головы письмо с просьбой пожаловать по очень важному делу. Придя в назначенное время в управу, Андрей Ефимыч застал там воинского начальника, штатного смотрителя уездного училища, члена управы, Хоботова и еще какого-то полного белокурого господина, которого представили ему как доктора. Этот доктор, с польскою, трудно выговариваемою фамилиею, жил в тридцати верстах от города, на конском заводе, и был теперь в городе проездом.

— Тут заявленьице по вашей части-с, — обратился член управы к Андрею Ефимычу после того, как все поздоровались и сели за стол. — Вот Евгений Федорыч говорят, что аптеке тесновато в главном корпусе и что ее надо бы перевести в один из флигелей. Оно, конечно, это ничего, перевести можно, но главная причина — флигель ремонту захочет.

— Да, без ремонта не обойтись, — сказал Андрей Ефимыч, подумав. — Если, например, угловой флигель приспособить для аптеки, то на это, полагаю, понадобится minimum рублей пятьсот. Расход непроизводительный.

Немного помолчали.

— Я уже имел честь докладывать десять лет назад, — продолжал Андрей Ефимыч тихим голосом, — что эта больница в настоящем ее виде является для города роскошью не по средствам. Строилась она в сороковых годах, но ведь тогда были не те средства. Город слишком много затрачивает на ненужные постройки и лишние должности. Я думаю, на эти деньги можно было бы, при других порядках, содержать две образцовые больницы.

— Так вот и давайте заводить другие порядки! — живо сказал член управы.

— Я уже имел честь докладывать: передайте медицинскую часть в ведение земства.

— Да, передайте земству деньги, а оно украдет, — засмеялся белокурый доктор.

— Это как водится, — согласился член управы и тоже засмеялся.

Андрей Ефимыч вяло и тускло посмотрел на белокурого доктора и сказал:

— Надо быть справедливым.

Опять помолчали. Подали чай. Воинский начальник, почему-то очень смущенный, через стол дотронулся до руки Андрея Ефимыча и сказал:

— Совсем вы нас забыли, доктор. Впрочем, вы монах: в карты не играете, женщин не любите. Скучно вам с нашим братом.

Все заговорили о том, как скучно порядочному человеку жить в этом городе. Ни театра, ни музыки, а на последнем танцевальном вечере в клубе было около двадцати дам и только два кавалера. Молодежь не танцует, а все время толпится около буфета или играет в карты. Андрей Ефимыч медленно и тихо, ни на кого не глядя, стал говорить о том, как жаль, как глубоко жаль, что горожане тратят свою жизненную энергию, свое сердце и ум на карты и сплетни, а не умеют и не хотят проводить время в интересной беседе и в чтении, не хотят пользоваться наслаждениями, какие дает ум. Только один ум интересен и замечательен, все же остальное мелко и низменно. Хоботов внимательно слушал своего коллегу и вдруг спросил:

— Андрей Ефимыч, какое сегодня число?

Получив ответ, он и белокурый доктор тоном экзаменаторов, чувствующих свою неумелость, стали спрашивать у Андрея Ефимыча, какой сегодня день, сколько дней в году и правда ли, что в палате № 6 живет замечательный пророк.

В ответ на последний вопрос Андрей Ефимыч покраснел и сказал:

— Да, это больной, но интересный молодой человек.

Больше ему не задавали никаких вопросов.

Когда он в передней надевал пальто, воинский начальник положил руку ему на плечо и сказал со вздохом: — Нам, старикам, на отдых пора!

Выйдя из управы, Андрей Ефимыч понял, что это была комиссия, назначенная для освидетельствования его умственных способностей. Он вспомнил вопросы, которые задавали ему, покраснел, и почему-то теперь первый раз в жизни ему стало горько, жаль медицину.

«Боже мой, — думал он, вспоминая, как врачи только что исследовали его, — ведь они так недавно слушали психиатрию, держали экзамен, — откуда же это круглое невежество? Они понятия не имеют о психиатрии!»

И в первый раз в жизни он почувствовал себя оскорбленным и рассерженным.

В тот же день вечером у него был Михаил Аверьяныч. Не здороваясь, почтмейстер подошел к нему, взял его за обе руки и сказал взволнованным голосом:

— Дорогой мой, друг мой, докажите мне, что вы верите в мое искреннее расположение и считаете меня своим другом... Друг мой! — И, мешая говорить Андрею Ефимычу, он продолжал, волнуясь: — Я люблю вас за образованность и благородство души. Слушайте меня, мой дорогой. Правила науки обязывают докторов скрывать от вас правду, но я по военному режу правду-матку: вы нездоровы! Извините меня, мой дорогой, но это правда, это давно уже заметили все окружающие. Сейчас мне доктор Евгений Федорыч говорил, что для пользы вашего здоровья вам необходимо отдохнуть и развлечься. Совершенно верно! Превосходно! На сих днях я беру отпуск и уезжаю понюхать другого воздуха. Докажите же, что вы мне друг, поедem вместе! Поедем, тряхнем стариной.

— Я чувствую себя совершенно здоровым, — сказал Андрей Ефимыч, подумав. — Ехать же не могу. Позвольте мне как-нибудь иначе доказать вам свою дружбу.

Ехать куда-то, неизвестно зачем, без книг, без Дарьюшки, без пива, резко нарушить порядок жизни, установившийся за двадцать лет, — такая идея в первую минуту показалась ему дикою и фантастическою. Но он вспомнил разговор, бывший в управе, и тяжелое настроение, какое он испытал, возвращаясь из управы домой, и мысль уехать ненадолго из города, где глупые люди считают его сумасшедшим, улыбнулась ему.

— А вы, собственно, куда намерены ехать? — спросил он.

— В Москву, в Петербург, в Варшаву... В Варшаве я провел пять счастливейших лет моей жизни. Что за город изумительный! Едемте, дорогой мой!

### ХІІІ

Через неделю Андрею Ефимычу предложили отдохнуть, то есть подать в отставку, к чему он отнесся равнодушно, а еще через неделю он и Михаил Аверьяныч уже сидели в почтовом тарантасе и ехали на ближайшую железнодорожную станцию. Дни были прохладные, ясные, с голубым небом и с прозрачною далью. Двести верст до станции проехали в двое суток и по пути два раза ночевали. Когда на почтовых станциях подавали к чаю дурно вымытые стаканы или долго запрягали лошадей, то Михаил Аверьяныч багровел, трясся всем телом и кричал: «Замолчать! не рассуждать!» А сидя в тарантасе, он, не переставая ни на минуту, рассказывал о своих поездках по Кавказу и Царству Польскому. Сколько было приключений, какие встречи! Он говорил громко и при этом делал такие удивленные глаза, что можно было подумать, что он лгал. Вдобавок, рассказывая, он дышал в лицо Андрею Ефимычу и хохотал ему в ухо. Это стесняло доктора и мешало ему думать и сосредоточиться.

По железной дороге ехали из экономии в третьем классе, в вагоне для некурящих. Публика наполовину была чистая. Михаил Аверьяныч скоро со всеми перезнакомился и, переходя от скамьи к скамье, громко говорил, что не следует ездить по этим возмутительным дорогам. Кругом мошенничество! То ли дело верхом на коне: отмахнешь в один день сто верст и потом чувствуешь себя здоровым и свежим. А неурожаи у нас оттого, что осушили Пинские болота. Вообще беспорядки страшные. Он горячился, говорил громко и не давал говорить другим. Эта бесконечная болтовня вперемежку с громким хохотом и выразительными жестами утомила Андрея Ефимыча.

«Кто из нас обоих сумасшедший? — думал он с досадой. — Я ли, который стараюсь ничем не беспокоить пассажиров, или этот эгоист, который думает, что он здесь умнее и интереснее всех, и оттого никому не дает покоя?»

В Москве Михаил Аверьяныч надел военный сюртук без пагонов и панталоны с красными кантами. На улице он ходил в военной фуражке и в шинели, и солдаты отдавали ему честь. Андрею Ефимычу теперь казалось, что это был человек, который из всего барского, которое у него когда-то было, промотал все хорошее и оставил себе одно только дурное. Он любил, чтобы ему служивали, даже когда это было совершенно не нужно. Спички лежали перед ним на столе, и он их видел, но кричал человеку, чтобы тот подал ему спички; при горничной он не стеснялся ходить в одном нижнем белье; лакеям всем без разбора, даже старикам, говорил «ты» и, осердившись, величал их болванами и дураками. Это, как казалось Андрею Ефимычу, было барственно, но гадко.

Прежде всего, Михаил Аверьяныч повел своего друга к Иверской. Он молился горячо, с земными поклонами и со слезами, и, когда кончил, глубоко вздохнул и сказал:

— Хоть и не веришь, но оно как-то покойнее, когда помолишься. Приложитесь, голубчик.

Андрей Ефимыч сконфузился и приложился к образу, а Михаил Аверьяныч вытянул губы и, покачивая головой, помолился шепотом, и опять у него на глазах навернулись слезы. Затем пошли в Кремль и посмотрели там, на царь-пушку и царь-колокол, и даже пальцами их потрогали, полюбовались видом на Замоскворечье, побывали в храме Спасителя и в Румянцевском музее.

Обедали они у Тестова. Михаил Аверьяныч долго смотрел в меню, разглаживая бакены, и сказал тоном гурмана, привыкшего чувствовать себя в ресторанах как дома:

— Посмотрим, чем вы нас сегодня покормите, ангел!

### ХІV

Доктор ходил, смотрел, ел, пил, но чувство у него было одно: досада на Михаила Аверьяныча. Ему хотелось отдохнуть от друга, уйти от него, спрятаться, а друг считал своим долгом не отпускать его ни на шаг от себя и доставлять ему возможно больше раз-



влечений. Когда не на что было смотреть, он развлекал его разговорами. Два дня терпел Андрей Ефимыч, но на третий объявил своему другу, что он болен и хочет остаться на весь день дома. Друг сказал, что в таком случае и он остается. В самом деле, надо отдохнуть, а то этак ног не хватит. Андрей Ефимыч лег на диван, лицом к спинке, и, стиснув зубы, слушал своего друга, который горячо уверял его, что Франция рано или поздно непременно разобьет Германию, что в Москве очень много мошенников и что по наружному виду лошади нельзя судить о ее достоинствах. У доктора начались шум в ушах и сердцебиение, но попросить друга уйти или помолчать он из деликатности не решался. К счастью, Михаилу Аверьянычу наскучило сидеть в номере, и он после обеда ушел прогуляться.

Оставшись один, Андрей Ефимыч предался чувству отдыха. Как приятно лежать неподвижно на диване и сознавать, что ты один в комнате! Истинное счастье невозможно без одиночества. Падший ангел изменил богу, вероятно, потому, что захотел одиночества, которого не знают ангелы. Андрей Ефимыч хотел думать о том, что он видел и слышал в последние дни, но Михаил Аверьяныч не выходил у него из головы.

«А ведь он взял отпуск и поехал со мной из дружбы, из великодушия, — думал доктор с досадой. — Хуже нет ничего, как эта дружеская опека. Ведь вот, кажется, и добр, и великодушен, и весельчак, а скучен. Нестерпимо скучен. Так же вот бывают люди, которые всегда говорят одни только умные и хорошие слова, но чувствуешь, что они тупые люди».

В следующие затем дни Андрей Ефимыч сказывался больным и не выходил из номера. Он лежал лицом к спинке дивана и томился, когда друг развлекал его разговорами, или же отдыхал, когда друг отсутствовал. Он досадовал на себя за то, что поехал, и на друга, который с каждым днем становился все болтливее и развязнее; настроить свои мысли на серьезный, возвышенный лад ему никак не удавалось.

«Это меня пробирает действительность, о которой говорил Иван Дмитрич, — думал он, сердясь на свою мелочность. — Впрочем, вздор... Приеду домой — и все пойдет по старому...»

И в Петербурге то же самое: он по целым дням не выходил из номера, лежал на диване и вставал только затем, чтобы выпить пива.

— Михаил Аверьяныч все время торопил ехать в Варшаву.

— Дорогой мой, зачем я туда поеду? — говорил Андрей Ефимыч умоляющим голосом. — Поезжайте одни, а мне позвольте ехать домой! Прошу вас!

— Ни под каким видом! — протестовал Михаил Аверьяныч. — Это изумительный город. В нем я провел пять счастливейших лет моей жизни!

У Андрея Ефимыча не хватило характера настоять на своем, и он скрепя сердце поехал в Варшаву. Тут он не выходил из номера, лежал на диване и злился на себя, на друга и на лакеев, которые упорно отказывались понимать по-русски, а Михаил Аверьяныч, по обыкновению, здоровый, бодрый и веселый, с утра до вечера гулял по городу и разыскивал своих старых знакомых. Несколько раз он не ночевал дома. После одной ночи, проведенной неизвестно где, он вернулся домой рано утром в сильно возбужденном состоянии, красный и непричесанный. Он долго ходил из угла в угол, что-то бормоча про себя, потом остановился и сказал:

— Честь прежде всего!

Походив еще немного, он схватил себя за голову и произнес трагическим голосом:

— Да, честь прежде всего! Будь проклята минута, когда мне впервые пришлось в голову ехать в этот Вавилон! Дорогой мой, — обратился он к доктору, — презирайте меня: я проигрался! Дайте мне пятьсот рублей!

Андрей Ефимыч отсчитал пятьсот рублей и молча отдал их своему другу. Тот, все еще багровый от стыда и гнева, бессвязно произнес какую-то ненужную клятву, надел фуражку и вышел. Вернувшись часа через два, он повалился в кресло, громко вздохнул и сказал:

— Честь спасена! Едемте, мой друг! Ни одной минуты я не желаю остаться в этом

проклятом городе. Мошенники! Австрийские шпионы!

Когда приятели вернулись в свой город, был уже ноябрь и на улицах лежал глубокий снег. Место Андрея Ефимыча занимал доктор Хоботов; он жил еще на старой квартире в ожидании, когда Андрей Ефимыч приедет и очистит больничную квартиру. Некрасивая женщина, которую он называл своей кухаркой, уже жила в одном из флигелей.

По городу ходили новые больничные сплетни. Говорили, что некрасивая женщина поссорилась со зрителем, и этот будто бы ползал перед нею на коленях, прося прощения. Андрею Ефимычу в первый же день по приезде пришлось отыскивать себе квартиру.

— Друг мой, — сказал ему робко почтмейстер, — извините за нескромный вопрос: какими средствами вы располагаете?

Андрей Ефимыч молча сосчитал свои деньги и сказал:

— Восемьдесят шесть рублей.

— Я не о том спрашиваю, — проговорил в смущении Михаил Аверьяныч, не поняв доктора. — Я спрашиваю, какие у вас средства вообще?

— Я же и говорю вам: восемьдесят шесть рублей... Больше у меня ничего нет.

Михаил Аверьяныч считал доктора честным и благородным человеком, но все-таки подозревал, что у него есть капитал, по крайней мере, тысяч в двадцать. Теперь же, узнав, что Андрей Ефимыч нищий, что ему нечем жить, он почему-то вдруг заплакал и обнял своего друга.

## XV

Андрей Ефимыч жил в трехкомнатном домике мещанки Беловой. В этом домике было только три комнаты, не считая кухни. Две из них, с окнами на улицу, занимал доктор, а в третьей и в кухне жили Дарьюшка и мещанка с тремя детьми. Иногда к хозяйке приходил ночевать любовник, пьяный мужик, бушевавший по ночам и наводивший на детей и на Дарьюшку ужас. Когда он приходил и, усевшись на кухне, начинал требовать водки, всем становилось очень тесно, и доктор из жалости брал к себе плачущих детей, укладывал их у себя на полу, и это доставляло ему большое удовольствие.

Вставал он по-прежнему в восемь часов и после чаю садился читать свои старые книги и журналы. На новые у него уже не было денег. Оттого ли, что книги были старые, или, быть может, от перемены обстановки, чтение уже не захватывало его глубоко и утомляло. Чтобы не проводить времени в праздности, он составлял подробный каталог своим книгам и приклеивал к их корешкам билетки, и эта механическая, кропотливая работа казалась ему интереснее, чем чтение. Однообразная кропотливая работа каким-то непонятным образом убаюкивала его мысли, он ни о чем не думал, и время проходило быстро. Даже сидеть в кухне и чистить с Дарьюшкой картофель или выбирать сор из гречневой крупы ему казалось интересно. По субботам и воскресеньям он ходил в церковь. Стоя около стены и зажмурив глаза, он слушал пение и думал об отце, о матери, об университете, о религиях; ему было покойно, грустно, и потом, уходя из церкви, он жалел, что служба так скоро кончилась.

Он два раза ходил в больницу к Ивану Дмитричу, чтобы поговорить с ним. Но в оба раза Иван Дмитрич был необыкновенно возбужден и зол; он просил оставить его в покое, так как ему давно уже надоела пустая болтовня, и говорил, что у проклятых подлых людей он за все страдания просит только одной награды — одиночного заключения. Неужели даже в этом ему отказывают? Когда Андрей Ефимыч прощался с ним в оба раза и желал покойной ночи, то он огрызался и говорил: — К черту!

И Андрей Ефимыч не знал теперь, пойти ему в третий раз или нет. А пойти хотелось.

Прежде в послеобеденное время Андрей Ефимыч ходил по комнатам и думал, теперь же он от обеда до вечернего чая лежал на диване лицом к спинке и предавался мелочным мыслям, которых никак не мог побороть. Ему было обидно, что за его больше чем двадца-

тилетнюю службу ему не дали ни пенсии, ни единовременного пособия. Правда, он служил нечестно, но ведь пенсию получают все служащие без различия, честны они или нет. Современная справедливость и заключается именно в том, что чинами, орденами и пенсиями награждаются не нравственные качества и способности, а вообще служба, какая бы она ни была. Почему же он один должен составлять исключение? Денег у него совсем не было. Ему было стыдно проходить мимо лавочки и глядеть на хозяйку. За пиво должны уже тридцать два рубля. Мещанке Беловой тоже должны. Дарьюшка потихоньку продает старые платья и книги и лжет хозяйке, что скоро доктор получит очень много денег.

Он сердился на себя за то, что истратил на путешествие тысячу рублей, которая у него была скоплена. Как бы теперь пригодилась эта тысяча! Ему было досадно, что его не оставляют в покое люди. Хоботов считал своим долгом изредка навещать больного коллегу. Все было в нем противно Андрею Ефимычу: и сытое лицо, и дурной, снисходительный тон, и слово «коллега», и высокие сапоги; самое же противное было то, что он считал своею обязанностью лечить Андрея Ефимыча и думал, что в самом деле лечит. В каждое свое посещение он приносил склянку с бромистым калием и пилюли из ревеня.

И Михаил Аверьяныч тоже считал своим долгом навещать друга и развлекать его. Всякий раз он входил к Андрею Ефимычу с напускною развязностью, принужденно хохотал и начинал уверять его, что он сегодня прекрасно выглядит и что дела, слава богу, идут на поправку, и из этого можно было заключить, что положение своего друга он считал безнадежным. Он не выплатил еще своего варшавского долга и был удручен тяжелым стыдом, был напряжен и потому старался хохотать громче и рассказывать смешнее. Его анекдоты и рассказы казались теперь бесконечными и были мучительны и для Андрея Ефимыча, и для него самого.

В его присутствии Андрей Ефимыч ложился обыкновенно на диван лицом к стене и слушал, стиснув зубы; на душу его пластами ложилась накипь, и после каждого посещения друга он чувствовал, что накипь эта становится все выше и словно подходит к горлу.

Чтобы заглушить мелочные чувства, он спешил думать о том, что и он сам, и Хоботов, и Михаил Аверьяныч должны рано или поздно погибнуть, не оставив в природе даже отпечатка. Если вообразить, что через миллион лет мимо земного шара пролетит в пространстве какой-нибудь дух, то он увидит только глину и голые утесы. Все — и культура, и нравственный закон — пропадет и даже лопухом не порастет. Что же значит стыд перед лавочником, ничтожный Хоботов, тяжелая дружба Михаила Аверьяныча? Все это вздор и пустяки.

Но такие рассуждения уже не помогали. Едва он воображал земной шар через миллион лет, как из-за голого утеса показывался Хоботов в высоких сапогах или напряженно хохочущий Михаил Аверьяныч и даже слышался стыдливый шепот: «А варшавский долг, голубчик, возвращу на этих днях... Непременно».

## XVI

Однажды Михаил Аверьяныч пришел после обеда, когда Андрей Ефимыч лежал на диване. Случилось так, что в это же время явился и Хоботов с бромистым калием. Андрей Ефимыч тяжело поднялся, сел и уперся обеими руками о диван. А сегодня, дорогой мой, — начал Михаил Аверьяныч, — у вас цвет лица гораздо лучше, чем вчера. Да вы молодцом! Ей-богу, молодцом!

— Пора, пора поправляться, коллега, — сказал Хоботов, зевая. — Небось, вам самим надоела эта канитель.

— И поправимся! — весело сказал Михаил Аверьяныч. — Еще лет сто жить будем! Так-тось!

— Сто не сто, а на двадцать еще хватит, — утешал Хоботов. — Ничего, ничего, коллега, не унывайте... Будет вам тень наводить.

— Мы еще покажем себя, — захохотал Михаил Аверьяныч и похлопал друга по колену. — Мы еще покажем! Будущим летом, бог даст, махнем на Кавказ и весь его верхом объедем — гоп! гоп! гоп! А с Кавказа вернемся, гляди, чего доброго, на свадьбе гулять будем. — Михаил Аверьяныч лукаво подмигнул глазом. — Женим вас, дружка милого... женим...

Андрей Ефимыч вдруг почувствовал, что накипь подходит к горлу; у него страшно забилося сердце.

— Это пошло! — сказал он, быстро вставая и отходя к окну. — Неужели вы не понимаете, что говорите пошлости?

Он хотел продолжать мягко и вежливо, но против воли вдруг сжал кулаки и поднял их выше головы.

— Оставьте меня! — крикнул он не своим голосом, багровея и дрожа всем телом. — Вон! Оба вон, оба!

Михаил Аверьяныч и Хоботов встали и уставились на него сначала с недоумением, потом со страхом.

— Оба вон! — продолжал кричать Андрей Ефимыч. — Тупые люди! Глупые люди! Не нужно мне ни дружбы, ни твоих лекарств, тупой человек! Пошлость! Гадость!

Хоботов и Михаил Аверьяныч, растерянно переглядываясь, попяtilись к двери и вышли в сени. Андрей Ефимыч схватил склянку с бромистым калием и швырнул им вслед; склянка со звоном разбилась о порог.

— Убирайтесь к черту! — крикнул он плачущим голосом, выбегая в сени. — К черту!

По уходе гостей Андрей Ефимыч, дрожа как в лихорадке, лег на диван и долго еще повторял:

— Тупые люди! Глупые люди!

Когда он успокоился, то прежде всего ему пришло на мысль, что бедному Михаилу Аверьянычу теперь, должно быть, страшно стыдно и тяжело на душе и что все это ужасно. Никогда раньше не случалось ничего подобного. Где же ум и такт? Где уразумение вещей и философское равнодушие?

Доктор всю ночь не мог уснуть от стыда и досады на себя, а утром, часов в десять, отправился в почтовую контору и извинился перед почтмейстером.

— Не будем вспоминать о том, что произошло, — сказал со вздохом растроганный Михаил Аверьяныч, крепко пожимая ему руку. — Кто старое помянет, тому глаз вон. Любавкин! — вдруг крикнул он так громко, что все почтальоны и посетители вздрогнули. — Подай стул. А ты подожди! — крикнул он бабе, которая сквозь решетку протягивала к нему заказное письмо. — Разве не видишь, что я занят? Не будем вспоминать старое, — продолжал он нежно, обращаясь к Андрею Ефимычу. — Садитесь, покорнейше прошу, мой дорогой.

Он минуту молча поглаживал себе колени и потом сказал:

— У меня и в мыслях не было обижаться на вас. Болезнь не свой брат, я понимаю. Ваш припадок испугал нас вчера с доктором, и мы долго потом говорили о вас. Дорогой мой, отчего вы не хотите серьезно заняться вашей болезнью? Разве можно так? Извините за дружескую откровенность, — зашептал Михаил Аверьяныч, — вы живете в самой неблагоприятной обстановке: теснота, нечистота, ухода за вами нет, лечиться не на что... Дорогой мой друг, умоляем вас вместе с доктором всем сердцем, послушайте нашего совета: ложитесь в больницу! Там и пища здоровая, и уход, и лечение. Евгений Федорович, хотя и моветон, между нами говоря, но сведущий, на него вполне можно положиться. Он дал мне слово, что займется вами.

Андрей Ефимыч был тронут искренним участием и слезами, которые вдруг заблестели на щеках у почтмейстера.

— Уважаемый, не верьте! — зашептал он, прикладывая руку к сердцу. — Не верьте им! Это обман! Болезнь моя только в том, что за двадцать лет я нашел во всем городе одно-

го только умного человека, да и тот сумасшедший. Болезни нет никакой, а просто я попал в заколдованный круг, из которого нет выхода. Мне все равно, я на все готов.

— Ложитесь в больницу, дорогой мой.

— Мне все равно, хоть в яму.

— Дайте, голубчик, слово, что вы будете слушаться во всем Евгения Федорыча.

— Извольте, даю слово. Но, повторяю, уважаемый, я попал в заколдованный круг.

Теперь все, даже искреннее участие моих друзей, клонится к одному — к моей гибели. Я погибаю и имею мужество сознавать это.

— Голубчик, вы выздоровеете.

— К чему это говорить? — сказал Андрей Ефимыч с раздражением. — Редкий человек под конец жизни не испытывает того же, что я теперь. Когда вам скажут, что у вас что-нибудь вроде плохих почек и увеличенного сердца, и вы станете лечиться, или скажут, что вы сумасшедший или преступник, то есть, одним словом, когда люди вдруг обратят на вас внимание, то знайте, что вы попали в заколдованный круг, из которого уже не выйдете. Будете стараться выйти и еще больше заблудитесь. Сдавайтесь, потому что никакие человеческие усилия уже не спасут вас. Так мне кажется.

Между тем у решетки толпилась публика. Андрей Ефимыч, чтобы не мешать, встал и начал прощаться. Михаил Аверьяныч еще раз взял с него честное слово и проводил его до наружной двери.

В тот же день, перед вечером, к Андрею Ефимычу неожиданно явился Хоботов в полушубке и в высоких сапогах и сказал таким тоном, как будто вчера ничего не случилось:

— А я к вам по делу, коллега. Пришел приглашать вас: не хотите ли со мной на консилиум, а?

Думая, что Хоботов хочет развлечь его прогулкой или, в самом деле, дать ему заработать, Андрей Ефимыч оделся и вышел с ним на улицу. Он рад был случаю загладить вчерашнюю вину и помириться и в душе благодарил Хоботова, который даже не заикнулся о вчерашнем и, по-видимому, щадил его. От этого некультурного человека трудно было ожидать такой деликатности.

— А где ваш больной? — спросил Андрей Ефимыч.

— У меня в больнице. Мне уж давно хотелось показать вам... Интереснейший случай.

Вошли в больничный двор и, обойдя главный корпус, направились к флигелю, где помещались умалишенные. И все это почему-то молча. Когда вошли во флигель, Никита, по обыкновению, вскочил и вытянулся.

— Тут у одного произошло осложнение со стороны легких, — сказал вполголоса Хоботов, входя с Андреем Ефимычем в палату. — Вы погодите здесь, а я сейчас. Схожу только за стетоскопом. И вышел.

## XVII

Уже смеркалось. Иван Дмитрич лежал на своей постели, уткнувшись лицом в подушку; паралитик сидел неподвижно, тихо плакал и шевелил губами. Толстый мужик и бывший сортировщик спали. Было тихо.

Андрей Ефимыч сидел на кровати Ивана Дмитрича и ждал. Но прошло с полчаса, и вместо Хоботова вошел в палату Никита, держа в охапке халат, чье-то белье и туфли.

— Пожалуйста одеваться, ваше высокоблагородие, — сказал он тихо. — Вот ваша постелька, пожалуйста сюда, — добавил он, указывая на пустую, очевидно, недавно принесенную, кровать. — Ничего, бог даст, выздоровеете.

Андрей Ефимыч все понял. Он, ни слова не говоря, перешел к кровати, на которую указал Никита, и сел; видя, что Никита стоит и ждет, он разделся догола, и ему стало стыдно. Потом он надел больничное платье; кальсоны были очень короткие, рубаха длин-

на, а от халата пахло копченою рыбой.

— Выздоровеете, бог даст, — повторил Никита.

Он забрал в охапку платье Андрея Ефимыча, вышел и затворил за собой дверь.

«Все равно... — думал Андрей Ефимыч, стыдливо запахиваясь в халат и чувствуя, что в своем новом костюме он похож на арестанта. — Все равно... Все равно, что фрак, что мундир, что этот халат...»

Но как же часы? А записная книжка, что в боковом кармане? А папиросы? Куда Никита унес платье? Теперь, пожалуй, до самой смерти уже не придется надевать брюк, жилета и сапогов. Все это как-то странно и даже непонятно в первое время. Андрей Ефимыч и теперь был убежден, что между домом мещанки Беловой и палатой № 6 нет никакой разницы, что все на этом свете вздор и суета сует, а между тем у него дрожали руки, ноги холодели и было жутко от мысли, что скоро Иван Дмитрич встанет и увидит, что он в халате. Он встал, прошелся и опять сел.

Вот он просидел уже полчаса, час, и ему надоело до тоски; неужели здесь можно прожить день, неделю и даже годы, как эти люди? Ну, вот он сидел, прошелся и опять сел; можно пойти и посмотреть в окно и опять пройти из угла в угол. А потом что? Так и сидеть все время, как истукан, и думать? Нет, это едва ли возможно.

Андрей Ефимыч лег, но тотчас же встал, вытер рукавом со лба холодный пот и почувствовал, что все лицо его запахло копченою рыбой. Он опять прошелся.

— Это какое-то недоразумение... — проговорил он, разводя руками в недоумении. — Надо объясниться, тут недоразумение...

В это время проснулся Иван Дмитрич. Он сел и подпер щеки кулаками. Сплюнул. Потом он лениво взглянул на доктора и, по-видимому, в первую минуту ничего не понял; но скоро сонное лицо его стало злым и насмешливым.

— Ага, и вас засадили сюда, голубчик! — проговорил он сиплым спросонок голосом, зажмурив один глаз. — Очень рад. То вы пили из людей кровь, а теперь из вас будут пить. Превосходно!

— Это какое-то недоразумение... — проговорил Андрей Ефимыч, пугаясь слов Ивана Дмитрича; он пожал плечами и повторил: — Недоразумение какое-то...

Иван Дмитрич опять сплюнул и лег.

— Проклятая жизнь! — проворчал он. — И что горько и обидно, ведь эта жизнь кончится не наградой за страдания, не апофеозом, как в опере, а смертью; придут мужики и потащат мертвого за руки и за ноги в подвал. Брр! Ну, ничего... Зато на том свете будет наш праздник... Я с того света буду являться сюда тенью и пугать этих гадин. Я их посесть заставлю.

Вернулся Мойсейка и, увидев доктора, протянул руку.

— Дай копеечку! — сказал он.

## XVIII

Андрей Ефимыч отошел к окну и посмотрел в поле. Уже становилось темно, и на горизонте с правой стороны восходила холодная, багровая луна. Недалеко от больничного забора, в ста саженьях, не больше, стоял высокий белый дом, обнесенный каменной стеной. Это была тюрьма.

«Вот она действительность!» — подумал Андрей Ефимыч, и ему стало страшно.

Были страшны и луна, и тюрьма, и гвозди на заборе и далекий пламень в костопальном заводе. Сзади послышался вздох. Андрей Ефимыч оглянулся и увидел человека с блестящими звездами и с орденами на груди, который улыбался и лукаво подмигивал глазом. И это показалось страшным.

Андрей Ефимыч уверял себя, что в луне и в тюрьме нет ничего особенного, что и психически здоровые люди носят ордена и что все со временем сгниет и обратится в глину, но

отчаяние вдруг овладело им, он ухватился обеими руками за решетку и изо всей силы потряс ее. Крепкая решетка не поддавалась.

Потом, чтобы не так было страшно, он пошел к постели Ивана Дмитрича и сел.

— Я пал духом, дорогой мой, — пробормотал он, дрожа и утирая холодный пот. — Пал духом.

— А вы пофилософствуйте, — сказал насмешливо Иван Дмитрич.

— Боже мой, боже мой... Да, да... Вы как-то изволили говорить, что в России нет философии, но философствуют все, даже мелюзга. Но ведь от философствования мелюзги никому нет вреда, — сказал Андрей Ефимыч таким тоном, как будто хотел заплакать и разжалобить. Зачем же, дорогой мой, этот злорадный смех? И как философствовать этой мелюзге, если она не удовлетворена? Умному, образованному, гордому, свободолюбивому человеку, подобно божью, нет другого выхода, как идти лекарем в грязный, глупый городишко, и всю жизнь банки, пиявки, горчичники! Шарлатанство, уозость, пошлость! О, боже мой!

— Вы болтаете глупости. Если в лекаря противно, шли бы в министры.

— Никуда, никуда нельзя. Слабы мы, дорогой... Был я равнодушен, бодро и здраво рассуждал, а стоило только жизни грубо прикоснуться ко мне, как я пал духом... протрация... Слабы мы, дрянные мы... И вы тоже, дорогой мой. Вы умны, благородны, с молоком матери всосали благие порывы, но едва вступили в жизнь, как утомились и заболели... Слабы, слабы!

Что-то еще неотвязчивое, кроме страха и чувства обиды, томило Андрея Ефимыча все время с наступления вечера. Наконец он сообразил, что это ему хочется пива и курить.

— Я выйду отсюда, дорогой мой, — сказал он. — Скажу, чтобы сюда огня дали... Не могу так... не в состоянии...

Андрей Ефимыч пошел к двери и отворил ее, но тотчас же Никита вскочил и загородил ему дорогу.

— Куда вы? Нельзя, нельзя! — сказал он. — Пора спать!

— Но я только на минуту, по двору пройтись! — оторопел Андрей Ефимыч.

— Нельзя, нельзя, не приказано. Сами знаете. Никита захлопнул дверь и прислонился к ней спиной.

— Но если я выйду отсюда, что кому сделается от этого? — спросил Андрей Ефимыч, пожимая плечами. — Не понимаю! Никита, я должен выйти! — сказал он дрогнувшим голосом. — Мне нужно!

— Не заводите беспорядков, нехорошо! — сказал наставительно Никита.

— Это черт знает что такое! — вскрикнул вдруг Иван Дмитрич и вскочил. — Какое он имеет право не пускать? Как они смеют держать нас здесь? В законе, кажется, ясно сказано, что никто не может быть лишен свободы без суда! Это насилие! Произвол!

— Конечно, произвол! — сказал Андрей Ефимыч, подбодряемый криком Ивана Дмитрича. — Мне нужно, я должен выйти. Он не имеет права! Отпусти, тебе говорят!

— Слышишь, тупая скотина? — крикнул Иван Дмитрич и постучал кулаком в дверь. — Отвори, а то я дверь выломаю! Живодер!

— Отвори! — крикнул Андрей Ефимыч, дрожа всем телом. — Я требую!

— Поговори еще! — ответил за дверью Никита. — Поговори!

— По крайней мере, поди позови сюда Евгения Федорыча! Скажи, что я прошу его пожаловать... на минуту!

— Завтра они сами придут.

— Никогда нас не выпустят! — продолжал между тем Иван Дмитрич. — Сгноят нас здесь! О господи, неужели же, в самом деле, на том свете нет ада, и эти негодяи будут прощены? Где же справедливость? Отвори, негодяй, я задыхаюсь! — крикнул он сиплым голосом и навалился на дверь. — Я размозжу себе голову! Убийцы!

Никита быстро отворил дверь, грубо, обеими руками и коленом отпихнул Андрея Ефимыча, потом размахнулся и ударил его кулаком по лицу. Андрею Ефимычу показалось,

что громадная соленая волна накрыла его с головой и потащила к кровати; в самом деле, во рту было солоно: вероятно, из зубов пошла кровь. Он, точно желая выплыть, замахал руками и ухватился за чью-то кровать, и в это время почувствовал, что Никита два раза ударил его в спину.

Громко вскрикнул Иван Дмитрич. Должно быть, и его били.

Затем все стихло. Жидкий лунный свет шел сквозь решетки, и на полу лежала тень, похожая на сеть. Было страшно. Андрей Ефимыч лег и притаил дыхание; он с ужасом ждал, что его ударят еще раз. Точно кто взял серп, воткнул в него и несколько раз повернул в груди и в кишках. От боли он укусил подушку и стиснул зубы, и вдруг в голове его, среди хаоса, ясно мелькнула страшная, невыносимая мысль, что такую же точно боль должны были испытывать годами, изо дня в день эти люди, казавшиеся теперь при лунном свете черными тенями. Как могло случиться, что в продолжение больше чем двадцати лет он не знал и не хотел знать этого? Он не знал, не имел понятия о боли, значит, он не виноват, но совесть, такая же несговорчивая и грубая, как Никита, заставила его похолодеть от затылка до пят. Он вскочил, хотел крикнуть изо всех сил и бежать скорее, чтоб убить Никиту, потом Хоботова, смотрителя и фельдшера, потом себя, но из груди не вышло ни одного звука, и ноги не повиновались; задыхаясь, он рванул на груди халат и рубаху, порвал и без чувств повалился на кровать.

## XIX

Утром на другой день у него болела голова, гудело в ушах и во всем теле чувствовалось недомогание. Вспоминать о вчерашней своей слабости ему не было стыдно. Он был вчера малодушен, боялся даже луны, искренне высказывал чувства и мысли, каких раньше и не подозревал у себя. Например, мысли о неудовлетворенности философствующей мелюзги. Но теперь ему было все равно. Он не ел, не пил, лежал неподвижно и молчал.

«Мне все равно, — думал он, когда ему задавали вопросы. — Отвечать не стану... Мне все равно».

После обеда пришел Михаил Аверьяныч и принес четвертку чаю и фунт мармеладу. Дарьюшка тоже приходила и целый час стояла около кровати с выражением тупой скорби на лице. Посетил его и доктор Хоботов. Он принес склянку с бромистым калием и приказал Никите покурить в палате чем-нибудь.

Под вечер Андрей Ефимыч умер от апоплексического удара. Сначала он почувствовал потрясающий озноб и тошноту; что-то отвратительное, как казалось, проникая во все тело, даже в пальцы, потянуло от желудка к голове и залило глаза и уши. Позеленело в глазах. Андрей Ефимыч понял, что ему пришел конец, и вспомнил, что Иван Дмитрич, Михаил Аверьяныч и миллионы людей верят в бессмертие. А вдруг оно есть? Но бессмертия ему не хотелось, и он думал о нем только одно мгновение. Стадо оленей, необыкновенно красивых и грациозных, о которых он читал вчера, пробежало мимо него; потом баба протянула к нему руку с заказным письмом... Сказал что-то Михаил Аверьяныч. Потом все исчезло, и Андрей Ефимыч забылся навеки.

Пришли мужики, взяли его за руки и за ноги и отнесли в часовню. Там он лежал на столе с открытыми глазами, и луна ночью освещала его. Утром пришел Сергей Сергеич, набожно помолился на распятие и закрыл своему бывшему начальнику глаза.

Через день Андрея Ефимыча хоронили. На похоронах были только Михаил Аверьяныч и Дарьюшка.

1892



## **В.В. Вересаев** (1867 – 1945)



**Викентий Викентьевич Вересаев** (наст. фамилия Смидович) родился в Туле, в семье врача. Большую роль в становлении общественного сознания и этических принципов Вересаева сыграл его отец, человек разносторонне образованный, пользовавшийся в Туле популярностью и как врач, и как общественный деятель. В гимназические годы Вересаев начал писать стихи. Он получил блестящее образование, окончив историко-филологический факультет Петербургского университета и медицинский факультет Дерптского университета. В Донбассе Вересаев приобрел первый опыт практической врачебной деятельности, еще студентом участвуя в борьбе с эпидемией холеры, что отразилось потом и в его литературных трудах.

Широкую известность Вересаеву принесло произведение «Записки врача». Книга была задумана в 1892 году как «Дневник студента-медика», работал же Вересаев над ней позже – в 1895-1900 гг. «Записки» вызвали отклик среди широких кругов читателей и враждебное отношение со стороны многих врачей, так как Вересаев открыто затронул больные стороны медицины. Герой книги – только что начавший практику молодой врач, перед которым постоянно раскрываются противоречия общественной и частной жизни людей. По мысли писателя, судьбы медицины и науки в целом, практические ее результаты непосредственно связаны с условиями общественно-политической жизни страны. В повести «Без дороги» Вересаев пишет, что «деревня действительно гибнет и вырождается, не зная врачебной помощи. Но неужели причина этого лежит в том, что у нас мало врачей?» Автор призывает к общественной работе, которая помогла бы изменить существующие социальные отношения: «...врач, - если он врач, а не чиновник врачебного дела, - должен прежде всего бороться за устранение тех условий, которые делают его деятельность бессмысленною и бесплодною; он должен быть общественным деятелем в широком смысле слова...».

*Произведение печатается по изданию: Вересаев В.В. Собрание сочинений в 4-х томах. М., Изд-во «Правда», 1985. Том 1.*

### **Записки врача** (в сокращении)

#### **Из предисловия к двенадцатому изданию**

Двадцать семь лет прошло со времени выхода в свет этой книги; в промежуток этих лет легли события, глубокою пропастью отделившие вопросы и интересы прежние от нынешних. А книга продолжает требовать все новых изданий: диспуты, посвященные ее обсуждению, проходят при переполненных аудиториях. Очевидно, вопросы, задеваемые книгою, не отжили своего срока, продолжают интересовать и волновать читателей, требовать своего разрешения, — хотя, быть может, и в несколько иных плоскостях, чем прежде.

На некоторых из этих вопросов я считал бы нужным тут остановиться.

И на диспутах и в частных разговорах мне нередко приходится в последние годы слышать такого рода возражения:

— Вы выказываете слишком много заботы об отдельной личности. Это — индиви-

дуализм. Надо стоять на точке зрения коллектива. Всякое серьезное, важное для жизни дело требует жертв. Возможна ли, напр., революция без жертв? Нам нет дела до блага отдельных лиц. Важно благо коллектива.

Так сейчас говорят очень многие.

Есть два рода коллективизма: коллективизм пчел, муравьев, стадных животных, первобытных людей — и тот коллективизм, к которому стремимся мы. При первом коллективизме личность, особь — полнейшее ничто, она никого не интересует. Трутней в ульях кормят до тех пор, пока они нужны для оплодотворения матки; после этого их беспощадно убивают или выгоняют из улья, осуждая на голодную смерть. Стадные животные равнодушно бросают больных членов стада и уходят дальше. Так же поступали дикие кочевые племена с заболевшими или одряхлевшими сородичами. Можем ли мы принять такой коллективизм? Конечно, нет. Мы прекрасно понимаем, что коллектив сам по себе есть не иное что, как отвлечение. У него нет собственного сознания, собственного чувствилища. Радоваться, наслаждаться, страдать он способен только в сознании членов коллектива. Главный смысл и главная цель нашего коллективизма заключается «как раз в гарантировании для личности возможностей широчайшего ее развития. В первобытно-людском и животном коллективе поприще интересов особи есть не только право коллектива, но даже его обязанность. Для нас это — только печальная необходимость, и чем будет ее меньше, тем лучше. Нам покажется диким отвернуться от старика, всю свою жизнь проработавшего для коллектива и теперь ставшего ему ненужным. Он для нас — не отработавшая в машине гайка, которую за ненадобностью можно выбросить в канаву, он для нас — брат, товарищ, и мы должны для него сделать все, что можем.

Прямо поражает легкомыслие, с каким сейчас относятся к этому вопросу многие. «Никакое серьезное дело не обходится без жертв. Какая бы без жертв возможна была революция?» Верно. Но ведь в революции мы боремся против врага. Не мы его, так он нас. А попробуйте, соберите самых закаленных революционеров, твердо убежденных в необходимости жертв во всяком серьезном деле, — соберите их и скажите:

— Если вы придете в больницу, то, может быть, мы будем вас лечить, а может быть, отдадим, в руки молодому, неопытному врачу, который на вас произведет первую свою операцию. Вашей жене или дочери мы, может быть, привьем в экспериментальных целях сифилис. Над вашим ребенком испробуем новое, малоисследованное средство. Ничего не поделаешь. Медицина без этого не может развиваться. Всякое серьезное дело требует жертв.

Попробуйте, скажите так, — и вы увидите, что вам ответят закаленные революционеры, вполне убежденные в необходимости жертв во всяком серьезном деле.

Случайно в книге моей оказался незатронутым очень острый в нашем деле вопрос о врачебной тайне. Следует о нем высказаться хоть бы здесь.

Раньше в вопросе о врачебной тайне у нас царила точка зрения, которую энергично отстаивал профессор В.А. Манасеин в редактировавшейся им газете «Врач». Газета эта сыграла огромную положительную роль в общественном и моральном воспитании русских врачей, заслуги Манасеина в этом отношении неопределимы. Однако в вопросе о Врачебной тайне он занимал позицию совершенно антиобщественную. Манасеин стоял за абсолютное сохранение врачебной тайны при всех обстоятельствах. Он мотивировал это тем соображением, что только при полнейшей уверенности в сохранении его тайны больной будет говорить врачу всю о себе правду.

Манасеин в этой области не останавливался перед самыми крайними выводами. Помню два таких примера.

К частному главному врачу обратился за помощью железнодорожный машинист. Исследуя его, врач попутно открыл, что больной страдает дальтонизмом. Это — недостаток зрения, при котором человек не может различать некоторых цветов, чаще всего не может отличать зеленого цвета от красного. Но, как известно, вся железнодорожная сигнализация основана как раз на различении зеленого цвета от красного; зеленый флаг или фонарь знаменует сво-

бодный путь, красный — дает сигнал, что грозит опасность. Врач сообщил машинисту о его болезни и сказал, что ему нужно отказаться от работы машиниста. Больной ответил, что он никакой другой работы не знает и от службы отказаться не может. Что должен был сделать врач? Манасеин отвечал: «Молчать. Виновато железнодорожное управление, что оно не устраивает периодических врачебных осмотров своих служащих. А врач не имеет права выдавать тайн, которые узнал благодаря своей профессии, это — предательство по отношению к больному».

Другой случай — такой. К одному парижскому врачу-профессору обратился за советом жених его дочери. У молодого человека оказался сифилис. Профессор заявил ему, что теперь о браке с его дочерью ему нечего и думать. Молодой человек ответил: «Нет, я все-таки хочу жениться на вашей дочери. А от вас требую сохранения врачебной тайны, которую вы, как врач, не имеете права нарушить». Профессор ответил: «Вы правы, нарушить врачебной тайны я не могу. Но знайте, — при первой же встрече я публично дам вам пощечину. Таким образом, свадьба ваша все равно расстроится». Манасеин с большим удовлетворением приводил в своей газете этот ответ профессора, как остроумный способ разрешения конфликта, казалось бы, неразрешимого. Но ведь тайну нарушает врач не только тогда, когда непосредственно разглашает ее словами, а вообще, когда действует, зная ее, не так, как бы действовал, если бы тайны не знал. Своею угрозою профессор все равно нарушал доверенную ему врачебную тайну.

Для нас точка зрения Манасеина на врачебную тайну представляется совершенно неприемлемою. Где сохранение врачебной тайны грозит вредом обществу или окружающим больным лицам, там не может быть никакой речи о сохранении врачебной тайны. Вопрос о врачебной тайне, безусловно, должен регулироваться соображениями общественной целесообразности.

В настоящее время по вопросу о врачебной тайне у нас царит точка зрения, диаметрально противоположная точке зрения Манасеина. Эту новую точку зрения энергично отстаивает в своих выступлениях наркомздрав Н.А. Семашко. На одном диспуте, состоявшемся в Москве в январе 1928 г., Н.А. Семашко, как сообщают газетные отчеты, говорил, напр., так:

«— Мы держим курс на полное уничтожение врачебной тайны. Врачебной тайны не должно быть. Это вытекает из нашего основного лозунга, что «болезнь — не позор, а несчастье». Но, как и везде, в наш переходный период мы и в эту область вносим поправки, обусловленные бытовыми пережитками. Каждый врач должен сам решать вопрос о пределах этой «тайны».

«Проф. А.И. Абрикосов, — продолжает газетный отчет, — от имени московской профессуры полностью солидаризировался со словами наркома и этим как бы признал вопрос исчерпанным».

Я лично никак не могу признать этим вопрос исчерпанным. Сам вопрос ставится в корне неправильно. Если сохранение врачебной тайны является общественно вредным, то сохранять ее не следует. И в таком случае совершенно безразлично, как смотрит на свою болезнь больной, — как на «позор», или как на «несчастье». Если же сохранение тайны никаким общественным вредом не грозит, то врач обязан сохранять вверенную ему больным тайну, как бы он сам ни смотрел на данную болезнь, — как на «позор», или как на «несчастье».

**9 марта 1928 г., г. Москва**

### **Из предисловия к четырнадцатому изданию**

Прошло тридцать лет с того времени, как предлагаемые записки врача были впервые опубликованы. За этот промежуток произошли огромные изменения как в достижениях врачебной науки, так и в общих условиях деятельности врача в нашей стране. Познание жизни здорового и больного организма продвинулось неизмеримо вперед, горизонты врачебной науки значительно расширились. С другой стороны, то, о чем в прежние времена можно

было мечтать как о далеком будущем, стало теперь наличным фактом, в первую очередь как главная задача медицины встало предупреждение болезней; изменившиеся общественные условия дают врачебной науке возможность не довольствоваться при лечении болезней паллиативами, а устранять самые причины, вызывающие болезнь.

Однако многие из вопросов, затронутых в «Записках», не потеряли своего значения и в настоящее время. Есть ряд положений, в которых между врачом и больным происходят непрекращающиеся недоразумения, предъявляются к медицине требования, которых она еще долго не в состоянии будет удовлетворить, не определены в достаточной мере границы дозволительных опытов на живых людях; подготовка молодых врачей к самостоятельной практической деятельности все еще оставляет желать многого, что выразительно было подчеркнуто в недавнем постановлении Совнаркома. Молодые люди, избирая врачебную профессию, не имеют и отдаленного представления о характере будущей своей деятельности и о качествах, требующихся от врача. Герой моих записок, — конечно, человек, не годящийся во врача. Но таких много. Я знаю немало случаев, когда начинающий, прочитав мои «Записки», отказался от намерения стать врачом. И хорошо сделал. И знаю другие случаи, когда именно чтение моей книги утвердило начинающего в решении избрать профессию врача. У такого — есть то, что нужно для врача.

Я рассказываю в своей книге о различных этапах, через которые проходил мой герой в своем отношении к медицине, — о пережитом им «нигилизме полузнайки», о тяжелых сомнениях и разочарованиях во врачебной науке обманувшей его ожидания, и о конечном приходе к убеждению в могучей силе науки и к горячей вере в нее...»

**20 мая 1935 г., г. Москва**

Я кончил курс на медицинском факультете семь лет назад. Из этого читатель может видеть, чего он вправе ждать от моих записок. Записки мои — это не записки старого, опытного врача, подводящего итоги своим долгим наблюдениям и размышлениям, выработавшего определенные ответы на все сложные вопросы врачебной науки, этики и профессии; это также не записки врача-философа, глубоко проникшего в суть науки и вполне овладевшего ею. Я — обыкновеннейший средний врач, со средним умом и средними знаниями; я сам путаюсь в противоречиях, я решительно не в силах разрешить многие из тех тяжелых, настоятельно требующих решения вопросов, которые возникают предо мною на каждом шагу. Единственное мое преимущество, — что я еще не успел стать человеком профессии и что для меня еще ярки и сильны те впечатления, к которым со временем невольно привыкаешь. Я буду писать о том, что испытывал, знакомясь с медициной, чего я ждал от нее и что она мне дала, буду писать о своих первых самостоятельных шагах на врачебном поприще и о впечатлениях, вынесенных мною из моей практики. Постараюсь писать все, ничего не утаивая, и постараюсь писать искренне.

## I

Я учился в гимназии хорошо, но, как и большинство моих товарищей, науку гимназическую презирал до глубины души. Наука эта была для меня тяжелою и неприятною повинностью, которую для чего-то необходимо было отбыть, но которая сама по себе не представляла для меня решительно никакого интереса; что мне было до того, в каком веке написано «Слово Даниила Заточника», чей сын был Оттон Великий и как будет страдательный залог от «persuadeo tibi» (уверяю тебя, лат.)? Развитие мое шло помимо школы, приобрелись и интересовавшие меня знания.

Все это резко изменилось, когда я поступил в университет. На первых двух курсах медицинского факультета читаются теоретические естественнонаучные предметы — химия, физика, ботаника, зоология, анатомия, физиология. Эти науки давали знание настолько для меня новое и настолько важное, что совершенно завладели мною: все вокруг меня и во мне самом, на что я раньше смотрел глазами дикаря, теперь становилось ясным и понятным: и

меня удивляло, как я мог дожить до двадцати лет, ничем этим не интересуясь и ничего не зная. Каждый день, каждая лекция несли с собою новые для меня «открытия»: я был поражен, узнав, что мясо, то самое мясо, которое я ем в виде бифштекса и котлет, и есть те таинственные «мускулы», которые мне представлялись в виде каких-то клубков сероватых нитей; я раньше думал, что из желудка твердая пища идет в кишки, а жидкая — в почки; мне казалось, что грудь при дыхании расширяется оттого, что в нее какую-то непонятную силою вводится воздух; я знал о законах сохранения материи и энергии, но в душе совершенно не верил в них. Впоследствии мне пришлось убедиться, что и большинство людей имеет не менее младенческое представление обо всем, что находится перед их глазами, и это их не тяготит. Они покраснеют от стыда, если не сумеют ответить, в каком веке жил Людовик XIV, но легко сознаются в незнании того, что такое угар и отчего светится в темноте фосфор.

Что касается анатомии, то часто приходится слышать, какою тяжелою и неприятною стороною ее изучения является необходимость препарировать трупы. Действительно, некоторые из товарищей довольно долго не могли привыкнуть к виду анатомического театра, наполненного ободранными трупами с мутными глазами, оскаленными зубами и скрюченными пальцами; одному товарищу пришлось даже перейти из-за этого на другой факультет: он стал страдать галлюцинациями, и ему казалось по ночам, что из всех углов комнаты к нему ползут окровавленные руки, ноги и головы. Но лично я привык к трупам довольно скоро и с увлечением просиживал целые часы за препаровкою, раскрывавшею передо мною все тайны человеческого тела; в течение семи-восьми месяцев я ревностно занимался анатомией, целиком отдавшись ей, — и за это время взгляд мой на человека как-то удивительно упростился. Я шел по улице, следя за идущим передо мною прохожим, и он был для меня не более, как живым трупом: вот теперь у него сократился *glutaeus maximus*, теперь — *quadriceps femoris*; эта выпуклость на шее обусловлена мускулом *sternocleidomastoideus*; он наклонился, чтобы поднять упавшую тросточку, — это сократились *musculi recti abdominis* и потянули к тазу грудную клетку. Близкие, дорогие мне люди стали в моих глазах как-то двоиться; эта девушка, — в ней столько оригинального и славного, от ее присутствия на душе становится хорошо и светло, а между тем все, составляющее ее, мне хорошо известно, и ничего в ней нет особенного: на ее мозге те же извилины, что и на сотнях виденных мною мозгов, мускулы ее так же насквозь пропитаны жиром, который делает столь неприятным препарирование женских трупов, и вообще в ней нет решительно ничего привлекательного и поэтического.

Еще более сильное впечатление, чем предлагаемые знания, произвел на меня метод, царивший в этих знаниях. Он вел вперед осторожно и неуклонно, не оставляя без тщательной проверки самой ничтожной мелочи, строго контролируя каждый шаг опытом и наблюдением: и то, что в этом пути было пройдено, было пройдено окончательно, возможности не было, что придется воротиться назад. Метод этот так обаятельно действовал на ум потому, что являлся не в виде школьных правил отвлеченной логики, а с необходимостью вытекал из самой сути дела: каждый факт, каждое объяснение факта как будто сами собою твердили золотые слова Бэкона: «*non fingendum aut excogitandum, sed inveniendum, quid natura faciat aut ferat* — не выдумывать, не измышлять, а искать, что делает и несет с собою природа». Можно было не знать даже о существовании логики, — сама наука заставила бы усвоить свой метод успешнее, чем самый обстоятельный трактат о методах; она настолько воспитывала ум, что всякое уклонение от прямого пути в ней же самой, — вроде «непрерывной зародышевой плазмы» Вейсмана или теорий зрения, — прямо резало глаза своею ненаучностью.

На втором курсе подготовительные, теоретические предметы закончились. Я сдал полуплекарский экзамен. Начались занятия в клиниках. Здесь характер получаемых знаний резко изменился. Вместо отвлеченной науки на первый план выдвинулся живой человек; теории воспаления, микроскопические препараты опухолей и бактерий сменились подлинными язвами и ранами. Больные, искалеченные, страдающие люди бесконечною вереницею потя-

нулись перед глазами; легких больных в клиники не принимают,— все это были страдания тяжелые, серьезные. Их обилие и разнообразие произвели на меня ошеломляющее действие; меня поразило, какая существует масса страданий, какое разнообразие самых утонченных, невероятных мук заготовила нам природа, — мук, при одном взгляде на которые на душе становилось жутко.

Вскоре после начала клинических занятий в клинику старших курсов был положен огородник, заболевший столбняком. Мы ходили смотреть его. В палате стояла тишина. Больной был мужик громадного роста, плотный и мускулистый, с загорелым лицом; весь облитый потом, с губами, перекошенными от безумной боли, он лежал на спине, ворочая глазами; при малейшем шуме, при звонке конки на улице или стуке двери внизу больной начинал медленно выгибаться: затылок его сводило назад, челюсти судорожно впивались одна в другую, так что зубы трещали, и страшная, длительная судорога спинных мышц приподнимала его тело с постели; от головы во все стороны расходилось по подушке мокрое пятно от пота. Две недели назад больной работал босиком на огороде и занозил себе большой палец ноги; эта пустячная заноза вызвала то, что я теперь видел.

Ужасно было не только то, что существуют подобные муки; еще ужаснее было то, как легко они приобретаются, как мало гарантирован от них самый здоровый человек. Две недели назад всякий бы позавидовал богатырскому здоровью этого самого огородника... Шел по двору крепкий парень-конюх, поскользнулся и ударился спиной о корыто, — и вот он уже шестой год лежит у нас в клинике: ноги его висят, как плети, больной ими не может двинуть, он мочится и ходит под себя; беспомощный, как грудной ребенок, он лежит так дни, месяцы, годы, лежит до пролежней, и нет надежды, что когда-нибудь воротится прежнее... Вот акцизный чиновник с воспалением седалищного нерва, доведенный страданиями до бешенства, кричит профессору:

— Подлецы вы все, шарлатаны! Да убейте же вы меня, ради создателя,— одного только я у вас прошу!

В хороший летний вечер он посидел на росистой траве...

Каждую минуту, на каждом шагу нас подстерегают опасности: защититься от них невозможно, потому что они слишком разнообразны, бежать некуда, потому что они везде. Само здоровье наше — это не спокойное состояние организма; при глотании, при дыхании в нас ежеминутно проникают мириады бактерий, внутри нашего тела непрерывно образуются самые сильные яды; незаметно для нас все силы нашего организма ведут отчаянную борьбу с вредными веществами и влияниями, и мы никогда не можем считать себя обеспеченными от того, что, может быть, вот в эту самую минуту сил организма не хватило, и наше дело проиграно. И тогда из небольшой царапины развивается рожа, флегмона или гнилокровие, незначительный ушиб ведет к образованию рака или саркомы, легкий бронхит от открытой форточки переходит в чахотку.

Нужны какие-то идеальные, для нашей жизни совершенно необычные условия, чтобы болезнь стала действительно «случайностью»; при настоящих же условиях болеют все: бедные болеют от нужды, богатые — от довольства; работающие — от напряжения, бездельники — от праздности; неосторожные — от неосторожности, осторожные — от осторожности. Во всех людях с самых ранних лет гнездится разрушение, организм начинает разлагаться, даже не успев еще развиться. В Бостоне были исследованы зубы у четырех тысяч школьников, и оказалось, что здоровые зубы, особенно у детей старше десяти лет, составляют исключение; в Баварии среди пятисот учеников народных школ было найдено лишь трое с совершенно здоровыми зубами. Д-р Бабес вскрыл в будапештской больнице сто детских трупов, и у семидесяти четырех из них он нашел в бронхиальных железах туберкулезные палочки; а все эти сто детей умерли от различных не туберкулезных болезней... Уж дети встают после сна с «заспанными», гноящимися глазами; уже ребенком каждый страдает хроническим насморком и не может обойтись без носового платка, — всех прямо удивила бы мысль, что здоровому человеку носовой платок совершенно не нужен. Что же касается достигших зрелости

женщин, то они уже нормально, физиологически осуждены каждый месяц болеть в течение нескольких дней.

С новым и странным чувством я приглядывался к окружавшим меня людям, и меня все больше поражало, как мало среди них здоровых; почти каждый чем-нибудь да был болен. Мир начинал казаться мне одною громадною, сплошною больницею. Да, это становилось все несомненное: нормальный человек — это человек больной; здоровый представляет собою лишь счастливое уродство, резкое уклонение от нормы.

Когда я в первый раз приступил к изучению теоретического акушерства, я, раскрыв книгу, просидел за нею всю ночь напролет; я не мог от нее оторваться; подобный тяжелому, горячечному кошмару, развертывался передо мною «нормальный», «физиологический» процесс родов. Брюшные органы, скомканные и придавленные беременною маткою, типически-болезненные родовые потуги, весь этот ужасный, кровавый путь, который ребенок проходит при родах, это невероятное несоответствие размеров — все здесь было чудовищно ненормально, вплоть до тех рубцов на животе, по которым узнается хоть раз рожавшая женщина... Помню хорошо, как сегодня, и первые роды, на которых я присутствовал. Роженица была молодая женщина, жена мелкого почтового чиновника, второродящая... Она лежала на спине, с обнаженным громадным животом, - беспомощно уронив руки, с выступившими на лбу капельками пота; когда ее схватывали потуги, она сгибала колени и стискивала зубы, стараясь сдерживать стоны, и все-таки стонала.

— Ну, ну, сударыня, потерпите немножко! — невозмутимо-спокойным голосом уговаривал ее ассистент.

Ночь была бесконечно длинна. Роженица уже перестала сдерживаться; она стонала на всю палату, всхлипывая, дрожа и заламывая пальцы; стоны отдавались в коридоре и замирали где-то далеко под сводами. После одного особенно сильного приступа потуг больная схватила ассистента за руку; бледная, с измученным лицом, она смотрела на него жалким, умоляющим взглядом.

— Доктор, скажите, я не умру? — спрашивала она с тоскою.

Утром в клинику пришел навеститься о состоянии роженицы ее муж, взволнованный и растерянный. Я присматривался к нему с тяжелым, неприязненным чувством; это был у них второй ребенок, — значит, он знал, что жене его предстоят все эти муки, и все-таки пошел на это... Только поздно вечером роды стали приходить к концу. Показалась головка, все тело роженицы стало судорожно сводиться в отчаянных усилиях вытолкнуть из себя ребенка; ребенок, наконец, вышел; он вышел с громадною кровавою опухолью на левой стороне затылка, с изуродованным длинным черепом. Роженица лежала в забытьи, с надорванной промежностью, плавая в крови.

— Роды были легкие и малоинтересные, — сказал ассистент.

Это все тоже было «нормально!..» И дело тут не в том, что «цивилизация» сделала роды труднее: в тяжелых муках женщины рожали всегда, и уж древний человек был поражен этой странностью и не мог объяснить ее иначе, как проклятьем бога.

Описанные впечатления ложились на душу одно за другим, без перерыва, все, усиливая густоту красок.

Однажды ночью я проснулся. Мне снилось, что я шел по какому-то узкому, темному переулку; на меня наехала карета, ударила дышлом в бок, и у меня образовался *pneumothorax*. Я сел на постели. Бледная ночь смотрела в окно; вентилятор, перетерший смазку, наполнял тишину яростным, прерывистым хрипом; в кухне плакал больной ребенок квартирной хозяйки. Все виденное и передуманное в последнее время вдруг встало предо мною, и я ужаснулся, до чего человек не защищен от случайностей, на каком тонком волоске висит всегда его здоровье. Только бы его, здоровья, — с ним ничего не страшно, никакие испытания; его потерять — значит потерять все; без него нет свободы, нет независимости, человек становится рабом окружающих людей и обстановки; оно — высшее и необходимейшее благо, а между тем удержать его так трудно! Пришлось бы всю жизнь, все силы положить на это;

но ведь обидно и смешно ставить себе это целью жизни. Притом, все равно ничего не достигнешь даже, в том случае, если только для этого и жить. Беречься? Но этим теряешь приспособляемость; птица безнаказанно спит под дождем, мокрая до последнего перышка, мы бы при таких условиях получили смертельную простуду. Да и как беречься? Мы ничего не знаем, отчего происходят рак, саркома, масса нервных страданий, сахарная болезнь, большинство мучительных кожных болезней. Как ни берегись, а может быть, через год в это время я уже буду лежать, пораженный *remphigo foliaceo*; вся кожа при этой болезни покрывается вялыми пузырями; пузыри лопаются и обнажают подкожный слой, который больше не зарастает; и человек, лишенный кожи, не знает, как сесть, как лечь, потому что самое легкое прикосновение к телу вызывает жгучие боли. Об этом смешно думать? Но ведь и тот больной с *remphigus*, которого я на днях видел в клинике, полгода назад тоже был совершенно здоров и не ждал беды. Ни один час здоровья нам не гарантирован. Между тем хочется жить, жить и быть счастливым, а это невозможно... И для чего любовь со всей поэзией и счастьем? Для чего любовь, если от нее столько мук? Да неужели же «любовь» является не насмешкою над любовью, если человек решаете причинять любимой женщине те муки, которые я видел в акушерской клинике? Страданье, страданье без конца, страданье во всевозможных видах и формах — вот в чем вся суть и вся жизнь человеческого организма.

Вскоре это страданье встало передо мною в реальной форме. У меня на левой руке под мышкою находилась небольшая родинка; ни с того, ни с сего она вдруг начала расти, стала болезненной; я боялся верить глазам, но она с каждым днем увеличивалась и становилась все болезненнее; опухоль достигла величины лесного ореха. Сомнения быть не могло: из родинки у меня развивалась саркома, — та страшная меланосаркома, которая обыкновенно и развивается из невинных родинок. Как на эшафот, пошел я на прием к нашему профессору-хирургу.

— Профессор, у меня, кажется... саркома на руке, — сказал я обрывающимся голосом.

Профессор внимательно посмотрел на меня.

— Вы медик третьего курса? — спросил он.

— Да.

— Покажите вашу саркому.

Я разделся. Профессор срезал ножницами тонкую ножку, на которой держалась опухоль.

— Вы себе натерли родинку рукавом, — больше ничего. Возьмите себе на память вашу саркому, — добродушно улыбнулся он, подавая мне маленький мясистый комочек.

Я ушел сконфуженный и радостный, и стыдно мне было за мою ребяческую мнительность. Но спустя некоторое время я стал замечать, что со мною творится что-то неладное: появилась общая вялость и отвращение к труду, аппетит был плох, меня мучила постоянная жажда; я начал худеть; по телу то там, то здесь стали образовываться нарывы; мочеотделение было очень обильное; я исследовал мочу на сахар, — сахара не оказалось. Все симптомы весьма подходили к несахарному мочеизнурению (*diabetes insipidus*). С тяжелым чувством перечитывал я главу об этой болезни в учебнике Штрюмпеля: «Причины несахарного мочеизнурения еще совершенно темны... Большинство больных принадлежит к юношескому и среднему возрасту; мужчины подвержены этой болезни несколько чаще женщин... Родство этой болезни с сахарною болезнью очевидно; иногда одна из них переходит в другую... Болезнь может тянуться годы, и даже десятки лет; исцеления крайне редки»...

Я пошел к профессору-терапевту. Не высказывая своих подозрений, я просто рассказал ему все, что со мною делается. По мере того, как я говорил, профессор все больше хмурился.

— Вы полагаете, что у вас *diabetes insipidus*, — резко сказал он. — Это очень хорошо, что вы так прилежно изучаете Штрюмпеля: вы не забыли решительно ни одного симптома. Желая вам так же хорошо ответить о диабете на экзамене. Поменьше курите, больше ешьте и двигайтесь и бросьте думать о диабете.



## II

Предметом нашего изучения стал живой, страдающий человек. На эти страдания было тяжело смотреть; но вначале еще тяжелее было то, что именно эти-то страдания и нужно было изучать. У больного с вывихом плеча — порок сердца; хлороформировать нельзя, и вывих вправляют без наркоза; фельдшера крепко вцепились в больного, он бьется и вопит от боли, а нужно внимательно следить за приемами профессора, вправляющего вывих; нужно быть глухим к воплям оперируемого, не видеть корчащегося от боли тела, душить в себе жалость и волнение. С непривычки это было очень трудно, и внимание постоянно двойлось; приходилось убеждать себя, что ведь это не мне больно, что ведь я совершенно здоров, а больно другому. Потоки крови при хирургических операциях, стоны рожениц, судороги столбнячного больного — все это вначале сильно действовало на нервы и мешало изучению; ко всему этому нужно было привыкнуть.

Впрочем, привычка эта вырабатывается скорее, чем можно бы думать, и я не знаю случая, чтобы медик, одолевший препаровку трупов, отказался от врачебной дороги вследствие неспособности привыкнуть к стонам и крови. И слава богу, разумеется, потому что такое относительное «очерствение» не только необходимо, но прямо желательно; об этом не может быть и спора. Но в изучении медицины на больных есть другая сторона, несравненно более тяжелая и сложная, в которой далеко не все столь же бесспорно.

Мы учимся на больных; с этой целью больные и принимаются в клиники; если кто из них не захочет показываться и давать себя исследовать студентам, то его немедленно, без всяких разговоров, удаляют из клиники. Между тем так ли для больного безразличны все эти исследования и демонстрации?

Разумеется, больного при этом стараются по возможности щадить. Но дело тут не в одном только непосредственном вреде. Передо мною встает полутемная палата во время вечернего обхода; мы стоим с стетоскопами в руках вокруг ассистента, который демонстрирует нам на больном амфорическое дыхание. Больной — рабочий бумагопрядильной фабрики — в последней стадии чахотки; его молодое, страшно исхудалое лицо слегка синюшно; он дышит быстро и поверхностно; в глазах, устремленных в потолок, сосредоточенное, ушедшее в себя страдание.

— Если вы приставите стетоскоп к груди больного, — объясняет ассистент, — и в то же время будете постукивать рядом ручкою молоточка по плессиметру, то услышите ясный, металлический, так называемый «амфорический» звук... Пожалуйста, коллега! — обращается он к студенту, указывая на больного. — Ну-ка, голубчик, повернись на бок!.. Поднимись, сядь!..

И режущим глаза контрастом представляется это одинокое страдание, служащее предметом равнодушных объяснений и упражнений; кто другой, а сам больной чувствует этот контраст очень сильно.

Но вот больной умирает. Те же правила, которые требуют от больных, чтобы они беспрекословно давали себя исследовать учащимся, предписывают также обязательное вскрытие всякого, умершего в университетской больнице.

Каждый день по утрам в прихожей и у подъезда клиники можно видеть просительниц, целыми часами поджидающих ассистента. Когда ассистент проходит, они останавливают его и спрашивают отдать им без вскрытия умершего ребенка, мужа, мать. Здесь иногда приходится видеть очень тяжелые сцены... Разумеется, на все просьбы следует категорический отказ. Не добившись ничего от ассистента, просительница идет дальше, мечется по всем начальствам, добирается до самого профессора и падает ему в ноги, умоляя не вскрывать умершего:

— Ведь болезнь у него известная, — что ж его еще после смерти терзать?

И здесь, конечно, она встречает тот же отказ: вскрыть умершего необходимо, — без этого клиническое преподавание теряет всякий смысл? Но для матери вскрытие ее ребенка часто составляет не меньшее горе, чем сама его смерть; даже интеллигентные лица боль-

шею частью крайне неохотно соглашаются на вскрытие близкого человека, для невежественного же бедняка оно кажется чем-то прямо ужасным; я не раз видел, как фабричная, зарабатывающая по сорок копеек в день, совала ассистенту трехрублевку, пытаясь взяточную спасти своего умершего ребенка от «поругания». Конечно, такой взгляд на вскрытие — предрассудок, но горе матери от этого не легче. Вспомните вопль некрасовской Тимофеевны над умершим Демушкой:

Я не ропщу,  
Что бог прибрал младенчика,  
А больно то, зачем они  
Ругались над ним?  
Зачем, как черны вороны,  
На части тело белое  
Терзали?.. Неужели  
Ни бог, ни царь не вступятся?

Однажды летом я был на вскрытии девочки, умершей от крупозного воспаления легких. Большинство товарищей разъехалось на каникулы, присутствовали только ординатор и я. Служитель огромного роста, с черной бородой, вскрыл труп и вынул органы. Умершая лежала с запрокинутой назад головой, широко зияя окровавленной грудобрюшной полостью; на белом мраморе стола, в лужах алой крови, темнели внутренности. Прозектор разрезывал на деревянной дощечке правое легкое.

— Вы что тут делаете, а? — вдруг раздался в дверях задыхающийся голос.

На пороге стоял человек в пиджаке, с рыжею бородкою; лицо его было смертельно бледно и искажено ужасом. Это был мещанин-сапожник, отец умершей девочки; он шел в покойницкую узнать, когда можно одевать умершую, ошибся дверью и попал в секционную.

— Что вы тут делаете, разбойники?! — завопил он, трясаясь и уставясь на нас широко раскрытыми глазами. У прозектора замер нож в руке.

— Ну, ну, чего тебе тут? Ступай! — сказал побледневший служитель, идя навстречу мещанину.

— Ребят здесь свежуете, а?! — кричал тот с каким-то плачущим воем, судорожно топаясь на месте и трясая сжатыми кулаками. — Вы что с моей девочкой и сделали?

Он рванулся вперед. Служитель схватил его сзади под мышки и потащил вон; мещанин уцепился руками за косяк двери и закричал: «Караул!..»

Служителю удалось, наконец, вытолкать его в коридор и запереть дверь на ключ. Мещанин долго еще ломился в дверь и кричал «караул», пока прозектор не кликнул в окно сторожей, которые увели его.

Если у этого человека заболит другой ребенок, то он разорится на лечение, представит ребенку умереть без помощи, но в клинику его не повезет: для отца это поругание дорогого ему трупа — слишком высокая плата за лечение.

Сказать кстати, право вскрывать умерших больных присвоили себе, помимо клиник, и вообще все больницы, — присвоили совершенно самовольно, потому что закон им такого права не дает; обязательные вскрытия производятся по закону только в судебно-медицинских целях. Но я не знаю ни одной больницы, где бы, по желанию родственников, умерший выдавался им без вскрытия; сами же родственники и не подозревают, что они имеют право требовать этого. Вскрытие каждого больного, хотя бы умершего от самой «обыкновенной» болезни, чрезвычайно важно для врача; оно указывает ему его ошибки и способы избежать их, приучает к более внимательному и всестороннему исследованию больного, дает ему возможность уяснить себе во всех деталях анатомическую картину каждой болезни, без вскрытий не может выработаться хороший врач, без вскрытий не может развиваться и совершенствоваться врачебная наука. Необходимо, чтобы все это понимали как можно яснее и добровольно соглашались на вскрытие близких. Но покамест

этого нет; и вот больницы достигают своего тем, что вскрывают умерших помимо согласия родственников; последние унижаются, становятся перед врачами на колени, суют им взятки, — все напрасно; из боязни вскрытия близкие нередко всеми мерами противятся помещению больного в больницу, и он гибнет дома вследствие плохой обстановки и неразумного ухода...

В больнице, где я впоследствии работал, произошел однажды такой случай: лежал у нас мальчик лет пяти с брюшным тифом; у него появились признаки прободения кишечника; в таких случаях прежде всего необходим абсолютный покой больного. Вдруг мать потребовала у дежурного врача немедленной выписки ребенка; никаких уговоров она не хотела слушать: «все равно ему помирать, а дома помрет, так хоть не будут анатомировать». Дежурный врач был принужден выписать мальчика; по дороге домой он умер... Это происшествие вызвало среди врачей нашей больницы много толков; говорили, разумеется, о дикости и жестокости русского народа, обсуждали вопрос, имел ли право дежурный врач выписать больного, виноват ли он в смерти ребенка нравственно или юридически и т. п. Но ведь тут интересен и другой вопрос: насколько должен был быть силен страх матери перед вскрытием, если для избежания его она решилась поставить на карту даже жизнь своего ребенка! Дежурный врач, конечно, был человек не «дикий» и не «жестокий»; но характерно, что ему и в голову не пришел самый, казалось бы, естественный выход: обзавестись перед матерью, в случае смерти ребенка, не вскрывать его.

Но кому особенно приходится терпеть из-за того, что мы принуждены изучать медицину на людях, — это лечащимся в клинике женщинам. Тяжело вспоминать, потому что приходится краснеть за себя; но я сказал, что буду писать все.

Пропедевтическая клиника. На эстраду к профессору, в сопровождении двух студентов-кураторов, вошла молодая женщина, больная плевритом. Прочитав анамнез, студент подошел к больной и дотронулся до закутывавшего ее плечи платка, показывая жестом, что нужно раздеться. Мне кровь бросилась в лицо: это был первый случай, когда перед нами вывели молодую пациентку. Больная сняла платок, кофточку и опустила до пояса рубашку; лицо ее было спокойно и гордо. Ее начали выстукивать, выслушивать. Я сидел весь красный, стараясь не смотреть на больную; мне казалось, что взгляды всех товарищей устремлены на меня; когда я поднимал глаза, передо мною было все то же гордое, холодное, прекрасное лицо, склоненное над бледною грудью: как будто совсем не ее тело ощупывали эти чужие мужские руки. Наконец лекция кончилась. Вставая, я встретился взглядом с соседом-студентом, мне почти незнакомым; как-то вдруг мы прочли друг у друга в глазах одно и то же, враждебно переглянулись и быстро отвели взгляды в стороны.

Было ли во мне какое-нибудь сладострастное чувство в то время, когда больная обнажалась на наших глазах? Было, но очень мало: главное, что было, — это страх его. Но потом, дома, воспоминание о происшедшем приняло тонкосладострастный оттенок, и я с тайным удовольствием думал о том, что впереди предстоит еще много подобных случаев.

И случаев, разумеется, было очень много. Особенно помнится мне одна больная, Анна Грачева, поразительно хорошенькая девушка лет восемнадцати. У нее был порок сердца с очень характерным предсистолическим шумом; профессор рекомендовал нам почаще выслушивать ее. Подойдешь к ней, — она послушно и спокойно скидывает рубашку и сидит на постели, обнаженная до пояса, пока мы один за другим выслушиваем ее. Я старался смотреть на нее глазами врача, но я не мог не видеть, что у нее красивые плечи и грудь, я не мог не видеть, что и товарищи мои что-то уж слишком интересуются предсистолическим шумом, — и мне было стыдно этого. И именно потому, что я чувствовал нечистоту наших взглядов, мне особенно больно становилось за эту девушку: какая сила заставляет ее обнажаться перед нами? Пройдет ли для нее все это даром? И я старался прочесть на ее красивом, почти еще детском лице всю историю ее пребывания в нашей клинике, — как возмутилась она, когда впервые была принуждена предстать перед всеми нагою, и как ей пришлось примириться с этим, потому что дома нет средств лечиться, и как постепенно она привыкла.

На амбулаторный прием нашего профессора-сифилидолога пришла молодая женщина с запискою от врача, который просил профессора определить, не сифилитического ли происхождения сыпь у больной.

— Где у вас сыпь? — спросил профессор больную.

— На руке.

— Ну, это пустяки. Бывшие фурункулы. Еще где?

— На груди,— запнувшись, ответила больная. — Но там совсем то же самое.

— Покажите!

— Да там то же самое, нечего показывать, — возразила больная, краснея.

— Ну, а вы нам все-таки покажите; мы очень любопытны! — с юмористической улыбкою произнес профессор.

После долгого сопротивления больная, наконец, сняла кофточку.

— Ну, это тоже пустяки, — сказал профессор. — Больше нигде нет? Скажите вашему доктору, что у вас нет ничего серьезного.

Тем временем ассистент, оттянув у больной сзади рубашку, осмотрел ее спину.

— Сергей Иванович, вот еще! — вполголоса произнес он.

Профессор заглянул больной за рубашку.

— А-а, это дело другое! — сказал он. — Разденьтесь совсем, — пойдите за ширмочку... Следующая!

Больная медленно ушла за ширму. Профессор осмотрел несколько других больных.

— Ну, а что та наша больная? Разделась она? — спросил он.

Ассистент побежал за ширму. Больная стояла одетая и плакала. Он заставил ее раздеться до рубашки. Больную положили на кушетку и, раздвинув ноги, стали осматривать: ее осматривали долго, — осматривали мерзко, гнусно.

— Одевайтесь, — сказал, наконец, профессор. — Трудно еще, господа, сказать что-нибудь определенное,— обратился он к нам, вымыв руки и вытирая их полотенцем. — Вот что, голубушка, — приходите-ка к нам еще раз через неделю.

Больная уже оделась. Она стояла, тяжело дыша и неподвижно глядя в пол широко открытыми глазами.

— Нет, я больше не приду! — ответила она дрожащим голосом и, быстро повернувшись, ушла.

— Чего это она? — с недоумением спросил профессор, оглядывая нас.

В тот же день, вечером, ко мне зашла одна знакомая курсистка. Я рассказал ей описанный случай.

— Да, тяжело! — сказала она. — Но, в конце концов, что же делать? Иначе учиться нельзя, — приходится мириться с этим.

— Совершенно верно. Но ответьте мне вот на что: если бы вам предстояло нечто подобное, — только представьте себе это ясно, — пошли ли бы вы к нам?

Она помолчала.

— Не пошла бы... Ни за что! — виновато улыбнулась она, с дрожью поведя плечами.

— Лучше бы умерла.

А ведь она глубоко уважала науку и понимала, что «иначе учиться нельзя». Та же ничего этого не понимала, она только знала, что ей нечем заплатить частному доктору и что у нее трое детей.

Эта-то нужда и гонит бедняков в клиники на пользу науки и школы. Они не могут заплатить за лечение деньгами, и им приходится платить за него своим телом. Но такая плата для многих слишком тяжела, и они предпочитают умирать без помощи. Вот что, например, говорит известный немецкий гинеколог, профессор Гофмейер: «Преподавание в женских клиниках более чем где-либо, затруднено естественной стыдливостью женщин и вполне понятным отвращением их к демонстрациям перед студентами. На основании своего опыта я думаю, что в маленьких городках вообще едва ли было бы возможно вести гинекологическую

клинику, если бы все без исключения пациентки не хлороформировались для целей исследования. Притом исследование, особенно производимое неопытной рукою, часто крайне чувствительно, а исследование большим количеством студентов в высшей степени неприятно. На этом основании в большинстве женских клиник пациентки демонстрируются и исследуются под хлороформом... Менее всего непосредственно применима для преподавания гинекологическая амбулатория, по крайней мере, в маленьких городах. Кто хочет получить от нее действительную пользу, должен сам исследовать больных. Страх перед подобными исследованиями в присутствии студентов или даже самими студентами, — у нас, по крайней мере, — часто преодолевает у пациенток потребность в помощи».

Если рассуждать отвлеченно, то такая щепетильность должна казаться бессмысленною: ведь студенты — те же врачи, а врачей стесняться нечего. Но дело сразу меняется, когда ставишь самого себя в положение этих больных. Мы, мужчины, менее стыдливы, чем женщины, тем не менее, по крайней мере, я лично ни за что не согласился бы, чтобы меня, совершенно обнаженного, вывели на глаза сотни женщин, чтобы меня женщины ощупывали, исследовали, спрашивали обо всем, ни перед чем не останавливаясь. Тут мне ясно, что если щепетильность эта и бессмысленна, то считаться с нею все-таки очень следует.

И тем не менее - «иначе учиться нельзя», это, несомненно. В средние века медицинское преподавание ограничивалось одними теоретическими лекциями, на которых комментировались сочинения арабских и древних врачей; практическая подготовка учащихся не входила в задачи университета. Еще в сороковых годах нашего столетия в некоторых заолустных университетах, по свидетельству Пирогова, «учили делать кровопускание на кусках мыла и ампутации на брюкве». К счастью медицины и больных, времена эти миновали безвозвратно, и жалеть об этом преступно; нигде отсутствие практической подготовки не может принести столько вреда, как во врачебном деле. А практическая подготовка невозможна без всего описанного.

Здесь мы наталкиваемся на одно из тех противоречий, которые еще так часто будут встречаться нам впоследствии: существование медицинской школы — школы гуманнейшей из всех наук — немыслимо без попраiania самой элементарной гуманности. Пользуясь невозможностью бедняков лечиться на собственные средства, наша школа обращает больных в манекены для упражнений, топчет без пощады стыдливость женщины, увеличивает и без того немалое горе матери, подвергая жестокому «поруганию» ее умершего ребенка, но не делать этого школа не может; по доброй воле мало кто из больных согласился бы служить науке.

Какой из этого возможен выход, я решительно не знаю; я знаю только, что медицина необходима, и иначе учиться нельзя, но я знаю также, что если бы нужда заставила мою жену или сестру очутиться в положении той больной у сифилидолога, то я сказал бы, что мне нет дела до медицинской школы и что нельзя так топтать личность человека только потому, что он беден.

### III

На третьем курсе, недели через две после начала занятий, я в первый раз был на вскрытии. На мраморном столе лежал худой, как скелет, труп женщины лет за сорок. Профессор патологической анатомии, в кожаном фартуке, надевал, балагурия, гуттаперчевые перчатки, рядом с ним в белом халате стоял профессор-хирург, в клинике которого умерла женщина. На скамьях, окружавших амфитеатром секционный стол, теснились студенты.

Хирург заметно волновался: он нервно крутил усы и притворно скупающим взглядом блуждал по рядам студентов; когда профессор-патолог отпускал какую-нибудь шуточку, он спешил предупредительно улыбнуться; вообще в его отношении к патологу было что-то заискивающее, как у школьника перед экзаменатором. Я смотрел на него, и мне странно было подумать, — неужели этот тот самый грозный NN, который таким величественным олимпийцем глядит в своей клинике?

— От перитонита умерла? — коротко спросил патолог.

— Да

— Оперирована?

— Оперирована.

— Угу! — промычал патолог, чуть дрогнув бровью, и приступил к вскрытию.

Ассистент-прозектор сделал на трупе длинный кожный разрез от подбородка до лонного сращения. Патолог осторожно вскрыл брюшную полость и стал осматривать воспаленную брюшину и склеившиеся кишечные петли... Хирург уж накануне высказал нам в клинике предполагаемую им причину смерти больной: опухоль, которую он хотел вырезать, оказалась сильно сращенной с внутренностями: вероятно, при удалении этих сращений был незаметно поранен кишечник, и это повело к гнилостному воспалению брюшины. Вскрытие подтвердило его предположение. Патолог отыскал пораненное место и, вырезая кусок кишки с ранкой, послал его на тарелке студентам, студенты с любопытством рассматривали маленькую зловещую ранку, окруженную гнойным налетом, хирург хмурился и крутил усы. Я с пристальным, злорадным вниманием следил за ним: вот он суд, где беспощадно раскрываются и казнятся все их грехи и ошибки! Эта женщина пришла к нему за помощью и именно благодаря его помощи лежала теперь перед нами; интересно, знают ли это близкие умершей, объяснил ли им оператор причину ее смерти?

Вскрытие кончилось. В своем эпикризе патолог заявил, что перитонит был, несомненно, вызван поранением кишечника, но что при той массе сращений и перемычек, которыми изобилвала опухоль, заметить такое поранение было очень нелегко, и в столь тяжелых операциях ни один самый лучший хирург не может быть гарантирован от несчастных случайностей.

Профессора любезно пожали друг другу руки и ушли. Студенты повалили к выходу.

Странное и тяжелое впечатление произвело на меня это первое виденное мною вскрытие. «Перитонит был вызван поранением кишечника; такое поранение трудно заметить; несчастные случайности бывают у лучших хирургов...» Как все это просто! Как будто речь идет о неудавшемся химическом опыте, где вся суть только в самой неудаче! Причины этой неудачи констатируются вполне спокойно; виновник ее, если и волнуется, то волнуется лишь вследствие самолюбия... А между тем дело идет ни больше, ни меньше, как о погубленной человеческой жизни, о чем-то безмерно страшном, где неизбежно должен стать вопрос: смеет ли подобный оператор продолжать заниматься медициной? Врач-целитель, убивающий больного! Ведь это такое вопиющее противоречие, которое допустить прямо немыслимо. А между тем никто этого противоречия как будто и не замечал.

Я испытывал такое ощущение, как будто попал в школу к авгурам. Мы — те же будущие авгуры, нас стесняться нечего, и вот нас посвящали в изнанку дела; профаны могут возмущаться существованием этой изнанки и ее резким отличием от лицевой стороны, мы же должны приучаться смотреть на дело «шире»...

Чем дальше шло теперь мое знакомство с медициной, тем все больше усиливалось у меня то впечатление, которое я вынес из первого вскрытия. В клиниках, на теоретических лекциях, на вскрытиях, в учебниках — везде было то же самое. Рядом с тою парадною медициною, которая лечит и воскрешает и для которой я сюда поступил, передо мною все шире развевалась другая медицина — немощная, бессильная, ошибающаяся и лживая, берущаяся лечить болезни, которых не может определить, старательно определяющая болезни, которых заведомо не может вылечить. В руководствах я встречал описание болезней, которые оканчивались замечанием: «диагноз этой болезни возможен лишь на секционном столе», как будто такой своевременный диагноз кому-нибудь нужен! Перед нами выводили ребенка с туберкулезным роу-р pneumothorax'om; худой и иссохший, с торчащими костями и синюшным лицом, он сидел, быстро и часто дыша; когда его клали на спину, он начинал кашлять так, что, казалось, сейчас вывернутся все его внутренности. Профессор с серьезным видом, как будто совершал что-то очень важное, определял у него границы тупости, сте-

пень смещения средостения и т. п. Я следил за профессором, затаивая усмешку; сколько трудов кладет он на исследование, и все это лишь для того, чтобы в конце концов сказать нам, что больной безнадежен и что вылечить его мы не в состоянии! Какой в таком случае смысл в самом диагнозе? Как этот диагноз ни будь тонок, все-таки по существу дела он сводится лишь к мольеровскому: «Они вам скажут по-латыни, что ваша дочь больна». Все это было жалко и смешно. Мне вспоминалось определение сути медицины, данное Мефистофелем:

Der Geist der Medizinist zu fasseni  
Jhr durchstudirt die gross und kleine Welt.  
Um es am Ende gehn zu lassen,  
Wie's Gott geffalt.

(«Дух медицины понять нетрудно: вы тщательно изучаете и большой и малый мир, чтобы в конце концов предоставить всему идти, как угодно богу».)

В лечении болезней меня поражала чрезвычайная шаткость и неопределенность показаний, обилие предлагаемых против каждой болезни средств — и рядом с этим крайняя неуверенность в действительности этих средств. «Лечение аневризмы аорты, — говорится, например, в руководстве Штрюмпеля, — до сих пор дает еще очень сомнительные результаты; тем не менее, в каждом данном случае мы вправе испробовать тот или другой из рекомендованных способов». «Чтобы предотвратить повторение припадков грудной жабы, — говорится там же, — рекомендовано очень много средств: мышьяк, серноокислый цинк, азотнокислое серебро, бромистый калий, хинин и другие. Попробовать какое-либо из этих средств не мешает, но верного успеха обещать себе не следует»; и так без конца. «Можно попробовать то-то», «некоторые очень довольны тем-то», «не мешает испытать то-то». Я пришел сюда, чтоб меня научили, как вылечить больного, а мне предлагают «пробовать», да еще без всякого рвательства за успех!

То и дело мне теперь приходилось узнавать вещи, которые все больше колебали во мне уважение и доверие к медицине. Фармакология знакомила нас с целым рядом средств, заведомо совершенно недействительных, и тем не менее рекомендовала нам употреблять их. Положим, нам неясна болезнь пациента, и нужно выждать ее выяснения, или болезнь неизлечима, а симптоматических показаний нет; «но ведь вы не можете оставить больного без лекарства», — и вот в этих случаях и следовало назначать «безразличные» средства, для подобных назначений и в медицине существует даже специальный термин — «прописать лекарство, *ut aliquid fiat*» (сокращенное вместо «*ut aliquid fieri videatur*, — чтобы больному казалось, будто для него что-то делают»). И опять-таки профессор сообщал нам все это с самым серьезным и невозмутимым видом; я смотрел ему в глаза, смеясь в душе, и думал: «Ну, разве же ты не авгур? И разве мы с тобой не рассмеялись бы, подобно авгурам, если бы увидели, как наш больной поглядывает на часы, чтоб не опоздать на десять минут с приемом назначенной ему жиденькой кислоты с сиропом?» Вообще, как я видел, в медицине существует немало довольно-таки поучительных «специальных терминов»; есть, например, термин: «ставить диагноз *ex juvantibus*, — на основании того, что помогает»: больному назначается известное лечение, и, если данное средство помогает, значит, больной болен такою-то болезнью; второй шаг делается раньше первого, и вся медицина ставится вверх ногами: не зная болезни, больного лечат, чтобы на основании результатов лечения определить, от этой ли болезни следовало его лечить!

Я начинал все больше проникаться полнейшим медицинским нигилизмом, — тем нигилизмом, который так характерен для всех полужнаек. Мне казалось, что я теперь понял всю суть медицины, понял, что в ее владении находятся два-три действительных средства, а все остальное — лишь «латинская кухня», «*ut aliquid fiat*»; что со своими жалкими и несовершенными средствами диагностики она блуждает в темноте и только притворяется, будто

что-нибудь знает. Разговаривая о медицине с не медиками, я многозначительно улыбался и говорил, что, сознаваясь откровенно, «вся наша медицина» — одно лишь шарлатанство.

Каким образом из всего только что описанного мог я сделать такое резкое и решительное заключение? Мне кажется, основанием этому мне послужило то очень распространенное мнение, которое бессознательно разделял и я: «Ты — врач, значит, ты должен уметь узнать и вылечить всякую болезнь; если же ты этого не умеешь, то ты — шарлатан». Я закрывал глаза на средства и пределы науки, на то, что она делает, и смеялся над нею за то, что она не делает всего. Так именно и относится к медицине большинство недумаящих людей... В 1983 году на петербургской гигиенической выставке, в числе других патологоанатомических препаратов, был выставлен «сердечный полип, случайно найденный при вскрытии». Полип этот чрезвычайно рассмешил фельетониста одной большой петербургской газеты: вот, дескать, так эскулапы наши: хорошие у них бывают «случайные» находки!.. Та же гигиеническая выставка, так много показавшая, что дает медицина, для г. фельетониста не существует: из всей выставки он видит только этот «случайно найденный полип» и обливает за него презрением врачей и медицину, даже не интересуясь узнать, возможно ли при жизни открыть такой полип. Для врачей не должно быть ничего невозможного — вот точка зрения, с которой судит большинство; с этой же точки зрения судил и я.

Один случай произвел во мне полный переворот. В нашу хирургическую клинику поступила женщина лет под пятьдесят с большой опухолью в левой стороне живота. Куратором к этой больной был назначен я. На обязанности студента-куратора лежит исследовать данного ему больного, определить его болезнь и следить за ее течением; когда больного демонстрируют студентам, куратор излагает перед аудиторией историю его болезни, сообщает, что он нашел у него при исследовании, и высказывает свой диагноз; после этого профессор указывает куратору на его промахи и недосмотры, подробно исследует больного и ставит свое распознавание. Опухоль у моей больной занимала всю левую половину живота, от подреберья - до подвздошной кости. Что это была за опухоль, из какого органа она исходила? Ни расспрос больной, ни исследование ее не давали на это никаких хоть сколько-нибудь ясных указаний; с совершенно одинаковою вероятностью можно было предположить кистому яичника, саркому забрюшинных желез, эхинококк селезенки, гидронефроз, рак поджелудочной железы. Я рылся во всевозможных руководствах, и вот что находил в них:

*С гидронефрозом очень легко смешать эхинококк почки: мы много раз видели также мягкие саркоматозные опухоли почек, относительно которых мы были уверены, что имели дело с гидронефрозом («Частная хирургия» Тильманса).*

*Рак почки нередко принимался за брюшинные опухоли желез, опухоли яичника, селезенки, большие подпочечные нарывы и т. п. (Штрюмпель).*

*При кистах яичника встречаются очень неприятные диагностические ошибки... Дифференциальное распознавание кисты яичника от гидронефроза оказывается наиболее опасным подводным камнем, так как гидронефроз, если он велик, представляет при наружном исследовании совершенно такую же картину; поэтому подобного рода диагностические ошибки очень не редки («Гинекология» Шредера).*

*Клинические симптомы рака поджелудочной железы почти никогда не бывают настолько ясны, чтоб можно было поставить диагноз (Штрюмпель).*

Скептически и враждебно настроенный к медицине, я с презрительной улыбкой перечитывал эти признания в ее бессилии и неумелости. Я как будто даже был доволен тем, что не могу ориентироваться в моем случае: моя ли вина, что наша, с позволения сказать, «наука» не дает мне для этого никакой надежной руководящей нити? У моей больной опухоль живота — вот все, что я могу сказать, если хочу отнестись к делу сколько-нибудь добросовестно; вырабатывать же из себя шарлатана я не имею никакого желания и не стану «уверенно» объявлять, что имею дело с гидронефрозом, зная, что это легко может оказаться



и саркомой, и эхинококком, и чем угодно.

Пришло время демонстрировать мою больную. Ее внесли на носилках в аудиторию. Меня вызвали к ней. Я прочел анамнез больной и изложил, что нашел у ней при исследовании.

— Какой же ваш диагноз? — спросил профессор.

— Не знаю, — ответил я, насупившись.

— Ну, приблизительно? Я молча пожал плечами.

— Случай, положим, действительно, не из легких, — сказал профессор и приступил сам к расспросу больной.

Сначала он предоставил самой больной рассказать об ее болезни. Для меня ее рассказ послужил основой всему моему исследованию; профессор же придал этому рассказу очень мало значения. Выслушав больную, он стал тщательно и подробно расспрашивать ее о состоянии ее здоровья до настоящей болезни, о начале заболевания, о всех отправлениях больной в течение болезни; и уж от одного этого умелого расспроса картина получилась совершенно другая, чем у меня: перед нами развернулся не ряд бессвязных симптомов, а совокупная жизнь больного организма во всех его отличиях от здорового. После этого профессор перешел к исследованию больной: он обратил наше внимание на консистенцию опухоли, на то, смещается ли она при дыхании больной, находится ли в связи с маткою, какое положение она занимает относительно нисходящей толстой кишки и т. д., и т. д. Наконец, профессор приступил к выводам. Он шел к ним медленно и осторожно, как слепой, идущий по обрывистой горной тропинке, ни одного самого мелкого признака он не оставил без строгого и внимательного обсуждения; чтоб объяснить какой-нибудь ничтожный симптом, на который я и внимания-то не обратил, он ставил вверх дном весь огромный арсенал анатомии, физиологии и патологии; он сам шел навстречу всем противоречиям и неясностям и отходил от них, лишь добившись полного их объяснения... И в конце концов, когда, сопоставив добытые данные, профессор пришел к диагнозу: «рак-мозговик левой почки», — то это само собою вытекло из всего предыдущего.

Я слушал, пораженный и восхищенный; такими жалкими и ребяческими казались мне теперь и мое исследование, и весь мой скептицизм!.. Спутанная и неясная картина, в которой, по-моему, было невозможно разобраться, стала совершенно ясной и понятной. И это было достигнуто на основании таких ничтожных данных, что смешно было подумать...

Через неделю больная умерла. Опять, как тогда, на секционном столе лежал труп, опять вокруг двух профессоров теснились студенты; с напряженным вниманием следя за вскрытием. Профессор-патолог извлек из живота умершей опухоль величиною с человеческую голову, тщательно исследовал ее и объявил, что перед нами — рак-мозговик левой почки... Мне трудно передать то чувство восторженной гордости за науку, которое овладело мною, когда я услышал это. Я рассматривал лежащую на деревянном блюде мягкую, окровавленную опухоль, и вдруг мне припомнился наш деревенский староста Влас, ярый ненавистник медицины и врачей. «Как доктора могут знать, что у меня в нутре делается? Нешто они могут видеть насквозь?» — спрашивал он с презрительной усмешкой. Да, тут видели именно насквозь.

Отношение мое к медицине резко изменилось. Приступая к ее изучению, я ждал от нее всего, увидев, что всего медицина делать не может, я заключил, что она не может делать ничего; теперь я видел, как много все-таки может она, и это «многое» преисполняло меня доверием и уважением к науке, которую я так еще недавно презирал до глубины души.

Вот передо мною больной; он лихорадит и жалуется на боли в боку; я выстукиваю бок: притупление звука показывает, что в этом месте грудной клетки легочный воздух заменен болезненным выделением; но где именно находится это выделение, — в легком или в полости плевры? Я прикладываю руку к боку больного и заставляю его громко произнести: «раз, два, три!» Голосовая вибрация грудной клетки на больной стороне оказывается ослабленною; это обстоятельство с такою же верностью, как если бы я видел все собственными глазами,

говорит мне, что выпот находится не в легких, а в полости плевры. У больного парализована левая нога; я ударяю ему молоточком по коленному сухожилию, — нога высоко вскидывается; это указывает на то, что поражение лежит не в периферических нервах, а где-нибудь выше их выхода из спинного мозга, но где именно? Я тщательно исследую, сохранила ли кожа свою чувствительность, поражены ли другие конечности, правильно ли функционируют головные нервы и пр., — и могу, наконец, с полной уверенностью сказать: поражение, вызвавшее в данном случае паралич левой ноги, находится в коре центральной извилины правого мозгового полушария, недалеко от темени... Какая громадная, многовековая подготовительная работа была нужна для того, чтобы выработать такие на вид простые приемы исследования, сколько для этого требовалось наблюдательности, гения, труда и знания! И какие большие области уже завоеваны наукою! Выслушивая сердце, можно с точностью определить, какой, именно из его четырех клапанов действует неправильно и в чем заключается причина этой неправильности, — в сращении клапана или его недостаточности; соответственными зеркалами мы в состоянии осмотреть внутренность глаза, носоглоточное пространство, гортань, влагалище, даже мочевого пузыря и желудок? невидимая, загадочная и непонятная «зараза» разгадана; мы можем теперь готовить ее в чистом виде в пробирке и рассматривать под микроскопом. При акушерстве с почти математической точностью изучен весь сложный механизм родов, определены все факторы, обуславливающие тот или иной поворот младенца, и искусственные приемы помощи строго согласуются с этим сложным естественным движением... Ребенку выжигают раскаленным железом носовые раковины, предварительно смазав их кокаином: живое тело шипит, кругом пахнет горелым мясом, а ребенок сидит, улыбаясь и спокойно выдыхая из ноздрей дым...

Но всего не перечислить. Конечно, многое, еще очень многое не достигнуто, но все это лишь вопрос времени, и нам трудно себе даже представить, как далеко пойдет наука. Ведь еще несколько лет назад показалась бы нелепостью самая мысль о том, что человеческое тело возможно в буквальном смысле видеть насквозь; теперь же, благодаря Рентгену, эта нелепость стала действительностью. Сорок лет назад у хирургов три четверти оперированных умирало от гнояного заражения; гнояное заражение было проклятием хирургии, о которое разбивалось все искусство оператора. «Я ничего положительно не знаю сказать об этой страшной казни хирургической практики, — с отчаянием писал Пирогов в 1854 году. — В ней все загадочно: и происхождение, и образ развития. До сих пор она в такой же степени неизлечима, как рак». — «Если я оглянусь на кладбища, — пишет он в другом месте, — где схоронены зараженные в госпиталях, то не знаю; чему более удивляться: стоицизму ли хирургов, занимающихся еще изобретением новых операций, или доверию, которым продолжают еще пользоваться госпитали у общества»... Явился Листер, ввел антисептику, она сменилась еще более совершенной асептикой, и хирурги из бессильных рабов гнояного заражения стали его господами в настоящее время, если оперированный умирает от гнояного заражения, то в большинстве случаев виновата в этом уж не наука, а оператор.

Если уж в настоящее время сделано так много, то, что же даст наука в будущем! Передо мною раскрывались такие светлые перспективы, что становилось весело за жизнь и за человека. Истинная дорога найдена, и свернуть с нее уж невозможно. *Natura parendo vincitur*, — природу побеждает тот, кто ей повинует; будут поняты все ее законы, и человек станет над ней неограниченным властелином. Тогда исчезнет и теперешнее одностороннее лечение, и искусственное предупреждение болезней: человек научится развивать и делать непобедимыми целебные силы своего собственного организма, ему не будут страшны ни зараза, ни простуда, не будут нужны ни очки, ни пломбировка зубов, не будут известны ни мигрени, ни неврастения. Будут сильные, счастливые и здоровые люди, и они будут рождаться от сильных и здоровых женщин, которые не будут знать ни акушерских щипцов, ни хлороформа, ни спорыньи.

Чем дальше шло теперь мое знакомство с медициной, тем больше она привлекала ме-

ня к себе. Но вместе с тем меня все больше поражало, какой колоссальный круг наук включает в себя ее изучение; это обстоятельство сильно смущало меня. Каждый день приносил с собой такую массу новых, совершенно разнородных, но одинаково необходимых знаний, что голова шла кругом; заняты мы были с утра до вечера, не было времени читать не только что-либо постороннее, но даже по той же медицине. Это была какая-то горячка, какое-то лихорадочное метание из клиники в клинику, с лекции на лекцию, с курса на курс; как в быстро поворачиваемом калейдоскопе, перед нами сменялись самые разнообразные вещи: резекция колена, лекция о свойствах наперстянки, безумные речи паралитика, наложение акушерских щипцов, значение Сиденгама в медицине, зондирование слезных каналов, способы окрашивания леффлеровых бацилл, местонахождение подключичной артерии, массаж, признаки смерти от задушения, стригущий лишай, системы вентиляции, теории бледной немочи, законы о домах терпимости и т. д., и т. д. Все это приходилось воспринимать совершенно механически: желание продумать воспринятое, остановиться на том или другом падало под напором сыпавшихся все новых и новых знаний: и эти новые знания приходилось складывать в себе так же механически и утешаться мыслью: «потом, когда у меня будет больше времени, я все это обдумаю и приведу в порядок». А между тем полученные впечатления постепенно бледнели, подымавшиеся вопросы забывались и утрачивали интерес, усвоение становилось поверхностным и ученическим.

Думать и действовать самостоятельно нам в течение всего нашего курса почти не приходилось. Профессора на наших глазах искусно справлялись с самыми трудными операциями, систематически решали сложные загадки, именуемые больными людьми, а мы... мы слушали и смотрели; все казалось простым, стройным и очевидным. Но если мне случайно попадался больной на стороне, то каждый раз оказывалось что-нибудь, что ставило меня в совершенный тупик. Вначале меня это не огорчало: ведь я еще студент, многого еще не знаю, — узнаю я это впереди. Но время шло, знания мои приумножились; был окончен пятый курс, уж начались выпускные экзамены, а я чувствовал себя по-прежнему беспомощным и неумелым, неспособным ни на какой сколько-нибудь самостоятельный шаг. Между тем я видел, что стою ничуть не ниже моих товарищей; напротив, я стоял выше большинства... Что же выйдет из нас?

#### IV

Выпускные экзамены кончились. Нас пригласили в актовую залу, мы подписали врачебную клятву и получили дипломы. В дипломах этих, украшенных государственным гербом и большой университетской печатью, удостоверялось, что мы с успехом сдали все испытания как теоретические, так и практические и что медицинский факультет признал нас достойными степени лекаря «со всеми правами и преимуществами, сопряженными по закону с этим званием».

С тяжелым и нерадостным чувством покидал я нашу alma mater. То, что в течение последнего курса я начинал сознавать все яснее, теперь встало предо мною во всей своей наготе: я, обладающий какими-то отрывочными, совершенно неусвоенными и неперевавленными знаниями, привыкший только смотреть и слушать, а отнюдь не действовать, не знающий, как подступиться к больному, я — врач, к которому больные станут обращаться за помощью! Да что буду я в состоянии дать им?.. Все мои товарищи испытывали то же самое, что я. Мы с горькою завистью смотрели на тех счастливых, которые были оставлены ординаторами при клиниках: они могли продолжать учиться, им предстояло работать не на свой страх, а под руководством опытных и умелых профессоров. Мы же, все остальные, — мы должны были идти в жизнь самостоятельными врачами не только с «правами и преимуществами», но и с обязанностями, «сопряженными по закону с этим званием»...

Некоторым из моих товарищей посчастливилось попасть в больницы; другие поступили в земство; третьим, в том числе и мне, пристроиться никуда не удалось, и нам осталось одно — попытаться жить частной практикой.

Я поселился в небольшом губернском городе средней России. Приехал я туда в исключительно благоприятный момент: незадолго перед тем умер живший на окраине города врач, имевший довольно большую практику. Я нанял квартиру в той же местности, вывесил на дверях дощечку: «доктор такой-то» и стал ждать больных.

Я ждал их — и в то же время больше всего боялся именно того, чтобы они не явились. Каждый звонок заставлял испуганно биться мое сердце, и я с облегчением вздыхал, узнав, что звонился не больной. Сумею ли я поставить диагноз, сумею ли назначить лечение? Знания мои были далеко не настолько прочны, чтобы я чувствовал себя способным пользоваться ими экспромтом. Хорошо, если у больного окажется такая болезнь, при которой можно будет ждать: тогда я пропишу что-нибудь безразличное и потом справлюсь дома, что в данном случае следует делать. Но если меня позовут к больному, которому нужна немедленная помощь? Ведь к таким-то именно больным начинающих врачей обыкновенно и зовут... Что я тогда стану делать?

Есть книга д-ра Луи Блау: «Диагностика и терапия при угрожающих опасностью болезненных симптомах». Я купил эту книгу и всю ее проконспектировал в свою записную книжку, дополнив конспект кое-чем из учебников. Всякая болезнь была по симптомам подведена мною под рубрики в таком, например, роде: Сильная одышка — 1) круп, 2) ложный круп, 3) отек гортани, 4) спазм гортани, 5) бронхиальная астма, 6) отек легких, 7) крупозная пневмонией, 8) уремиическая астма, 9) плеврит, 10) пнеймо-торака. При каждой из болезней были перечислены ее симптомы и указано соответственное лечение. Этот конспект сослужил мне большую службу, и я долго еще, года два, не мог обходиться без его помощи. Когда меня звали к больному с сильною одышкою, я, под предлогом записи больного, раскрывал записную книжку, смотрел, под какую из перечисленных болезней подходит его болезнь, и назначал соответственное лечение.

В той местности, где я поселился, поблизости врачей не было; понемногу больные стали обращаться ко мне; вскоре среди местных обывателей у меня образовалась практика, для начинающего врача сравнительно недурная.

Между прочим, я лечил жену одного сапожника, женщину лет тридцати; у нее была дизентерия. Дело шло хорошо, и больная уже поправлялась, как вдруг однажды утром у нее появились сильнейшие боли в правой стороне живота. Муж немедленно побежал за мною. Я исследовал больную: весь живот был при давлении болезнен, область же печени была болезненна до того, что до нее нельзя было дотронуться, желудок, легкие и сердце находились в порядке, температура была нормальна. Что это могло быть? Я перебирал в памяти всевозможные заболевания печени и не мог остановиться ни на одном; всего естественнее было поставить новое заболевание в связи с существовавшею уже болезнью; при дизентерии иногда встречаются нарывы печени, но против нарыва говорила нормальная температура. Впрыснув больной морфий, я ушел в полном недоумении. К вечеру температура с потрясающим ознобом поднялась до 40°, у больной появилась легкая одышка, а боли в печени стали еще сильнее. Теперь для меня не было сомнения: как следствие дизентерии, у больной образуется нарыв печени, опухшая печень давит на легкое, и этим объясняется одышка. Я был очень доволен тонкостью своего диагноза.

Но раз у больной нарыв печени, то необходима операция (в клинике это так легко сказать!). Я стал уговаривать мужа поместить жену в больницу, я говорил ему, что положение крайне серьезно, что у больной — нарыв во внутренностях, и что если он вскроется в брюшную полость, то смерть неминуема. Муж долго колебался, но, наконец, внял моим убеждениям и свез жену в больницу.

Через два дня я пошел справиться о состоянии больной. Прихожу в больницу, вызываю палатного ординатора. Оказывается, у моей больной... крупозное воспаление легких! Я не верил ушам. Ординатор провел меня в палату и показал больную... Я вспомнил, что даже не догадался спросить ее о кашле, даже не исследовал вторично ее легких, так я обрадовался ознобу, и так ясно показался он мне говорящим за мой диагноз; правда, мне приходила в

голову мысль, что легкие не мешало бы исследовать еще раз, но больная так кричала при каждом движении, что я прямо не решался поднять ее, чтобы как следует выслушать.

— Но ведь у нее сильно болезненны печень и весь живот, — в смущении сказал я.

— Да, печень немного болезненна, — ответил врач, — хотя более болезненна правая плевра.

— Да и весь живот болезнен.

Я чуть дотронулся до ее живота, — больная вскрикнула. Ординатор вступил с нею в разговор, стал расспрашивать, как она провела ночь, и постепенно всю руку погрузил в ее живот, так что больная даже не заметила.

— Ну-ка, матушка, сядь, — сказал он.

— Ох, не могу!

— Ну-ну, пустяки! Садись!

И она села. И ее можно было выстучать, выслушать, и я увидел типическую крупозную пневмонию, типичнее которой ничего не могло быть...

Как мог я так поверхностно и небрежно произвести исследование? Ведь необходимо каждого больного, на что бы он ни жаловался, исследовать с головы до ног — это нам не уставали твердить все наши профессора. Да, они нам твердили это достаточно, и на экзамене я сумел бы привести массу примеров, самым неопровержимым образом доказывающих необходимость следовать этому правилу. Но теория — одно, а практика — другое; на деле мне было прямо смешно начать исследовать нос, глаза или пятки у больного, который жаловался на расстройство желудка. Правила, подобные указанному, усваиваются лишь одним путем, — когда не теория, а собственный опыт заставит почувствовать и сознать всю их практическую важность. Собственный же опыт был нам в клиниках совершенно недоступен.

Характерно также то, что в своем распознавании я остановился на самой редкой из всех болезней, которые можно было предположить. И в моей практике это было не единичным случаем: кишечные колики я принимал за начинающийся перитонит; где был геморрой, я открывал рак прямой кишки, и т. п. Я был очень мало знаком с обыкновенными болезнями, — мне, прежде всего, приходила в голову мысль о виденных мною в клиниках самых тяжелых, редких и «интересных» случаях.

Тем не менее, при распознавании болезней я все-таки еще хоть сколько-нибудь мог чувствовать под ногами почву: диагнозы ставились в клиниках на наших глазах, и если сами мы принимали в их постановке очень незначительное участие, то, по крайней мере, видели достаточно. Но что было для меня уж совершенно неведомою областью — это течение болезней и действие на них различных лечебных средств с тем и другим я был знаком исключительно из книг; если одного и того же больного за время его болезни нам демонстрировали четыре-пять раз, то это было уж хорошо. В течение всего моего студенчества систематически следить за ходом болезни я имел возможность только у тех десяти — пятнадцати больных, при которых состоял куратором, а это все равно, что ничего.

Однажды, месяца через два после начала моей практики, я получил приглашение приехать к жене одного суконного фабриканта; это был первый случай, когда меня позвали в богатый дом; до того времени практика моя ограничивалась ремесленниками, мелкими торговцами, офицерскими вдовами и т. п.

— Вы, доктор, давно кончили курс? — был первый вопрос, с которым ко мне обратилась больная — молодая интеллигентная дама лет под тридцать.

Мне очень хотелось сказать: «два года», но было неловко, и я сказал правду.

— Ну, вот, я очень рада! — удовлетворенно произнесла больная. — Вы, значит, стоите на высоте науки; откровенно говоря, я гораздо больше верю молодым врачам, чем всем этим «известностям»: те все позабыли и только стараются гипнотизировать нас своей известностью.

У больной оказался острый сочленовный ревматизм, как раз такая болезнь, против

которой медицина имеет верное, специфическое средство в виде салициловой кислоты. Для начала практики нельзя было желать случая, более благоприятного.

— Долго, доктор, протянется ее болезнь? — спросил меня в передней муж больной.

— Не-ет, — ответил я. — Теперь с каждым днем боли будут меньше, состояние будет улучшаться. Только следите за тем, чтоб лекарство принималось аккуратно.

Через два дня я получил от него записку: «Милостивый государь! Жене моей не только не стало лучше, но ей совсем плохо. Будьте добры приехать».

Я приехал. У больной раньше были поражены правое колено и левая ступня; теперь к этому присоединились боли в левом плечевом суставе и левом колене. Больная встретила меня холодным и враждебным взглядом.

— Вот, доктор, вы говорили, что скоро все пройдет, — сказала она. — У меня все не проходит, а, напротив, становится все хуже. Такие страшные боли, — господи! Я не думала, что возможны такие страдания!

Вот тебе и салициловый натр, — специфическое средство... Я молча стал снимать вату с пораженных суставов, смазанных мазью из хлороформа и вазелина.

— Что это, мазь ли пахнет мертвечиной, или уж я начинаю заживо разлагаться? — ворчала больная. — Умирать, так умирать, мне все равно, но только почему это так мучительно?

— Полноте, сударыня, ну можно ли так падать духом! — сказал я. — Тут никакой и речи не может быть о смерти, — скоро вы будете совершенно здоровы.

— Ну да, вы мне это говорите для того, чтобы меня утешить... А долго я, в таком случае, буду еще мучиться?

Я дал неопределенный ответ и обещался прийти завтра.

Назавтра боли значительно уменьшились, температура опустилась, больная смотрела бодро и весело. Она горячо пожала мне руку.

— Ну, кажется, наконец, начинаю поправляться! — сказала она. — Уж надоела же я вам, доктор, — признайтесь! Такая нетерпеливая, просто срам! Уж меня муж и то стыдит... Скажите, теперь можно надеяться, что пойдет на выздоровление?

— Безусловно!.. Вы хотели, чтобы салициловый натр подействовал моментально, — это невозможно. Так быстро, как вы желали, он не действует, но зато действует верно. Только пока, во всяком случае, продолжайте принимать его,

— Я очень потею от него, — ночью пришлось сменить три рубашки.

— А звону в ушах нет?

— Нет.

— В таком случае продолжайте, если не хотите, чтоб процесс снова обострился.

— Ой, нет, нет, не хочу! — засмеялась она. — Лучше готова сменить хоть десять рубашек.

Приезжаю на следующий день, вхожу к больной. Она даже не пошевелинулась при моем приходе; наконец неохотно повернула ко мне голову; лицо ее спалось, под глазами были синие круги.

— А у меня, доктор, боли появились в правом плече! — медленно произнесла она, с ненавистью глядя на меня — Всю ночь не могла заснуть от боли, хотя очень аккуратно принимала вашу салицилку. Для вас это, не правда ли, очень неожиданно?

Увы, совершенно верно! Для меня это было очень неожиданно... Я, может быть, поступил легкомысленно, обещав с самого начала быстрое излечение; учебники мои оговаривались, что иногда салициловый натр остается при ревматизме недействительным, но чтоб, раз начавшись, действие его ни с того, ни с сего способно было прекратиться, — этого я совершенно не предполагал. Книжки не могли излагать дела иначе, как схематически, но мог ли и я, руководствовавшийся исключительно книжками, быть несхематичным?

При прощании меня больше не просили приходить. Как это ни было для меня оскорбительно, но в душе я был рад, что отделался от своей пациентки; измучила она меня чрез-

вычайно.

Впрочем, мало радостей давала мне и вообще моя практика. Я теперь постоянно находился в страшном нервном состоянии. Как ни низко ценил я свои врачебные знания, но когда дошло до дела, мне пришлось убедиться, что я оценивал их все-таки слишком высоко. Почти каждый случай с такою наглядностью раскрывал передо мною все с новых и новых сторон всю глубину моего невежества и неподготовленности, что у меня опускались руки. Полученные мною в университете знания представляли собою хаотическую грудку, в которой я не мог ориентироваться и перед которою стоял в полнейшей беспомощности. Моя книжная, отвлеченная наука, не проверенная мною в жизни, постоянно обманывала меня; в ее твердые и неподвижные формы никак не могла уложиться живая жизнь, а сделать эти формы эластичными и подвижными я не умел. В своих диагнозах и предсказаниях насчет дальнейшего течения болезни я то и дело ошибался так, что боялся показаться пациентам на глаза. Когда меня спрашивали, какого вкуса будет прописываемое мною лекарство, я не знал, что ответить, потому что сам не только никогда не пробовал его, но даже не видал. Я приходил в ужас при одной мысли, — что, если меня позовут на роды? За время моего пребывания в университете я видел всего лишь пятеро родов, и единственное, что я в акушерстве знал твердо, — это то, с какими опасностями сопряжено ведение родов неопытною рукою... Жизнь больного человека, его душа были мне совершенно неизвестны; мы баричами посещали клиники, проводя у постели больного по десяти — пятнадцати минут; мы с грехом пополам изучали болезни, но о больном человеке не имели даже самого отдаленного представления.

Но что уж говорить о таких тонкостях, как психология больного человека. Мне то и дело приходилось становиться в тупик перед самыми простыми вещами, я не знал и не умел делать того, что знает любая больничная сиделка. Я говорил окружавшим: «Поставьте больному клизму, положите припарку» и боялся, чтоб меня не вздумали спросить: «А как это нужно сделать?» Таких «мелочей» нам не показывали: ведь это — дело фельдшеров, сиделок, а врач должен только отдать соответствующее приказание. Но в моем распоряжении не было ни фельдшеров, ни сиделок, а окружавшие обращались за указаниями ко мне... Пришлось отложить в сторону большие, «серьезные» руководства и взяться за книги вроде «Ухода за больными» Бильрота — учебника, предназначенного для сестер милосердия. И я, на выпускном экзамене артистически сделавший на трупе ампутацию колена по Сабанееву, — я теперь старательно изучал, как нужно поднять слабого больного и как поставить мушку.

Недалеко от меня жил на покое отказавшийся от практики старик-доктор, Иван Семенович Н. Если до него случайно дойдут эти строки, то пусть он лишний раз примет от меня горячую благодарность за участие, которое он проявлял ко мне в то тяжелое для меня время. Я откровенно рассказывал ему о своих недоумениях и ошибках, советовался обо всем, чего не понимал, даже таскал его к своим пациентам; с чисто отеческою отзывчивостью Иван Семенович всегда был готов прийти ко мне на помощь и своими знаниями, и опытностью, и всем, чем мог. И каждый раз, когда мы с ним стояли у постели больного, он — спокойный, находчивый и уверенный в себе, и я — беспомощный и робкий, мне казалось вопиющей бессмыслицей, что оба мы с ним — равноправные товарищи, имеющие одинаковые дипломы.

Я лечил одного мелочного лавочника. У него был очень тяжелый сыпной тиф, осложнившийся правосторонним паротитом (воспалением околоушной железы). Однажды, рано утром, жена лавочника прислала ко мне мальчика с просьбой прийти немедленно; мужу ее за ночь стало очень худо, и он задыхается. Я пришел. Больной был в полубессознательном состоянии, он дышал тяжело и хрипло, как будто ему что-то сдавило горло; при каждом вдохе подреберья втягивались глубоко внутрь, засохшая слизь коричневою пленкою покрывала его зубы и края губ; пульс был очень слаб. Опухоль железы мешала больному раскрыть как следует рот, и мне не удалось осмотреть полости рта и зева. Я поспешил домой

якобы за шприцем, чтобы впрыснуть больному камфару, и стал просматривать в учебнике главу о тифе. Что может при тифе вызвать затрудненное дыхание? Единственно, на что указывал учебник, был отек гортани вследствие воспаления черпаловидных хрящей. В этом случае моя записная книжка указывала следующее лечение: «энергические слабительные, глотать кусочки льда; если ничего не помогает, немедленно трахеотомия». Я воротился к больному, впрыснул ему под кожу камфару, назначил лед и одно из самых энергических слабительных — колоквинту.

Через несколько часов я пришел снова. Колоквинта подействовала, но дыхание больного стало еще более затрудненным. Оставался один исход — трахеотомия. Я отправился к Ивану Семеновичу. Он внимательно выслушал меня, покачал головою и поехал со мною.

Осмотрев больного, Иван Семенович заставил его сесть, набрал в гуттаперчевый баллон теплой воды и, введя наконечник между зубами больного, проспринцевал ему рот: вышла масса вязкой, тягучей слизи. Больной сидел, кашляя и перхая, а Иван Семенович продолжал энергично спринцевать: как он не боялся, что больной захлебнется?.. С каждым новым спринцеванием слизь выделялась снова и снова; я был поражен, что такое невероятное количество слизи могло уместиться во рту человека.

— Ну-ну, откашляйтесь, плюньте! — громко и властно повторял Иван Семенович. И больной пришел в себя и плевал...

Дыхание его стало совершенно свободным.

— А я ему колоквинту назначил, — сконфуженно произнес я, когда мы вышли от больного.

— Ай-ай-ай! — сказал Иван Семенович, покачав головою. — Такому слабому! Этак недолго и убить человека!.. Да и какое могло быть к ней показание? Просто человек без сознания, глотает плохо, — понятно, во рту разная дрянь и накопилась.

В книгах не было указания на возможность подобного «осложнения» при тифе; но разве книги могут предвидеть все мелочи? Я был в отчаянии: я так глуп и несообразителен, что не гожусь во врачи; я только способен действовать по-фельдшерски, по готовому шаблону. Теперь мне смешно вспомнить об этом отчаянии: студентам очень много твердят о необходимости индивидуализировать каждый случай, но умение индивидуализировать достигается только опытом.

С каждым днем моей практики передо мною все настойчивее вставал вопрос: по какому-то невероятному недоразумению я стал обладателем врачебного диплома, — имею ли я на этом основании право считать себя врачом?

И жизнь с каждым разом все убедительнее отвечала мне: нет, не имею!

Наконец произошел один случай. И теперь еще, когда я вспоминаю о нем, мною овладевают тоска и ужас. Но рассказывать, так уже все рассказывать.

На самом краю города, в убогой лачуге, жила вдова-прачка с тремя детьми. Двое из них умерли от скарлатины в больнице; вскоре после их смерти заболел и последний — худой, некрасивый мальчик лет восьми. Мать ни за что не хотела отвезти его также в больницу и решила лечить дома. Она обратилась ко мне. У мальчика была скарлатина в очень тяжелой форме; он бредил и метался, температура была 41°, пульс почти не прощупывался. Осмотрев больного, я сказал матери, что навряд ли и он выживет. Прачка упала передо мною на колени.

— Батюшка, спасите его!.. Последний он у меня остался! Растила его, кормильца на старость... Сколько могу, заплачу вам, век на вас даром стирать буду!

Жизнь мальчика около недели висела на волоске. Наконец температура понемногу опустилась, сыпь побледнела, больной начал приходить в себя. Явилась надежда на благоприятный исход. Мне дорог стал этот чахлый, некрасивый мальчик с лупившейся на лице кожей и апатичным взглядом. Счастливая мать восторженно благодарила меня.

Спустя несколько дней у больного снова появилась лихорадка, а правые подчелюстные железы опухли и стали болезненны. Опухоль с каждым днем увеличивалась. Само по



себе это не представляло большой опасности: в худшем случае железы нагноились бы и образовался бы нарыв. Но для меня такое осложнение было крайне неприятно. Если образуется нарыв, то его нужно будет прорезать: разрез придется делать на шее, в которой находится такая масса артерий и вен. Что, если я порежу какой-нибудь крупный сосуд, — сумею ли я справиться с кровотечением? Я до сих пор еще ни разу не касался ножом живого тела; видеть — я видел все самые сложные и трудные операции, но теперь, предоставленный самому себе, боялся прорезать простой нарыв.

В начальной стадии воспаления желез очень хорошо действуют втирания серой ртутной мази; примененные вовремя, эти втирания нередко обрывают воспаление, не доводя его до нагноения. Я решил втереть моему больному серую мазь. Опухоль была очень болезненна, и поэтому на первый раз я втер мазь не сильно. На следующий день мальчик глядел бодрее, перестал ныть, температура понизилась; он улыбался и просил есть. Железы были значительно менее болезненны. Я вторично втер в опухоль мазь, на этот раз сильнее. Мать почти молилась на меня и горько жалела, что не позвала меня к двум умершим детям: тогда бы и те остались живы.

Когда я назавтра пришел к больному, я нашел в его состоянии резкую перемену. Мальчик лежал на спине, поворотив голову набок, и непрерывно стонал: в правой надключичной ямке, ниже первоначальной опухоли, краснела большая новая опухоль. Я побледнел и с бьющимся сердцем стал исследовать больного. Температура была 39,5; правый локтевой сустав распух и был так болезнен, что до руки нельзя было дотронуться. Мать, хотя сильно обеспокоенная, с доверием и надеждою следила за мною... Я вышел, как убитый, дело было ясно: своими втираниями я разогнал из железы гной по всему телу, и у мальчика начиналось общее гноекровие, от которого спасения нет.

Весь день я в тупом оцепенении пробродил по улицам; я ни о чем не думал и только весь был охвачен ужасом и отчаянием. Иногда в сознании вдруг ярко вставала мысль: «да ведь я убил человека!» И тут нельзя было ничем обмануть себя; дело не было бы яснее, если бы я прямо перерезал мальчику горло.

Больной прожил еще полторы недели; каждый день у него появлялись все новые и новые нарывы — в суставах, в печени, в почках... Мучился он безмерно, и единственное, что оставалось делать, это впрыскивать ему морфий. Я посещал больного по нескольку раз в день. При входе меня встречали страдальческие глаза ребенка на его осунувшемся, потемневшем лице; стиснув зубы, он все время слабо и протяжно стонал. Мать уже знала, что надежды нет.

Наконец однажды, — это было под вечер, — войдя в лачугу прачки, я увидел своего пациента на столе. Все кончилось... С острым и мучительным любопытством я подошел к трупу. Заходящее солнце освещало исхудалое восковое лицо мальчика; он лежал, наморщив брови, как будто скорбно думая о чем-то, — а я, его убийца, смотрел на него... Осиротевшая мать рыдала в углу. По голым стенам лачуги висела пыльная паутина, от грязного земляного пола несло сыростью, было холодно-холодно и пусто. Рыдания сдавили мне горло. Я подошел к матери и стал ее утешать.

Через полчаса я собрался уходить. Прачка вдруг засуетилась, торопливо полезла в сундук и протянула мне засаленную трехрублевку.

— Примите, батюшка... за труды... — сказала она. — Уж как вы старались, спаси вас царица небесная!

Я отказался. Мы стояли с нею в полутемных сенцах.

— Не судил, видно, бог! — проговорил я, стараясь не смотреть в глаза прачки.

— Его святая воля... Он лучше знает, — ответила прачка, и губы ее снова запрыгали от рыданий. — Батюшка мой, спасибо тебе, что жалел мальчика!..

И она, плача, упала передо мною на колени и старалась поцеловать мне руку, благодаря меня за мою ласковость и доброту...

Нет! Все бросить, от всего отказаться и ехать в Петербург учиться, хотя бы там пришлось умереть с голоду.

Приехав в Петербург, я записался на курсы в Еленинском клиническом институте: этот институт основан специально для желающих усовершенствоваться врачей. Но, походив туда некоторое время, я убедился, что курсы эти немного дадут мне; дело велось там совсем так же, как в университете: мы опять смотрели, смотрели — и только; а смотрел я уж и без того достаточно. Эти курсы очень полезны для врачей, уже практиковавших, у которых в их практике назрело много вопросов, требующих разрешения; для нас же начинающих, они имеют мало значения; главное, что нам нужно, — это больницы, в которых бы мы могли работать под контролем опытных руководителей.

Я стал искать себе места хотя бы за самое ничтожное вознаграждение, чтоб только можно было быть сытым и не ночевать на улице; средств у меня не было никаких. Я исходил все больницы, был у всех главных врачей; они выслушивали меня с холодно-любезным, скучающим видом и отвечали, что мест нет и что вообще я напрасно думаю, будто можно где-нибудь попасть в больницу сразу на платное место. Вскоре я и сам убедился, как наивны были такие мечты. В каждой больнице работают даром десятки врачей; те из них, которые хотят получать нищенское содержание штатного ординатора, должны дожидаться этого по пяти, по десяти лет; большинство же на это вовсе и не рассчитывает, а работает только для приобретения того, что им должна была дать, но не дала школа.

Я махнул рукою на надежду пристроиться и определился в больницу «сверхштатным». Нуждаться приходилось сильно; по вечерам я подстригал «бахромки» на своих брюках и зашивал черными нитками расплывшиеся штiblеты; прописывая больным порции, я с завистью перечитывал их, потому что сам питался чайною колбасою. В это крутое для меня время я испытал и понял явление, казавшееся мне прежде совершенно непонятным, — как можно пьянствовать с голоду. Теперь, когда я проходил мимо трактира, меня так и тянуло в него: мне казалось высшим блаженством подойти к ярко освещенной стойке уставленной вкусными закусками, и выпить рюмку-другую водки; странно, что меня, полуголодного и во все не алкоголика, главным образом привлекала именно водка, а не закуски. Когда у меня заводился в кармане рубль, я не мог побороть искушения и напивался пьяным. Ни до этого времени, ни после, когда я питался как следует, водка совершенно не тянула меня к себе.

Работать в больнице приходилось много. При этом я видел, что труд мой прямо нужен больнице и что любезность, с которою мне «позволяли» в ней работать, была любезностью предпринимателя, «дающего хлеб» своим рабочим; разница была только та, что за мою работу мне платили не хлебом, а одним лишь позволением работать. Когда, усталый и разбитый, я возвращался домой после бессонного дежурства и ломал себе голову, чего бы попитательнее купить себе на восемь копеек для обеда, меня охватывали злоба и отчаяние: неужели за весь свой труд я не имею права быть хоть сытым?

И я начинал жалеть, что бросил свою практику и приехал в Петербург. Бильрот говорит: «Только врач, не имеющий ни капли совести, может позволить себе самостоятельно пользоваться теми правами, которые ему дает его диплом». А кто в этом виноват? Не мы! Сами устраивают так, что нам нет другого выхода, — пускай сами же и платятся!..

Кроме своей больницы, я продолжал посещать некоторые курсы в Клиническом институте, а также работал и в других больницах. И везде я воочию убеждался, как мало значения придают в медицинском мире нашему врачебному диплому «со всеми правами и преимуществами, сопряженными по закону с этим знанием». У нас в больнице долгое время каждое мое назначение, каждый диагноз строго контролировались старшим ординатором; где я ни работал, меня допускали к лечению больных, а тем более к операциям, лишь убедившись на деле, а не на основании моего диплома, что я способен действовать самостоятельно. В Надеждинском родовспомогательном заведении врач, желающий научиться акушерству, в течение первых трех месяцев имеет право только исследовать рожениц и смотреть на операции: по истечении трех месяцев он сдает colloquium, и лишь после этого его допускают к операциям под руководством старшего дежурного ассистента... Может ли

пренебрежение к нашим «правам» идти дальше? Диплом признает меня полноправным врачом, закон, под угрозой сурового наказания, обязывает меня являться по вызову акушерки на трудные роды, а здесь мне не позволяют провести самостоятельно даже самых легких родов, и поступают, разумеется, вполне основательно.

«Я требую, — писал в 1874 году известный немецкий хирург Лангенбек — чтобы всякий врач, призванный на поле сражения, обладал оперативною техникою настолько же в совершенстве, насколько боевые солдаты владеют военным оружием»... Кому, действительно, может прийти в голову послать в битву солдат, которые никогда не держали в руках ружья, а только видели, как стреляют другие? А между тем врачи повсюду идут не только на поле сражения, а и вообще в жизнь неловкими рекрутами, не знающими, как взяться за оружие.

Медицинская печать всех стран истощается в усилиях добиться устранения этой вопиющей несообразности, но все ее усилия остаются тщетными. Почему? Я решительно не в состоянии объяснить этого... Кому невыгодно понять необходимость практической подготовленности врача? Не обществу, конечно, — но ведь и не самим же врачам, которые все время не устают твердить этому обществу: «ведь мы учимся на вас, мы приобретаем опытность ценою вашей жизни и здоровья!»

## VI

Я усердно работал в нашей больнице и, руководимый старшими товарищами-врачами, понемногу приобретал опытность.

Поскольку в этом отношении дело касалось разного рода назначений, то все шло легко и просто: я делал назначения, и, если они оказывались неразумными, старший товарищ указывал мне на это, и я исправлял свои ошибки. Совсем иначе обстояло дело там, где приходилось усваивать известные технические, оперативные приемы. Одних указаний здесь мало; как бы мой руководитель ни был опытен, но главное все-таки я должен приобрести сам; оперировать твердо и уверенно может только тот, кто имеет навык, а как получить этот навык, если предварительно не оперировать, — хотя бы рукою нетвердую и неуверенную?

В середине восьмидесятых годов американец О'Двайер изобрел новый способ лечения угрожающих сужений гортани у детей, преимущественно при крупе. Раньше при таких сужениях прибегали к трахеотомии; больному вскрывали спереди дыхательное горло и в разрез вставляли трубку. Вместо этой кровавой операции, страшной для близких больного, требующей хлороформа и ассистирования нескольких врачей, О'Двайер предложил свой способ, который заключается в следующем: оператор вводит в рот ребенка левый указательный палец и захватывает им надгортанный хрящ, а правую рукою посредством особого инструмента вводит по этому пальцу в гортань ребенка металлическую трубочку с утолщенной головкой. Трубка оставляется в гортани, утолщенная головка ее, лежащая на гортанных связках, мешает трубке проскользнуть в дыхательное горло; когда надобность минует, трубка извлекается из гортани. Операция эта, которая называется интубацией, часто достигает удивительных результатов и моментально устраняет удушье. В настоящее время она все больше вытесняет при дифтерите трахеотомию, которая остается только для тех, сравнительно редких случаев, где интубация не помогает.

Операция эта достигает удивительных результатов, проста и безболезненна, но... но лишь в том случае, если производится опытной рукою. Нужен большой навык, чтоб легко и без зацепки ввести трубочку в большую гортань кричащего и испуганного ребенка.

В дифтеритном отделении я работал под руководством товарища по фамилии Стратонов. Я не один десяток раз присутствовал при том, как он делал интубацию, не один десяток раз сам проделывал ее на фантоме и на трупе. Наконец Стратонов предоставил мне сделать операцию на живом ребенке. Это был мальчуган лет трех, с пухлыми щеками и славными синими глазенками. Он дышал тяжело и хрипло, порывисто метаясь по постели, с бледно-синеватым лицом, с вытягивающимися межреберьями. Его перенесли в операционную, положи-

ли на кушетку и забинтовали руки. Стратонов вставил ему в рот расширитель; сестра милосердия держала мальчику голову. Я стал вводить инструмент. Маленькая, мягкая гортань ребенка билась и прыгала под моим пальцем, и я никак не мог в ней ориентироваться. Наконец мне показалось, что я нащупал вход в гортань; я начал вводить трубку, но она уперлась концом во что-то и не шла дальше. Я надавил сильнее, но трубка не шла.

— Да не нажимайте, силою вы тут ничего не сделаете, — заметил Стратонов. — Поднимайте рукоятку вверх и вводите совершенно без всякого насилия.

Я вытащил инкубатор и стал вводить его снова; долго тыкал я концом трубки в гортань; наконец трубка вошла, и я извлек проводник. Ребенок, задышающийся, измученный, тотчас же выплюнул трубку вместе с кровавою слюною.

— Вы в пищевод трубку ввели, а не в гортань, — сказал Стратонов. — Нащупайте предварительно надгортанник и сильно отдавите его вперед, фиксируйте его таким образом и вводите трубку во время вдоха. Главное же — никакого насилия!

Красный и потный, я передохнул и снова приступил к операции, стараясь не смотреть на выпученные, страдающие глаза ребенка. Гортань его опухла, и теперь было еще труднее ориентироваться. Конец трубки все упирался во что-то, и я никак не мог побороть себя, чтоб не попытаться преодолеть препятствия силою.

— Нет, не могу! — наконец объявил я, нахмурившись, и вынул проводник.

Стратонов взял инкубатор и быстро ввел его в рот ребенка; мальчик забился, вытаращил глаза, дыхание его на секунду остановилось; Стратонов нажал винтик и ловко вытащил проводник. Послышался характерный дующий шум дыхания через трубку: ребенок закашлял, стараясь выхаркнуть трубку.

— Нет, разбойник, не выкашляешь! — усмехнулся Стратонов, трепля его по щеке.

Через пять минут мальчик спокойно спал, дыша ровно и свободно.

Началось тяжелое время. Научиться интубировать было необходимо; между тем все указания и объяснения несколько мне не помогали, а мои предшествовавшие упражнения на фантоме и трупке оказывались очень мало приложимыми. Только недели через полторы мне в первый раз удалось, наконец, ввести трубку в гортань. Но еще долго и после этого, приступая к интубации, я далеко не был уверен, удастся ли она мне. Иногда случалось, что, истерзав ребенка и истерзавшись сам, я должен был посылать за ассистентом, который и вставлял трубку.

Все это страшно тяжело, но как же иначе быть? Операция так полезна, так наглядно спасает жизнь... Это особенно ясно я чувствую теперь, когда все тяжелое осталось позади и когда я возьмусь интубировать при каких угодно условиях. Недавно ночью, на дежурстве, мне пришлось делать интубацию пятилетней девочке; накануне ей уже была вставлена трубочка, но через сутки она выкашляла ее. Больную внесли в операционную; я стал готовить инструменты. Девочка сидела на коленях у сиделки — бледная, с капельками пота на лбу, с выражением той страшной тоски, какая бывает только у задышающихся людей. При виде инструментов ее помутневшие глаза слабо блеснули; она сама раскрыла рот и сидела так, с робкой, ожидающей надеждой следя за мною. У меня сладко сжалось сердце. Быстро и легко, сам наслаждаясь своею ловкостью, я ввел ей в гортань трубку.

Девочка поднялась на кушетке и села, жадно, всею грудью вдыхая воздух; щеки ее порозовели, глазенки счастливо блестели

— Что, легко дышать теперь? — спросил я.

Она молча кивнула головою.

— Ну, благодари доктора, скажи: «спасибо!» — улыбнулась сестра милосердия, наклоняя ее голову.

— Спасибо! — прошептала девочка, с тихой лаской глядя на меня из-под поднятых бровей.

Я воротился в дежурную, лег спать, но заснуть долго не мог: я, улыбаясь, смотрел в темноту, и передо мною вставало счастливое детское личико, и слышался слабый шепот:

«спа-си-бо!..»

Да, такие минуты смягчают воспоминание о пройденном пути и до некоторой степени примиряют с ним; иначе нельзя, а не было бы первого, не было бы и второго. Но все-таки те-то, первые, — что им до чужого благополучия, купленного ценою их собственных мук? А сколько таких мук, сколько загубленных жизней лежит на пути каждого врача! «Наши успехи идут через горы трупов», — с грустью сознается Бильрот в одном частном письме.

Мне особенно ярко вспоминается моя первая трахеотомия; это воспоминание кошмаром будет стоять передо мною всю жизнь... Я много раз ассистировал при трахеотомиях товарищам, много раз сам проделал операцию на трупе. Наконец однажды мне предоставили сделать ее на живой девочке, которой интубация перестала помогать. Один врач хлороформировал больную, другой — Стратонов, ассистировал мне, каждую минуту готовый прийти на помощь.

С первым же разрезом, который я провел по белому, пухлому горлу девочки, я почувствовал, что не в силах подавить охватившего меня волнения; руки мои слегка дрожали.

— Не волнуйтесь, все идет хорошо, — спокойно говорит Стратонов, осторожно захватывая окровавленную фасцию своим пинцетом рядом с моим. — Крючки!.. Вот она, щитовидная железа, отделите фасцию!.. Тупым путем идите!.. Так, хорошо!..

Я наконец добрался зондом до трахеи, торопливо разрывая им рыхлую клетчатку и отстраняя черные, набухшие вены.

— Осторожнее, не нажимайте так, — сказал Стратонов. — Ведь так вы все кольца трахеи поломаете! Не спешите!

Гладкие, хрящеватые кольца трахеи ровно двигались под моим пальцем вместе с дыханием девочки; я фиксировал трахею крючком и сделал в ней разрез; из разреза слабо зашвистел воздух.

— Расширитель!

Я ввел в разрез расширитель. Слава богу, сейчас конец! Но из-под расширителя не было слышно того характерного шипящего шума, который говорит о свободном выходе воздуха из трахеи.

— Вы мимо ввели расширитель, в средостение! — вдруг нервно крикнул Стратонов.

Я вытащил расширитель и дрожащими от волнения руками ввел его вторично, но опять не туда. Я все больше терялся. Глубокая воронка раны то и дело заливалась кровью, которую сестра милосердия быстро вытирала ватным шариком; на дне воронки кровь пенилась от воздуха, выходящего из разрезанной трахеи; сама рана была безобразная и неровная, снизу ее зиял ход, проложенный моим расширителем. Сестра милосердия стояла с страдающим лицом, прикусив губу; сиделка, державшая ноги девочки, низко опустила голову, чтоб не видеть...

Стратонов взял у меня расширитель и стал вводить его сам. Но он долго не мог найти разреза. С большим трудом ему, наконец, удалось ввести расширитель; раздался шипящий шум, из трахеи с кашлем полетели брызги кровавой слизи. Стратонов ввел канюлю, наклонился и стал трубкой высасывать из трахеи кровь.

— Коллега, ведь это нечего же объяснять, это само собою понятно, — сказал он по окончании операции, — разрез нужно делать в самой середине трахеи, а вы каким-то образом ухитрились сделать его сбоку; и зачем вы сделали такой большой разрез?

«Зачем!» На трупе у меня и разрезы были нужной длины, и лежали они точно в середине трахеи...

У оперированной образовался дифтерит раны. Повязку приходилось менять два раза в день, температура все время была около сорока. В громадной гноящейся воронке раны трубка не могла держаться плотно; приходилось туго тампонировать вокруг нее марлём, и тем не менее трубка держалась плохо. Перевязки делал Стратонов.

Однажды, раскрыв рану, мы увидели, что часть трахеи омертвела. Это еще больше осложнило дело. Лишенная опоры трубочка теперь, при введении в разрез, упиралась про-

светом в переднюю стенку трахеи, и девочка начинала задыхаться. Стратанов установил трубочку как следует и стал тщательно обкладывать ее ватой и марлей. Девочка лежала, выкатив страдающие глаза, отчаянно топоча ножками, и старалась вырваться из рук державшей ее сиделки; лицо ее косилось от плача, но плача не было слышно: у трахеотомированных воздух идет из легких в трубку, минуя голосовую щель, и они не могут издать ни звука. Перевязка была очень болезненна, но сердце у девочки работало слишком плохо, чтобы ее можно было хлороформировать.

Наконец Стратанов наложил повязку; девочка села; Стратанов испытующе взглянул на нее.

— Дышит все-таки скверно! — сказал он, нахмурившись, и снова стал поправлять трубочку.

Лицо девочки перестало морщиться; она сидела спокойно и, словно задумавшись, неподвижно смотрела вдаль поверх наших голов. Вдруг послышался какой-то странный, слабый, прерывистый треск... Крепко стиснув челюсти, девочка скрипела зубами.

— Ну, Ньюша, потерпи немножко, — сейчас не будет больно! — страдающим голосом произнес. Стратанов, нежно глядя ее по щеке.

Девочка широко открытыми, неподвижными глазами смотрела в дверь и продолжала быстро скрипеть зубами; у нее все во рту трещало, как будто она торопливо разгрызала карамель; это был ужасный звук; мне казалось, что она в крошки разгрызала свои собственные зубы и рот ее полон кашицы из раздробленных зубов...

Через три дня больная умерла. Я дал себе слово никогда больше не делать трахеотомий.

Но чего же я этим достиг? Товарищи, начавшие работать одновременно со мною, но менее мягкосердечные, могут теперь спасти человеку жизнь там, где я стою, беспомощно опустив руки. Года через полтора после моей первой и последней трахеотомии в нашу больницу во время моего дежурства привезли рабочего из Колпина с сифилитическим сужением гортани; сужение развивалось постепенно в течение месяца, и уж двое суток больной почти совсем не мог дышать. Исхудалый, с торчащими вихрами редких волос, с синевато-землистым лицом, он сидел, схватившись руками за грудь, дыша с тяжелым хрипящим шумом. Я послал за товарищем, ассистентом-хирургом, и велел отвезти больного в операционную.

Ассистент осмотрел его.

— Придется операцию сделать тебе, горло разрезать, — сказал он.

— Да, да, хорошо! Поскорее, ради бога! — в смертной тоске произнес больной, закивав головою.

Пока готовили инструменты, больному дали вдыхать кислород.

— Ну, ложись, — сказал товарищ.

Больной положил на себя широкий крест и, поддерживаемый служителями, полез на операционный стол. Пока мы мыли ему шею, он все время продолжал дышать кислородом. Я хотел взять у него трубку, — он умоляюще ухватился за нее руками.

— Еще немножко, еще воздухом дайте подышать! — сипло прошептал он.

— Довольно, довольно! Сейчас тебе легко будет! — сказал товарищ. — Закрой глаза.

Больной еще раз широко перекрестился и зажмурился.

Операция производилась под кокаином. Один-другой разрез, я развел крючками края раны, товарищ вскрыл перстневидный хрящ, — и брызги кровавой слизи с кашлем полетели из разреза. Товарищ ввел трубку и наложил повязку.

— Готово! — сказал он.

Больной поднялся, жадно и глубоко вбирая в грудь воздух; он улыбался бесконечно радостною недоумевающей улыбкою и в удивлении крутил головою.

— Что, брат, ловко распатронули? — засмеялся товарищ.

И все кругом смеялись; смеялись сестры, сиделки, служители... А больной по-прежнему

радостно-изумленно улыбался и, беззвучно шепча что-то, крутил голову, пораженный чудесным могуществом нашей науки.

Назавтра я зашел в палату взглянуть на него. Больной встретил меня тою же радостно-недоумевающей улыбкою.

— Как дела? — спросил я.

Он закивал головою и развел руками, показывая, как ему хорошо... Я вышел с тяжелым чувством: я не мог бы спасти его, если бы не было под рукою товарища, больной бы погиб.

И я думал: нет, вздор все мои клятвы! Что же делать? Прав Бильрот, — «наши успехи идут через горы трупов». Другого пути нет. Нужно учиться, нечего смущаться неудачами... Но в моих ушах раздавался скрежет погубленной мною девочки, — и я с отчаянием чувствовал, что я не могу, не могу, что у меня не поднимется рука на новую операцию.

Как же в данном случае следует поступать? Ведь я не решил вопроса, — я просто убежал от него. Лично я мог это сделать, но что было бы, если бы так поступали все? Один старый врач, заведующий хирургическим отделением N-ской больницы, рассказывал мне о тех терзаниях, которые ему приходится переживать, когда он дает оперировать молодому врачу; «Нельзя не дать, — нужно же и им учиться, но как могу я смотреть спокойно, когда он, того и гляди, заедет ножом черт знает куда?»

И он отбирает нож у оператора и оканчивает операцию сам. Это очень добросовестно, но... но со стороны, от работавших у него врачей я слышал, что поступать в его отделение не стоит; хирург он хороший, но у него ничему не научишься. И это понятно. Хирург, который так щепетильно относится к своим пациентам, не может быть хорошим учителем. Вот что, например, рассказывает один русский врач-путешественник о знаменитом Листере, творце антисептики; «Листер слишком близко принимает к сердцу интересы своего больного и слишком высоко ставит свою нравственную ответственность перед каждым оперируемым. Вот почему Листер редко доверяет своим ассистентам перевязку артерий, и вообще все манипуляции, касающиеся непосредственно оперируемого, он выполняет собственноручно. Поэтому его молодые ассистенты не обладают достаточною оперативною ловкостью».

Если думать только о каждом данном больном, то иное отношение к делу и невозможно. Тот же путешественник — проф. А.С. Таубер, — рассказывая о немецких клиниках, замечает: «Громадная разница в течение ран наблюдается в клиниках между ампутациями, произведенными молодыми ассистентами, и таковыми, сделанными ловкой и опытной рукой профессора; первые нередко ушибают ткани, разминают нервы, слишком коротко урезают мышцы или высоко обнажают артериальные сосуды от их влагалищ, — все это моменты, неблагоприятные для скорого заживления ампутационной раны».

Но нужно ли приводить еще ссылки в доказательство истины, что, не имея опыта, нельзя стать опытным оператором? Где же тут выход? С точки зрения врача можно еще примириться с этим; «все равно, ничего не поделаешь». Но когда я воображаю себя пациентом, лежащим под нож хирурга, делающего свою первую операцию, — я не могу удовлетвориться таким решением, я сознаю, что должен быть другой выход во что бы то ни стало.

На один из таких выходов указал еще в тридцатых годах известный французский физиолог Мажанди. «Хороший хирург анатомического театра, — говорит он, — не всегда будет хорошим госпитальным хирургом. Он каждую минуту должен ждать тяжелых ошибок, прежде чем приобретет способность оперировать с уверенностью. Способность эту будет в состоянии дать ему только долгая практика, тогда как он должен был бы приобрести ее с самого начала, если бы его образование было лучше направлено. Больше всего в этом виноват способ обучения, который и до настоящего времени практикуется в наших школах. Учащиеся переходят непосредственно от мертвой природы к живой, они принуждены приобретать опытность на счет гуманности, на счет жизни себе подобных. Господа! Прежде чем об-

ращаться к человеку, — разве у нас нет существ, которые должны иметь в наших глазах меньше цены и на которых позволительно применять свои первые попытки? Я бы хотел, чтобы в дополнение медицинскому образованию у нас требовалось умение оперировать на живых животных. Кто привык к такого рода операциям, тот смеется над трудностями, перед которыми беспомощно останавливается столько хирургов».

Этот совет Мажанди очень легко исполним; тем не менее, и до настоящего времени он нигде не применяется. Изобретая какую-либо новую операцию, хирург большею частью продельывает ее предварительно над животными. Но, сколько я знаю, нигде в мире нет обычая, чтобы молодой хирург допускался к операции на живом человеке лишь после того, как приобретет достаточно опытности в упражнениях над живыми животными. Да и где уж требовать этого, когда далеко не всегда операциям на живом человеке предшествует достаточная подготовка даже в операциях на трупе. В тридцатых годах хирург, занимавшийся анатомией, вызывал пренебрежительный смех. Вот как, напр., отзывался профессор хирургии Диффенбах о молодом французском хирурге Вельпо: «это какой-то анатомический хирург». «По мнению Диффенбаха, — говорит Пирогов, — это была самая плохая рекомендация для хирурга».

Так было в тридцатых годах, а вот что сообщает о современных хирургах уже упомянутый выше профессор А.С. Таубер: «В Германии обыкновенно молодые ассистенты хирургических клиник учатся оперировать не на мертвом теле, а на живом. Никто не станет отрицать того, что живая кровь, струящаяся под ударом ножа, или содрогание живых мышц во время оперирования развивают в молодом операторе смелость, находчивость и уверенность в своих действиях; но, с другой стороны, я думаю, не подлежит никакому сомнению, что такое упражнение неопытной руки в операциях на живом — негуманно и несогласно с задачами врача вообще».

Мне думается, что только самое строгое и систематическое проведение в жизнь правила, рекомендованного Мажанди, могло бы хоть до известной степени спасти больных от необходимости платить своей кровью и жизнью за образование искусных хирургов. Но все-таки это лишь до известной степени. Когда можно признать хирурга «достаточно» опытным? Где для этого граница?

В 1873 году, на вершине своей славы и опытности, Бильрот писал одной своей старой знакомой: «У меня много оперированных и еще больше таких, которых предстоит оперировать; они занимают все мои мысли; из года в год увеличивается их число, бремя становится все тяжелее и тяжелее. Час назад я ушел от одной славной женщины, которую я вчера оперировал, — страшная операция... Каким взглядом смотрела она на меня сегодня вечером! «Останусь, я жива?» Я надеюсь, она останется жива, но наше искусство так несовершенно! Столетие все увеличивающегося знания и опытности хотел бы я иметь за собою, — тогда, может быть, я мог бы кое-что сделать. Но так, как теперь, — успехи наши подвигаются довольно медленно, и то немногое, чего достигает один, так трудно передать другим! Получающий должен самое важное сделать сам».

Хирургия есть искусство, и, как таковое, она более всего требует творчества и менее всего мирится с шаблоном. Где шаблон, — там ошибок нет, где творчество, — там каждую минуту возможна ошибка. Долгим путем таких ошибок и промахов и вырабатывается мастер, а путь этот лежит опять-таки через «горы трупов»... Тот же Бильрот, молодым доцентом хирургии, писал своему учителю Бауму об одном больном, которому Бильрот произвел три раза в течение одной недели насильственное вытяжение ноги, не подозревая, что головка бедра переломлена. «Действие вытяжения на воспаленные части оказалось, понятно, чрезвычайно губительным; наступила гангрена и смерть... Случай был для меня очень поучителен, потому что он, как и многие другие, научил меня, чего не должно делать. Но это, разумеется, *entre nous*».

Яркую картину процесса выработки опытности дал Пирогов в своих нашумевших «Анналах Дерптской хирургической клиники», изданных на немецком языке в конце тридца-



тых годов. С откровенностью гения он рассказал в этой «исповеди практического врача» о всех своих ошибках и промахах, которые он совершил во время заведования клиником. То, о чем другие решались сообщать лишь в частных письмах, «entre nous», — Пирогов, ко всеобщему смущению и соблазну, оповестил на весь мир. Картина, нарисованная им, получилась потрясающая.

Да, это все уж совершенно неизбежно, и никакого выхода отсюда нет. Так оно и останется: перед неизбежностью этого должны замолкнуть даже терзания совести. И все-таки сам я ни за что не согласился бы быть жертвой этой неизбежности, и никто из жертв не хочет быть жертвами... И сколько таких проклятых вопросов в этой страшной науке, где шагу нельзя ступить, не натолкнувшись на живого человека!

## IX

Кончая университет, я восхищался медициной и горячо верил в нее. Научные приобретения ее громадны, очень многое в человеческом организме нам доступно и понятно; со временем же для нас не будет в нем никаких тайн, и путь к этому верен. С таким, совершенно определенным отношением к медицине я приступил к практике. Но тут я опять натолкнулся на живого человека, и все мои установившиеся взгляды зашатались и заколебались. «Значения этого органа мы еще не знаем», «действие такого-то средства нам пока совершенно непонятно», «причины происхождения такой-то болезни неизвестны»... Пускай наукой завоевана громадная область, но что до этого, если кругом раскидываются такие необъятные горизонты, где все еще темно и непонятно? Что, в сущности, понимаю я в больном человеке, если не понимаю всего, как могу я к нему подступиться? Часовой механизм неизмеримо проще человеческого организма; а между тем могу ли я взяться за починку часов, если не знаю назначения хотя бы одного, самого ничтожного, колесика в часах?

Так же, как при первом моем знакомстве с медициной, меня теперь опять поразило бесконечное несовершенство ее диагностики, чрезвычайная шаткость и неуверенность всех ее показаний. Только раньше я преисполнялся глубоким презрением к кому-то «им», которые создали такую плохую науку; теперь же ее несовершенство встало передо мною естественным и неизбежным фактом, но еще более тяжелым, чем прежде, потому что он наталкивался на жизнь.

Вот передо мною этот загадочный, недоступный мне живой организм, в котором я так мало понимаю. Какие силы управляют им, каковы те тончайшие процессы, которые непрерывно совершаются в нем? В чем суть действия вводимых в него лекарств, в чем тайна зарождения и развития болезни? Коховская палочка вызывает в организме чахотку, леффлорова, которая на вид так мало разнится от коховской, вызывает дифтерит — почему? Я впрыскиваю больному под кожу раствор апоморфина, — он циркулирует по всему телу индифферентно, а соприкасаясь с рвотным центром, возбуждает его; у меня даже намек нет на понимание того, какие химические особенности определенных нервных клеток и апоморфина обуславливают это взаимоотношение.

Ко мне обращается за помощью девушка, страдающая мигренями. В чем суть этой мигрени? Во время припадка лоб у больной становится холодным, а зрачок расширяется; девушка малокровна; все это указывает на то, что причиной мигрени в данном случае является раздражение симпатического нерва, вызванное общим малокровием. Хорошее объяснение! Но каким образом и почему малокровие вызвало в этом случае раздражение симпатического нерва? Где и каковы те целительные силы организма, которые борются с происшедшим расстройством и которые я должен поддерживать? Как действуют на спазм симпатического нерва тот фенацетил с кофеином, на малокровие — то железо, которые я прописываю? И вот больная стоит передо мною, и я берусь ей помочь, и, может быть, даже помогу, — и в то же время ничего не понимаю, что с нею, почему и как поможет ей то, что я назначаю.

Я не имею даже отдаленного представления о типических процессах, общих всем человеческим организмам; а между тем каждый больной предстает передо мною во всем бо-

гатстве и разнообразии своих индивидуальных особенностей и отклонений от средней нормы. Что могу я знать об них? Двое на вид совершенно одинаково здоровых людей промочили себе ноги; один получил насморк, другой — острый суставной ревматизм. Почему?.. Высшая доза морфия — три сантиграмма; взрослой, совсем не слабой больной впрыснули под кожу пять миллиграммов морфия, — и она умерла; для объяснения таких фактов в медицине существует специальное слово «идиосинкразия», но это слово не дает мне никаких указаний на то, когда я должен ждать чего-либо подобного...

И какие средства дает мне наука проникнуть в живой организм, узнать его болезнь? Кое-что она мне, конечно, дает. Передо мною, напр., больной: он лихорадит, жалуется на ломоту в суставах, селезенка и печень увеличены. Я беру у него каплю крови и смотрю под микроскопом: среди кровяных телец быстро извиваются тонкие спиральные существа; это спираиллы возвратного тифа, и я с полною уверенностью говорю: у больного — возвратный тиф. Если бы наука давала мне столь же верные средства для познания всех болезней и всех особенностей каждого организма, то я мог бы чувствовать под ногами почву. Но в подавляющем большинстве случаев этого нет. На основании совершенно ничтожных данных я должен строить выводы, такие важные для жизни и здоровья моего больного...

Я был однажды приглашен к одной старой девушке лет под пятьдесят, владельнице небольшого дома на Петербургской стороне; она жила в трех маленьких, низких комнатах, уставленных киотами с лампадками, вместе со своей подругой детства, такую же желтую и худую, как она. Больная, на вид очень нервная и истеричная, жаловалась на сердцебиение и боли в груди; днем, часов около пяти, у нее являлось сильное стеснение дыхания и как будто затрудненное глотание.

— Нет у вас такого ощущения, как будто при глотании в горле у вас появляется шар? — спросил я, имея в виду известный признак истерии — *globus hystericus*.

— Да, да, именно! — обрадовалась больная.

Сердце и легкие ее при самом тщательном исследовании оказались здоровыми; ясное дело, у больной была истерия. Я назначил соответственное лечение.

— А что, доктор, не могу я вдруг сразу помереть? — спросила больная.

Она сообщила мне, что хотела бы завещать свой дом подруге, без завещания же все перейдет к ее единственному законному наследнику — брату, выжиге и плуту, который взял у нее по-родственному, без расписки, все ее деньги, около шести тысяч, и потом отказался возвратить.

— Странное дело, что же вам мешает составить завещание? — сказал я.

— Непосредственной опасности нет, но мало ли что может случиться! Пойдете по улице, — вас конка задавит. Всегда лучше сделать завещание заблаговременно.

Верно, верно! — в раздумье произнесла больная. — Вот только поправлюсь, сейчас же схожу к нотариусу.

Это было в три часа. А в пять, через два часа, ко мне прибежала подруга больной и, рыдая, объявила, что больная умерла: встала от обеда, вдруг пошатнулась, побледнела, изо рта ее хлынула кровь, и она упала мертвая.

— Зачем, зачем, вы, доктор, не сказали!? — твердила женщина, плача и захлебываясь, безумно стуча себе кулаком по бедру. — Ведь мне теперь по миру идти, злодей меня на улицу выгонит!

И теперь я понял: очевидно, у больной была аневризма: затрудненное глотание под вечер (после обеда), которое я объяснил себе, как *globus hystericus*, вызывалось набуханием аневризмы под влиянием увеличенного кровяного давления после еды... Но что кому пользы от этого позднего диагноза?

В таких случаях меня охватывали ярость и отчаяние: да что же это за наука моя, которая оставляет меня таким слепым и беспомощным?! Ведь я, как преступник, не могу взглянуть теперь в глаза этой пущенной мною по миру женщине, а чем же я виноват?

И чем дальше, тем чаще приходилось мне испытывать такое чувство. Даже там, где, как

в описанном случае, диагноз казался мне ясным, действительность то и дело опровергала меня; часто же я стоял перед больным в полном недоумении: какие-то жалкие, ничего не говорящие данные, — строй из них что-нибудь! И я ночи напролет расхаживал по комнате, обдумывая и сопоставляя эти данные, и ни к чему определенному не мог прийти - если же я, наконец, и ставил диагноз, то меня все-таки все время грызла неотгонимая мысль: «А если моя догадка не верна? Какая у меня возможность проверить ее правильность?» И всю жизнь жить и действовать под непрерывным гнетом такой неуверенности!..

Но, скажем, диагноз болезни я поставил правильно. Мне нужно ее лечить. Какие гарантии дает мне наука в целесообразности и действительности рекомендуемых ею средств? Суть действия большинства из этих средств для нас еще крайне неясна, и показания к их употреблению наука устанавливает эмпирически, путем клинического наблюдения. Но мы уже знаем, как непрочно и обманчиво клиническое наблюдение. Данное средство, по единогласным свидетельствам всех наблюдателей, действует превосходно, а через год-другой оно уже выбрасывается за борт, как бесполезное или даже вредное. Два года царил туберкулин Коха, — и ведь видели, видели собственными глазами, какое «блестящее» действие он оказывал на туберкулез! В том бесконечно сложном и непонятном процессе, который представляет собою жизнь больного организма, переплетаются тысячи влияний, — бесчисленные способы вредоносного действия данной болезни и окружающей среды, бесчисленные способы целебного противодействия сил организма и той же окружающей среды, — и вот тысяча первым влиянием является наше средство. Как определить, что именно в этом сложном деле вызвано им? Древнегреческий врач Хризипп запрещал лихорадящим больным есть, Диоксипп — пить. Сильвий заставлял их потеть, Бруссэ пускал им кровь до обморока, Керри сажал их в холодные ванны, — и каждый видел пользу именно от своего способа. Средневековые врачи с большим, по их мнению, успехом применяли против рака... мазь из человеческих испражнений. В прошлом веке, чтобы «помочь» прорезыванию зубов, детям делали по десяти и двадцати раз разрезы десен, делали это даже десятидневным детям - еще в 1842 году Ундервуд советовал при этом разрезать десны на протяжении целых челюстей, и притом резать поглубже, до самых зубов, «повреждения которых нечего опасаться». И все это, по мнению наблюдателей, помогало!..

Я вступил в практику с определенным запасом терапевтических знаний, данных мне школою. Как было относиться к этим знаниям? Естественное дело — спокойно и уверенно применять их к жизни. Но только я попробовал так действовать, как тотчас же натолкнулся на разочарование. Отвар сенеги рекомендуют назначать для возбуждения кашля в тех случаях, когда легкие наполнены жидкою, легко отделяющеюся мокротою. Я назначал сенегу и приглядывался, — и ни в одном случае не мог с уверенностью сказать, что моя сенега действительно удалила из легких больного хоть одну лишнюю каплю мокроты... Я назначал железо при малокровии и даже в тех случаях, когда больной поправлялся, ни разу не мог поручиться за то, что это произошло хоть сколько-нибудь благодаря железу.

Выходило так, что я должен верить на слово в то, что эти и многие другие средства действуют именно указываемым образом. Но такая вера была прямо невозможна, — сама же наука непрерывно подрывала и колебала эту веру. Одним из наичаще рекомендуемых средств против чахотки является креозот и его производные; а между тем все громче раздаются голоса, заявляющие, что креозот нисколько не помогает против чахотки и что он — только, так сказать, лекарственный ярлык, наклеиваемый на чахоточного. Основное правило диететики брюшного тифа требует кормить больного только жидкою пищею, и опять против этого идет все усиливающееся течение, утверждающее, что таким образом мы только замариваем больного голодом. Мышьяк признается незаменимым средством при многих кожных болезнях, малокровии, малярии, — и вдруг распространенная, солидная медицинская газета приводит о нем такой отзыв: «Самое замечательное в истории мышьяка — это то, что он неизменно пользовался любовью врачей, убийц и барышников... Врачам следовало бы понять, что мышьяк дает слишком мало, чтобы пользоваться вечным

почтением. Предание о мышьяке — позор нашей терапии».

Первое время такие неожиданные отзывы прямо ошеломляли меня: да чему же, наконец, верить! И я все больше убеждался, что верить я не должен ничему, и ничего не должен принимать, как ученик; все заподозрить, все отвергнуть, — и затем принять обратно лишь то, в действительности чего убедился собственным опытом. Но в таком случае, для чего же весь многовековой опыт врачебной науки, какая ему цена?

Один молодой врач спросил знаменитого Сиденгама, «английского Гиппократа», какие книги нужно прочесть, чтобы стать хорошим врачом.

— Читайте, мой друг, «Дон-Кихота», — ответил Сиденгам. — Это очень хорошая книга, я и теперь часто перечитываю ее.

Но ведь это же ужасно! Это значит — никакой традиции, никакой преемственности наблюдения: учись без предвзятости наблюдать живую жизнь, и каждый начинай все с начала.

С тех пор прошло более двух веков; медицина сделала вперед гигантский шаг, во многом она стала наукой; и все-таки, какая еще громадная область остается в ней, где и в настоящее время самыми лучшими учителями являются Сервантес, Шекспир и Толстой, никакого отношения к медицине не имеющие!

Но раз я поставлен в необходимость не верить чужому опыту, то как могу я верить и своему собственному? Скажем, я личным опытом убедился в целебности известного средства; но как же, как оно действует, почему? Пока мне неясен способ его действия, я ничем не гарантирован от того, что и мое личное впечатление — лишь оптический обман. Вся моя предыдущая естественнонаучная подготовка протестует против такого грубо-эмпирического образа действий, против такого блуждания ощупью, с закрытыми глазами. И я особенно сильно чувствую всю тяжесть этого состояния, когда с зыбкой и в то же время вязкой почвы эмпирии перехожу на твердый путь науки; я вскрываю полость живота, где очень легко может произойти гнилостное заражение брюшины; но я знаю, что делать для избежания этого: если я приступлю к операции с прокипяченными инструментами, с тщательно дезинфицированными руками, то заражения не должно быть. Если больной страдает близорукостью, то соответственное вогнутое стекло должно помочь ему. Вывих локтя, если нет осложнений, при соответственных манипуляциях должен вправиться. Во всех подобных случаях необходима преемственность, здесь, кроме «Дон-Кихота», нужно знать и читать еще кое-что. Конечно, и ошибки и прогресс возможны и в этой области; но ошибки будут обуславливаться моею неподготовленностью и неопытностью, прогресс будет совершаться путем улучшения прежнего, а не путем отрицания.

Будущее нашей науки блестяще и несомненно. То, что уже добыто ею, ясно рисует, чем станет она в будущем: полное понимание здорового и больного организма, всех индивидуальных особенностей каждого из них, полное понимание действия всех применяемых средств, — вот что ляжет в ее основу. «Когда физиология, — говорит Клод Бернар, — даст все, чего мы вправе от нее ждать, то она превратится в медицину, ставшую теоретическою наукою; и из этой теории будут выводиться, как и в других науках, необходимые применения, т. е. прикладная, практическая медицина».

Но как еще неизмеримо далеко до этого!.. И мне все чаще стала приходиться в голову мысль: пока этого нет, какой смысл может иметь врачебная деятельность? Для чего эта игра в жмурки, для чего обман общества, думающего, что у нас есть какая-то «медицинская наука»? Пусть этим занимаются гомеопаты и подобные им мудрецы, которые с легким сердцем все бесконечное разнообразие жизненных процессов втискивают в пару догматических формул. Для нас же задача может быть только одна — работать для будущего, стремиться познать и покорить себе жизнь во всей ее широте и сложности. А относительно настоящего можно лишь повторить то, что сказал когда-то средневековый арабский писатель Аерроес: «Честному человеку может доставлять наслаждение теория врачебного искусства, но его совесть никогда не позволит ему переходить к врачебной практике, как бы

обширны ни были его познания».

За эту мысль я хватался каждый раз, когда уж слишком жутко становилось от той непроглядной тьмы, действовать в которой я был обречен несовершенством своей науки. Я сам понимал, что мысль эта нелепа: теперешняя бессистемная, сомневающаяся научная медицина, конечно, несовершенна, но она все-таки неизмеримо полезнее всех выдуманных из головы систем и грубых эмпирических обобщений; именно совесть врача и не позволила бы ему гнать больных в руки гомеопатов, пасторов Кнейппов и Кузьмичей. Но эту мысль о жизненной непригодности теперешней науки я старался скрыть и затемнить от себя другую, слишком страшную для меня мысль: я начинал все больше убеждаться, что сам я лично совершенно негоден к выбранному мною делу и что, решая отдалиться медицине, я не имел самого отдаленного представления о тех требованиях, которым должен удовлетворять врач.

При теперешнем несовершенстве теоретической медицины медицина практическая может быть только искусством, а не наукой. Нужно на себе почувствовать всю тяжесть вытекающих отсюда последствий, чтобы ясно понять, что это значит. Ту больную с аневризмой, о которой я рассказывал, я исследовал вполне добросовестно, применил к этому исследованию все, что требуется наукой, и тем не менее грубо ошибся. Будь на моем месте настоящий врач, он мог бы поставить правильный диагноз: его совершенно особенная творческая наблюдательность уцепилась бы за массу неуловимых признаков, которые ускользнули от меня, бессознательным вдохновением он возместил бы отсутствие ясных симптомов и почувал бы то, чего не в силах познать. Но таким настоящим врачом может быть только талант, как только талант может быть настоящим поэтом, художником или музыкантом. А я, поступая на медицинский факультет, думал, что медицине можно научиться. Я думал, что для этого нужен только известный уровень знаний и известная степень умственного развития: с этим я научусь медицине так же, как всякой другой прикладной науке, напр., химическому анализу. Когда медицина станет наукой, — единой, всеобщей и безгрешной, то оно так и будет; тогда обыкновенный средний человек сможет стать врачом. В настоящее же время «научиться медицине», т. е. врачебному искусству, так же невозможно, как научиться поэзии или искусству сценическому. И есть много превосходных теоретиков, истинно «научных» медиков, которые в практическом отношении не стоят ни гроша.

Но почему я ничего этого не знал, поступая на медицинский факультет? Почему вообще я имел такое смутное и превратное представление о том, что ждет меня в будущем?.. Как все это просто произошло! Мы представили свои аттестаты зрелости, были приняты на медицинский факультет, и профессора начали читать лекции. И никто из них не раскрыл нам глаз на будущее, никто не объяснил, что ждет нас в нашей деятельности. А нам самим эта деятельность казалась такой несложной и ясной! Исследовал больного — и говоришь: больной болен тем-то, он должен делать то-то и принимать то-то. Теперь я видел, что это не так, но на то, чтобы убедиться в этом, я должен был убить семь лет молодости.

Я совершенно упал духом. Кое-как я нес свои обязанности, горько смеясь в душе над больными, которые имели наивность обращаться ко мне за помощью: они, как и я раньше, думают, что тот, кто прошел медицинский факультет, есть уже врач, они не знают, что врачей на свете так же мало, как и поэтов, что врач — ординарный человек при теперешнем состоянии науки — бессмыслица. И для чего мне продолжать служить этой бессмыслице? Уйти, взяться за какое ни на есть другое дело, но только не оставаться в этом ложном и преступном положении самозванца!

Так тянулось около двух лет. Потом постепенно пришло смирение.

Да, наука дает мне не так много, как я ждал, и я не талант. Но прав ли я, отказываясь от своего диплома? Если в искусстве в данный момент нет Толстого или Бетховена, то можно обойтись и без них; но больные люди не могут ждать, и для того, чтобы всех их удовлетворить, нужны десятки тысяч медицинских Толстых и Бетховенов. Это невозможно.

А в таком случае так ли уж бесполезны мы, обычные врачи? Все-таки, беря безотносительно, наукою отвоєвана от искусства уж очень большая область, которая с каждым годом все увеличивается. Эта область в наших руках. Но и в остальной медицине мы можем быть полезны и делать очень много. Нужно только строго и неуклонно следовать старому правилу: «*gratum non posce, - прежде всего не вредить*». Это должно главенствовать над всем. Нужно, далее, раз навсегда отказаться от представления, что деятельность наша состоит в спокойном и беззаботном исполнении указаний науки. Понять всю тяжесть и сложность дела, к каждому новому больному относиться с неослабевающим сознанием новизны и непознанности его болезни, непрерывно и напряженно искать и работать над собою, ничему не доверять, никогда не успокаиваться. Все это страшно тяжело, и под бременем этим можно изнемогать; но, пока я буду честно нести его, я имею право не уходить.

## XI

Наша врачебная наука в теперешнем ее состоянии очень совершенна; мы многого не знаем и не понимаем, во многом принуждены блуждать ощупью. А дело приходится иметь со здоровьем и жизнью человека... Уж на последних курсах университета мне понемногу стало выясняться, на какой тяжелый, скользкий и опасный путь обрекает нас несовершенство нашей науки. Однажды наш профессор-гинеколог пришел в аудиторию хмурый и расстроенный.

— Милостивые государи! — объявил он. — Вы помните женщину с эндометритом, которую я вам демонстрировал полторы недели назад и которой я тогда же сделал при вас выскабливание матки? Вчера она умерла от заражения брюшины...

Профессор подробно изложил нам ход болезни и результаты вскрытия умершей. Кроме разражений слизистой оболочки, ради которых было произведено выскабливание, у больной оказалась в толще матки мускульная опухоль — миома. Выскабливание матки при миомах сопряжено с большою опасностью, потому что миомы легко могут омертветь и подвергнуться гнилостному разложению. В данном случае самое тщательное исследование матки не дало никаких указаний на присутствие миомы; выскабливание было произведено, а следствием этого явилось разложение миомы и смерть больной.

— Таким образом, милостивые государи, — продолжал профессор, — смерть больной, несомненно, была вызвана нашею операциею; не будь операции, больная, хотя, и не без страданий, могла бы прожить еще десятки лет... К сожалению, наша наука не всесильна. Такие несчастные случайности предвидеть очень трудно, и к ним всегда нужно быть готовым. Для избежания подобной ошибки Шульце предлагает...

Профессор говорил еще долго, но я его уже не слушал. Сообщение его как бы столкнуло меня с неба, на которое меня вознесли мои тогдашние восторги перед успехами медицины. Я думал: «Наш профессор — европейски известный специалист, всеми признанный талант, тем не менее, даже и он не гарантирован от таких страшных ошибок. Что же ждет в будущем меня, обычного, ничем не выдающегося человека?»

И в первый раз это будущее глянуло на меня злое и мрачно. Некоторое время я ходил совершенно растерянный, подавленный громадною той ответственности, которая ждала меня в будущем. И везде я теперь находил свидетельства того, как во всех отношениях велика эта ответственность. Случайно мне попался номер «Новостей терапии», и в нем я прочел следующее:

*Бинц сообщает случай выкидыша после приемов салицилового натра по одному грамму. Врач, назначивший это средство, был привлечен к судебной ответственности, но был оправдан, ввиду того, что подобные случаи до сих пор еще не опубликованы, несмотря на то, что применение салицилового натра, как известно, практикуется в весьма широких размерах.*

Заметка эта случайно попала мне на глаза; я легко мог ее и не прочесть, а между

тем, если бы в будущем нечто подобное произошло со мною, то мне уже не было бы оправдания: теперь такой случай опубликован... Я должен все знать, все помнить, все уметь, — но разве же это по силам человеку?!

Вскоре мое мрачное настроение понемногу рассеялось: пока я был в университете, мне самому ни в чем не приходилось нести ответственности. Но когда я врачом приступил к практике, когда я на деле увидел все несовершенство нашей науки, я почувствовал себя в положении проводника, которому нужно ночью вести людей по скользкому и обрывистому краю пропасти: они верят мне и даже не подозревают, что идут над пропастью, а я каждую минуту жду, что вот-вот кто-нибудь из них рухнет вниз.

Часто, определив болезнь, я положительно не решался взяться за ее лечение и уклонялся под первым предлогом. В начале моей практики ко мне обратилась за помощью женщина, страдавшая солитером. Самое лучшее и верное средство против солитера — вытяжка мужского папоротника. Справляюсь в книгах, как его назначить, и читаю: «Средство много потеряло из своей славы, потому что его давали в слишком малых дозах... Но с назначением его нужно быть осторожным: в больших дозах оно производит отравление...» В единственно действительных не «слишком малых» дозах я должен быть «очень осторожен». Как возможно при таком условии соблюсти осторожность?.. Я заявил больной, что не могу ее лечить, и чтоб она обратилась к другому доктору.

Больная широко раскрыла глаза.

— Я вам заплачу, — сказала она.

— Да нет, дело не в том... Видите ли... За это нужно взяться, как следует, а у меня теперь нет времени...

Женщина пожалала плечами и ушла. Первое время я испытывал такой страх чуть не перед половиною всех моих больных; и страх этот еще усиливался от сознания моей действительной неопытности; чего стоил один тот случай с сыном прачки, о котором я уже рассказывал. Потом мало-помалу явилась привычка; я перестал всего бояться, больше стал верить в себя; каждое действие над больным уже не сопровождалось бесплодными терзаниями и мыслями о всех возможных осложнениях. Но все-таки висящий над головою домклов меч «несчастливого случая» и до сих пор держит меня в состоянии нервной непрерывной приподнятости.

Никогда наперед не знаешь, когда и откуда он придет, этот грозный «несчастный случай». Раз, я помню, у нас в больнице делали шестнадцатилетней девушке резекцию локтя. Мне поручили хлороформировать больную. И только я поднес к ее лицу маску с хлороформом, только она вдохнула его — один-единственный раз, — и лицо ее посинело, глаза остановились, пульс исчез; самые энергичные меры оживления не повели ни к чему; минуту назад она говорила, волновалась, глаза блестели страхом и жизнью, — и уже труп!.. По требованию родителей было произведено судебно-медицинское вскрытие умершей; все ее внутренние органы оказались совершенно нормальными, как я и нашел их при исследовании больной перед хлороформированием; и, тем не менее — смерть от этой ужасной идиосинкразии, которую невозможно предвидеть. И родители увезли труп, осыпав нас проклятиями.

Английский хирург Джемс Педжет говорит в своей лекции «о несчастиях в хирургии»: «Нет хирурга, которому не пришлось бы в течение своей жизни один или несколько раз сократить жизнь больным, в то время как он стремился продолжить ее. И такиеключения бывают не при одних только важных операциях. Если бы вы могли пробежать полный список операций, считааемых «малыми», вы нашли бы, что каждый опытный хирург или имел в своей собственной практике, или видел у других один или несколько смертельных исходов при всякой из этих операций. Если хирург удалит ножом сто атером на волосистой части головы, то — я осмеливаюсь утверждать — один или двое из его оперируемых умрут. Всякий, кто подряд наложит такое же число раз лигатуру на геморроидальные шишки, получит один или два смертельных исхода».

И от этого нет спасения. Каждую минуту может разразиться несчастье и смять тебя навсегда. В 1884 году венский врач Шпитцер пользовал четырнадцатилетнюю девочку, страдавшую озноблением пальцев; он прописал ей йодистого коллодия и велел мазать им отмороженные места: у девочки образовалось омертвление мизинца, и палец пришлось ампутировать. Мать больной подала на д-ра Шпитцера в суд. Суд приговорил его к уплате истце 650 гульденов, к штрафу в 200 гульденов и к лишению права практики. Газеты яростно напали на Шпитцера, осыпая его насмешками и издевательствами. Во врачебном мире случай этот вызвал большое волнение: Шпитцер не мог иметь никаких оснований ждать, чтобы смазывания пальца невинным йодистым коллодием способны были произвести такое разрушительное действие. Осужденный апеллировал в сенат. Было затребовано мнение медицинского факультета. По докладу известного хирурга проф. Альберта факультет единогласно дал следующее заключение: «Примененные доктором Шпитцером смазывания йодистым коллодием не повели к гангрене в ряде опытов, специально произведенных факультетом с этой целью. В литературе и науке не имеется указаний на опасность применения упомянутого средства вообще и в случаях, подобных происшедшему, в частности. Поэтому нет основания, обвинять д-ра Шпитцера в невежестве». Но Шпитцер уже не нуждался в оправдании. В тот день, когда было опубликовано факультетское заключение, труп Шпитцера был вытаскен из Дуная: он не вынес тяжести всеобщих осуждений и утопился.

Да, уж пощады в подобных случаях не жди ни от кого! Врач должен быть богом, не ошибающимся, не ведающим сомнений, для которого все ясно и все возможно. И горе ему, если это не так, если он ошибся, хотя бы не ошибиться было невозможно... Лет пятнадцать назад фельетонист «Петербургской газеты» г. Амикус огласил один «возмутительный» случай, происшедший в хирургической клинике проф. Коломнина. Мальчик Харитонов, «с болью в тазобедренном суставе», был привезен родителями в клинику; при исследовании мальчика ассистентом клиники, д-ром Трояновым, произошло вот что:

*«Троянов просит, чтобы Харитонов прыгнул на больную ногу; тот, конечно, отказывается, заверяя почтенного эскулапа, что он не может стоять на больной ноге. Но эскулап не слушает заверений несчастного юноши и с помощью присутствующих заставляет прыгнуть. Тот прыгнул. Раздался страшный крик, и несчастный упал на руки своих палачей: от прыжка нога сломилась у самого бедра». У больного «с ужасающей быстротой» развилась саркома, и он умер «по вине своих мучителей».*

Д-р Троянов в письме в редакцию газеты объяснил, как было дело. Мальчик жаловался на боли в суставе, но никаких наружных признаков поражения в суставе не замечалось; были основания подозревать туберкулез тазобедренного сустава (коксит). Стоять на больной ноге Харитонов мог. «Я предложил больному стать на больную ногу и слегка подпрыгнуть. При такой пробе у кокситиков при самом начале болезни, когда все другие признаки отсутствуют, болезнь выдает себя легкой болью в суставе. Последовал перелом. Такие переломы относятся к числу так называемых самородных переломов: у мальчика, как впоследствии оказалось, была центральная костномозговая саркома; она разъела изнутри кость и уничтожила ее обычную твердость; достаточно было первого сильного движения, чтобы случился перелом; тот же самый перелом сам собою сделался бы у больного или в клинике, или на возвратном пути домой. Узнать, наверное, такую болезнь, когда еще нельзя найти самой опухоли, в высокой степени трудно, иногда положительно невозможно». К этому нужно еще прибавить, что упомянутая болезнь вообще принадлежит к числу очень редких в противоположность кокситу, болезни очень распространенной.

Объяснение д-ра Троянова вызвало новые глумления фельетониста.

*Не правда ли, поразительно! — писал г. Амикус. — Самодействующий перелом!.. Это ли еще не есть верх несчастной случайности, в особенности для нас, профанов, впервые слышащих о самородных, самодействующих, автоматических переломах рук и ног. Только в таких необычайных случаях можно вполне оценить, что значит наука, и горько всплакнуть над своим невежеством... Что же остается делать профану? Не спорить*



*же с наукой! Остается только пристыжено понурить голову перед сиянием ослепляющей науки и немедленно испробовать с тревожным чувством (посредством ударов о твердые предметы), не подкрался ли к нему самому этот предательский самородный перелом.*

После этого еще целую неделю по газетам трепали и высмеивали д-ра Троянова.

Со стороны возмущаться подобными ошибками врачей легко. Но в том-то и трагизм нашего положения, что представься на завтра врачу другой такой же случай — и врач обязан был бы поступить совершенно так же, как поступил в первом случае. Конечно, для него было бы гораздо спокойнее поступить иначе: наружных признаков поражения сустава не замечается; есть способ узнать, не туберкулез ли это; но вдруг болезнь окажется костной саркомой, и тоже последует перелом! Правда, костные саркомы так редки, что за всю свою практику врач встретит их всего два-три раза; правда, если теперь же взяться за лечение туберкулезного сустава, то можно надеяться на полное и прочное излечение его, а все-таки... лучше подальше от греха; лучше пусть больной отправляется домой и представится снова тогда, когда уже появятся несомненные наружные признаки... Тот трус, который поступил бы так, был бы недостоин имени врача.

Общество живет слишком неверными представлениями о медицине, и это главная причина его несправедливого отношения к врачам; оно должно узнать силы и средства врачебной науки и не винить врачей в том, в чем виновато несовершенство науки. Тогда и требовательность к врачам понизилась бы до разумного уровня.

А впрочем, — понизилась ли бы она и тогда?.. Чувство не знает и не хочет знать логики. Недавно я испытывал это на самом себе. У моей жены роды были очень трудные, потребовалась операция. И передо мною зловеще ярко встали все возможные при этом несчастья.

— Нужно сделать операцию, — спокойно и хладнокровно сказал мне врач-акушер.

Как мог он говорить об этом так спокойно?! Ведь он знает, какие многочисленные случайности грозят роженице при подобной операции; пусть случайности эти редки, но все-таки же они существуют и возможны. А он должен ясно понять, что значит, для меня потерять Наташу, он, наверное, должен сделать операцию удачно, в противном случае это будет ужасно, и ему не может быть извинения, — ни ему, ни науке: не смеет он ни в чем погрешить!.. И перед этим охватившим меня чувством стали бледны и бессильны все доводы моего разума и знания.

## XII

В обществе к медицине и врачам распространено сильное недоверие. Врачи издавна служат излюбленным предметом карикатур, эпиграмм и анекдотов. Здоровые люди говорят о медицине и врачах с усмешкою, больные, которым медицина не помогла, говорят о ней с ярою ненавистью.

Эти насмешки и это недоверие вначале сильно конфузили меня. Я чувствовал, что в основе своей они справедливы, что в науке нашей, действительно, есть многое, чего мы должны конфузиться. Чувствуя это, я иногда не прочь был и сам в откровенную минуту высказать свое пренебрежительное и насмешливое отношение к медицине. Однажды, в деревне, мы возвращались вечером с прогулки. Ко мне подошла баба с просьбою осмотреть и полечить ее. Я зашел к ней в избу вместе со своей двоюродной сестрой. Баба жаловалась, что ей «подпирает корешки» и схватывает под ложечкой, что, когда она наклоняется, у нее сильно кружится голова. Я исследовал ее и сказал, чтоб она зашла ко мне за каплями.

— Что у нее? — спросила сестра, когда мы вышли.

— А я почему знаю! — с усмешкою ответил я. — Подпирает корешки какие-то.

Сестра удивленно подняла брови.

— Вот странно! Ты так уверенно держался, — я думала, для тебя все совершенно ясно.

— Дня через два исследую ее еще раз — может быть, выяснится.

— Ну и наука же ваша!

— Наука — что говорить! Наука, можно сказать, — точная!

И я стал рассказывать ей случаи, показывавшие, как «точна» наша наука и как наивно смотрят на врачей больные.

Мне не раз случалось таким тоном говорить о медицине; все, что я рассказывал, была правда, но всегда после подобных разговоров мне становилось совестно; эту правду я оценивал, становясь на точку зрения своих слушателей, в душе же у меня, несмотря на все, отношение к медицине было серьезное и полное уважения.

Очевидно, во всем этом крылось какое-то глубокое недоразумение. Медицина не оправдывает ожиданий, которые на нее возлагаются, — над нею смеются, и в нее не верят. Но правильны ли и законны ли самые эти ожидания? Есть наука об излечении болезней, которая называется медициной; человек, обучившийся этой науке, должен безошибочно узнавать и вылечивать болезни; если он этого не умеет, то либо сам он плох, либо его наука никуда не годится.

Такой взгляд был совершенно естествен; но в то же время совершенно неправилен. Не существует хоть сколько-нибудь законченной науки об излечении болезней: перед медициной стоит живой человеческий организм с бесконечно сложной и запутанной жизнью; многое в этой жизни уже понято, но каждое новое открытие в то же время раскрывает все большую чудесную ее сложность; темным и малопонятным путем развиваются в организме многие болезни, неясны и неуловимы борющиеся с ними силы организма, нет средств поддержать эти силы; есть другие болезни, сами по себе более или менее понятные; но сплошь да рядом они протекают так скрыто, что все средства науки бессильны для их определения.

Это значит, что врачи не нужны, а их наука никуда не годится? Но ведь есть многое другое, что науке уже понятно и доступно, во многом врач может оказать существенную помощь. Во многом он и бессилен, но в чем именно он бессилен, может определить только сам врач, а не больной; даже и в этих случаях врач незаменим, хотя бы по одному тому, что он понимает всю сложность происходящего перед ним болезненного процесса, а больной и его окружающие не понимают.

Люди не имеют даже самого отдаленного представления ни о жизни своего тела, ни о силах и средствах врачебной науки. В этом — источник большинства недоразумений, в этом — причина как слепой веры во всемогущество медицины, так и слепого неверия в нее. А то и другое одинаково дает знать о себе очень тяжелыми последствиями.

В публике сильно распространены всевозможные «общедоступные лечебники» и популярные брошюры о лечении; в мало-мальски интеллигентной семье всегда есть домашняя аптечка, и раньше, чем позвать врача, на больном испробуют и касторку, и хинин, и салициловый натр, и валерьянку; недавно в Петербурге даже основалось целое общество «самопомощи в болезнях». Ничего подобного не было бы возможно, если бы у людей, вместо слепой веры в простую и нехитрую медицинскую науку, было разумное понимание этой науки. Люди знали бы, что каждый новый больной представляет собою новую, неповторяющуюся болезнь, чрезвычайно сложную и запутанную, разобраться в которой далеко не всегда может и врач со всеми его знаниями. У больного запор, — нужно ему дать касторки; решился ли бы кто-нибудь приступить к такому лечению, если бы хоть подозревал о том, что иногда этим можно убить человека, что иногда, как, напр., при свинцовой колике, запор можно устранить не касторкой, а только... опиумом?

На невежественной вере во всесилие медицины основываются те преувеличенные требования к ней, которые являются для врача проклятием и связывают его по рукам и ногам, Больного с брюшным тифом сильно лихорадит, у него болит голова, он потеет по ночам, его мучит тяжелый бред; бороться с этим нужно очень осторожно, и преимущественно физическими средствами; но попробуй скажи пациенту: «Страдай, обливайся потом, изнывай от кошмаров!» Он отвернется от тебя и обратится к врачу, который не будет жалеть хинина, фенацетина и хлоралгидрата; что это за врач, который не дает облегчения! Пусть это облег-

чение идет за счет сил больного, пусть оно всегда расшатает его организм, пусть совершенно отучит от способности самостоятельно бороться с болезнью, — облегчение получено, и дозволено. Самыми несчастными пациентами в этом отношении являются разного сорта «высокие особы», — нетерпеливые, избалованные, которые самую наличность неустраненного хотя бы легкого страдания ставят в вину лечащему их врачу. Вот почему, между прочим, в публике громким успехом пользуются врачи, о которых понимающие дело товарищи отзываются с презрением и к помощи которых ни один из врачей не станет обращаться.

Врач на то и врач, чтобы легко и уверенно устранять страдания и излечивать болезни. Действительность на каждом шагу опровергает такое представление о врачах, и люди от слепой веры в медицину переходят к ее полному отрицанию. У больного болезнь излечимая, но требующая лечения долгого и систематического: неделя-другая лечения не дала помощи, и больной машет рукою на врача и обращается к знахарю. Есть болезни затяжные, против которых мы не имеем действительных средств, — напр., коклюш; врач, которого в первый раз пригласят в семью для лечения коклюша, может быть уверен, что в эту семью его никогда уж больше не позовут: нужно громадное, испытанное доверие к врачу или полное понимание дела, чтобы примириться с ролью врача в этом случае — следить за гигиеничностью обстановки и принимать меры против появляющихся осложнений.

Особенно богатый материал для отрицания медицины дают ошибки врачей. Врач определил у больного брюшной тиф, а на вскрытии оказалось, что у него была общая бугорчатка, — позор врачам, хотя клинические картины той и другой болезни часто совершенно тождественны. У меня есть один знакомый, три года у него сильно болит правое колено: один врач определил туберкулез, другой — сифилис, третий — подагру; и облегчения ни от кого нет. Отсюда вывод может быть только один: иногда болезни проявляются в таких темных и неясных формах, что правильный диагноз возможно поставить только случайно. Но каждый человек судит по тому, что испытывает на себе; и знакомый мой говорит: «Ваше занятие для общества то же, что для человека галстук: галстук совершенно бесполезен, но ходить без него цивилизованному человеку неприлично; и он покорно платит за галстук деньги, и люди, приготовляющие галстуки, думают, что делают что-то нужное...»

— Должен вам, доктор, сознаться, — я совершенно не верю в вашу медицину, — сказала мне недавно одна дама.

Она не верит... Но ведь она ее совершенно не знает! Как же можно верить или не верить в значение того, чего не знаешь?

Многое из того, что мною рассказано в предыдущих главах, может у людей, слепо верующих в медицину, вызвать недоверие к ней. Я и сам пережил это недоверие. Но вот теперь, зная все, я все-таки с искренним чувством говорю: я верю в медицину, — верю, хотя она во многом бессильна, во многом опасна, многого не знает. И могу ли я не верить, когда то и дело вижу, как она дает мне возможность спасать людей, как губят сами себя те, кто отрицает ее?

«Я не верю в вашу медицину», — говорит дама. Во что же, собственно, она не верит? В то, что возможно в два дня «перервать» коклюш, или в то, что при некоторых глазных болезнях современным применением атропина можно спасти человека от слепоты? Ни в два дня, ни в три недели невозможно перервать коклюш, но несколькими каплями атропина можно сохранить человеку зрение, и тот, кто не «верит» в это, подобен скептику, не верящему, чтоб где-нибудь на свете мужики говорили по-французски. Человек долгие годы страдает удушьем; я прижигаю ему носовые раковины, — и он становится здоровым и счастливым от своего здоровья; мальчик туп, невнимателен и беспамятен: я вырезаю ему гипертрофированные миндалины, — и он умственно совершенно перерождается; ребенок истощен поносами: я без всяких лекарств, одним регулированием диеты и времени приема пищи достигаю того, что он становится полным и веселым. Мое знание часто дает мне возможность самым незначительным приемом или назначением предотвратить тяжелую болезнь, и чем невежественнее люди, тем ярче бросается в глаза все значение моего знания. В трудных,

запутанных случаях, потребовавших много умственных и нервных затрат, особенно сильно и победно чувствуешь свое торжество, и смешно подумать, что можно было бы сделать здесь без знания... Нет, я — я верю в медицину, и мне глубоко жаль тех, кто в нее не верит.

Я верю в медицину. Насмешки над нею истекают из незнания смеющихся. Тем не менее во многом мы ведь, действительно, бессильны, невежественны и опасны; вина в этом не наша, но это именно и дает пищу неверию в нашу науку и насмешки над нами. И передо мною все настойчивее начал вставать вопрос: это недоверие и эти насмешки я признаю неосновательными, им не должно быть места по отношению ко мне и к моей науке, — как же мне для этого держаться с пациентом?

Прежде всего нужно быть с ним честным. Именно потому, что сами мы скрываем от людей истинные размеры доступного нам знания, к нам и возможно то враждебно-ироническое чувство, которое мы повсюду возбуждаем к себе. Одно из главных достоинств Льва Толстого, как художника, заключается в поразительно человеческом и серьезном отношении к каждому из рисуемых им лиц; единственное исключение он делает для врачей: их Толстой не может выводить без раздражения и почти тургеневского подмигивания читателю. Есть же, значит, что-то, что так восстанавливает всех против нас. И мне казалось, что это «что-то» есть именно окутывание себя туманом и возбуждение к себе преувеличенного доверия и ожиданий. Этого не должно быть.

Но практика немедленно опровергла меня; напротив, иначе, чем есть, и не может быть. Я лечил одного чиновника, больного брюшным тифом; его крепило, живот был сильно вздут; я назначил ему каломель в обычной слабительной дозе со всеми обычными предосторожностями.

— У мужа, доктор, явилось во рту какое-то осложнение, — сообщила мне жена больного при следующем моем визите.

Больной жаловался на сильное слюнотечение, десны покраснели и распухли, изо рта несло отвратительным запахом; это была типическая картина легкого отравления ртутью, вызванного назначенным мною каломелем: обвинить себя я ни в чем не мог, — я принял решительно все предупредительные меры.

Что мне было сказать? Что это — следствие назначенного мною лечения? Глупее поступить было бы невозможно. Я совершенно бесцельно подорвал бы доверие ко мне больного и заставил бы его ждать всяких бед от каждого моего назначения. И я молча, стараясь не встретиться со взглядом жены больного, выслушал ее речи об удивительном разнообразии осложнений при тифе.

Меня пригласили к больному ребенку; он лихорадил, никаких определенных жалоб и симптомов не было, приходилось подождать выяснения болезни. Я не хотел прописать «*cur aliquid fiat*», я сказал матери, что следует принять такие-то гигиенические меры, а лекарств пока не нужно. У ребенка развилось воспаление мозговых оболочек, он умер. И мать стала горько клясть меня в его смерти, потому что я не поспешил вовремя «перервать» его болезнь.

А как я могу держаться «честно» с неизлечимыми больными? С ними все время приходится лицемерить и лгать, приходится пускаться на самые разнообразные выдумки, чтобы вновь и вновь поддерживать падающую надежду. Больной, по крайней мере, до известной степени, всегда сознает эту ложь, негодует на врача и готов проклинать медицину. Как же держаться? Древнеиндийская медицина была в этом отношении пряма и жестоко искренна: она имела дело только с излечимыми больными, неизлечимый не имел права лечиться; родственники отводили его на берег Ганга, забивали ему нос и рот священным илом и бросали в реку... Больной сердится, когда врач не говорит ему правды; о, он хочет одной только правды! Вначале я был настолько наивен и молодо-прямолинеен, что, при настойчивом требовании, говорил больному правду; только постепенно я понял, что в действительности значит, когда больной хочет правды, уверяя, что не боится смерти; это значит: «если надежды нет, то лги мне так, чтоб я ни на секунду не усомнился, что ты говоришь правду».

Везде, на каждом шагу, приходится быть актером; особенно это необходимо потому, что болезнь излечивается не только лекарствами и назначениями, но и душою самого больного; его бодрая и верящая душа — громадная сила в борьбе с болезнью, и нельзя достаточно высоко оценить эту силу; меня первое время удивляло, насколько успешнее оказывается мое лечение по отношению к постоянным моим пациентам, горячо верящим в меня и посылающим за мною с другого конца города, чем по отношению к пациентам, обращающимся ко мне в первый раз; я видел в этом довольно комичную игру случая; постепенно только я убедился, что это вовсе не случайность, что мне, действительно, могучую поддержку оказывает завоеванная мною вера, удивительно поднимающая энергию больного и его окружающих. Больной страшно нуждается в этой вере и чутко ловит в голосе врача всякую ноту колебания и сомнения... И я стал привыкать держаться при больном самоуверенно, делать назначения самым докторальным и безапелляционным тоном, хотя бы в душе в это время поднимались тысячи сомнений.

— Не лучше ли, доктор, сделать то-то? — спрашивает скептический больной.

— Я вас попрошу беспрекословно исполнять, что я назначаю, — категорически заявляю я. — Только в таком случае я и могу вести лечение.

И весь мой тон говорит, что я обладаю полною истиною, сомнение в которой может быть только оскорбительным.

И веру в себя недостаточно завоевать раз; приходится все время завоевывать ее непрерывно. У больного болезнь затягивается; необходимо зорко следить за душевным состоянием его и его окружающих; как только они начинают падать духом, следует, хотя бы наружно, переменить лечение, назначить другое средство, другой прием; нужно цепляться за тысячи мелочей, напрягая всю силу фантазии, тонко считаясь с характером и степенью развития больного и его близких.

Все это так далеко от того простого исполнения предписаний медицины, в котором, как я раньше думал, и заключается все наше дело! Турецкий знахарь, ходжа, назначает больному лечение, обвешивает его амулетами и под конец дует на него; в последнем вся суть: хорошо излечивать людей способен только ходжа «с хорошим дыханием». Такое же «хорошее дыхание» требуется и от настоящего врача. Он может обладать громадным распознавательным талантом, уметь улавливать самые тонкие детали действия своих назначений, — и все это останется бесплодным, если у него нет способности, покорять и подчинять себе душу больного. Есть, правда, истинно интеллигентные больные, которым не нужно полушарлатанское «хорошее дыхание», которым более дороги талант и знание, не желающие скрывать голой правды. Но такие больные так же редки среди людей, как редки среди них сами талант и знание.

## XVII

Года через полтора после моего приезда в Петербург меня позвал к себе на дом к больному ребенку один железнодорожный машинист. Он занимал комнату в пятом этаже, по грязной и вонючей лестнице. У его трехлетнего мальчика оказался нарыв миндалины; ребенок был рахитический, худенький и бледный; он бился и зажимал зубами ручку ложки, так что мне с трудом удалось осмотреть его зев. Я назначил лечение. Отец, — высокий, с косматой рыжей бородою, — протянул мне при уходе деньги; комната была жалкая и бедная, ребят куча; я отказался. Он почтительно и с благодарностью проводил меня.

Следующие два дня ребенок продолжал лихорадить, опухоль зева увеличилась, дыхание стало затрудненным. Я сообщил родителям, в чем дело, и предложил прорезать нарыв.

— Это как же, во рту, внутри резать? — спросила мать, высоко подняв брови.

Я объяснил, что операция эта совершенно безопасна.

— Ну, нет! У меня на это согласия нету! — быстро и решительно ответила мать.

Все мои убеждения и разъяснения остались тщетными.

— Я так думаю, что божья на это воля, — сказал отец. — Не захочет господь, так и прорезать не стоит, — все равно помрет. Где ж ему такому слабому перенести операцию?

Я стал спринцевать ребенку горло.

— Сам уж теперь рот раскрывает,— грустно произнес отец.

— Нарыв, вероятно, сегодня прорвется, — сказал я. — Следите, чтобы ребенок во сне не захлебнулся гноем. Если плохо будет, пошлите за мною.

Я вышел в кухню. Отец стремительно бросился подать мне пальто.

— Уж не знаю, господин доктор, как вас и благодарить, — проговорил он. — Прямо, можно сказать, навеки нас обязываете.

Назавтра прихожу, звонюсь. Мне отворила мать, — заплаканная, бледная; она злыми глазами оглядела меня и молча отошла к плите.

— Ну, что ваш сынок? — спросил я.

Она не ответила, даже не обернулась.

— Помирает, — сдержанно произнесла из угла какая-то старуха.

Я разделся и вошел в комнату. Отец сидел на кровати; на коленях его лежал бледный мальчик.

— Что больной? — спросил я.

Отец окинул меня холодным, безучастным взглядом.

— Уж не знаю, как и до утра дожил, — неохотно ответил он. — К обеду помрет.

Я взял ребенка за руку и пощупал пульс.

— Всю ночь материя шла через нос и рот, — продолжал отец. — Иной раз совсем захлебнется, — посинеет и закатит глаза: жена заплачет, начнет его трясти, — он на время и отойдет.

— Поднесите его к окну, посмотреть горло, — сказал я.

— Что его еще мучить! — сердито проговорила вошедшая мать. — Уж оставьте его в покое!

— Как вам не стыдно! — прикрикнул я на нее. — Чуть немножко хуже стало, — и руки уж опустили: помирай, дескать! Да ему вовсе и не так уж плохо.

Опухоль зева значительно опала, но мальчик был сильно истощен и слаб. Я сказал родителям, что все идет очень хорошо, и мальчик теперь быстро оправится.

— Дай бог! — скептически улыбнулся отец. — А я так думаю, что вы его завтра и в живых уж не увидите.

Я прописал рецепт, объяснил, как давать лекарство, и встал.

— До свидания!

Отец еле удостоил меня ответом. Никто не поднялся меня проводить.

Я вышел возмущенный. Горе их было, разумеется, вполне законно и понятно: но чем заслужил я такое отношение к себе? Они видели, как я был к ним внимателен, — и хоть бы искра благодарности! Когда-то в мечтах я наивно представлял себе подобные случаи в таком виде: больной умирает, но близкие видят, как горячо и бескорыстно относился я к нему, и провожают меня с любовью и признательностью.

— Не хотят, и не нужно! Больше не пойду к ним! — решил я.

Назавтра мне пришлось употребить все усилия воли, чтобы заставить себя пойти. Звонясь, я дрожал от негодования, готовясь встретить эту бессмысленную, незаслуженную мною ненависть со стороны людей, для которых я делал все, что мог.

Мне открыла мать, розовая, счастливая; мгновение, поколебавшись, она вдруг схватила мою руку и крепко пожала ее. И меня удивило, какое у нее было хорошенькое, милое лицо, раньше я этого совсем не заметил. Ребенок чувствовал себя прекрасно, был весел и просил есть... Я ушел, сопровождаемый горячими благодарностями отца и матери.

Этот случай в первый раз дал мне понять, что если от тебя ждут спасения близкого человека и ты этого не сделал, то не будет тебе прощения, как бы ни хотел и как бы ни старался спасти его.

Я лечил от дифтерии одну молодую купчиху, по фамилии Старикову. Муж ее, полный и румяный купчик, с добродушным лицом и рыжеватыми усиками, сам приезжал за мною

на рысаке; он стеснял и смешил своею суетливою, приказчиьею предупредительностью: когда я садился в сани, он поддерживал меня за локоть, оправлял полы моей шубы, а усадив, сам садился рядом на самом краешке сиденья. Дифтерит у больной был очень тяжелый, флегмонозной формы, и несколько дней она была на краю смерти; потом начала поправляться. Но в будущем еще была опасность от последифтеритных параличей.

Однажды, в четыре часа утра, ко мне позвонился муж больной. Он сообщил, что у больной неожиданно появились сильные боли в животе и рвота. Мы сейчас же поехали. Была метель; санки быстро мчались по пустынным улицам.

— Сколько мы вам, доктор, беспокойства доставляем! — извиняющимся голосом заговорил мой спутник. — Этакую рань вам ехать, в такую непогоду!.. Спать вам помешал...

Больной было очень плохо; она жаловалась на тянущие боли в груди и животе, лицо ее было бело, того трудно описуемого вида, который мало-мальски привычному глазу с несомненностью говорит о быстро и неотвратимо приближающемся параличе сердца. Я предупредил мужа, что опасность очень велика. Пробыв у больной три часа, я уехал, так как у меня был другой трудный больной, которого было необходимо посетить. При Стариковой я оставил опытную фельдшерницу.

Через полтора часа я приехал снова. Навстречу мне вышел муж, с странным лицом и воспаленными, красными глазами. Он остановился в дверях залы, заложив руки сзади под пиджаком.

— Что скажете хорошенького? — развязно и презрительно спросил он меня.

— Что Марья Ивановна?

— Марья Ивановна-с? — повторил он, растягивая слова.

— Ну, да!

Он помолчал.

— Полчаса назад благополучно скончалась! — усмехнулся Стариков, с ненавистью оглядев меня. — Честь имею кланяться — до свидания!

И, круто повернувшись, он ушел в залу, наполненную собравшимися родственниками.

В моем воспоминании никак теперь не могут соединиться в одно два образа этого Старикова: один — суетливо-предупредительный, заглядывающий в глаза, стремящийся к тебе; другой — чуждый, с вызывающе-оскорбительной развязностью, с красными, горящими ненавистью глазами.

О, какова ненависть таких людей! Нет ей пределов. В прежние времена расправа с врачами в подобных случаях была короткая. «Врач некий, немчин — рассказывают русские летописи, — врачава князя Каракуча, да умори его смертным зельем за посмея. Князь же великий Иоанн III выдал его сыну Каракучеву, он же мучив его, хоте на окуп дати. Князь же великий не повеле, но повеле его убити; они сведше его на Москву-реку под мост зимою, и зарезали ножом, яко овцу».

По законам вестготов, врач, у которого умер больной, немедленно выдавался родственникам умершего, «чтоб они имели возможность сделать с ним, что хотят». И в настоящее время многие и многие вздохнули бы по этому благодетельному закону; тогда прямо и верно можно было бы достигать того, к чему теперь приходится стремиться не всегда надежными путями.

В конце 1883 года в одесской газете «Новороссийский телеграф» появилось письмо некоего г. Белякова под бросающимся в глаза заглавием:

### **СЫНА МОЕГО ЗАРЕЗАЛИ**

*(Необычайный некролог отца о сыне).*

*Да, г. редактор! - пишет Беляков. - Единственный сын мой Сократ зарезан в Херсоне, в силу науки, ровно в 10 часов вечера 28 ноября, услугами вашего местного оператора Петровского...*

Далее, на пространстве целого фельетона, г. Беляков подробно рассказывает, «как его

ребенок заболел дифтеритом, как плохо лечили его врачи, как, благодаря этому плохому лечению, процесс распространился на гортань. С тщательностью судебного следователя он приводит в качестве обвинительных документов все назначения и рецепты врачей и тем самым, помимо своей воли, наглядно удостоверяет для всякого, понимающего дело, совершенную правильность всех назначений. Ребенку было очень худо. Один из врачей признал случай безнадежным и уехал. Отец молил спасти ребенка. Тогда оставшийся при больном д-р Гершельман предложил последнее средство — операцию. Во время операции, произведенной доктором Петровским, ребенок умер. Как видно из самого же описания г-на Белякова, случай был очень тяжелый, и такого конца можно было ждать каждую минуту; но г. Беляков, ничего не понимая в деле, утверждает, что оператор просто-напросто «зарезал» его сына. По жалобе отца тело ребенка было вырыто из могилы и вскрыто в присутствии следователя и четырех экспертов; оказалось, что ребенок умер от задушения дифтеритными пленками, а операция была произведена безукоризненно.

*Следовало ли делать эту операцию. — спрашивает г. Беляков, если болезнь длилась уже шестой день? Компетентные лица (?) говорят, что когда дифтерит длился столько времени, не осложняясь, и когда больной еще дышал, - не представлялось никакой надобности в операции. (Это совершенный вздор). Наконец правильно ли было пользование доктора Гершельмана? Все ли возможные средства он употребил для спасения больного? По моему мнению, г. Гершельман слишком поверхностно отнесся к своему делу... Подыщите после этого подходящую статью в Уложении о наказаниях, которая своею страшною карою виновного в смерти Сократа могла бы искупить наше горе!*

Конечно, ни одна статья Уложения не удовлетворила бы г. Белякова. Вот действуй у нас вестготские законы, — о, тогда г. Беляков сумел бы изобрести кару, которая бы искупила его горе!.. Сильна, в человеке кровавая жажда найти во что бы то ни стало искупительную жертву, чтобы принести ее тени погибшего близкого человека.

Вначале, такая обращенная на меня ненависть страшно мучила меня. Я краснел и страдал, когда, случайно встретив на улице кого-либо из близких моего умершего пациента, замечал, как он поспешно отворачивается, чтоб не видеть меня. Потом постепенно я привык. А следствием этой привычки явилось еще нечто совершенно неожиданное и для меня самого.

Неподалеку от меня у одной дамы-корректорши заболел ее сын-гимназист.

Она обратилась ко мне. Жила она в небольшой квартирке с двумя детьми, — заболевшим гимназистом и дочерью Екатериной. Александровной, девушкой с славным, интеллигентным лицом, слушательницей Рождественских курсов лекарских помощниц. И мать, и дочь, видимо, души не чаяли в мальчике. У него оказалось крупозное воспаление легких. Мать, сухая и нервная, с бегающими, психопатическими глазами так и замерла.

— Доктор, скажите, это очень опасно? Он умрет?

Я ответил, что пока мест, наверное, ничего еще нельзя сказать, что кризис будет дней через пять-шесть. Для меня началось ужасное время. Мать и дочь не могли допустить и мысли, чтоб их мальчик умер; для его спасения они были готовы на все. Мне приходилось посещать больного раза по три в день; это было совершенно бесполезно, но они своею настойчивостью умели заставить меня.

— Доктор, он не умирает? — сдавленным от ужаса голосом спрашивает мать. — Доктор, голубчик! Я сумасшедшая, простите меня... Что я хотела сказать?.. Правда, ведь вы все сделаете? Вы мне спасете Володю?

На четвертый день Екатерина Александровна, волнуясь и кусая губы, сказала мне:

— Вы не обижайтесь на меня, позвольте мне сказать вам, как частному лицу... Мне ваше лечение кажется чрезвычайно шаблонным: ванны, кодеин, банки, лед на голову... Теперь назначили digitalis.

— В таком случае распоряжайтесь, пожалуйста, вы, — я буду исполнять ваши назна-



чения, — холодно ответил я.

— Да, нет, я ничего не знаю, — поспешно проговорила она. — Но мне хотелось бы, чтоб делалось что-нибудь особенное, чтобы уже наверное спасти Володю. Мама с ума сойдет, если он умрет.

— Обратитесь тогда к другому врачу; я делаю все, что нахожу нужным.

— Нет, я не то... Ну, простите, я сама не знаю, что говорю! — нервно оборвала себя Екатерина Александровна.

Для ухода за больным они пригласили опытную сестру милосердия. Тем не менее, почти не проходило ночи, чтоб Екатерина Александровна не разбудила меня. Позвонится, вызовет через горничную.

— Володе хуже стало, он бредит и стонет, — сообщает она. — Пожалуйста, пойдете.

Я безропотно иду. Но иногда у меня не хватает терпения.

— Вас сестра милосердия прислала, или это вы находите нужным мое присутствие? — спрашиваю я недобрый голосом.

Ее темные глаза загораются негодованием; Екатерина Александровна еле сдерживается, видя, как я ценю свой сон.

— Я думаю, что сестра милосердия — не врач, и она не может об этом судить, — резко отвечает она.

Иду с нею. Мальчик бредит, мечется, дышит часто, но пульс хороший, и никакого вмешательства не требуется. Раздраженная сестра милосердая сидит на стуле у окна. Я молча выхожу в прихожую.

— Что теперь делать? — спрашивает Екатерина Александровна. — У него слабеет пульс.

— Продолжать прежнее. Пульс прекрасный, — угрюмо отвечаю я, и ухожу. И по дороге я думаю: если в течение года непрерывно иметь хоть по одному такому пациенту, то самого крепкого человека хватит не больше, как на год.

Назавтра мальчик чувствует себя лучше, — и глаза Екатерины Александровны смотрят на меня с ласкою и любовью. Вообще, еще не видя больного, я уж при входе безошибочно заключал об его состоянии по глазам открывавшей мне дверь Екатерины Александровны хуже больному — и лицо ее горит через силу сдерживаемую враждою ко мне; лучше, — и глаза смотрят с такою ласкою!

Кризис был очень тяжелый. Мальчик два дня находился между жизнью и смертью. Все это время я почти не уходил от Декановых. Два раза был консилиум. Мать выглядела совсем, как помешанная.

— Доктор, спасите его!.. Доктор...

И, крепко сжимая своими сухими пальцами мой локоть, она пристально смотрит мне в глаза жалкими, молящими и в то же время грозными, ненавидящими глазами, как будто хочет перелить в меня сознание всего ужаса того, что будет, если мальчик умрет.

Мальчик, с синим, неподвижным лицом, дышит часто и хрипло, пульс почти не прощупывается. Я кончаю исследование, поднимаю голову, — и из полумрака комнаты на меня жадно смотрят те же безумные, грозные глаза матери.

Больной вынес кризис. Через два дня он был вне опасности. Мать и дочь приехали ко мне на дом благодарить меня. Господи, что это были за благодарности!

— Доктор, голубчик! Дорогой! — в экстазе твердила мать. — Вы понимаете ли, что вы для меня сделали?.. Нет, вы не поймете!.. Господи, как мне вам сказать?.. Когда я буду умирать, у меня в голове один вы будете! Вы не знаете, я дала обет скорбящей божьей матери... Как мне вас отблагодарить, я навеки ваша должница неоплатная!.. Доктор!... Простите...

И она хватала мои руки, чтобы целовать их. Екатерина Александровна, улыбаясь своими славными сумрачными глазами, горячо пожимала мне руку обеими руками. А я —

я смотрел в глаза обеих женщин, сиявшие такою восторженною признательностью, и мне казалось, что я еще вижу в них исчезающий отблеск той ненависти, с которою глаза эти смотрели на меня три дня назад.

Они ушли. Я взялся за прерванное их приходом чтение. И вдруг меня поразило, как равнодушен я остался ко всем их благодарностям; как будто над душою пронесся докучный вихрь слов, пустых, как шелуха, и ни одного из них не осталось в душе. А я-то раньше воображал, что подобные минуты — «награда», что это — «светлые лучи» в темной и тяжелой жизни врача!.. Какие же это светлые лучи? За тот же самый труд, за то же горячее желание спасти мальчика я получил бы одну ненависть, если бы он умер.

К этой ненависти я постепенно привык и стал равнодушен. А неожиданным следствием этого само собою явилось и полнейшее равнодушие к благодарности.

Все больше я стал убеждаться, что и вообще нужно, прежде всего, выработать в себе глубокое, полнейшее безразличие к чувству пациента. Иначе двадцать раз сойдешь с ума от отчаяния и тоски.

## XVIII

Да, не нужно ничего принимать к сердцу, нужно стоять выше страданий, отчаяния, ненависти, смотреть на каждого больного, как на невменяемого, от которого ничего не оскорбительно. Выработается такое отношение, — и я хладнокровно пойду к тому машинисту, о котором я рассказывал в прошлой главе, и меня не остановит у порога мысль о незаслуженной ненависти, которая меня там ждет, И часто-часто приходится повторять себе: «Нужно выработать безразличие!» Но это так трудно...

Недавно лечил я одну молодую женщину, жену чиновника. Муж ее, с нервным, интеллигентным лицом, с странно-тонким голосом, перепуганный, приехал за мною и сообщил, что у жены его, кажется, дифтерит. Я осмотрел больную. У нее оказалась фолликулярная жаба.

— Это не опасно? — спросил муж.

— Нет. Вероятнее всего, через день-другой пройдет, хотя, впрочем, может образоваться и нарыв.

Через два дня, действительно, левая миндалина стала нарываться.

— Отчего это? Отчего вдруг нарыв стал образовываться? — любопытствовал муж.

— Отчего!.. Как будто на такой вопрос кто-нибудь может ответить!..

И муж, и жена относились ко мне с тем милым доверием, которое так дорого врачу и так поднимает его дух! каждое мое назначение они исполняли с серьезною, почти благоговейною аккуратностью и тщательностью. Больная пять дней сильно страдала, с трудом могла раскрывать рот и глотать. После сделанных мною насечек опухоль опала, больная стала быстро поправляться, но остались мускульные боли в обеих сторонах шеи. Я приступил к легкому массажу шеи.

— Как все у вас нежно и мягко выходит! — сказала больная, краснея и улыбаясь. — Право, я рада бы все время болеть, только чтобы вы меня лечили.

Каждый раз, по их настойчивым приглашениям, я оставался у них пить кофе и просиживал час-другой; мне это самому было приятно, — с таким дружественным, любовным расположением оба они относились ко мне.

Дня через два у больной появились боли в правой стороне зева, и температура снова поднялась.

— Ну, что? — спросил меня обеспокоенный муж.

— Вероятно, и в другой миндалине образуется нарыв.

— Господи, еще! — проговорила больная, уронив руки на колени.

Муж широко раскрыл глаза.

— Но отчего же это? — с изумлением спросил он. — Кажется, все делалось, что нужно!

Я объяснил ему, что предупредить это было невозможно.

— Ах ты, моя бедная Шурочка! — нервно воскликнул он. — Опять, значит, все это сначала проделывать!

И в голосе его ясно прозвучала враждебная нотка ко мне.

Нарыв созрел медленно-медленно, несмотря на дважды произведенные мною насечки. Опять большой раздуло шею, опять она ничего не могла глотать. Я видел, как с каждым днем все холоднее встречают меня и муж, и жена, как все больше сгущается атмосфера какого-то прямо отвращения ко мне. Теперь мне тяжело было идти к ним, тяжело было осматривать сосредоточенно молчащую больную и делать распоряжения мужу, который выслушивал меня, стараясь не смотреть в глаза. Вместе с этим у них явилась по отношению ко мне какая-то преувеличенная, изысканная вежливость; ясно чувствовалось недоверие и отвращение ко мне, но и то, и другое тщательно прикрывалось этой вежливостью, которая лишила меня возможности поставить вопрос прямо и отказаться от дальнейшего лечения. Да это, в сущности, и не было недоверием: я просто являлся символом и спутником всем надоевшего, всех истомившего страдания, и, как олицетворение этого страдания, я стал ненавистен и противен.

Больная, наконец, выздоровела. Мы простились наружно очень хорошо; но, когда, неделю спустя, я встретился с мужем в фойе театра, он вдруг сделал озабоченное лицо и, отвернувшись, быстро прошел мимо, как будто не заметив меня.

Нужно ко всему этому привыкнуть, не нужно тяготиться таким отношением, потому что это лежит в самой сути дела. Но часто, особенно с неизлечимыми, хроническими больными, вся сила привычки и все усилия воли не могут устоять перед взрывами яркой ненависти отчаявшегося больного к врачу. Высшую радость для врача составляет возможность отказать от такого больного, но при всей своей ненависти, больной часто цепко держится за врача и ни за что не хочет переменить. Несколько лет назад в Италии, около Милана, произошел такой случай. Д-р Франческо Бертола лечил одного сапожника, находившегося в последней стадии легочной чахотки. Состояние больного все ухудшалось. Потеряв терпение, он стал осыпать врача ругательствами, называя его при каждом посещении шарлатаном, невеждою и т. п. Убедившись, что больной окончательно его возненавидел, д-р Бертола заявил ему, что от дальнейшего лечения он вынужден отказаться. Это решение привело больного в исступление. На следующий день он подкараулил врача на улице.

— Возьметесь вы снова за лечение или нет? — спросил сапожник.

Получив отрицательный ответ, он всадил доктору в живот большой кухонный нож. Врач упал с распоротым животом; одновременно упал и убийца-больной, у которого хлынула кровь горлом. Оба были тотчас подняты и свезены в одну и ту же больницу, там оба они и умерли.

Вся деятельность врача сплошь заполнена моментами страшно нервными, которые почти без перерыва бьют по сердцу. Неожиданное ухудшение в состоянии поправляющегося больного, неизлечимый больной, требующий от тебя помощи, грозящая смерть больного, всегдашняя возможность несчастного случая или ошибки, наконец, сама атмосфера страдания и горя, окружающая тебя, — все это непрерывно держит душу в состоянии какой-то смутной, не успокаивающейся тревоги. Состояние это не всегда сознается. Но вот выдается редкий день, когда у тебя все благополучно: умерших нет, больные все поправляются, отношение к тебе хорошее, — и тогда, по неожиданно охватившему тебя чувству глубокого облегчения и спокойствия, вдруг поймешь, в каком нервно-приподнятом состоянии живешь все время. Бывает, что совершенно падают силы нести такую жизнь; охватит такая тоска, что хочется бежать, бежать подальше, всех сбить с рук, хотя на время почувствовать себя свободным и спокойным.

Так жить всегда — невозможно. И вот кое к чему у меня уж начинает вырабатываться спасительная привычка. Я уж не так, как прежде, страдаю от ненависти и несправедливости больных; меня не так уж режут по сердцу их страдания и беспомощность. Тяжелые

больные особенно поучительны для врача; раньше я не понимал, как могут товарищи мои по больнице всего охотнее брать себе палаты с «интересными» труднобольными, я, напротив, всячески старался отделяться от таких больных; мне было тяжело смотреть на эти иссохшие тела с отслаивающимся мясом и загнивающей кровью, тяжело было встречаться с обращенными на тебя надеющимися взглядами, когда так ничтожно мало можешь помочь. Постепенно я с этим свыкся.

Стал я свыкаться и вообще с той атмосферой постоянных страданий, в которой приходится жить и действовать. Я чувствую, что во мне постепенно начинает вырабатываться совершенно особенное отношение к больным; я держусь с ними мягко и внимательно, добро-совестно, стараюсь сделать все, что могу, но — с глаз долой, и с сердца долой. Я сижу дома в кружке добрых знакомых, болтаю, смеюсь; нужно съездить к больному; я еду, делаю, что нужно, утешаю мать, плачущую над умирающим сыном; но, воротившись, я сейчас же вхожу в прежнее настроение, и на душе не остается мрачного следа. «Больной», с которым я имею дело как врач, — это нечто совершенно другое, чем просто больной человек, — даже не близкий, а хоть сколько-нибудь знакомый; за этих я способен болеть душою, чувствовать вместе с ними их страдания; по отношению же к первым способность эта все больше исчезает: и я могу понять одного моего приятеля-хирурга, гуманнейшего человека, который, когда больной вопит под его ножом, с совершенно искренним изумлением спрашивает его:

— Чудак, чего ж ты кричишь?

Мне понятно, как Пирогов, с его чутким, отзывчивым сердцем, мог позволить себе ту возмутительную выходку, о которой он рассказывает в своих воспоминаниях. «Только однажды в моей практике, — пишет он, — я так грубо ошибся при исследовании больного, что, сделав камнесечение, не нашел в мочевом пузыре камня. Это случилось именно у робкого, богобоязненного старика; раздосадованный на свою оплошность, я был так неделикатен, что изумленного больного несколько раз послал к черту.

«Как это вы бога не боитесь, — произнес он томным, умоляющим голосом, — и призываете нечистого злого духа, когда только имя господне могло бы облегчить мои страдания!»

Это — странное свойство души притупляться под влиянием привычки в совершенно определенном, часто очень узком отношении, оставаясь во всех остальных отношениях неизменною. Раньше я не мог себе представить, а теперь убежден, что даже тюремщик и палач способны искренне и горячо откликаться на все доброе, если только это доброе лежит вне сферы их специальности.

Я замечаю, как все больше начинаю привыкать к страданиям больных, как в отношениях с ними руководствуюсь не непосредственным чувством, а головным сознанием, что держаться следует так-то. Это привыкание дает мне возможность жить и дышать, не быть постоянно под впечатлением мрачного и тяжелого; но такое привыкание врача в то же время возмущает и пугает меня, — особенно тогда, когда я вижу его обращенным на самого себя.

Ко мне приехала из провинции сестра; она была учительницей в городской школе, но два года назад должна была уйти вследствие болезни; от переутомления у нее развилось полное нервное истощение; слабость была такая, что дни и ночи она лежала в постели, звонок вызывал у нее припадки судорог, спать она совсем не могла, стала злобною, мелочною и раздражительною. Двухгодичное лечение не повело ни к чему. И вот она приехала к столичным врачам. Я не узнал ее, так она похудела и побледнела; глаза стали большие, окруженные синевой, с странным нервным блеском; прежде энергичная, полная жажды дела, она была теперь вяла и равнодушна ко всему. Я поехал с ней к знаменитому невропатологу.

Нам долго пришлось дожидаться; прием был громадный. Наконец, мы вошли в кабинет. Профессор, с веселым, равнодушным лицом стал расспрашивать сестру; на каждый ее ответ он кивал головой и говорил: «прекрасно!». Потом сел писать рецепт.

— Могу я надеяться на выздоровление? — спросила сестра дрогнувшим голосом.

— Конечно, конечно! — благодушно ответил профессор. — Тысячи тем же больны, чем вы — поправитесь! Вот мы вам назначим ванны, два раза в неделю, потом...

Мне становилось все противнее смотреть на это веселое, равнодушное лицо, слушать этот тон, каким говорят только с маленькими детьми. Ведь тут целая трагедия: полгода назад мать, случайно вошедши к сестре, вырвала из ее рук морфий, которым она хотела отравиться, чтоб не жить недужным паразитом... И вот этот противный тон, эта развязность, показывающая, как мало дела всем посторонним до этой трагедии.

Сестра стояла молча, и из ее глаз непроизвольно текли крупные слезы; гордая, она досадовала, что не может их удержать, и они капали еще чаще. Ее большое горе было опошлено и измельчено, таких, как она, — тысячи, и ничего в ее горе нет ни для кого ужасного. А она так ждала его совета, так надеялась!

— Ну, во-от!.. Ну, это, барышня, уж совсем нехорошо! — воскликнул профессор, увидев ее слезы. — Ай-ай-ай, какой срам! Плакать, а!.. Полноте, полноте!..

И опять все в его тоне говорило, что профессор каждый день видит десятки таких плачущих, и что для него эти слезы — просто капли соленой воды, выделяемые из слезных железок расшатанными нервами.

Мы молча вышли, молча сели на извозчика. Сестра наклонилась, прижала к губам муфту — и вдруг разрыдалась, злобно давя рыдания и все-таки не в силах их сдержать.

— Не стану я принимать его глупых лекарств! — воскликнула она и, выхватив рецепт, разорвала его в клочки. Я не протестовал; у меня в душе было то же чувство, и всякая вера пропала в лечение, назначенное этим равнодушным, самодовольным человеком, которому так мало дела до чужого горя.

А вечером в тот же день я думал: где же найти границу, при которой могли бы жить и врач, и больной, и сумею ли я сам всегда удержаться на этой границе?..

## XIX

Как-то ночью ко мне в квартиру раздался сильный звонок. Горничная сообщила мне, что зовут к больному. В передней стоял высокий угреватый молодой человек в фуражке почтового чиновника.

— Пожалуйста, доктор, нельзя ли поскорее посетить больную! — взволнованно заговорил он. — Дама одна умирает... Тут недалеко, сейчас за углом...

Я оделся, и мы пошли с ним.

— Что случилось с вашей больною? Давно она больна? — спросил я своего спутника. Он с недоумением пожал плечами.

— Прямо не понимаю!.. Что такое, господи!.. Она — жена моего товарища: я у них живу в нахлебниках... Вечером приехала с мужем из гостей, шутила, смеялась. А сейчас муж будит меня, говорит: помирает, послал за вами... Отчего это случилось, положительно не могу определить!

Мы поднялись на четвертый этаж по темной и крутой лестнице, освещая дорогу свечками. Спутник мой быстро позвонил. Нам открыл дверь молодой смуглый мужчина с черною бородкою, в одной жилетке.

— Доктор... Ради бога!.. — прорыдал он. — Поскорее!..

Он ввел меня в спальню. На широкой двуспальной кровати, согнувшись, головою к стене, неподвижно лежала молодая женщина. Я взялся за пульс, — рука была холодна и тяжела, пульса не было; я положил молодую женщину на спину, посмотрел глаз, выслушал сердце... Она была мертва. Я медленно выпрямился.

— Ну, что? — спросил муж.

Я с сожалением пожал плечами.

— Умерла?! — захлебнулся он, и вдруг, глядя на меня остановившимися, выпученными глазами, быстро, коротко зарыдал, словно залаял; он как будто не мог оторвать

взгляда от моих глаз, трясясь и рыдая этим странным, отрывистым, похожим на быстрый лай рыданием.

— Успокойтесь... Ну, что же делать! — сказал я, кладя ему руку на рукав.

Он тяжело опустился на стул и, раскачиваясь всем телом, схватился за голову. Стоявшая у комода девушка в ночной кофте и вязаной юбке громко заплакала...

Умершая холодела. Молодая и прекрасная, в обшитой кружевами рубашке она лежала среди смятых простынь, еще, казалось, полных теплом постели.

— Как все это произошло? — спросил я.

— Совсем была здорова! — выкрикнул муж. — Вечером из гостей приехали... Ночью просыпаюсь, вижу — лежит как-то боком. Тронул, ее за плечо — не шевелится, холодная... Господи, господи, господи, — повторил он, крутя на себе волосы. — Оо-оо-оо!.. Ваня, да что же это такое?

Мой спутник жалко заморгал глазами.

— Ну, голубчик! Сережа! Ну, что же делать! — печально и упрасивающее произнес он. — Божья воля! Вон у Чепракова, сам знаешь, тоже было, — что же поделаешь против бога?

— Да ведь... сейчас только!.. Настенька! Настя!

Девушка оделась и пошла, послать дворника за матерью умершей. Товарищ продолжал утешать мужа. Мне было нечего делать, — я встал уходить.

— Сейчас, доктор! Одну минутку... Будьте добры! — быстро проговорил муж. Продолжая рыдать, он поспешно выдвинул ящик комода, порылся в нем и протянул мне три рубля.

— Не надо! — сказал я, нахмурившись и отводя его руку.

— Нет, доктор, как же так? — востропел он. — С какой стати? Нет уж, пожалуйста!..

Пришлось взять. Я воротился домой. Мне было тяжело и обидно, полученные три рубля жгли мне карман: каким грубым и резким диссонансом они ворвались в их горе!

Мне представлялось, что так у меня на глазах умерла моя жена, — и в это время искать какие-то три рубля, чтоб заплатить врачу! Да будь все врачи ангелами, одно это оплачивание их помощи в то время, когда кажется, что весь мир должен замереть от горя, — одно это способно внушить к ним брезгливое и враждебное чувство. Такое именно чувство, глядя на себя со стороны, я и испытывал к себе.

О, эта плата! Как много времени должно было пройти, чтоб хоть сколько-нибудь свыкнуться с нею! Каждый твой шаг отмечается рублем, звон этого рубля непрерывно стоит между тобой и страдающим человеком. Сколько осложнений он вызывает в отношениях, как часто мешает делу и связывает руки!

Особенно тяготил меня первое время самый способ оценки врачебного труда — плата врачу не за излечение, а просто за лечение. При теперешнем состоянии науки иначе и быть не может — но все-таки казалось диким и бессмысленным получать деньги за труд, не принесший никому пользы. Года три назад один лионский врач лечил больную внутриматочными впрыскиваниями йода; больная не поправлялась. Муж больной, состоятельный человек, вместо уплаты гонорара, предъявил иск к врачу в 10 000 франков за причиненный якобы вред здоровью его жены. Суд отказал истцу в иске и приговорил его уплатить врачу шестисот франков за лечение, так как врач при лечении употреблял способ, выработанный наукою, и поэтому не может быть ответствен за неудачу лечения.

Ну, а чем же виноват больной, который обращается к врачу за помощью, а должен ему платить за удовольствие безрезультатно лечиться по «способу, выработанному наукою»? Сганарель в мольеровском «Le medecin malgre lui» («Лекарь поневоле», франц.) говорит: «Я нахожу, что ремесло врача — самое выгодное из всех: делаешь ли ты свое дело хорошо или худо, тебе всегда одинаково платят. Неудача никогда не обрушивается на наши спины, и мы кроим, как нам угодно, материю, над которою работаем. Если башмачник, делая

башмаки, испортит кусочек кожи, он должен будет заплатить убытки; но здесь можно испортить человека, ничем не платя за это». В этих словах Сганареля, как и вообще в отзывах Мольера о врачах, много убийственно верного. Дело только в том, что для насмешки тут совершенно нет места: перед нами опять одна из тех сложных, тяжелых несообразностей, которыми так томительно-обильно врачебное дело. Лионский суд нашел, что обвиняемый врач «употреблял способ, выработанный наукою, и поэтому не может быть ответствен за неудачу лечения». Мольер устами субретки Туанетты (в «Le malade imaginaire» («Мнимый больной», франц.)) насмешливо заметит: «Ну, конечно! Вы, врачи, находите при больных только для того, чтобы получать ваши гонорары и делать назначения; а остальное уж дело самих больных: пусть поправляются, если могут». И на это приходится совершенно серьезно ответить словами, которыми у Мольера карикатурный доктор Диафойрус отвечает Туанетте: «Cela est vrai! In n'est oblige qu'a traiter les gens dans les formes». Да, именно, — мы только обязаны лечить людей по всем правилам науки. И не наша вина, что эта наука так несовершенна. Если бы врач получал вознаграждение только за успешное лечение, то, щадя свой труд, он не стал бы браться за лечение сколько-нибудь серьезной болезни, так как поручиться за ее излечение он никогда не может.

Вначале вообще всякая плата, которую мне приходилось получать за мой врачебный совет, страшно тяготила меня, она принижала меня в моих собственных глазах и грязным пятном ложилась на мое дело. Я не понимал, как могли западноевропейские врачи дойти до такого цинизма, чтоб ввести в обычай посылку пациентам счетов за лечение. Счет за лечение! Как будто врач — торговец, и его отношение к пациенту можно учитывать, словно какую-нибудь бакалею, франками и марками! Как идеальный вольтеровский врач, я принимал плату «не иначе, как с сожалением», и пользовался всяким предлогом, чтобы отказаться от нее. Первые два года я нанимал в Петербурге комнату от хозяйки. Хозяйка часто обращалась к моей врачебной помощи и первое время при прощании вручала мне деньги.

— Полноте! Что вы! — оскорбленным голосом говорил я и втискивал деньги обратно в ее ладонь.

Хозяйка, скрывая улыбку, прятала деньги в карман; а я из ее просторной спальни шел в свою узкую и темную комнату возле кухни и садился за переписку, по пятнадцати копеек с листа, какого-то доклада об элеваторах, чтоб заработать денег на плату той же хозяйке за свою комнату.

Древнерусские иноки-целители не знали платы за лечение; они были «врачами безмездными». На мой взгляд, эта «безмездность» необходимо должна была лежать в основе высокой деятельности каждого врача. Плата — это лишь печальная необходимость, и чем меньше она будет замешиваться в отношения между врачом и больным, тем лучше; она делает эти отношения неестественными и напряженными и часто положительно связывает руки. Больной поправляется, но он еще слаб, за ним необходимо внимательно следить; а близкие вежливо говорят мне. «Теперь ему, слава богу, лучше; если станет хуже, вы, уж будьте добры, не откажитесь снова навестить нас». На это возможен только один ответ: «Я должен продолжать навещать его и теперь, — сами вы не в состоянии определить, когда ему понадобится моя помощь». Но это значило бы в то же время: «Продолжай платить мне за визиты». И нужного единственного ответа не даешь, и оставляешь больного на произвол судьбы.

Когда я читал в газетах, что какой-нибудь врач взыскивает с пациента гонорар судом, мне становилось стыдно за свою профессию, в которой возможны такие люди; мне явно рисовался образ этого врача, черствого и алчного, видящего в страданиях больного лишь возможность получить с него столько-то рублей. Зачем он пошел во врачи? Шел бы в торговцы или подрядчики, или открыл бы кассу ссуд.

Я вступил в жизнь. Я ближе увидел отношение больных к врачам, ближе узнал своих товарищей-врачей. И постепенно прежние мои взгляды стали значительно меняться. У меня был товарищ-врач, специалист по массажу. Он в течение двух лет лечил семью одного

богатого коммерсанта. Коммерсант, очень интеллигентный господин и вполне «джентльмен», задолжал товарищу около двухсот рублей. Прошло полгода. Товарищу были очень нужны деньги. Он написал коммерсанту вежливое письмо, где просил его прислать деньги. Коммерсант в тот же день сам приехал к нему, привез деньги и рассыпался в извинениях.

— Ради бога, доктор, простите!.. Мне так неловко, что я заставил вас ждать! Совсем из головы вон. Знаете, такая масса дел, — то, другое, — поневоле иной раз забудешь! Пожалуйста, простите, — виноват!

Но все время он называл товарища не по имени, а «доктор», все время держался с тою изысканною вежливостью, которою люди прикрывают свое брезгливое отношение к человеку.

С этих пор коммерсант перестал обращаться за помощью к товарищу. В своих делах он, конечно, не считал предосудительным предъявлять клиентам векселя и счета; но врач, который в свое дело замешивает деньги... Такой врач, в его глазах, не стоял на высоте своей профессии.

Поведение коммерсанта поразило меня и заставило сильно задуматься; оно было безобразно и бессмысленно, а между тем в основе его лежал именно тот возвышенный взгляд на врача, который целиком разделял и я. По мнению коммерсанта, врач должен стыдиться — чего? Что ему нужно есть и одеваться, и что он требует вознаграждения за свой труд! Врач может весь свой труд отдавать обществу даром, но кто же сами-то эти бескорыстные и самоотверженные люди, которые считают себя вправе требовать этого от врача?

Да, за свой труд, как всякий работник, врач имеет право получать вознаграждение, и ему нечего стыдиться этого; ему нечего принимать плату тайно и конфузливо, как какую-то позорную, незаконную взятку. Обществу известны светлые образы самоотверженных врачей-бессребреников, и такими оно хочет видеть всех врачей. Желание, конечно, вполне понятное; но ведь было бы еще лучше, если бы и само общество состояло сплошь из идеальных людей. Средний врач есть обыкновенный средний человек, и от него можно требовать лишь того, чего можно требовать от среднего человека. И если он не желает трудиться даром, то какое право имеют клеймить его за корыстолюбие люди, которые свой собственный труд умеют оценивать весьма зорко и старательно?

Не так давно г. Эм-Ге рассказывал в газете «Сын отечества», как один его знакомый обратился к нему с просьбою «пропечатать» в газете врача, подавшего на этого знакомого в суд за неуплату гонорара.

— Да отчего вы не заплатили ему? — спросил сотрудник газеты.

— Да так, знаете, — праздники подходят, дачу нанимать, детям летние костюмчики, ну, все такое прочее...

Вот она, обратная сторона возвышенного взгляда на врачей. Врач должен быть бескорыстным подвижником — ну, а мы, простые смертные, будем на его счет нанимать себе дачи и веселиться на праздниках! Один врач рассказал мне такой случай из своей практики.

«Приезжает ко мне дама, просит навестить ее больного сына. Еду. Небольшая, но очень уютная и милая квартирка; сын-гимназист лежит в тифе. Я спрашиваю, лечил ли его кто-нибудь раньше. Мать брезгливо поморщилась.

— Да, говорит, его д-р N. лечил... Скажите, пожалуйста, доктор, отчего среди врачей так много бессердечных, корыстолюбивых людей? Это д-р N. приехал раз, смотрел Васю; приглашаю его во второй раз, — я, говорит, уж знаю его болезнь, могу и так, не видя, прописать вам рецепт...

Я согласился, что это очень нехорошо. Осмотрел мальчика, назначил лечение, ухажу. Мать провожает меня, благодарит и... нечего! Пожала руку, «очень вам благодарна», — только и всего. Дня через три является снова звать меня.

— Я, — говорю, — уж знаю болезнь вашего мальчика, могу и так, не видя, прописать



вам рецепт...

Барыня взяла рецепт, в негодовании встала и, не прощаясь, ушла».

Барыня эта, конечно, много и горячо будет всем рассказывать о корыстолюбии наших врачей. И удивительно, с какою уверенностью в своей правоте распространяют свои рассказы подобные люди, и с каким сочувствием встречает общество эти рассказы. В № 248 «Рижского вестника» за 1894 год было помещено письмо в редакцию следующего содержания.

21-го сентября сего года, по случаю болезни моей дочери, был приглашен ко мне в дом доктор Гордон. Пробыв минут десять у больной, г. Гордон уехал с обещанием приехать на другой день опять. За визит ему было заплачено один рубль. Через полчаса после его ухода моя дочь получает от него визитную карточку, на которой написано следующее: «Милостивая государыня! Ввиду неопасности вашего положения советую вам впредь обращаться к врачу поближе. Я же меньше, чем за три рубля, не еду на дом и меньше, чем за два, не принимаю у себя. Пребываю с почтением Л. Гордон». Не мешало бы г. Гордону, печатая о себе объявления в газетах, прибавлять к ним также свою таксу визитов. Тогда, по крайней мере, он не будет ошибаться в своих расчетах. - А. Иванов.

Труд врача, - писал в своем возражении д-р Гордон, - не может правильно оцениваться определенным, раз и навсегда положенным гонораром. Бессонная ночь, проведенная у постели бедняка-больного, вполне оплачивается сознанием исполненного долга; пользуя же больного состоятельного, врач вправе претендовать и на соответствующую труду его материальную оценку. У врача, без сомнения, много святых обязанностей в отношении ближнего; но должны же быть кое-какие обязанности и по отношению к врачу со стороны больного или окружающих его... Перехожу к случаю, бывшему в моей практике. 21 сентября сего года меня просили «немедленно поехать» к больной на Курмановскую улицу, на Московский форштадт, что я исполнил по возможности скоро. У постели больной я, ничуть не спеша, остался ровно столько, сколько требовал, на мой взгляд, данный случай. По приезде домой я расплатился с извозчиком, которому пришлось отдать большую половину гонорара. Остатком от рублевого гонорара я, действительно, остался недоволен. Ввиду кропотливости дальнейшего лечения хронического страдания больной, я решил предложить свои условия, на которые ей вольно было согласиться или нет.

Этот случай очень характерен. Господин Иванов, - заметьте, человек состоятельный, - заставляет врача «немедленно» приехать к себе с другого конца такого большого города, как Рига, потраченное врачом время оплачивает тридцатью-сорока копейками, - и не себя, а врача же пригвождает к позорному столбу за корыстолюбие! И газета печатает его письмо, и читатели возмущаются врачом...

Будучи даже обыкновенным средним человеком, врачом все-таки, в силу самой своей профессии, делает больше добра и проявляет больше бескорыстия, чем другие люди. Единственный кормилец семьи тяжело болен, семья голодает, - врач не берет платы за лечение. Несомненно, что и всякий другой сколько-нибудь порядочный человек при таких обстоятельствах не взял бы денег. Разница только та, что другой не взял бы, а врач не берет, - это очень немалая разница. Для обыкновенного среднего человека доброе дело есть нечто экстраординарное и очень редкое, для среднего врача оно совершенно обычно. У большинства врачей есть приемные часы для бесплатных больных, в большинстве городов существуют бесплатные амбулатории, и никогда нет недостатка во врачах, соглашающихся работать в них даром. По подсчету проф. Сикорского, в главнейших амбулаторных пунктах г. Киева (Красный Крест, Покровская община и др.) было подано в 1895 году свыше 138000 бесплатных врачебных советов. Если оценить каждый совет только в 25 коп., если допустить, что у себя на дому и при посещениях врачи со всех берут плату, то все-таки выйдет, что двести киевских врачей ежегодно жертвуют на бедных около тридцати пяти тысяч рублей... Читатель, сколько в год жертвуете на бедных вы?

Если бы люди всех профессий - адвокаты, чиновники, фабриканты, помещики, торговцы - делали для несостоятельных людей столько же, сколько в пределах своей профессии делают врачи, то самый вопрос о бедных до некоторой степени потерял бы свою сторону. Но суть в том, что врачи должны быть бескорыстными, а остальные... остальные могут довольствоваться тем, чтоб требовать этого бескорыстия от врачей.

Лет двадцать назад в Киеве произошел такой случай. Д-р Проценко был приглашен на дом к одному больному; он осмотрел его, но, узнав, что у больного нет средств заплатить за визит, ушел, не сделав назначения. Доктор был привлечен к суду и приговорен к штрафу и аресту на месяц на гауптвахте. Многочисленная публика, наполнявшая судебную залу, встретила приговор аплодисментами и криками «браво!».

Поступок доктора Проценко был возмутителен, - об этом не может быть и спору; но ведь и интересна психология публики, горячо поаплодировавшей обвинительному приговору - и спокойно разошедшейся после этого по домам; расходясь, она говорила о жестокосердном корыстолюбии врачей, но ей и в голову не пришло хоть грошом помочь тому бедняку из-за которого был осужден д-р Проценко. Я представляю себе, что этот бедняк умел логически и последовательно мыслить. Он подходит к первому из публики и говорит:

— Как вы слышали, на суде было с несомненностью доказано, что я беден и не имел средств заплатить врачу: вы легко догадываетесь, что мне нужно не только лечиться, но и есть; дети мои тоже голодают. Потрудитесь дать мне рубля два-три.

— Прежде всего, голубчик, если ты этого требуешь, то я тебе ничего не дам, - отвечает господин, удивленный такой развязностью. - А если ты просишь, то, пожалуй, для спасения своей души я дам тебе пяточек; возьми и поминай раба божия такого-то.

— Нет-с, я не прошу, а требую, и не какого-нибудь пяточка, а по крайней мере рубля два-три. Визит врача стоит около этого, а вы видели, что с ним сделали за то, что он отказал мне в помощи, — и вы сами рукоплескали его осуждению. Если вы мне не дадите трех рублей, то я и вас посажу на скамью подсудимых.

Возмущенный господин, разумеется, зовет городского и, при всеобщем сочувствии публики, велит отправить нахала в участок. И там бедняк узнает, что не всегда можно мыслить последовательно, что врача за отсутствие бескорыстия можно упрятать в тюрьму, а все остальные люди пользуются правом невозбранно распоряжаться своим кошельком и трудом; за отказ в помощи умирающему с голоду человеку им предоставляется право ведаться только с собственной совестью, и если совесть эта достаточно тверда, то они могут гордо нести свои головы и пользоваться всеобщим почетом.

## XX

*Первый долг всякого врача есть: быть человеколюбивым и во всяком случае готовым к оказанию деятельной помощи всякого звания людям, болезнями одержимым. Посему всякий врач обязан по приглашению больных являться для подания им помощи. Кто это не сделает без особых законных к тому препятствий, то, за такую неисправность и неуважение к страждущему человечеству, подвергается штрафу не свыше ста рублей и к аресту на время от семи дней до трех месяцев.*

Так гласит 81 ст. Врачебного устава и ст. ст. 872 и 1522 Уложения о наказаниях. Напрасно во всем Своде Законов стали бы мы искать других случаев, в которых бы на людей налагалась юридическая обязанность «быть человеколюбивым» и устанавливалось наказание «за неуважение к страждущему человечеству». Подобные требования закон предъявляет к одним только врачам. Но неужели страдания человечества исчерпываются одними внезапными заболеваниями людей, и только в этом случае им нужна скорая безотлагательная помощь? Бесприютный человек может замерзнуть на подъезде никем не занятой квартиры, может умереть с голода под окном булочной, — и закон равнодушно отправит труп в полицейский приемный покой и ограничится констатированием причины смерти погибшего, владельцы дома и булочной могут быть спокойны: они не обязаны быть человеколюбивы-

ми и уважать страждущее человечество. Но если врач, истомленный дневным трудом и предыдущей бессонной ночью, откажется поехать к больному, является закон и запрятывает «бесчеловечного» врача в тюрьму.

Заболевшего человека нельзя оставлять без помощи. Если предоставить врачам право отказываться от приглашений, то в нужную минуту невозможно будет добыть врача. У меня в смертельной опасности близкий, дорогой мне человек. Я еду за врачом. Он выходит ко мне в прихожую, пережевывая бифштекс, и хладнокровно заявляет: «Я сейчас ужинаю, а после ужина лягу спать; ехать поздно, поищите другого врача». В другом месте мне отвечают, что врача нет дома, в третьем — что он играет в карты и не расположен ехать. Пока я рыскал по городу в поисках за врачом, больной умер; а мог быть спасен. Разве не врачи виноваты в его смерти, и разве не заслуживают они тюрьмы?

Но разве не владельцы домов с незанятыми квартирами виноваты в бесприютности бесприютных людей, не булочники — в голодании голодных? Так просто и близоруко решать общественные вопросы позволительно только детям. Нельзя, чтоб люди умирали с голоду и замерзали на улицах, — но общество все в целом должно организовать для них помощь, а не сваливать заботу на отдельных домовладельцев только потому, что у них есть незанятые квартиры, и на булочников, потому что они торгуют именно хлебом. Нельзя, чтоб бедняк умирал без врачебной помощи, нельзя, чтоб в ночное время люди не могли найти врача, — но об этом должно заботиться само же общество, устраивая ночные дежурства врачей и держа специальных врачей для бедных. В Англии, Франции и Германии давно отменены законы, обязывающие врачей лечить больных даром и являться к больным по первому призыву.

У нас общество не хочет затруднять себя лишними хлопотами; всю тяжесть оно сваливает со своих плеч на плечи единичных людей и жестоко карает их в случае, если они отказываются нести эту тяжесть. Несправедливость такого порядка вещей бьет в глаза, но так как она выгодна для общества, то ее не замечают и не хотят замечать. И вот, уклоняясь само от своей прямой обязанности, общество преисполняется благодарным негодованием, когда те, на кого оно свалило эту обязанность, с недостаточной готовностью исполняют налагаемые на них требования. Происходит нечто невероятное: люди как будто теряют понимание самых простых вещей, о которых и спорить стыдно; с недоумением спрашиваешь себя, — неужели нравственная слепота способна доходить до таких пределов?

Вот что, например, писал г. А. П. — в № 8098 «Нового времени»:

*Могут ли по ночам и по праздникам болеть зубы? Должно быть, не могут, судя по словам того лица, которое жалуется мне. У нас обрушиваются на врачей, когда последние не идут совсем или идут неохотно ночью к больному, а большая часть дантистов пользуется какою-то особенной привилегией, в силу непонятных обычаев, отдыхать в праздники и не тревожить себя ночью. Больной обращался к нескольким дантистам и ни одного не мог увидеть. Заметка приведена мною совершенно точно; в ней так-таки и напечатано: «какая-то особенная привилегия» и «непонятный обычай». По отношению к какому другому работнику повернется язык даже у того же г-на А. П. сказать, что отдыхать в праздники есть особенная привилегия, и не тревожить себя по ночам — непонятный обычай? По отношению к самому себе г. А. П. — навряд ли нашел бы такой обычай особенно непонятным.*

## XXII

Недавно рано утром меня разбудили к больному, куда-то в один из пригородов Петербурга. Ночью я долго не мог заснуть, мною овладело странное состояние: голова была тяжела и тупа, в глубине груди что-то нервно дрожало, и как будто все нервы тела превратились в туго натянутые струны; когда вдали раздавался свисток поезда на вокзале или трещали обои, я болезненно вздрагивал, и сердце, словно оборвавшись, вдруг начинало быстро биться. Приняв бромистого натра, я, наконец, заснул, и вот через час меня разбудили.

Чуть светало. Я ехал на извозчике по пустынным темным улицам; в предрассветном

тумане угрюмо дрожали гудки далеких заводов; было холодно и сыро; редкие огоньки сонно мигали в окнах. На душе было смутно и как-то жутко-пусто. Я вспомнил свое вчерашнее состояние, наблюдал теперешнюю разбитость — и с ужасом почувствовал, что я болен, болен тяжело и серьезно. Уж два последние года я замечал, как у меня все больше выматываются нервы, но теперь только ясно понял, до чего я дошел.

Семь лет я врачом. Как прожил я эти семь лет? Все они были жестокой насмешкой над тем, что я же, как врач, должен был предписывать своим пациентам. Все время нервы напряжены, все время жизнь бьет по этим нервам; чтоб безнаказанно переносить такое состояние, нужна громадная нервная сила, а между тем жить приходится так, что и самая железная устойчивость должна разрушиться. Для меня нет праздников, нет гарантированного отдыха; каждую минуту, от сна, от еды, меня могут оторвать на целые часы, и никому нет дела до моих сил. И вот с каждым годом все больше обращаешься в развалину-неврастеника; пропадает радость жизни и любовь к ней; пропадает, еще страшнее, отзывчивость и способность горячо чувствовать. А между тем видишь, что это есть еще в душе: стоит хоть немного пожить человеческой жизнью, — и душа возрождается, и кажется, что в ней так много силы и любви.

А в каких я условиях живу? После пятилетнего ожидания я, наконец, получил в больнице жалование в семьдесят пять рублей; на него и на неверный доход с частной практики, я должен жить с женой и двумя детьми; вопросы о зимнем пальто, о покупке дров и найме няни — для меня тяжелые вопросы, из-за которых приходится мучительно ломать себе голову и бегать по ссудным кассам. Мои товарищи по гимназии — кто податной инспектор, кто инженер, кто акцизный чиновник; за спокойную, безмятежную службу они получают жалование, о каком я не смею и мечтать. Я даже лишен семейных радостей, лишен возможности спокойно приласкать своего ребенка, потому что в это время мелькает мысль: а что, если со своей лаской я перенесу на него ту оспу или скарлатину, с которой сегодня имел дело у больного?

В утреннем тумане передо мной тянулся громадный город; высокие здания, мрачные и тихие, теснились друг к другу, и каждое из них как будто глубоко ушло в свою отдельную, угрюмую думу. Вот оно, это грозное чудовище! Оно требует от меня всех моих сил, всего здоровья, жизни, — и в то же время страшно, до чего ему нет дела до меня!.. И я должен ему покоряться, — ему, которое берет у меня все и взамен не дает ничего!

Думать, что его можно разжалобить, — смешно; смешно и ждать, что можно чего-нибудь достигнуть указанием на его несправедливое отношение к нам. Только тот, кто борется, может заставить себя слушать. И выход для нас один: мы, врачи, должны объединиться, должны совместными силами бороться с этим чудовищем и отвоевать себе лучшую и более свободную долю.

Я ехал пригородным трактом. Около заросших желтевшей травой канав тянулись деревянные мостики, матовые от росы. Из фабричных труб валил дым и темным, душным пологом расстилался над крышами. Извозчик остановился у ворот желто-коричневого деревянного дома. По темной крутой лестнице я поднялся во второй этаж и позвонил. В маленькой комнатке сидел у стола бледный человек лет тридцати, в синей блузе с расстегнутым воротом; его русые усы и борода были в крови, около него на полу стоял большой глиняный таз; таз был полон алою водою, и в ней плавали черные сгустки крови. Молодая женщина, плача, колола кухонным ножом лед.

— Вы простите, доктор, что беспокоил вас! — сковал мужчина, быстро поднимаясь мне навстречу и протягивая руку. — Дело у меня известное — туберкулез и вследствие этого кровохарканье. Да вот, очень уж жена пристала, непременно чтоб доктор приехал...

— Прежде всего ложитесь и не разговаривайте! — прервал я его. — Вам ни одного слова не следует говорить. И не волнуйтесь, — это вовсе не опасно.

— А я волнуюсь? — удивленно произнес он про себя, пожав плечом, и сел на постель.

Я уложил больного и осторожно приставил стетоскоп к его груди. Закинув свою красивую голову и прикусив тонкие, окровавленные губы, он лежал и, прищурившись, смотрел в потолок.

— Ваш муж чем занимается? — спросил я молодую женщину, кончив выслушивать и выпрямляясь. Она сидела у стола, со слезами на щеках, и с тоской следила за мною.

— Литейщик он по меди, в N-ском заводе работает... Господи, господа, до тридцати лет всего дотянул! А какой был здоровый!.. Медные-то пары — как скоро всю грудь выели!

Она, рыдая, припала грудью к краю стола.

— Ну, Катя, чего ты? Не так оно опасно! — нетерпеливо и ласково проговорил литейщик. — Слышала, и доктор сказал... С такими кровохарканьями и до пятидесяти лет доживают, не так ли? — обратился он ко мне.

— Да, конечно!.. Только не разговаривайте, лежите смирно... Бывают случаи, что и совсем выздоравливают...

Литейщик лежал, молча и подтверждающе кивая головою. Я сел писать рецепт.

— Боже мой, боже мой, как жизнь скоро-то сломала! — с всхлипывающим вздохом произнесла женщина. — Я вам скажу, господин доктор, ведь он нисколько себя не жалеет; как жил-то? Придет с работы, сейчас за книги, всю ночь сидит или по делам бегают... Ведь на одного человека ему силы отпущено, не на двух!..

Больной закашлялся и, наклонившись над тазом, выплюнул большой сгусток крови.

— Ну, будет! Что много разговариваешь? — вполголоса обратился он к жене, отдышавшись.

Я просидел у больного с полчаса, утешая и успокаивая его жену. Комната была убогая, но все в ней говорило о запросах хозяина. В углу лежала груда газет, на комодике и на швейной машине были книги, и на их корешках я прочел некоторые дорогие, близкие имена.

Я вышел и сел на извозчика. Теперь было совсем светло; туман поднялся от земли и влажными, серыми клубами полз по небу, в просветах виднелось чистое небо, освещенное солнцем. На улицах было по-прежнему тихо, но из труб домов уже шел дым, в окнах блестели самовары, и были видны люди; по сизым от росы мосткам вдоль канав прошел густо натоптанный черный след. Я вспомнил то настроение, с каким я ехал сюда и с каким смотрел на эти мостки и заросшие желтой травой откосы канав; настроение это показалось мне теперь удивительно мелким и чуждым; не то чтоб мне было стыдно за него, — мне просто было странно и непонятно, как я мог ему отжаться. Мы должны объединиться и бороться; конечно, это так. Но кто «мы»? Врачи? Мы можем, разумеется, стараться улучшить положение своей корпорации, усовершенствовать взаимопомощь, и другое в таком роде. Но борьба, борьба широкая и коренная, невозможна, если на знамени стоит голый грош. Наше положение тяжело. Но кому из посторонних оно может казаться таковым? На рогожных фабриках у нас рабочему ставится условием не просить по городу милостыни, женщина-работница принуждена у нас отдавать себя мастеру, быть проституткой, за одно право иметь работу... Было бы, конечно, очень хорошо, если бы мы получали оклады, какие получают инженеры, если бы мы могли работать, не утомляясь и не думая о завтрашнем дне. Но это легко говорить. Земский врач получает нищенское жалование, но не может деревня из своей черной корки хлеба создать ему мясо и вино. Вознаграждение врача вообще очень низко, и тем не менее не только для бедняка, а даже для человека среднего достатка лечение есть разорение. Выходом тут не может быть тот путь, о каком я думал. Это была бы не борьба отряда в рядах большой армии, это была бы борьба кучки людей против всех окружающих, и поэтому самому она была бы бессмысленна и бесплодна. И почему так трудно понять это нам, которые с детства росли на «широких умственных горизонтах», когда это так хорошо понимают люди, которым каждую пядь этих горизонтов приходится завоевывать тяжелым трудом?

Да, выход в другом. Этот единственный выход — в сознании, что мы — лишь небольшая часть одного громадного, неразъединимого целого, что исключительно лишь в судьбе и успехах этого целого мы можем видеть и свою личную судьбу и успех.

1895-1900

## М.А. Булгаков (1891–1940)



**Михаил Афанасьевич Булгаков** - писатель, драматург, классик отечественной литературы XX столетия. Родился в Киеве. Окончив медицинский факультет Киевского университета, в 1916-1917 гг. работал врачом Никольской земской больницы Сычевского уезда Смоленской губернии. В 1917 г. Булгакова перевели в Вяземскую городскую земскую больницу заведующим инфекционным и венерическим отделением. Затем он вернулся в Киев и занимался там частной практикой. В 1919 году закончил свою врачебную деятельность и обратился к литературе. «Записки юного врача» - цикл рассказов Михаила Булгакова, созданный в первой половине 1920-х гг.

Цикл рассказов «Записки юного врача» («Полотенце с петухом», «Крещение поворотом», «Стальное горло», «Вьюга», «Тьма египетская», «Пропавший глаз», «Звездная сыпь»), а также рассказы «Морфий», «Необыкновенные приключения доктора», «Красная корона», «Китайская история», «Налет», «Богема», «Записки на манжетах» объединяет «медицинская» тема. В основу этих рассказов

легли реальные жизненные обстоятельства службы Булгакова в качестве земского врача в Смоленской губернии. Работа над циклом, видимо, стала переходной от трудов и дней земского врача к труду литературному.

Это яркие зарисовки из медицинской практики писателя, проведенной им в Никольской больнице Сычевского уезда Смоленской губернии сразу после окончания университета. Они стали своеобразной «пробой пера» талантливого врача, посвятившего свою дальнейшую жизнь литературному творчеству. Смысл «Записок» не только в борьбе за человеческую жизнь, но и в борьбе с дикостью и невежеством, с которыми пришлось столкнуться недавнему студенту в уездной глуши, с «тьмой египетской», царившей в сознании крестьян. Булгаков мастерски передает обстановку повседневной жизни земской больницы, повествует о душевных тревогах молодого врача, привыкшего к жизни в огромном городе и оказавшегося вне цивилизации, «на забытой станции, погребенной в буране», столкнувшегося один на один с такими сложнейшими случаями и трагическими ситуациями в своей медицинской практике, справиться с которыми было бы нелегко даже опытному врачу.

То, что сам Булгаков был действительно хорошим врачом, подтверждает и первая жена писателя Т. Н. Лаппа, бывшая рядом с ним и в Никольском, и в Вязьме: "Диагнозы он замечательно ставил. Прекрасно ориентировался". Так что здесь никакой идеализации действительности нет, притом, что суровая деревенская реальность дана без всяких прикрас. Записки юного врача были ориентированы на "Записки врача" (1901) В. Вересаева, с которым Булгакову позднее довелось подружиться и даже создать в соавторстве пьесу "Александр Пушкин". Булгаковский юный врач другой, чем вересаевский. Он, в отличие от героя "Записок врача", практически не знает неудач.

Сестра Булгакова Надежда Афанасьевна в своих воспоминаниях записала: «1916 год. Приехав в деревню в качестве врача, Михаил Афанасьевич столкнулся с катастрофическим распространением сифилиса и других венерических заболеваний (конец войны, фронт валом валил в тыл, в деревню хлынули свои и приезжие солдаты). При общей некультурности быта это принимало катастрофические размеры. Кончая университет, М.А. выбрал специально детские болезни (характерно для него), но волей-неволей пришлось обратить внима-

ние на венерологию. М.А. хлопотал об открытии венерологических пунктов в уезде, о принятии профилактических мер. В Киев в 1918 г. он приехал уже венерологом. И там продолжал работу по этой специальности – недолго». (Воспоминания о Михаиле Булгакове. – М., 1988. – С. 85-87).

Позднее в рассказе «Морфий» Булгаков нарисовал страшную картину физического и морального распада личности морфиниста, с медицинской тщательностью описав все этапы его болезни. Состояние больного и его душевные страдания были очень близки писателю: сам Булгаков некоторое время был подвержен этой пагубной привычке. «Морфий» – это крик души человека, ставшего рабом «кристаллического растворимого божка», это предостережение, адресованное всем, кто может стать его жертвой.

*Произведения печатаются по изданию: Булгаков М. Записки на манжетах, - С.-П., «Кристалл», 2003.*

## ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА

### Полотенце с петухом

Если человек не ездил на лошадях по глухим проселочным дорогам, то рассказывать мне ему об этом нечего: все равно он не поймет. А тому, кто ездил, и напоминать не хочу. Скажу коротко: сорок верст, отделяющих уездный город Грачевку от Мурьевской больницы, ехали мы с возницей моим ровно сутки. И даже до курьезного ровно: в два часа дня 16 сентября 1917 года мы были у последнего лабаза, помещающегося на границе этого замечательного города Грачевки, а в два часа пять минут 17 сентября того же 17-го незабываемого года я стоял на битой, умирающей и смякшей от сентябрьского дождика траве во дворе Мурьевской больницы. Стоял я в таком виде: ноги окостенели, и настолько, что я смутно тут же во дворе мысленно перелистывал страницы учебников, тупо стараясь припомнить, существует ли действительно, или мне это померещилось во вчерашнем сне в деревне Грабиловке, болезнь, при которой у человека окостеневают мышцы? Как ее, проклятую, зовут по-латыни? Каждая из мышц этих болела нестерпимой болью, напоминающей зубную боль. О пальцах на ногах говорить не приходится — они уже не шевелились и сапогах, лежали смиренно, были похожи на деревянные культишки. Сознаюсь, что в порыве малодушия я проклинал шепотом медицину и свое заявление, поданное пять лет назад ректору университета. Сверху в это время сеяло, как сквозь сито. Пальто мое набухло, как губка. Пальцами правой руки я тщетно пытался ухватиться за ручку чемодана и наконец плюнул на мокрую траву. Пальцы мои ничего не могли хватать, и опять мне, начиненному всякими знаниями из интересных медицинских книжек, вспомнилась болезнь — паралич. «Парализис», — отчаянно мысленно и черт знает зачем сказал я себе.

— П... по вашим дорогам, — заговорил я деревянными, синенькими губами, — нужно п... привыкнуть ездить.

И при этом злобно почему-то уставился на возницу, хотя он, собственно, и не был виноват в такой дороге.

— Эх... товарищ доктор, — отозвался возница, тоже еле шевеля губами под светлыми усишками, — пятнадцать годов езжу, а все привыкнуть не могу.

Я содрогнулся, оглянулся тоскливо на белый облупленный двухэтажный корпус, на небеленые бревенчатые стены фельдшерского домика, на свою будущую резиденцию — двухэтажный, очень чистенький дом с гробовыми загадочными окнами, протяжно вздохнул. И тут же мутно мелькнула в голове вместо латинских слов сладкая фраза, которую спел в ошалевших от качки и холода мозгах полный тенор с голубыми ляжками:

«...Привет тебе... при-ют свя-щенный...»

Прощай, прощай надолго, золото-красный Большой театр, Москва, витрины... ах, прощай.

«Я тулуп буду в следующий раз надевать...— в злобном отчаянии думал я и рвал че-

модан за ремни негнушимися руками, — я... хотя в следующий раз будет уже октябрь... хоть два тулупа надевай. А раньше чем через месяц я не поеду, не поеду в Грачевку... Подумайте сами... ведь ночевать пришлось! Двадцать верст сделали и оказались в могильной тьме... ночь... в Грабиловке пришлось ночевать... учитель пустил... А сегодня утром выехали в семь утра... и вот едешь... батюшки-светы... медленнее пешехода. Одно колесо ухает в яму, другое на воздух подымается, чемодан на ноги — бух... потом на бок, потом на другой, потом носом вперед, потом затылком. А сверху сеет и сеет, да стынут кости. Да разве я мог бы поверить, что в середине серенького кислого сентября человек может мерзнуть в поле, как в лютую зиму?! Ан, оказывается, может. И пока умираешь медленной смертью, шипишь одно и то же, одно. Справа горбатое обглоданное поле, слева чахлый перелесок, а возле него серые драные избы, штук пять или шесть. И кажется, что в них нет ни одной живой души. Молчание, молчание кругом...»

Чемодан наконец поддался. Возница налег на него животом и выпихнул его прямо на меня. Я хотел удержать его за ремень, но рука отказалась работать, и распухший, осточертевший мой спутник с книжками и всяким барахлом плюхнулся прямо на траву, шараясь по ногам.

— Эх ты, госпо... — начал возница испуганно, но я никаких претензий не предъявлял — ноги у меня были все равно, хоть выбрось их.

— Эй, кто тут? Эй! — закричал возница и захлопал руками, как петух крыльями. — Эй, доктора привез!

Тут в темных стеклах фельдшерского домика показались лица, прилипли к ним, хлопнула дверь, и вот я увидел, как заковылял по траве ко мне человек в рваненьком пальтишке и сапожишках. Он почтительно и торопливо снял картуз, подбежав на два шага ко мне, почему-то улыбнулся стыдливо и хриплым голосом приветствовал меня:

— Здравствуйте, товарищ доктор.

— Кто вы такой? — спросил я.

— Егорыч я, — отрекомендовался человек, — сторож здешний. Уж мы вас ждем, ждем...

И тут же он ухватился за чемодан, вскинул его на плечо и понес. Я захромал за ним, безуспешно пытаюсь всунуть руку в карман брюк, чтобы вынуть портмоне.

Человеку, в сущности, очень немного нужно. И прежде всего ему нужен огонь. Направляясь в мурьевскую глушь, я, помнится, еще в Москве давал себе слово держать себя солидно. Мой юный вид отравлял мне существование на первых шагах. Каждому приходилось представляться:

— Доктор такой-то.

И каждый обязательно поднимал брови и спрашивал:

— Неужели? А я-то думал, что вы еще студент.

— Нет, я кончил, — хмуро отвечал я и думал:

«Очки мне нужно завести, вот что». Но очки было заводить не к чему, глаза у меня были здоровые, и ясность их еще не была омрачена житейским опытом. Не имея возможности защищаться от всегдашних снисходительных и ласковых улыбок при помощи очков, я старался выработать особую, внушающую уважение, повадку. Говорить пытался размеренно и веско, порывистые движения по возможности сдерживать, не бегать, как бегают люди в двадцать три года, окончившие университет, а ходить. Выходило все это, как теперь, по прошествии многих лет, понимаю, очень плохо.

В данный момент я этот свой неписанный кодекс поведения нарушил. Сидел, скорчившись, сидел в одних носках, и не где-нибудь в кабинете, а сидел в кухне, и, как огнепоклонник, вдохновенно и страстно тянулся к пылающим в плите березовым поленьям. На левой руке у меня стояла перевернутая дном кверху кадушка, и на ней лежали мои ботинки рядом с ними ободранный, голокожий петух с окровавленной шеей, рядом с петухом его разноцветные перья грудой. Дело в том, что еще в состоянии околечения успел



произвести целый ряд действий, которых потребовала сама жизнь. Востроносая Аксинья, жена Егорыча, была утверждена мною в должности моей кухарки. Вследствие этого и погиб под ее руками петух. Его я должен был съесть. Я со всеми перезнакомился. Фельдшера звали Демьян Лукич, акушерок — Пелагея Ивановна и Анна Николаевна. Я успел обойти больницу и с совершеннейшей ясностью убедился в том, что инструментарий в ней богатейший. При этом с тою же ясностью я вынужден был признать (про себя, конечно), что очень многих блестящих девственно инструментов назначение мне вовсе не известно. Я их не только не держал в руках, но даже, откровенно признаюсь, и не видал.

— Гм, — очень многозначительно промычал я, — однако у вас инструментарий прелестный. Гм... Как же-с, — сладко заметил Демьян Лукич, — это все стараниями вашего предшественника Леопольда Леопольдовича. Он ведь с утра до вечера оперировал.

Тут я облился прохладным потом и тоскливо поглядел на зеркальные сияющие шкафики.

Засим мы обошли пустые палаты, и я убедился, что в них свободно можно разместить сорок человек

— У Леопольда Леопольдовича иногда и пятьдесят лежало, — утешил меня Демьян Лукич, а Анна Николаевна, женщина в короне поседевших волос, к чему-то сказала:

— Вы, доктор, так моложавы, так моложавы... Прямо удивительно. Вы на студента похожи.

«Фу ты, черт, — подумал я, — как сговорились, честное слово!»

И проворчал сквозь зубы, сухо:

— Гм... нет, я... то есть я... да, моложав...

Затем мы спустились в аптеку, и сразу я увидел, что в ней не было только птичьего молока. В темноватых двух комнатах крепко пахло травами, и на полках стояло все что угодно. Были даже патентованные заграничные средства, и нужно ли добавлять, что я иногда не слышал о них ничего.

— Леопольд Леопольдович выписал, — с гордостью доложила Пелагея Ивановна.

«Прямо гениальный человек был этот Леопольд», — подумал я и проникся уважением к таинственному, покинувшему тихое Мурье Леопольду. Человеку, кроме огня, нужно еще освоиться. Петух был давно мной съеден, сенник для меня набит Егорычем, покрыт простыней, горела лампа в кабинете в моей резиденции. Я сидел и, как зачарованный, глядел на третье достижение легендарного Леопольда: шкаф был битком набит книгами. Одних руководств по хирургии на русском и немецком языках я насчитал бегло около тридцати томов. А терапия! Накожные чудные атласы!

Надвигался вечер, и я осваивался.

«Я ни в чем иге виноват, — думал я упорно и мучительно, — у меня есть диплом, я имею пятнадцать пятаков. Я же предупреждал еще в том большом городе, что хочу идти вторым врачом. Нет. Они улыбались и говорили: «Освоитесь». Вот тебе и освоитесь. А если грыжу привезут? Объясните, как я с нею освоюсь? И в особенности каково будет себя чувствовать больной с грыжей у меня под руками? Освоится он на том свете (тут у меня холод по позвоночнику)...

А гнойный аппендицит? Га! А дифтерийный круп у деревенских ребят? Когда трахеотомия показана? Да и без трахеотомии будет мне не очень хорошо...А... а... роды! Роды-то забыл! Неправильные положения. Что ж я буду делать? А? Какой я легкомысленный человек! Нужно было отказаться от этого участка. Нужно было. Достали бы себе какого-нибудь Леопольда».

В тоске и сумерках я прошелся по кабинету. Когда поравнялся с лампой, увидел, как в безграничной тьме полей мелькнул мой бледный лик рядом с огоньками лампы в окне.

«Я похож на Лжедмитрия», — вдруг глупо подумал я и опять уселся за стол.

Часа два в одиночестве я мучил себя и домучил до тех пор, что уж больше мои нервы

не выдерживали созданных мною страхов. Тут я начал успокаиваться и даже создавать некоторые планы.

Так-с... Прием, они говорят, сейчас ничтожный. В деревнях мнут лен, бездорожье... «Тут-то тебе грыжу и привезут, — бухнул суровый голос в мозгу, — потому что по бездорожью человек с насморком (нетрудная болезнь) не поедет, а грыжу притащат, будь покоен, дорогой коллега доктор».

Голос был неглуп, не правда ли? Я вздрогнул.

«Молчи, — сказал я голосу, — не обязательно грыжа. Что за неврастения? Взясся за гуж, не говори, что не дюж».

«Назвался груздем, полезай в кузов», — ехидно отозвался голос.

Так-с... со справочником я расставаться не буду... Если что выписать, можно, пока руки моешь, обдумать. Справочник будет раскрытым лежать прямо на книге для записей больных. Буду выписывать полезные, но нетрудные рецепты. Ну, например, натри салицилицы 0,5 по одному порошку три раза в день...

«Соду можно выписать!» — явно издеваясь, отозвался мой внутренний собеседник.

При чем тут сода? Я и ипекакуанку выпишу инфузум... на 180. Или на двести. Позвольте.

И тут же, хотя никто и не требовал от меня в одиночестве у лампы ипекакуанки, я малодушно перелистал рецептурный справочник, проверил ипекакуанку, а попутно прочитал машинально и о том, что существует на свете какой-то «инсипин». Он не кто иной, как «сульфат эфира хининдигликолевой кислоты»... Оказывается, вкуса хинина не имеет! Но зачем он? И как его выписать? Он что — порошок? Черт его возьми!

«Инсипин инсипином, а как же все-таки с грыжей будет?» — упорно приставал страх в виде голоса.

«В ванну посажу, — остервенело защищался я, — в ванну. И попробую вправить».

«Ущемленная, мой ангел! Какие тут, к черту, ванны! Ущемленная, — демонским голосом пел страх. — Резать надо...»

Тут я сдался и чуть не заплакал. И моление тьме за окном послал: все, что угодно, только не ущемленную грыжу.

А усталость напевала:

«Ложись ты спать, злосчастный эскулап. Выспишься, а утром будет видно. Успокойся, юный неврастеник. Гляди — тьма за окнами покойна, спят стынувшие поля, нет никакой грыжи. А утром будет видно. Освоишься... Спи... Брось атлас... Все равно ни пса сейчас не разберешь. Грыжевое кольцо...»

Как он влетел, я даже не сообразил. Помнится, болт на двери загремел, Аксинья что-то пискнула. Да еще за окнами проскрипела телега.

Он без шапки, в расстегнутом полушубке, со свалывшейся бородкой, с безумными глазами.

Он перекрестился, и повалился на колени, и бухнул лбом в пол. Это мне.

«Я пропал», — тоскливо подумал я.

— Что вы, что вы, что вы! — забормотал я и потянул за серый рукав.

Лицо его перекосило, и он, захлебываясь, стал бормотать в ответ прыгающие слова:

— Господин доктор... господин... единственная, единственная... единственная! — выкрикнул он вдруг по-юношески звонко, так, что дрогнул ламповый абажур. — Ах ты, господи... Ах... — Он в тоске заломил руки и опять забухал лбом в половицы, как будто хотел разбить его. — За что? За что наказанье?.. Чем прогневали?

— Что? Что случилось?! — выкрикнул я, чувствуя, что у меня холодеет лицо.

Он вскочил на ноги, метнулся и прошептал так:

— Господин доктор... что хотите... денег дам... Деньги берите, какие хотите. Какие хотите. Продукты будем доставлять... Только чтоб не померла. Только чтоб не померла. Калекой останется — пушай. Пушай! — кричал он в потолок. — Хватит прокормить, хва-

тит.

Бледное лицо Аксиньи висело в черном квадрате двери. Госка обвилась вокруг моего сердца.

— Что ?.. Что? Говорите! — выкрикнул я болезненно.

Он стих и шепотом, как будто по секрету, сказал мне, и глаза его стали бездонны:

— В мялку попала...

— В мялку... в мялку?.. — переспросил я. — Что это такое?

— Лен, лен мяли... господин доктор... — шепотом пояснила Аксинья, — мялка-то... лен мнут...

«Вот начало. Вот. О, зачем я приехал!» — в ужасе подумал я.

— Кто?

— Дочка моя, — ответил он шепотом, а потом крикнул: — Помогите! — И вновь повалился, и стриженные его в скобку волосы метнулись на его глаза.

\*

Лампа-«молния» с покривившимся жестяным абажуром горела жарко, двумя рогами. На операционном столе, на белой, свежеспавнувшей клеенке я ее увидел, и грыжа померкла у меня в памяти.

Светлые, чуть рыжеватые волосы свешивались со стола сбившимся засохшим колуном. Коса была гигантская, и конец ее касался пола.

Ситцевая юбка была изорвана, и кровь на ней разного цвета — пятно бурое, пятно жирное, алое. Свет «молнии» показался мне желтым и живым, а ее лицо бумажным, белым, нос заострен.

На белом лице у нее, как гипсовая, неподвижная, потухала действительно редкостная красота. Не всегда, не часто встретишь такое лицо.

В операционной секунд десять было полное молчание, но за закрытыми дверями слышно было, как глухо выкрикивал кто-то и бухал, все бухал головой.

«Обезумел, — думал я, — а сиделки, значит, его отпаивают... Почему такая красавица? Хотя у него правильные черты лица... Видно, мать была красивая... Он вдовец...»

Он вдовец? — машинально шепнул я.

— Вдовец, — тихо ответила Пелагея Ивановна.

Тут Демьян Лукич резким, как бы злобным движением от края до верха разорвал юбку и сразу ее обнажил. Я глянул, и то, что увидел, превысило мои ожидания.левой ноги, собственно, не было. Начиная от раздробленного колена, лежала кровавая рвань, красные мятые мышцы и остро во все стороны торчали белые раздавленные кости. Правая была переломлена в голени так, что обе кости концами выскочили наружу, пробив кожу. От этого ступня ее безжизненно, как бы отдельно, лежала, повернувшись набок.

— Да, — тихо молвил фельдшер и ничего больше не прибавил.

Тут я вышел из оцепенения и взялся за ее пульс. В холодной руке его не было. Лишь после нескольких секунд нашел я чуть заметную редкую волну. Она прошла... потом была пауза, во время которой я успел глянуть на синюющие крылья носа и белые губы... Хотел уже сказать: конец... по счастью, удержался. Опять прошла ниточкой волна.

«Вот как потухает изорванный человек, — подумал я, — тут уж ничего не сделаешь...»

Но вдруг сурово сказал, не узнавая своего голоса:

— Камфары.

Тут Анна Николаевна склонилась к моему уху и шепнула:

— Зачем, доктор? Не мучайте. Зачем еще колоть? Сейчас отойдет... Не спасете.

Я злобно и мрачно оглянулся на нее и сказал:

— Попрошу камфары...

Так, что Анна Николаевна с вспыхнувшим, обиженным лицом сейчас же бросилась к столику и сломала ампулу.

Фельдшер тоже, видимо, не одобрял камфары. Тем не менее, он ловко и быстро взялся за шприц, и желтое масло ушло под кожу плеча.

«Умирай. Умирай скорее, — подумал я, — умирай. А то, что же я буду делать с тобой?»

— Сейчас помрет, — как бы угадав мою мысль, шепнул фельдшер. Он покосился на простыню, но, видимо, раздумал: жаль было кровавить простыню. Однако через несколько секунд ее пришлось прикрыть. Она лежала, как труп, но она не умерла. В голове моей вдруг стало светло, как под стеклянным потолком нашего далекого анатомического театра.

— Камфары еще, — хрипло сказал я.

И опять покорно фельдшер впрыснул масло.

«Неужели же не умрет?.. — отчаянно подумал я. — Неужели придется...»

Все светлело в мозгу, и вдруг без всяких учебников, без советов, без помощи я сообразил — уверенность, что сообразил, была железной, — что сейчас мне придется в первый раз в жизни на угасающем человеке делать ампутацию. И человек этот умрет под ножом. Ах, под ножом умрет. Ведь у нее же нет крови! За десять верст вытекло все через раздробленные ноги, и неизвестно даже, чувствует ли она что-нибудь сейчас, слышит ли. Она молчит. Ах, почему она не умирает? Что скажет мне безумный отец?

— Готовьте ампутацию, — сказал я фельдшеру чужим голосом.

Акушерка посмотрела на меня дико, но у фельдшера мелькнула искра сочувствия в глазах, и он заметался у инструментов. Под руками у него взревел примус...

Прошло четверть часа. С суеверным ужасом я вглядывался в угасший глаз, приподымая холодное веко. Ничего не постигаю. Как может жить полутруп? Капли пота неудержимо бежали у меня по лбу из-под белого колпака, и марлей Пелагея Ивановна вытирала соленый пот. В остатках крови в жилах у девушки теперь плавал и кофеин. Нужно было его впрыскивать или нет? На бедрах Анна Николаевна, чуть-чуть касаясь, гладила бугры, набухшие от физиологического раствора. А девушка жила...

Я взял нож, стараясь подражать (раз в жизни в университете я видел ампутацию) кому-то... Я умолял теперь судьбу, чтобы уж в ближайшие полчаса она не померла... «Пусть умрет в палате, когда я окончу операцию...»

За меня работал только мой здравый смысл, подхлестнутый необычайностью обстановки. Я кругообразно и ловко, как опытный мясник, острейшим ножом полоснул бедро, и кожа разошлась, не дав ни одной росинки крови. «Сосуды начнут кровить, что я буду делать?» — думал я и, как волк, косился на груду торзионных пинцетов. Я срезал громадный кус женского мяса и один из сосудов — он был в виде беловатой трубочки, — но ни капли крови не выступило из него. Я зажал его торзионным пинцетом и двинулся дальше. Я наткал эти торзионные пинцеты всюду, где предполагал сосуды... «Arteria.. arteria... как, черт, ее?..» В операционной стало похоже на клинику. Торзионные пинцеты висели гроздьями. Их марлей оттянули кверху вместе с мясом, и я стал ослепительной мелкозубой пилой пилить круглую кость. «Почему не умирает?.. Это удивительно... ох, как живуч человек!»

И кость отпала. В руках у Демьяна Лукича осталось то, что было девичьей ногой. Лохмы мяса, кости! Всё это отбросили в сторону, и на столе оказалась девушка, как будто укороченная на треть, с оттянутой в сторону культей. «Еще, еще немножко... Не умирай, — вдохновенно думал я, — потерпи до палаты, дай мне выскочить благополучно из этого ужасного случая моей жизни».

Потом вязали лигатурами, потом, щелкая коленом, я стал редкими швами зашивать кожу... но остановился, осененный, сообразил... оставил сток... вложил марлевый тампон... Пот застилал мне глаза, и мне казалось, будто я в бане...

Отдулся. Тяжело посмотрел на культю, на восковое лицо. Спросил:

— Жива?

— Жива... — как беззвучное эхо, отозвались сразу и фельдшер, и Анна Николаевна.

— Еще минуточку проживет, — одними губами, без звука в ухо сказал мне фельдшер. Потом запнулся и деликатно посоветовал: — Вторую ногу, может, и не трогать, доктор. Марлей, знаете ли, заматаем... а то не дотянет до палаты... А? Все лучше, если не в операционной скончается.

— Гипс давайте, — сипло отозвался я, толкаемый неизвестной силой.

Весь пол был заляпан белыми пятнами, все мы были в поту. Полутруп лежал недвижно. Правая нога была забинтована гипсом, и зияло на голени вдохновенно оставленное мною окно на месте перелома.

— Живет... — удивленно хрипнул фельдшер.

Затем ее стали подымать, и под простыней был виден гигантский провал — треть ее тела мы оставили в операционной.

Затем колыхались тени в коридоре, шмыгали сиделки, и я видел, как по стене прокралась растрепанная мужская фигура и издала сухой вопль. Но его удалили. И стихло.

В операционной я мыл окровавленные по локоть руки.

— Вы, доктор, вероятно, много делали ампутаций? — вдруг спросила Анна Николаевна. — Очень, очень хорошо... Не хуже Леопольда...

В ее устах слово «Леопольд» неизменно звучало, как «Дуайен».

Я исподлобья взглянул на лица. И у всех — и у Демьяна Лукича и у Пелагеи Ивановны — заметил в глазах уважение и удивление...

— Кхм... я... Я только два раза делал, видите ли...

Зачем я солгал? Теперь мне это непонятно.

В больнице стихло. Совсем.

— Когда умрет, обязательно пришлите за мной, — вполголоса приказал я фельдшеру, и он почему-то вместо «хорошо» ответил почтительно:

— Слушаю-с...

Через несколько минут я был у зеленой лампы в кабинете докторской квартиры. Дом молчал.

Бледное лицо отражалось в чернейшем стекле.

«Нет, я не похож на Дмитрия Самозванца, и я, видите ли, постарел как-то... Складка над переносицей... Сейчас постучат... Скажут: «Умерла...»

«Да, пойду и погляжу в последний раз... сейчас раздастся стук...»

\*

В дверь постучали. Это было через два с половиной месяца. В окне сиял один из первых зимних дней.

Вошел он; я его разглядел только тогда. Да, действительно черты лица правильные. Лет сорока пяти. Глаза искрятся. Затем шелест... На двух костылях впрыгнула очаровательной красоты одноногая девушка в широчайшей юбке, обшитой по подолу красной каймой.

Она поглядела на меня, и щеки ее замело розовой краской.

— В Москве... в Москве... — И я стал писать адрес. — Там устроят протез, искусственную ногу.

— Руку поцелуй, — вдруг неожиданно сказал отец.

Я до того растерялся, что вместо губ поцеловал ее в нос.

Тогда она, обвисая на костылях, развернула сверток, и выпало длинное снежно-белое полотенце с безыскусственным красным вышитым петухом. Так вот что она прятала под подушку на осмотрах. То-то, я помню, нитки лежали на столике.

— Не возьму, — сурово сказал я и даже головой замотал. Но у нее стало такое лицо, такие глаза, что я взял...

И много лет оно висело у меня в спальне в Мурьеве, потом странствовало со мной. Наконец обветшало, стерлось, продырявилось и исчезло, как стираются и исчезают воспоминания.

## Крещение поворотом

Побежали дни в N-ской больнице, и я стал понемногу привыкать к новой жизни.

В деревнях по-прежнему мяли лен, дороги оставались непроезжими, и на приемах у меня бывало не больше пяти человек. Вечера были совершенно свободны, и я посвящал их разбору библиотеки, чтению учебников по хирургии и долгим одиноким чаепитиям у тихо поющего самовара.

Целыми днями и ночами лил дождь, и капли неумолчно стучали по крыше, и хлестала под окном вода, стекая по желобу в кадку. На дворе была слякоть, туман, черная мгла, в которой тусклыми, расплывчатыми пятнами светились окна фельдшерского домика и керосиновый фонарь у ворот.

В один из таких вечеров я сидел у себя в кабинете над атласом по топографической анатомии. Кругом была полная тишина, и только изредка грызня мышей в столовой за буфетом нарушала ее.

Я читал до тех пор, пока не начали слипаться отяжелевшие веки. Наконец зевнул, отложил в сторону атлас и решил ложиться. Потягиваясь и предвкушая мирный сон под шум и стук дождя, перешел в спальню, разделся и лег.

Не успел я коснуться подушки, как передо мной в сонной мгле всплыло лицо Анны Прохоровой, семнадцати лет, из деревни Торопова. Анне Прохоровой нужно было рвать зуб. Проплыл бесшумно фельдшер Демьян Лукич с блестящими щипцами в руках. Я вспомнил, как он говорит «таковой» вместо «такой» — из любви к высокому стилю, усмехнулся и заснул.

Однако не позже чем через полчаса я вдруг проснулся, словно кто-то дернул меня, сел и, испуганно всматриваясь в темноту, стал прислушиваться.

Кто-то настойчиво и громко барабанил в наружную дверь, и удары эти показались мне сразу зловещими.

В квартиру стучали.

Стук замолк, загредел засов, послышался голос кухарки, чей-то неясный голос в ответ, затем кто-то, скрипя, поднялся по лестнице, тихонько прошел кабинет и постучался в спальню.

— Кто там?

— Это я, — ответил мне почтительный шепот, — я, Аксиныя, сиделка.

— В чем дело?

— Анна Николаевна прислала за вами, велят вам, чтоб вы в больницу шли поскорей.

— А что случилось? — спросил я и почувствовал, как явственно екнуло сердце.

— Да женщину там привезли из Дульцева. Роды у ней неблагополучные.

«Вот оно. Началось! — мелькнуло у меня в голове, и я никак не мог попасть ногами в туфли. — А, черт! Спички не загораются. Что ж, рано или поздно это должно было случиться. Не всю же жизнь одни ларингиты да катары желудка».

— Хорошо. Иди, скажи, что я сейчас приду! — крикнул я и встал с постели. За дверью зашлепали шаги Аксиныи, и снова загредел засов. Сон соскочил мигом. Торопливо, дрожащими пальцами я зажег лампу и стал одеваться. Половина двенадцатого. Что там такое у этой женщины с неблагополучными родами? Гм... неправильное положение... узкий таз. Или, может быть, еще что-нибудь хуже. Чего доброго, щипцы придется накладывать. Отослать ее разве прямо в город? Да немыслимо это! Хорошенький доктор, нечего сказать, скажут все! Да и права не имею так сделать. Нет, уж нужно делать самому. А что делать? Черт его знает. Беда будет, если потеряюсь; перед акушерками срам. Впрочем, нужно сперва посмотреть, не стоит прежде времени волноваться.

Я оделся, накинул пальто и, мысленно надеясь, что все обойдется благополучно, под дождем, по хлопающим досочкам побежал в больницу. В полутьме у входа виднелась те-

лега, лошадь стукнула копытом в гнилые доски.

— Вы, что ль, привезли роженицу? — для чего-то спросил у фигуры, шевелившейся возле лошади.

— Мы... как же, мы, батюшка, — жалобно ответил бабий голос.

В больнице, несмотря на глухой час, было оживление и суета. В приемной, мигая, горела лампа-«молния». В коридорчике, ведущем в родильное отделение, мимо меня прошмыгнула Аксинья с тазом. Из-за двери вдруг донесся слабый стон и замер. Я открыл дверь и вошел в родилку. Выбеленная небольшая комната была ярко освещена верхней лампой. Рядом с операционным столом на кровати, укрытая одеялом до подбородка, лежала молодая женщина. Лицо ее было искажено болезненной гримасой, а намокшие пряди волос прилипли ко лбу. Анна Николаевна, с градусником в руках, приготавливала раствор в эсмарховской кружке, а вторая акушерка, Пелагея Ивановна, доставала из шкафика чистые простыни. Фельдшер, прислонившись к стене, стоял в позе Наполеона. Увидев меня, все встрепенулись. Роженица открыла глаза, заломила руки и вновь застонала жалобно и тяжело.

— Ну-с, что такое? — спросил я и сам подивился своему тону, настолько он был уверен и спокоен.

— Поперечное положение, — быстро ответила Анна Николаевна, продолжая подливать воду в раствор.

— Та-ак, — протянул я, нахмурясь, — что ж, посмотрим...

— Руки доктору мыть! Аксинья! — тотчас крикнула Анна Николаевна. Лицо ее было торжественно и серьезно.

Пока стекала вода, смывая пену с покрасневших от щетки рук, я задавал Анне Николаевне незначительные вопросы, вроде того, давно ли привезли роженицу, откуда она... Рука Пелагеи Ивановны откинула одеяло, и я, присев на край кровати, тихонько касаясь, стал ощупывать вздувшийся живот. Женщина стонала, вытягивалась, впивалась пальцами, комкала простыню.

— Тихонько, тихонько... потерпи, — говорил я, осторожно прикладывая руки к растянutoй жаркой и сухой коже.

Собственно говоря, после того как опытная Анна Николаевна подсказала мне, в чем дело, исследование это было ни к чему не нужно. Сколько бы я ни исследовал, больше Анны Николаевны я все равно бы не узнал. Диагноз ее, конечно, был верный: поперечное положение. Диагноз налицо. Ну, а дальше?..

Хмурясь, я продолжал ощупывать со всех сторон живот и искоса поглядывал на лица акушеров. Обе они были сосредоточенно серьезны, и в глазах их я прочитал одобрение моим действиям. Действительно, движения мои были уверенны и правильны, а беспокойство свое я постарался спрятать как можно глубже и ничем его не проявлять.

— Так, — вздохнув, сказал я и приподнялся с кровати, так как смотреть снаружи было больше нечего, — поисследуем изнутри.

Одобрение опять мелькнуло в глазах Анны Николаевны.

— Аксинья!

Опять полилась вода.

«Эх, Додерляйна бы сейчас почитать!» — тоскливо думал я, намыливая руки. Увы, сделать это сейчас было невозможно. Да и чем бы помог мне в этот момент Додерляйн? Я смыл густую пену, смазал пальцы йодом. Зашуршала чистая простыня под руками Пелагеи Ивановны, и, склонившись к роженице, я стал осторожно и робко производить внутреннее исследование. В памяти у меня невольно всплыла картина операционной в акушерской клинике. Ярко горящие электрические лампы в матовых шарах, блестящий плиточный пол, всюду сверкающие краны и приборы. Ассистент в снежно-белом халате манипулирует над роженицей, а вокруг него три помощника-ординатора, врачи-практиканты, толпа студентов-кураторов. Хорошо, светло и безопасно.

Здесь же я — один-одинешенек, под руками у меня мучающаяся женщина; за нее я отвечаю. Но как ей нужно помогать, я не знаю, потому что вблизи роды видел только два раза в своей жизни в клинике, и те были совершенно нормальны. Сейчас я делаю исследование, но от этого не легче ни мне, ни роженице; я ровно ничего не понимаю и не могу прощупать там у нее внутри.

А пора уже на что-нибудь решиться.

— Поперечное положение... раз поперечное положение, значит, нужно... нужно делать...

— Поворот на ножку, — не утерпела и словно про себя заметила Анна Николаевна.

Старый, опытный врач покосился бы на нее за то, что она суется вперед со своими заключениями... Я же человек необидчивый...

— Да, — многозначительно подтвердил я, — поворот на ножку.

И перед глазами у меня замелькали страницы Додерляйна. Поворот прямой... поворот комбинированный... поворот непрямой...

Страницы, страницы... а на них рисунки. Таз, искривленные, сдавленные младенцы с огромными головами... свисающая ручка, на ней петля.

И ведь недавно еще читал. И еще подчеркивал, внимательно вдумываясь в каждое слово, мысленно представляя себе соотношение частей и все приемы. И при чтении казалось, что весь текст отпечатывается навеки в мозгу.

А теперь только и всплывает из всего прочитанного одна фраза:

*...Поперечное положение есть абсолютно неблагоприятное положение.*

Что, правда, то правда. Абсолютно неблагоприятное как для самой женщины, так и для врача, шесть месяцев тому назад окончившего университет.

— Что ж... будем делать, — сказал я, приподнимаясь.

Лицо у Анны Николаевны оживилось.

— Демьян Лукич, — обратилась она к фельдшеру, — приготовляйте хлороформ.

Прекрасно, что сказала, а то ведь я еще не был уверен, под наркозом ли делается операция! Да, конечно, под наркозом — как же иначе!

Но все-таки Додерляйна надо просмотреть...

И я, обмыв руки, сказал:

— Ну-с, хорошо... вы готовьте для наркоза, укладывайте ее, а я сейчас приду, возьму только папиросы дома.

— Хорошо, доктор, успеется, — ответила Анна Николаевна.

Я вытер руки, сиделка набросила мне на плечи пальто, и, не надевая его в рукава, я побежал домой.

Дома в кабинете я зажег лампу и, забыв снять шапку, кинулся к книжному шкафу.

Вот он — Додерляйн. «Оперативное акушерство». Я торопливо стал шелестеть глянцевыми страничками.

*...поворот всегда представляет опасную для матери операцию...*

Холодок прополз у меня по спине, вдоль позвоночника.

*...Главная опасность заключается в возможности самопроизвольного разрыва матки.*

Само-про-из-воль-но-го...

*...Если акушер при введении руки в матку, вследствие недостатка простора или под влиянием сокращения стенок матки, встречает затруднения к тому, чтобы проникнуть к ножке, то он должен отказаться от дальнейших попыток к выполнению поворота...*

Хорошо. Если я сумею даже каким-нибудь чудом определить эти «затруднения» и откажусь от «дальнейших попыток», что, спрашивается, я буду делать с захлороформированной женщиной из деревни Дульцево?



Дальше:

*...Совершенно воспрещается пытаться проникнуть к ножкам вдоль спинки плода...*

Примем к сведению.

*...Захватывание верхней ножки следует считать ошибкой, так как при этом легко может получиться осевое перекручивание плода, которое может дать повод к тяжелому вколачиванию плода и, вследствие этого, к самым печальным последствиям...*

«Печальным последствиям». Немного неопределенные, но какие внушительные слова! А что, если муж дульцевской женщины останется вдовцом? Я вытер испарину на лбу, собрался с силой и, минуя все эти страшные места, постарался запомнить только самое существенное: что, собственно, я должен делать, как и куда вводить руку. Но, пробегая черные строчки, я все время наталкивался на новые страшные вещи. Они били в глаза.

*...ввиду огромной опасности разрыва...*

*...внутренний и комбинированный повороты представляют операции, которые должны быть отнесены к опаснейшим для матери акушерским операциям...*

И в виде заключительного аккорда:

*...С каждым часом промедления возрастает опасность...*

Довольно! Чтение принесло свои плоды: в голове у меня все спуталось окончательно, и я мгновенно убедился, что я не понимаю ничего, и прежде всего, какой, собственно, поворот я буду делать: комбинированный, некомбинированный, прямой, непрямой!..

Я бросил Додерляйна и опустил в кресло, силясь привести в порядок разбегающиеся мысли... Потом глянул на часы. Черт! Оказывается, я уже двенадцать минут дома. А там ждут.

*...с каждым часом промедления...*

Часы состояются из минут, а минуты в таких случаях летят бешено. Я швырнул Додерляйна и побежал обратно в больницу.

Там все уже было готово. Фельдшер стоял у столика, приготавливая на нем маску и склянку с хлороформом. Роженица уже лежала на операционном столе. Непрерывный стон разносился по больнице.

— Терпи, терпи, — ласково бормотала Пелагея Ивановна, наклоняясь к женщине, — доктор сейчас тебе поможет...

— О- ой! Моченьки... нет... Нет моей моченьки!.. Я не вытерплю!

— Небось... небось...— бормотала акушерка, — вытерпишь! Сейчас понюхать тебе дадим... Ничего и не услышишь.

Из кранов с шумом потекла вода, и мы с Анной Николаевной стали чистить и мыть обнаженные по локоть руки. Анна Николаевна под стон и вопли рассказывала мне, как мой предшественник — опытный хирург — делал повороты. Я жадно слушал ее, стараясь не проронить ни слова. И эти десять минут дали мне больше, чем все то, что я прочел по акушерству к государственным экзаменам, на которых именно по акушерству я получил «весьма». Из отрывочных слов, неоконченных фраз, мимоходом брошенных намеков я узнал то самое необходимое, чего не бывает ни в каких книгах. И к тому времени, когда стерильной марлей я начал вытирать идеальной белизны и чистоты руки, решимость овладела мной, и в голове у меня был совершенно определенный и твердый план. Комбинированный там или некомбинированный, сейчас мне об этом и думать не нужно.

Все эти ученые слова ни к чему в этот момент. Важно одно: я должен ввести одну руку внутрь, другой рукой снаружи помогать повороту и, полагаясь не на книги, а на чувство меры, без которого врач никуда не годится, осторожно, но настойчиво низвести одну ножку и за нее извлечь младенца.

Я должен быть спокоен и осторожен и в то же время безгранично решителен, нетрус-

лив.

— Давайте, — приказал я фельдшеру и начал смазывать пальцы йодом.

Пелагея Ивановна тотчас же сложила руки роженицы, а фельдшер закрыл маской ее измученное лицо. Из темно-желтой склянки медленно начал капать хлороформ. Сладкий и тошный запах начал наполнять комнату. Лица у фельдшера и акушерок стали строгими, как будто вдохновенными...

— Га-а! А!! — вдруг выкрикнула женщина. Несколько секунд она судорожно рвалась, стараясь сбросить маску.

— Держите!

Пелагея Ивановна схватила ее за руки, уложила и прижала к груди. Еще несколько раз выкрикнула женщина, отворачивая от маски лицо. Но реже... реже... Глухо забормотала:

— Га-а... пусти!.. а!..

Потом все слабее, слабее. В белой комнате наступила тишина. Прозрачные капли все падали и падали; на белую марлю.

— Пелагея Ивановна, пульс?

— Хорош.

Пелагея Ивановна приподняла руку женщины и выпустила; та безжизненно, как плеть, шлепнулась о простыни. Фельдшер, сдвинув маску, посмотрел зрачок.

— Спит.

Лужа крови. Мои руки по локоть в крови. Кровяные пятна на простынях. Красные сгустки и комки марли. А Пелагея Ивановна уже встряхивает младенца и похлопывает его. Аксиныя гремит ведрами, наливая в тазы воду. Младенца погружают то в холодную, то в горячую воду. Он молчит, и голова его безжизненно, словно на ниточке, болтается из стороны в сторону. Но вот вдруг не то скрип, не то вздох, а за ним слабый, хриплый первый крик.

— Жив... жив... — бормочет Пелагея Ивановна и укладывает младенца на подушку.

И мать жива. Ничего страшного, по счастью, не случилось. Вот я сам оцупываю пульс. Да, он ровный и четкий, и фельдшер тихонько трясет женщину за плечо и говорит:

— Ну, тетя, тетя, просыпайся.

Отбрасывают в сторону окровавленные простыни и торопливо закрывают мать чистой, и фельдшер с Аксиной уносят ее в палату. Спеленатый младенец уезжает на подушке. Сморщенное коричневое личико глядит из белого ободка, и не прерывается тоненький, плаксивый писк.

Вода бежит из кранов умывальников. Анна Николаевна жадно затягивается папироской, щурится от дыма, кашляет.

— А вы, доктор, хорошо сделали поворот, уверенно так.

Я усердно тру щеткой руки, искоса взглядываю на нее: не смеется ли? Но на лице у нее искреннее выражение горделивого удовольствия. Сердце мое полно радости. Я гляжу на кровавый и белый беспорядок кругом, на красную воду в тазу и чувствую себя победителем. Но в глубине где-то шевелится червяк сомнения.

— Посмотрим еще, что будет дальше, — говорю я.

Анна Николаевна удивленно вскидывает на меня глаза.

— Что же может быть? Все благополучно.

Я неопределенно бормочу что-то в ответ. Мне, собственно говоря, хочется сказать вот что: все ли там цело у матери, не повредил ли я ей во время операции... Это-то смутно терзает мое сердце. Но мои знания в акушерстве так неясны, так книжно отрывочны! Разрыв? А в чем он должен выразиться? И когда он даст знать о себе — сейчас же или, быть может, позже?.. Нет, уж лучше не заговаривать на эту тему.

— Ну, мало ли что, — говорю я, — не исключена возможность заражения, — повторяю я первую попавшуюся фразу из какого-то учебника.

— Ах, э-это! — спокойно тянет Анна Николаевна. — Ну, даст бог, ничего не будет. Да и откуда? Все стерильно, чисто.

\*

Было начало второго, когда я вернулся к себе. На столе в кабинете в пятне света от лампы мирно лежал раскрытый на странице «Опасности поворота» Додерляйн. С час еще, глотая простывший чай, я сидел над ним, перелистывая страницы. И тут произошла интересная вещь: все прежние темные места сделались совершенно понятными, словно налились светом, и здесь, при свете лампы, ночью, в глуши, я понял, что значит настоящее знание.

«Большой опыт можно приобрести в деревне, — думал я, засыпая, — но только нужно читать, читать, побольше... читать...»

1925

## Стальное горло

Итак, я остался один. Вокруг меня — ноябрьская тьма с вертящимся снегом, дом завалило, в трубах завывало. Все двадцать четыре года моей жизни я прожил в громадном городе и думал, что вьюга воет только в романах. Оказалось: она воет на самом деле. Вечера здесь необыкновенно длинны, лампа под синим абажуром отражалась в черном окне, и я мечтал, глядя на пятно, светящееся на левой руке от меня. Мечтал об уездном городе — он находился в сорока верстах от меня. Мне очень хотелось убежать с моего пункта туда. Там было электричество, четыре врача, с ними можно было посоветоваться, во всяком случае, не так страшно. Но убежать не было никакой возможности, да временами я и сам понимал, что это малодушие. Ведь именно для этого я учился на медицинском факультете...

«...Ну, а если привезут женщину и у нее неправильные роды? Или, предположим, больного, а у него ущемленная грыжа? Что я буду делать? Посоветуйте, будьте добры. Сорок восемь дней тому назад я кончил факультет с отличием, но отличие само по себе, а грыжа сама по себе. Один раз я видел, как профессор делал операцию ущемленной грыжи. Он делал, а я сидел в амфитеатре. И только...»

Холодный пот неоднократно стекал у меня вдоль позвоночного столба при мысли о грыже. Каждый вечер я сидел в одной и той же позе, напившись чаю: под левой рукой у меня лежали все руководства по оперативному акушерству, сверху маленький Додерляйн. А справа десять различных томов по оперативной хирургии, с рисунками. Я кряхтел, курил, пил черный холодный чай...

И вот я заснул: отлично помню эту ночь — 29 ноября, я проснулся от грохота в двери. Минут пять спустя я, надевая брюки, не сводил молящих глаз с божественных книг оперативной хирургии. Я слышал скрип полозьев во дворе: уши мои стали необычайно чуткими. Вышло, пожалуй, еще страшнее, чем грыжа, чем поперечное положение младенца: привезли ко мне в Никольский пункт-больницу в одиннадцать часов ночи девочку. Сиделка глухо сказала:

— Слабая девочка, помирает... Пожалуйте, доктор, в больницу...

Помню, я пересек двор, шел на керосиновый фонарь у подъезда больницы, как зачарованный смотрел, как он мигает. Приемная уже была освещена, и весь состав моих помощников ждал меня уже одетый и в халатах. Это были фельдшер Демьян Лукич, молодой еще, но очень способный человек и две опытных акушерки — Анна Николаевна и Пелагея Ивановна. Я же был всего лишь двадцатичетырехлетним врачом, два месяца назад выпущенным и назначенным заведовать Никольской больницей.

Фельдшер распахнул торжественно дверь, и появилась мать. Она как бы влетела, скользя в валенках, и снег еще не стаял у нее на платке. В руках у нее был сверток, и он

мерно шипел, свистел. Лицо у матери было искажено, она беззвучно плакала. Когда она сбросила свой тулуп и платок и распутала сверток, я увидел девочку лет трех. Я посмотрел на нее и забыл на время оперативную хирургию, одиночество, мой негодный университетский груз, забыл все решительно из-за красоты девочки. С чем бы ее сравнить? Только на конфетных коробках рисуют таких детей — волосы сами от природы выются в крупные кольца почти спелой ржи. Глаза синие, громаднейшие, щеки кукольные. Ангелов так рисовали. Но только странная муть гнездилась на дне ее глаз, и я понял, что это страх, — ей нечем было дышать. «Она умрет через час», — подумал я совершенно уверенно, и сердце мое болезненно сжалось...

Ямки втягивались в горле у девочки при каждом дыхании, жилы надувались, а лицо отливало из розоватого в легонький лиловатый цвет. Эту расцветку сразу понял и оценил. Я тут же сообразил, в чем дело, и первый мой диагноз поставил совершенно правильно, и главное, одновременно с акушерками - они-то были опытны: «У девочки дифтерийный круп, горло уже забито пленками и скоро закроется наглухо...»

- Сколько дней девочка больна? - спросил я среди настоорожившегося молчания моего персонала.

- Пятый день, пятый, - сказала мать и сухими глазами глубоко посмотрела на меня.

- Дифтерийный круп, - сквозь зубы сказал я фельдшеру, а матери сказал:

- Ты о чем же думала? О чем думала?

И в это время раздался сзади меня плаксивый голос:

- Пятый, батюшка, пятый!

Я обернулся и увидел бесшумную, круглолицую бабку в платке. «Хорошо было бы, если б бабок этих вообще на свете не было», - подумал я в тоскливом предчувствии опасности и сказал:

- Ты, бабка, замолчи, мешаешь. - Матери же повторил: - Ты о чем же думала? О чем думала? А?

Мать вдруг автоматическим движением передала девочку бабке и стала передо мною на колени.

- Дай ей капель, - сказала она и стукнулась лбом в пол, - удавлюсь я, если она помрет.

- Встань сию же минуту, - ответил я, - а то я с тобой и разговаривать не стану.

Мать быстро встала, прошелестев широкой юбкой, приняла девочку у бабки и стала качать. Бабка начала молиться на косяк, а девочка все дышала со змеиным свистом. Фельдшер сказал:

- Так они все делают. Народ. - Усы у него при этом скривились на бок.

- Что ж, значит, помрет она? - глядя на меня, как мне показалось, с черной яростью, спросила мать.

- Помрет, - негромко и твердо сказал я.

Бабка тотчас завернула подол и стала им вытирать глаза. Мать же крикнула мне нехорошим голосом:

- Дай ей, помоги! Капель дай!

Я ясно видел, что меня ждет, и был тверд.

- Каких же я капель дам? Посоветуйте. Девочка задыхается, горло ей уже забило. Ты пять дней морила девочку в пятнадцати верстах от меня. А теперь что прикажешь делать?

- Тебе лучше знать, батюшка, - заныла у меня на левом плече бабка искусственным голосом, и я ее сразу возненавидел.

- Замолчи! - сказал ей. И обратившись к фельдшеру. Приказал взять девочку. Мать подала акушерке девочку, которая стала биться и хотела, видимо, кричать, но у нее не выходил уже голос. Мать хотела ее защитить, но мы ее отстранили, и мне удалось заглянуть при свете лампы—«молнии» девочке а горло. Я никогда до тех пор не видел дифтерита, кроме легких и быстро забывшихся случаев. В горле было что-то клокочущее, белое, ровное. Девочка вдруг выдохнула и плюнула мне в лицо, но я почему-то не испугался за глаза,

занятой своей мыслью.

- Вот что, - сказал я, - удивляясь собственному спокойствию, - дело такое. Поздно. Девочка умирает. И ничто ей не поможет, кроме одного - операции.

И сам ужаснулся, зачем сказал, но не сказать не мог. «А если они согласятся?» - мелькнула у меня мысль.

- Как это? - спросила мать.

- Нужно будет горло разрезать пониже и серебряную трубку вставить, дать девочке возможность дышать, тогда, может быть, спасем ее, - объяснил я.

Мать посмотрела на меня, как на безумного, и девочку от меня заслонила руками, а бабка снова забубнила:

- Что ты! Что ты? Горло- то?!

- Уйди, бабка! - с ненавистью сказал я ей. - Камфару впрысните! - приказал я фельдшеру.

Мать не давала девочку, когда увидела шприц, но мы ей объяснили, что это не страшно.

- Может, это ей поможет? - спросила мать.

- Нисколько не поможет.

Тогда мать зарыдала.

- Перестань, - промолвил я. - Вынул часы и добил: - Пять минут даю думать. Если не согласитесь, после пяти минут сам уже не возьму делать.

- Не согласна! - резко сказала мать.

- Нет нашего согласия! - добавила бабка.

Ну, как хотите, — глухо добавил я и подумал: «Ну, вот и все! Мне легче. Я сказал, предложил, вон у акушеров изумленные глаза. Они отказались, и я спасен». И только что подумал, как другой кто-то за меня чужим голосом вымолвил:

— Что вы, с ума сошли? Как это так не согласны? Губите девочку. Соглашайтесь. Как вам не жаль?

— Нет! — снова крикнула мать.

Внутри себя я думал так: «Что я делаю? Ведь я же зарежу девочку». А говорил иное:

— Ну, скорей, скорей соглашайтесь! Соглашайтесь! Ведь у нее уже ногти синеют.

— Нет! Нет!

— Ну, что же, уведите их в палату, пусть там сидят.

Их увели через полутемный коридор. Я слышал плач женщин и свист девочки. Фельдшер тотчас же вернулся и сказал:

— Соглашаются!

Внутри у меня все окаменело, но выговорил я ясно:

— Стерилизуйте немедленно нож, ножницы, крючки, зонд!

Через минуту я перебежал двор, где, как бес, летала и шаркала метель, прибежал к себе и, считая минуты, ухватился за книгу, перелистал ее, нашел рисунок, изображающий трахеотомию. На нем все было ясно и просто: горло раскрыто, нож вонзен в дыхательное горло. Я стал читать текст, но ничего не понимал, слова как-то прыгали в глазах. Я никогда не видел, как делают трахеотомию. «Э, теперь уж поздно», — подумал я, взглянул с тоской на синий цвет, на яркий рисунок, почувствовал, что свалилось на меня трудное, страшное дело, и вернулся, не заметив вьюги, в больницу.

В приемной тень с круглыми юбками прилипла ко мне, и голос заныл:

— Батюшка, как же так, горло девчонке резать? Да разве же это мыслимо? Она, глупая баба, согласилась. А моего согласия нет, нету. Каплями согласна лечить, а горло резать не дам.

— Бабку эту вон! — закричал я и в запальчивости добавил: - Ты сама глупая баба! Сама! А та именно умная! И вообще никто тебя не спрашивает! Вон ее!

Акушерка цепко обняла бабу и вытолкнула ее из палаты.

— Готово! - сказал фельдшер.

Мы вошли в малую операционную, и я, как сквозь завесу, увидел блестящие инструменты, ослепительную лампу, клеенку.... В последний раз я вышел к матери, из рук в которой девочку еле вырвали. Я услышал лишь хриплый голос, который говорил: «Мужа нет. Он в городе. Придет, знает, что я наделала,- убьет меня!»

- Убьет, - повторила бабка, глядя на дочь в ужасе.

- В операционную их не пускать! – приказал я. Мы остались одни в операционной. Персонал, я и Лидка - девочка. Она голенькая, сидела на столе и беззвучно плакала. Ее повалили на стол, прижали, горло ее вымыли, смазали йодом, я взял нож; при этом подумал: «Что делаю?» Было очень тихо в операционной. Я взял нож и провел вертикальную черту по пухлому белому горлу. Не выступило ни одной капли крови. Я во второй раз провел ножом по белой полоске, которая выступила меж раздавленной кожей. Опять ни кровинки. Медленно, стараясь вспомнить какие-то рисунки в атласах, я стал при помощи тупого зонда разделять тоненькие ткани. И тогда внизу раны откуда-то хлынула темная кровь и мгновенно залила всю рану и потекла по шее. Фельдшер тампонами стал вытирать ее, но она не унималась. Вспоминая все, что я видел в университете, я пинцетами стал зажимать края раны, но ничего не выходило.

Мне стало холодно, и лоб мой намок. Я остро пожалел, зачем пошел на медицинский факультет, зачем попал в эту глушь. В злобном отчаянии я сунул пинцет наобум, куда-то близ раны, защелкнул его, и кровь тотчас перестала течь. Рану мы отсосали комками марли, она предстала передо мной чистой и абсолютно непонятной. Никакого дыхательного горла нигде не было. Ни на какой рисунок не походила моя рана. Еще прошло минуты две-три, во время которых я совершенно механически и бестолково ковырял в ране то ножом, то зондом, ища дыхательное горло. И к концу второй минуты я отчаялся его найти. «Конец, — подумал я, — зачем я это сделал? Ведь мог же я не предлагать операцию, и Лидка спокойно умерла бы у меня в палате, а теперь она умрет с разорванным горлом, и никогда, ничем я не докажу, что она все равно умерла бы, что я не мог повредить ей...» Акушерка молча вытерла мой лоб. «Положить нож, сказать: не знаю, что дальше делать», — так подумал я, и мне представились глаза матери. Я снова поднял нож и бессмысленно, глубоко и резко полоснул Лидку. Ткани разъехались, и неожиданно передо мной оказалось дыхательное горло.

— Крючки! — сипло бросил я.

Фельдшер подал их. Я вонзил один крючок с одной стороны, другой — с другой, и один из них передал фельдшеру. Теперь я видел только одно: сероватые колечки горла. Острый нож я вколочил в горло — и обмер. Горло поднялось из раны, фельдшер, как мелькнуло у меня в голове, сошел с ума: он стал вдруг выдирать его вон. Ахнули за спиной у меня обе акушерки. Я поднял глаза и понял, в чем дело: фельдшер, оказывается, стал падать в обморок от духоты и, не выпуская крючка, рвал дыхательное горло. «Всё против меня, судьба, — подумал я, — теперь уж, несомненно, зарезали мы Лидку, — и мысленно строго добавил: — Только дойду домой — и застрелюсь...» Тут старшая акушерка, видимо, очень опытная, как-то хищно рванулась к фельдшеру и перехватила у него крючок, причем сказала, стиснув зубы:

— Продолжайте, доктор... Фельдшер со стуком упал, ударился, но мы не глядели на него. Я вколочил нож в горло, затем серебряную трубку вложил в него. Она ловко вскользнула, но Лидка осталась недвижимой. Воздух не вошел к ней в горло, как это нужно было. Я глубоко вздохнул и остановился: больше делать мне было нечего. Мне хотелось у кого-то попросить прощения, покаяться в своем легкомыслии, в том, что я поступил на медицинский факультет. Стояло молчание. Я видел, как Лидка синела. Я хотел уже все бросить и заплакать, как вдруг Лидка дико содрогнулась, фонтаном выкинула дрянные сгустки сквозь трубку, и воздух со свистом вошел к ней в горло; потом девочка задышала и стала реветь. Фельдшер в это мгновение привстал, бледный и потный, тупо и в ужасе поглядел

на горло и стал помогать мне его зашивать.

Сквозь сон и пелену пота, застилавшую мне глаза, я видел счастливые лица акушеров, и одна из них мне сказала:

— Ну и блестяще же вы сделали, доктор, операцию.

Я подумал, что она смеется надо мной, и мрачно, исподлобья глянул на нее. Потом запахнулись двери, повеяло свежестью. Лидку вынесли в простыне, и сразу же в дверях показалась мать. Глаза у нее были как у дикого зверя. Она спросила у меня:

— Что?

Когда я услышал звук ее голоса, пот потек у меня по спине, я только тогда сообразил, что было бы, если бы Лидка умерла на столе. Но голосом очень спокойным я ей ответил:

— Будь поспокойнее. Жива. Будет, надеюсь, жива. Только, пока трубку не вынем, ни слова не будет говорить, так не бойтесь.

И тут бабка выросла из-под земли и перекрестилась на дверную ручку, на меня, на потолок. Но я уж не рассердился на нее. Повернулся, приказал Лидке впрыснуть камфару и по очереди дежурить возле нее. Затем ушел к себе через двор. Помню, синий свет горел у меня в кабинете, лежал Додерлайн, валялись книги. Я подошел к дивану одетый, лег на него и сейчас же перестал видеть что бы то ни было; заснул и даже снов не видел.

Прошел месяц, другой. Много я уже перевидал, и было уже кое-что страшнее Лидкиного горла. Я про него и забыл. Кругом был снег, прием увеличивался с каждым днем. И как-то, в новом уже году, вошла ко мне в приемную женщина и ввела за ручку закутанную, как тумбочка, девчонку. Женщина сияла глазами. Я всмотрелся — узнал.

— А, Лидка! Ну, что?

— Да хорошо все.

— Лидке распутали горло. Она дичилась и боялась, но все же мне удалось поднять подбородок и заглянуть. На розовой шее был коричневый вертикальный шрам и два тоненьких поперечных от швов. Все в порядке, — сказал я, — можете больше не приезжать.

— Благодарю вас, доктор, спасибо, — сказала мать, а Лидке велела: — Скажи дяденьке спасибо!

Но Лидка не желала мне ничего говорить.

Больше я никогда в жизни ее не видел. Я стал забывать ее. А прием мой все возрастал. Вот настал день, когда я принял сто десять человек. Мы начали в девять часов утра и кончили в восемь часов вечера. Я, пошатываясь, снимал халат. Старшая акушерка-фельдшерица сказала мне:

— За такой прием благодарите трахеотомию. Вы знаете, что в деревнях говорят? Будто вы больной Лидке вместо ее горла вставили стальное и зашили. Специально ездят в эту деревню глядеть на нее. Вот вам и слава, доктор, поздравляю.

— Так и живет со стальным? — осведомился я.

— Так и живет. Ну, а вы, доктор, молодец. И хладнокровно как делаете, прелесть!

— М-да... Я, знаете ли, никогда не волнуюсь, — сказал я неизвестно зачем, но почувствовал, что от усталости даже устыдиться не могу, только глаза отвел в сторону. Попрощался и ушел к себе. Крупный снег шел, все застилало, фонарь горел, и дом мой был одинок, спокоен и важен. И я, когда шел, хотел одного — спать.

1925

## Вьюга

То, как зверь, она завоет,  
То заплачет, как дитя.

Вся эта история началась с того, что, по словам всезнающей Аксиньи, конторщик Пальчиков, проживающий в Шалометьеве, влюбился в дочь агронома. Любовь была пла-

менная, иссушающая беднягино сердце. Он съездил в уездный город Грачевку и заказал себе костюм. Вышел этот костюм ослепительным, и очень возможно, что серые полосы на конторских штанах решили судьбу несчастного человека. Дочка агронома согласилась стать его женой.

Я же — врач N-ской больницы, участка, такой-то губернии, после того как отнял ногу у девушки, попавшей в мялку для льна, прославился настолько, что под тяжестью своей славы чуть не погиб. Ко мне на прием по накатанному санному пути стали ездить сто человек крестьян в день. Я перестал обедать. Арифметика — жестокая наука. Предположим, что на каждого из ста моих пациентов я тратил только по пять минут... пять! Пятьсот минут — восемь часов двадцать минут. Подряд, заметьте. И, кроме того, у меня было стационарное отделение на тридцать человек. И, кроме того, я ведь делал операции.

Одним словом, возвращаясь из больницы в девять часов вечера, я не хотел ни есть, ни пить, ни спать. Ничего не хотел, кроме того, чтобы никто не приехал звать меня на роды. И в течение двух недель по санному пути меня ночью увозили раз пять.

Темная влажность появилась у меня в глазах, а над переносицей легла вертикальная складка, как червяк. Ночью я видел в зыбком тумане неудачные операции, обнаженные ребра, а руки свои в человеческой крови и просыпался, липкий и прохладный, несмотря на жаркую печку-голландку.

На обходе я шел стремительной поступью, за мною мело фельдшера, фельдшерицу и двух сиделок. Останавливаясь у постели, на которой, тая в жару и жалобно дыша, болел человек, я выжимал из своего мозга все, что в нем было. Пальцы мои шарили по сухой, пылающей коже, я смотрел в зрачки, постукивал по ребрам, слушал, как таинственно бьет в глубине сердце, и нес в себе одну мысль — как его спасти? И этого — спасти. И этого! Всех!

Шел бой. Каждый день он начинался утром при бледном свете снега, а кончался при желтом мигании пылкой лампы-«молнии».

«Чем это кончится, мне интересно было бы знать? — говорил я сам себе ночью. — Ведь этак будут ездить на санях и в январе, и в феврале, и в марте».

Я написал в Грачевку и вежливо напомнил о том, что на N-ском участке полагается и второй врач. Письмо на дровнях уехало по ровному снежному океану за сорок верст. Через три дня пришел ответ: писали, что, конечно, конечно... Обязательно... но только не сейчас... никто пока не едет...

Заклучали письмо некоторые приятные отзывы о моей работе и пожелания дальнейших успехов.

Окрыленный ими, я стал тампонировать, впрыскивать дифтерийную сыворотку, вскрывать чудовищных размеров гнойники, накладывать гипсовые повязки...

Во вторник приехало не сто, а сто одиннадцать человек. Прием я кончил в девять часов вечера. Заснул я, стараясь угадать, сколько будет завтра — в среду? Мне приснилось, что приехало девятьсот человек.

Утро заглянуло в окошко спальни как-то особенно бело. Я открыл глаза, не понимая, что меня разбудило. Потом сообразил — стук.

— Доктор, — узнал голос акушерки Пелагеи Ивановны, — вы проснулись?

— Угу, — ответил я диким голосом спросонья.

— Я пришла вам сказать, чтоб вы не спешили в больницу. Два человека всего приехали.

— Вы — что. Шутите?

Честное слово. Вьюга, доктор, вьюга, — повторила она радостно в замочную скважину. — А у этих зубы кариозные. Демьян Лукич вырвет. — Да ну... — Я даже с постели соскочил неизвестно почему.

Замечательный выдался денек. Побывав на обходе, я целый день ходил по своим апартаментам (квартира врачу была отведена в шесть комнат, и почему-то двухэтажная —



три комнаты вверху, а кухня и три комнаты внизу), свистел из опер, курил, барабанил в окна... А за окнами творилось что-то, мною еще никогда не виданное. Неба не было, земли тоже. Вертело и крутило белым и косо и криво, вдоль и поперек, словно черт зубным порошком баловался.

В полдень отдан был мною Аксинье — исполняющей обязанности кухарки и уборщицы при докторской квартире — приказ: в трех ведрах и в котле вскипятить воды. Я месяц не мылся.

Мною с Аксиньей было из кладовки извлечено невероятных размеров корыто. Его установили на полу в кухне (о ваннах, конечно, и разговора в N-ске быть не могло. Были ванны только в самой больнице — и те испорченные).

Около двух часов дня вертящаяся сетка за окном значительно поредела, а я сидел в корыте голый и с намыленной головой.

— Эт-то я понимаю...— сладостно бормотал я, выплескивая себе на спину жгучую воду, — эт-то я понимаю! А потом мы, знаете ли, пообедаем, а потом заснем. А если я высплусь, то пусть завтра хоть полтора человека приезжает. Какие новости, Аксинья?

Аксинья сидела за дверью в ожидании, пока кончится банная операция.

— Конторщик в Шалометьевом имении женится, — отвечала Аксинья.

— Да ну! Согласилась?

— Ей-богу! Влюбле-ен...— пела Аксинья, погромыхая посудой.

— Невеста-то красивая?

— Первая красавица! Блондинка, тоненькая...

— Скажи, пожалуйста!

И в это время грохнуло в дверь. Я хмуро облил себя водой и стал прислушиваться.

— Доктор-то купается...— выпевала Аксинья.

— Бур... бур...— бурчал бас.

— Записка вам, доктор, — пискнула Аксинья в скважину.

— Протяни в дверь.

Я вылез из корыта, пожимаясь и негодуя на судьбу, и взял из рук Аксиньи сыроватый конвертик.

— Ну, дудки. Я не поеду из корыта. Я ведь тоже человек, — не очень уверенно сказал я себе и в корыте распечатал записку.

Уважаемый коллега (большой восклицательный знак). Умол (зачеркнуто) прошу убедительно приехать срочно. У женщины после удара головой кровотечение из полост (зачеркнуто) из носа и рта. Без сознания. Справиться не могу. Убедительно прошу. Лошади отличные. Пульс плох. Камфара есть. Доктор (подпись неразборчива).

«Мне в жизни не везет», — тоскливо подумал я, глядя на жаркие дрова в печке.

— Мужчина записку привез?

— Мужчина.

— Сюда пусть войдет.

Он вошел и показался мне древним римлянином вследствие блистательной каски, надетой поверх ушастой шапочки. Волчья шуба облекала его, и струйка холода ударила в меня.

— Почему вы в каске? — спросил я, прикрывая свое немытое тело простыней.

— Пожарный я из Шалометьева. Там у нас пожарная команда...— ответил римлянин.

— Это какой доктор пишет?

— В гости к нашему агроному приехал. Молодой врач. Несчастье у нас, вот уж несчастье...

— Какая женщина?

— Невеста конторщикова.

Аксинья за дверью охнула.

— Что случилось? (Слышно было, как тело Аксиньи прилипло к двери.)

— Вчера помолвка была, а после помолвки-то конторщик покатавать ее захотел в саночках. Рысачка запряг, усадил ее, да в ворота. А рысачок-то с места как взял, невесту-то мотнуло да лбом об косяк. Так она и вылетела. Такое несчастье, что выразить невозможно... За конторщиком ходят, чтоб не удавился. Обезумел.

— Купаюсь я, — жалобно сказал я, — ее сюда-то чего же не привезли? — И при этом я облил водой голову, и мыло ушло в корыто.

— Немыслимо, уважаемый гражданин доктор, прочувственно сказал пожарный, и руки молитвенно сложил, — никакой возможности. Помрет девушка.

— Как же мы поедем-то? Вьюга!

— Утихло. Что вы-с. Совершенно утихло. Лошади резвые, гуськом. В час долетим...

Я кротко простонал и вылез из корыта. Два ведра вылил на себя с остервенением. Потом, сидя на корточках перед пастью печки, голову засовывал в нее, чтобы хоть немного просушить.

«Воспаление легких у меня, конечно, получится. Крупозное, после такой поездки. И, главное, что я с нею буду делать? Этот врач, уж по записке видно, еще менее, чем я, опытен. Я ничего не знаю, только практически за полгода нахватался, а он и того менее. Видно, только что из университета. А меня принимает за опытного...»

Размышляя таким образом, я и не заметил, как оделся. Одевание было непростое: брюки и блуза, валенки, сверх блузы кожаная куртка, потом пальто, а сверху баранья шуба, шапка, сумка, в ней кофеин, камфара, морфий, адреналин, торзионные пинцеты, стерильный материал, шприц, зонд, браунинг, папиросы, спички, часы, стетоскоп.

Показалось вовсе не страшно, хоть и темнело, уже день таял, когда мы выехали за околицу. Мело как будто полегче. Косо, в одном направлении, в правую щеку. Пожарный горой заслонял от меня круп первой лошади. Взяли лошади действительно бодро, вытянулись, и саночки пошли метать по ухабам. Я завалился в них, сразу согрелся, подумал о крупозном воспалении, о том, что у девушки, может быть, треснула кость черепа изнутри, осколок в мозг вонзился...

— Пожарные лошади? — спросил я сквозь бараний воротник.

— Угу... гу... — пробурчал возница, не оборачиваясь.

— А доктор что ей делал?

— Да он... гу, гу... он, вишь ты, на венерические болезни выучился... угу... гу...

— Гу... гу... — загремела в перелеске вьюга, потом свистнула сбоку, сыпнула... Меня начало качать, качало, качало... пока я не оказался в Сандуновских банях в Москве. И прямо в шубе, в раздевальне, и испарина покрыла меня. Затем загорелся факел, напустили холоду, я открыл глаза, увидел, что сияет кровавый шлем, подумал, что пожар... затем очнулся и понял, что меня привезли. Я у порога белого здания с колоннами, видимо, времен Николая I. Глубокая тьма кругом, а встретили меня пожарные, и пламя танцует у них над головами. Тут же я извлек из щели шубы часы, увидел - пять. Ехали мы, стало быть, не час, а два с половиной.

— Лошадей мне сейчас же обратно дайте, — сказал я.

— Слушаю, — ответил возница.

Полусонный и мокрый, как в компрессе, под кожаной курткой, я вошел в сени. Сбоку ударил свет лампы, полоса легла на крашенный пол. И тут выбежал юный светловолосый человек с затравленными глазами и в брюках со свежезаутюженной складкой. Белый галстук с черными горошинами сбился у него на сторону, манишка выскочила горбом, но пиджак был с иголки, новый, как бы с металлическими складками.

Человек взмахнул руками, вцепился в мою шубу и потряс меня, прильнул и стал тихонько выкрикивать:

— Голубчик мой... доктор... скорее... умирает она. Я убийца. — Он глянул куда-то

вбок, сурово и черно раскрыл глаза, кому-то сказал: — Убийца я, вот что.

Потом зарыдал, схватился за жиденькие волосы, рванул, и я увидел, что он настоящему рвет пряди, наматывая на пальцы.

— Перестаньте, — сказал я ему и стиснул руку. Кто-то повлек его. Выбежали какие-то женщины.»

Шубу кто-то с меня снял, повели по праздничными половичкам и привели к белой кровати. Навстречу мне поднялся со стула молоденький врач. Глаза его были замучены и растерянны. На миг, в них мелькнуло удивление, что я так же молод, как и он сам. Вообще мы были похожи на два портрета одного и того же лица, да и одного года. Но потом он обрадовался мне до того, что даже захлебнулся.

— Как я рад... коллега... вот... видите ли, пульс падает. Я, собственно, венеролог. Страшно рад, что вы приехали...

На клоке марли, на столе лежал шприц и несколько ампул с желтым маслом. Плач конторщика донесся из-за двери, дверь прикрыли, фигура женщины в белом выросла у меня за плечами. В спальне был полумрак, лампу сбоку завесили зеленым клоком. В зеленоватой тени лежало на подушке лицо бумажного цвета. Светлые волосы прядями обвисли и разметались. Нос заострился, и ноздри были забиты розоватой от крови ватой.

— Пульс... — шепнул мне врач.

Я взял безжизненную руку, привычным уже жестом наложил пальцы и вздрогнул. Под пальцами задрожало мелко, часто, потом стало срываться, тянуться в нитку. У меня похолодело привычно под ложечкой, как всегда, когда я в упор видел смерть. Я ее ненавижу. Я успел обломать конец ампулы и насосать в свой шприц жирное масло. Но вколоч его уже машинально, протолкнул под кожу девичьей руки напрасно.

Нижняя челюсть девушки задергалась, она, словно давилась, потом обвисла, тело наляглось под одеялом, как бы замерло, потом ослабело. И последняя нитка пропала у меня под пальцами.

— Умерла, — сказал я на ухо врачу.

Белая фигура с седыми волосами повалилась на ровное одеяло, припала и затряслась.

— Тише, тише, — сказал я на ухо этой женщине в белом, а врач страдальчески покосился на дверь.

— Он меня замучил, — очень тихо сказал врач.

Мы с ним сделали так: плачущую мать оставили в спальне, никому ничего не сказали, увели конторщика в дальнюю комнату. Там я ему сказал:

— Если вы не дадите себе впрыснуть лекарство, мы ничего не можем делать. Вы нас мучаете, работать мешаете!

Тогда он согласился; тихо плача, снял пиджак, мы откатали рукав его праздничной жениховской сорочки и впрыснули ему морфий. Врач ушел к умершей, якобы ей помогать, а я задержался возле конторщика. Морфий помог быстрее, чем я ожидал. Конторщик через четверть часа, все тише и бессвязнее жалуясь и плача, стал дремать, потом заплаканное лицо уложил на руки и заснул. Возни, плача, шуршания и заглушённых воплей он не слышал.

— Послушайте, коллега, ехать опасно. Вы можете заблудиться, — говорил мне врач шепотом в передней. — Оставайтесь, переночуйте...

— Нет, не могу. Во что бы то ни стало, уеду. Мне обещали, что меня сейчас же обратно доставят.

— Да они-то доставят, только смотрите...

— У меня трое тифозных таких, что бросить нельзя. Я их ночью должен видеть.

— Ну, смотрите...

Он разбавил спирт водой, дал мне выпить, и я тут же в передней съел кусок ветчины. В животе потеплело, и тоска на сердце немного съезжилась. Я в последний раз пришел в спальню, поглядел на мертвую, зашел к конторщику, оставил ампулу морфия врачу и закутанный, ушел на крыльцо.

Там свистело, лошади понурились, их секло снегом. Факел метался.

— Дорогу-то вы знаете? — спросил я, кутая рот.

— Дорогу-то знаем, — очень печально ответил возница (шлема на нем уже не было), — а остаться бы вам переночевать...

Даже по ушам его шапки было видно, что он до смерти не хочет ехать.

— Надо остаться, — прибавил и второй, держащий разъяренный факел, — в поле нехорошо-с.

— Двенадцать верст... — угрюмо забурчал я, — доедем. У меня тяжелые больные... — И полез в санки.

Каюсь, я не добавил, что одна мысль остаться во флигеле, где беда, где я бессилен и бесполезен, казалась мне невыносимой.

Возница безнадежно плюхнулся на облучок, выровнялся, качнулся, и мы проскочили в ворота. Факел исчез, как провалился, или же потух. Однако через минуту меня заинтересовало другое. С трудом, обернувшись, я увидел, что не только факела нет, но Шалометьево пропало со всеми строениями, как во сне. Меня это неприятно кольнуло.

— Однако это здорово... — не то подумал, не то забормотал я. Нос на минуту высунул и опять спрятал, до того нехорошо было. Весь мир свился в клубок, и его трепало во все стороны.

Проскочила мысль — а не вернуться ли? Но я ее отогнал, завалился поглубже в сено на дно саней, как в лодку, съежился, глаза закрыл. Тотчас выплыл зеленый лоскут на лампе и белое лицо. Голову вдруг осветило: «Это перелом основания черепа... Да, да, да... Ага-га... именно так!» Загорелась уверенность, что это правильный диагноз. Осенило. Ну, а к чему? Теперь не к чему, да и раньше не к чему было. Что с ним сделаешь! Какая ужасная судьба! Как нелепо и страшно жить на свете! Что теперь будет в доме агронома? Даже подумать тошно и тоскливо! Потом себя стало жаль: жизнь моя, какая трудная. Люди сейчас спят, печки натоплены, а я опять и вымыться не мог. Несет меня вьюга, как листок. Ну вот, я домой приеду, а меня, чего доброго, опять повезут куда-нибудь. Вот воспаление легких схвачу, и сам помру здесь... Так, разжалобив самого себя, я и провалился в тьму, но сколько времени в ней пробыл, не знаю. Ни в какие бани я не попал, а стало мне холодно. И все холоднее и холоднее.

Когда я открыл глаза, увидел черную спину, а потом уже сообразил, что мы не едем, а стоим.

— Приехали? — спросил я, мутно тараща глаза.

Черный возница тоскливо шевельнулся, вдруг слез, мне показалось, что его вертит во все стороны... и заговорил без всякой почтительности:

— Приехали... Людей-то нужно было послушать... Ведь что же это такое! И себя погубим и лошадей...

— Неужели дорогу потеряли? — У меня похолодела спина.

— Какая тут дорога, — отозвался возница расстроенным голосом — нам теперь весь белый свет — дорога. Пропали ни за грош... Четыре часа едем, а куда... Ведь это что делается...

Четыре часа. Я стал копошиться, нащупал часы, вынул спички. Зачем? Это было ни к чему, ни одна спичка не дала вспышки. Чиркнешь, сверкнет — и мгновенно огонь слизнет.

— Говорю, часа четыре, — похоронно молвил возница, — что теперь делать?

— Где же мы теперь?

Вопрос был настолько глуп, что возница не счел нужным на него отвечать. Он поворачивался в разные стороны, но мне временами казалось, что он стоит неподвижно, а меня в санях вертит. Я выкарабкался и сразу узнал, что снегу мне до колена у полоза. Задняя лошадь завязла по брюху в сугробе. Грива ее свисала, как у простоволосой женщины.

— Сами стали?

— Сами. Замучились животные...

Я вдруг вспомнил кой-какие рассказы и почему-то почувствовал злобу на Льва Толстого. «Ему хорошо было в Ясной Поляне, — думал я, — его, небось, не возили к умирающим...»

Пожарного и меня мне стало жаль. Потом я опять пережил вспышку дикого страха. Но задавил его в груди.

— Это — малодушие...— пробормотал я сквозь зубы.

И бурная энергия возникла во мне.

— Вот что, дядя, — заговорил я, чувствуя, что у меня стыннут зубы, — унынию тут предаваться нельзя, а то мы действительно пропадем к чертям. Они немножко постояли, отдохнули, надо дальше двигаться. Вы идите, берите переднюю, лошадь под уздцы, а я буду править. Надо вылезать, а то нас заметет.

Уши шапки выглядели отчаянно, но все же возница полез вперед. Ковыляя и проваливаясь, он добрался до первой лошади. Наш выезд показался мне бесконечно длинным. Фигуру возницы размыло в глазах, в глаза мне мело сухим вьюжным снегом.

— Но-о,— застонал возница.

— Но! Но! — закричал я, захлопав вожжами.

Лошади тронулись помаленьку, пошли месить. Сани качало, как на волне. Возница то вырастал, то уменьшался, выбирался вперед.

Четверть часа приблизительно мы двигались так, пока, наконец, я не почувствовал, что сани закрипели как будто ровней. Радость хлынула в меня, когда я увидел, как замелькали задние копыта лошади.

— Мелко, дорога! — закричал я.

— Го... го...— отозвался возница. Он приковывал ко мне и сразу вырос.

— Кажись, дорога, — радостно, даже с трелью в голосе отозвался пожарный. — Лишь бы опять не сбиться... Авось...

Мы поменялись местами. Лошади пошли бодрее. Вьюга точно сжималась, стала ослабевать, как мне показалось. Но вверху и по сторонам ничего не было, кроме мути. Я уж не надеялся приехать именно в больницу. Мне хотелось приехать куда-нибудь. Ведь ведет же дорога к жилью.

Лошади вдруг дернули и заработали ногами оживленнее. Я обрадовался, не зная еще причины этого.

— Жилье, может, почувствовали? — спросил я.

Возница мне не ответил. Я приподнялся в санях, стал всматриваться. Странный звук, тоскливый и злобный, возник где-то во мгле, но быстро потух. Почему-то неприятно мне стало, и вспомнился конторщик и как он тонко скулил, положив голову на руки. По правой руке я вдруг различил темную точку, она выросла в черную кошку, потом еще подросла и приблизилась. Пожарный вдруг обернулся ко мне, причем я увидел, что челюсть у него прыгает, и спросил:

— Видели, гражданин доктор?..

Одна лошадь метнулась вправо, другая влево, пожарный навалился на секунду мне на колени, охнул, выправился, стал опираться, рвать вожжи. Лошади всхрапнули и понесли. Они взметывали комьями снег, швыряли его, шли неровно, дрожали.

И у меня прошла дрожь несколько раз по телу. Оправясь, я залез за пазуху, вынул браунинг и проклял себя за то, что забыл дома вторую обойму. Нет, если уж я не остался ночевать, то факел почему я не взял с собой?! Мысленно я увидел короткое сообщение в газете о себе и злосчастном пожаре.

Кошка выросла в собаку и покатила невдалеке от саней. Я обернулся и увидел совсем близко за санями вторую четвероногую тварь. Могу поклясться, что у нее были острые уши, и шла она за санями легко, как по паркету. Что-то грозное и наглое было в ее стремлении. «Стая или их только две?» — думалось мне, и при слове «стая» варом облило

меня, под шубой и пальцы на ногах перестали стыть.

— Держись крепче и лошадей придерживай, я сейчас выстрелю, — выговорил я голосом, но не своим, а неизвестным мне.

Возница только охнул в ответ и голову втянул в плечи. Мне сверкнуло в глаза и оглушительно ударило. Потом второй раз и третий раз. Не помню, сколько минут трепало меня на дне саней. Я слышал дикий, визгливый храп лошадей, сжимал браунинг, головой ударился обо что-то, старался вынырнуть из сена и в смертельном страхе думал, что у меня на груди вдруг окажется громадное жилистое тело. Видел уже мысленно свои рваные кишки...

В это время возница завыл:

— Ого... го... вон он... вон... господи, выноси, вы носи...

Я наконец справился с тяжелой овчиной, выпростал руки, поднялся. Ни сзади, ни с боков не было черных зверей. Мело очень редко и прилично, и в редкой пелене мерцал очаровательнейший глаз, который я бы узнал из тысячи, который узнаю и теперь, — мерцал фонарь моей больницы. Темное громоздилось сзади него. «Куда красивее дворца...» — помыслил я и вдруг в экстазе еще два раза выпустил пули из браунинга назад, туда, где пропали волки.

\*

Пожарный стоял посредине лестницы, ведущей из нижнего отдела замечательной врачебной квартиры, я — наверху этой лестницы, Аксинья в тулупе - внизу.

— Озолотите меня, — заговорил возница, — чтоб я в другой раз... — Он не договорил, залпом выпил разведенный спирт и крикнул страшно, обернулся к Аксинье и прибавил, растопырив руки, сколько позволяло его устройство: - Во величиной...

— Померла? Не отстояли? — спросила Аксинья у меня.

— Померла, — ответил я равнодушно.

Через четверть часа стихло. Внизу потух свет. Я остался наверху один. Почему-то судорожно усмехнулся, расстегнул пуговицы на блузе, потом их застегнул, пошел к книжной полке, вынул том хирургии, хотел посмотреть что-то о переломах основания черепа, бросил книгу.

Когда разделся и влез под одеяло, дрожь поколотила меня с полминуты, затем отпустила, и тепло пошло по всему телу.

— Озолотите меня, — задремывая, пробурчал я, — но больше я не по...

— Поедешь... ан, поедешь... — насмешливо засвистала вьюга. Она с громом проехала по крыше, потом запела в трубе, вылетела из нее, прошуршала за окном, пропала.

— Поедете... По-е-де-те... — стучали часы, но глуше, глуше...

И ничего. Тишина. Сон.

1926

## Тьма египетская

Где же весь мир в день моего рождения? Где электрические фонари Москвы? Люди? Небо? За окошками нет ничего! Тьма...

Мы отрезаны от людей. Первые керосиновые фонари от нас в девяти верстах на станции железной дороги. Мигает там, наверное, фонарик, издыхает от метели. Пройдет в полночь с воем скорый в Москву и даже не остановится — не нужна ему забытая станция, погребенная в буране. Разве что занесет пути. Первые электрические фонари в сорока верстах, в уездном городе. Там сладостная жизнь. Кинематограф есть, магазины. В то время

как воеет и валит снег на полях, на экране, возможно, плывет тростник, качаются пальмы, мигает тропический остров...

Мы же одни.

— Тьма египетская, — заметил фельдшер Демьян Лукич, приподняв штору.

Выражается он торжественно, но очень метко. Именно — египетская.

— Прошу еще по рюмке, — пригласил я. (Ах, не осуждайте! Ведь врач, фельдшер, две акушерки, ведь мы тоже люди! Мы не видим целыми месяцами никого, кроме сотен больных. Мы работаем, мы погребены в снегу. Неужели же нельзя нам выпить по две рюмки разведенного спирту по рецепту и закусить уездными шпротами в день рождения врача?)

За ваше здоровье, доктор! — прочувственно сказал Демьян Лукич. — Желаем вам привыкнуть у нас! — сказала Анна Николаевна и, чокаясь, поправила парадное свое платье с разводами.

Вторая акушерка Пелагея Ивановна чокнулась, хлебнула, сейчас же присела на корточки и кочергой пошевелила в печке. Жаркий блеск метнулся по нашим лицам, в груди теплело от водки.

— Я решительно не постигаю, — заговорил я возбужденно и, глядя на тучу искр, взметнувшихся под кочергой, — что эта баба сделала с белладонной. Ведь это же кошмар!

Улыбки заиграли на лицах фельдшера и акушерок.

Дело было вот в чем. Сегодня на утреннем приеме в кабинет ко мне протиснулась румяная бабочка лет тридцати. Она поклонилась акушерскому креслу, стоящему за моей спиной, затем из-за пазухи достала широкогорлый флакон и запела льстиво:

— Спасибо вам, гражданин доктор, за капли. Уж так помогли, так помогли!.. Пожалуйста еще баночку.

Я взял у нее из рук флакон, глянул на этикетку, и в глазах у меня позеленело. На этикетке было написано размашистым почерком Демьяна Лукича. «Tinct. Belladonn...» и т. д. «16 декабря 1917 года».

Другими словами, вчера я выписал бабочке порядочную порцию белладонны, а сегодня, в день моего рождения, 17 декабря, бабочка приехала с сухим флаконом и с просьбой повторить.

— Ты... ты... все приняла вчера? — спросил я диким голосом.

— Все, батюшка милый, все, — пела бабочка сдобным голосом, — дай вам бог здоровья за эти капли... полбаночки — как приехала, а полбаночки — как спать ложиться. Как рукой сняло...

Я прислонился к акушерскому креслу.

— Я тебе, по сколько капель говорил? — задушенным голосом заговорил я. — Я тебе по пять капель... Что ж ты делаешь, бабочка? Ты ж... я ж...

— Ей-богу, приняла! — говорила баба, думая, что я не доверяю ей, будто она лечилась моей белладонной.

Я охватил руками румяные щеки и стал всматриваться в зрачки. Но зрачки были как зрачки. Довольно красивые, совершенно нормальные. Пульс у бабы был тоже прелестный. Вообще никаких признаков отравления белладонной у бабы не замечалось.

— Этого не может быть!.. — заговорил я и завопил: — Демьян Лукич!!!

Демьян Лукич в белом халате вынырнул из аптечного коридора.

— Полюбуйтесь, Демьян Лукич, что эта красавица сделала! Я ничего не понимаю...

Баба испуганно вертела головой, поняв, что в чем-то она провинилась.

Демьян Лукич завладел флаконом, понюхал его, повертел в руках и строго молвил:

— Ты, милая, врешь. Ты лекарство не принимала!

— Ей-бо... — начала баба.

— Бабочка, ты нам очков не втирай, — сурово, искривив рот, говорил Демьян Лукич,

— мы все досконально понимаем. Сознаться, кого лечила этими каплями?

Баба возвела свои нормальные зрачки на чисто выбеленный потолок и перекрестилась.

— Вот чтоб мне...

— Брось, брось... — бубнил Демьян Лукич и обратился ко мне:

— Они, доктор, ведь как делают. Съездит такая артистка в больницу, выпишут ей лекарство, а она приедет в деревню и всех баб угостит.

— Что вы, гражданин фершал...

— Брось! — отрезал фельдшер. — Я у вас восьмой год. Знаю. Конечно, раскапала весь флакончик по всем дворам, — продолжал он мне.

— Еще этих капелек дайте, — умильно попросила баба.

— Ну, нет, бабочка, — ответил я и вытер пот со лба, — этими каплями больше тебе лечиться не придется. Живот полегчал?

— Прямо-таки, ну, рукой сняло!..

— Ну, вот и превосходно. Я тебе других выпишу, тоже очень хорошие.

И я выписал бабочке валерьянки, и она, разочарованная, уехала.

Вот об этом случае мы и толковали у меня в докторской квартире в день моего рождения, когда за окнами висела тяжким занавесом метельная египетская тьма.

— Это что, — говорил Демьян Лукич, деликатно прожевывая рыбку в масле, — это что: мы-то привыкли уже здесь. А вам, дорогой доктор, после университета, после столицы, весьма и весьма придется привыкать. Глушь!

— Ах, какая глушь! — как эхо, отозвалась Анна Николаевна.

Метель загудела где-то в дымоходах, прошелестела за стеной. Багровый отсвет лег на темный железный лист у печки. Благословение огню, согревающему медперсонал в глуши!

— Про вашего предшественника Леопольда Леопольдовича изволили слышать? — заговорил фельдшер и, деликатно угостив папироской Анну Николаевну, закурил сам.

— Замечательный доктор был! — восторженно молвила Пелагея Ивана, блестящими глазами всматриваясь в благодный огонь. Праздничный гребень с фальшивыми камушками вспыхивал и погасал у нее в черных волосах.

— Да, личность выдающаяся, — подтвердил фельдшер. — Крестьяне его прямо обожали. Подход знал к ним. На операцию ложиться к Липонтию — пожалуйста! Они его вместо Леопольд Леопольдович Липонтий Липонтьевичем звали. Верили ему. Ну, и разговаривать с ними умел. Нуте-с, приезжает к нему как-то приятель его, Федор Косой из Дульцева, на прием. Так и так, говорит, Липонтий Липонтьич, заложило мне грудь, ну, не продохнуть. И, кроме того, как будто в глотке царапает...

— Ларингит, — машинально молвил я, привыкнув уже за месяц бешеной гонки к деревенским молниеносным диагнозам.

— Совершенно верно. «Ну, — говорит Липонтий, — я тебе дам средство. Будешь ты здоров через два дня. Вот тебе французские горчичники. Один налепишь на спину между крыл, другой — на грудь. Поддержишь десять минут, сымешь. Марш! Действуй!» Забрал тот горчичники и уехал. Через два дня появляется на приеме.

«В чем дело?» — спрашивает Липонтий. А Косой ему:

«Да что ж, говорит, Липонтий Липонтьич, не помогают ваши горчичники ничего».

«Врешь! — отвечает Липонтий. — Не могут французские горчичники не помочь! Ты их, наверное, не ставил?»

«Как же, говорит, не ставил? И сейчас стоит...»

И при этом поворачивается спиной, а у него горчичник на тулупе наклеен!..

Я расхохотался, а Пелагея Ивана захихикала и ожесточенно застучала кочергой по полену.

— Воля ваша, это — анекдот, — сказал я, — не может быть!



— Анекдот?! Анекдот?! — вперевод воскликнули акушерки.

— Нет-с! — ожесточенно воскликнул фельдшер.

— У нас, знаете ли, вся жизнь из подобных анекдотов состоит... У нас тут такие вещи...

— А сахар?! — воскликнула Анна Николаевна. — Расскажите про сахар, Пелагея Иванна!

Пелагея Иванна прикрыла заслонку и заговорила, потупившись:

— Приезжаю я в то же Дульцево к роженице...

— Это Дульцево — знаменитое место, — не удержался фельдшер и добавил: — Виноват! Продолжайте, коллега!

— Ну, понятное дело, исследую, — продолжала коллега Пелагея Иванна, — чувствую под пальцами и родовом канале что-то непонятное... То рассыпчатое, то кусочки... Оказывается - сахар-рафинад!

— Вот и анекдот! — торжественно заметил Демьян Лукич.

— Позвольте... ничего не понимаю...

— Бабка! — отозвалась Пелагея Иванна. — Знахарка научила. Роды, говорит, у ей трудные. Младенчик не хочет выходить на божий свет. Стало быть, нужно его выманить. Вот они, значит, его на сладкое и выманивали!

— Ужас! — сказал я.

— Волосы дают жевать роженицам, — сказала Анна Николаевна.

— Зачем?!

— Шут их знает. Раза три привозили нам рожениц. Лежит и плюется бедная женщина. Весь рот полон щетины. Примета есть такая, будто роды легче пойдут... Глаза у акушера засверкали от воспоминаний. Мы долго у огня сидели за чаем, и я слушал как зачарованный. О том, что, когда приходится везти роженицу из деревни к нам в больницу, Пелагея Иванна свои сани всегда сзади пускает: не передумали бы по дороге, не вернули бы бабу в руки бабки. О том, как однажды роженицу при неправильном положении, чтобы младенчик повернулся, кверху ногами к потолку подвешивали. О том, как бабка из Коробова, наслышавшись, что врачи делают прокол плодного пузыря, столовым ножом изрезала всю голову младенцу, так что даже такой знаменитый и ловкий человек, как Липонтий, не мог его спасти, и хорошо, что хоть мать спас. О том...

Печку давно закрыли. Гости мои ушли в свой флигель. Я видел, как некоторое время тускло святилось оконце у Анны Николаевны, потом погасло. Все скрылось. К метели примешался густейший декабрьский вечер, и черная завеса скрыла от меня и небо и землю.

Я расхаживал у себя по кабинету, и пол поскрипывал под ногами, и было тепло от голландки-печки, и слышно было, как грызла где-то деловитая мышь.

«Ну, нет, — раздумывал я, — я буду бороться с египетской тьмой ровно столько, сколько судьба продержит меня здесь в глуши. Сахар-рафинад... Скажите, пожалуйста!..»

В мечтаниях, рождавшихся при свете лампы под зеленым колпаком, возник громадный университетский город, а в нем клиника, а в клинике — громадный зал, изразцовый пол, блестящие краны, белые стерильные простыни, ассистент с остроконечной, очень мудрой, седеющей бородкой...

Стук в такие моменты всегда волнует, страшит.

Я вздрогнул...

— Кто там, Аксинья? — спросил я, свешиваясь с балюстрады внутренней лестницы (квартира у врача была в двух этажах: вверху — кабинет и спальни, внизу — столовая, еще одна комната — неизвестного назначения и кухня, в которой и помещалась эта Аксинья — кухарка — и муж ее, бессменный сторож больницы).

Загремел тяжелый запор, свет лампочки заходил и закачался внизу, повеяло холодом.

Потом Аксинья доложила:

— Да больной приехал...

Я, сказать по правде, обрадовался. Спать мне еще не хотелось, а от мышинной грызни и воспоминаний стало немного тоскливо, одиноко. Притом больной, значит, не женщина, значит, не самое страшное — не роды.

— Ходит он?

— Ходит, — зевая, ответила Аксиныя.

— Ну, пусть идет в кабинет.

Лестница долго скрипела. Поднимался кто-то солидный, большого веса человек. Я в это время уже сидел за письменным столом, стараясь, чтобы двадцатичетырехлетняя моя живость не выскакивала по возможности из профессиональной оболочки эскулапа. Правая моя рука лежала на стетоскопе, как на револьвере.

В дверь втиснулась фигура в бараньей шубе, валенках. Шапка находилась в руках у фигуры.

— Чего же это вы, батюшка, так поздно? — солидно спросил я для очистки совести.

— Извините, гражданин доктор, — приятным, мягким басом отозвалась фигура, — метель - чистое горе! Ну, задержались, что поделаешь, уж простите, пожалуйста!

«Вежливый человек», — с удовольствием подумал я. Фигура мне очень понравилась, и даже рыжая густая борода произвела хорошее впечатление. Видимо, борода эта пользовалась некоторым уходом. Владелец ее не только подстригал, но даже и смазывал каким-то веществом, в котором врачу, пробывшему в деревне хотя бы короткий срок, нетрудно угадать постное масло.

— В чем дело? Снимите шубу. Откуда вы?

Шуба легла горой на стул.

— Лихорадка замучила, — ответил больной и скорбно глянул.

— Лихорадка? Ага! Вы из Дульцева?

— Так точно. Мельник.

— Ну, как же она вас мучает? Расскажите!

— Каждый день, как двенадцать часов, голова начинает болеть, потом жар как пойдет... Часа два потреплет и отпустит.

«Готов диагноз!» — победно звякнуло у меня в голове.

— А в остальные часы ничего?

— Ноги слабые...

— Ага... Расстегнитесь! Гм... так.

К концу осмотра больной меня очаровал. После бестолковых старушек, испуганных подростков, с ужасом шарахающихся от металлического шпателя, после этой утренней штуки с белладонной на мельнике отдыхал мой университетский глаз.

Речь мельника была толкова. Кроме того, он оказался грамотным, и даже всякий жест его был пропитан уважением к науке, которую я считаю своей любимой, — к медицине.

— Вот что, голубчик, — говорил я, постукивая по теплой широчайшей груди, — у вас малярия. Перемежающаяся лихорадка... У меня сейчас целая палата свободна. Очень советую лечиться ко мне. Мы вас как следует понаблюдаем. Начну вас лечить порошками, а если не поможет, мы вам впрыскивания сделаем. Добьемся успеха. А? Ложитесь?..

— Покорнейше вас благодарю! — очень вежливо ответил мельник. — Наслышаны об вас. Все довольны. Говорят, так помогаете... И на впрыскивания согласен, лишь бы поправиться.

«Нет, это поистине светлый луч во тьме!» — подумал я и сел писать за стол. Чувство у меня при этом было настолько приятное, будто не посторонний мельник, а родной брат приехал ко мне погостить в больницу.

На одном бланке я написал:

«Chinini mur. 0,5

D.T. dos. N 10

S. Мельнику Худову  
по 1 порошку в полночь».

И поставил лихую подпись.

А на другом бланке:

«Пелагея Ивановна! Примите во 2-ю палату мельника. У него malaria. Хинин по одному порошку, как полагается, часа за 4 до припадка, значит, в полночь!

Вот вам исключение! Интеллигентный мельник!»

Уже лежа в постели, я получил из рук хмурой и зевающей Аксиньи ответную записку:

«Дорогой доктор! Все исполнила. Пел. Лбова». И заснул.

...И проснулся.

— Что ты? Что? Что, Аксинья?! — забормотал я.

Аксинья стояла, стыдливо прикрываясь юбкой с белым горошком по темному полю. Стеариновая свеча трепетно освещала ее заспанное и встревоженное лицо.

— Марья сейчас прибежала, Пелагея Иванна велела, чтоб вас сейчас же позвать.

— Что такое?

— Мельник, говорит, во второй палате помирает.

— Что-о?! Помирает? Как это так помирает?!

— Босые мои ноги мгновенно ощутили прохладный пол, не попадая в туфли. Я ломал спички и долго тыкал в горелку, пока она не зажглась синеватым огоньком. На часах было ровно шесть.

«Что такое?.. Что такое? Да неужели же не малярия?! Что же с ним такое? Пульс прекрасный...»

Не позже чем через пять минут я, в надетых наизнанку носках, в незастегнутом пиджаке, взъерошенный, в валенках, проскочил через двор, еще совершенно темный, и вбежал во вторую палату.

На раскрытой постели, рядом со скомканной простыней, в одном больничном белье сидел мельник. Его освещала маленькая керосиновая лампочка. Рыжая его борода была взъерошена, а глаза мне показались черными и огромными. Он покачивался, как пьяный. С ужасом осматривался, тяжело дышал...

Сиделка Марья, открыв рот, смотрела на его темно-багровое лицо.

Пелагея Ивановна, в криво надетом халате, простоволосая, метнулась навстречу мне.

— Доктор! — воскликнула она хрипловатым голосом.— Клянусь вам, я не виновата! Кто же мог ожидать? Вы же сами черкнули — интеллигентный...

— В чем дело?!

Пелагея Ивановна всплеснула руками и молвила:

— Вообразите, доктор! Он все десять порошков хинину съел сразу! В полночь.

\*

Был мутноватый зимний рассвет. Демьян Лукич убирал желудочный зонд. Пахло камфарным маслом. Газ на полу был полон буроватой жидкостью. Мельник лежал истощенный, побледневший, до подбородка укрытый белой простыней. Рыжая борода торчала дыбом. Я, наклонившись, пощупал пульс и убедился, что мельник выскочил благополучно.

— Ну, как? — спросил я.

— Тьма египетская в глазах... О... ох... — слабым басом отозвался мельник.

— У меня тоже! — раздраженно ответил я.

— Ась? — отозвался мельник (слышал он еще плохо).

— Объясни мне только одно, дядя: зачем ты это сделал?! - в ухо погромче крикнул я.

И мрачный и неприязненный бас отозвался:

— Да, думаю, что валандаться с вами по одному порошочку? Сразу принял — и делу

конец.

— Это чудовищно! — воскликнул я.

— Анекдот-с! — как бы в язвительном забытьи отозвался фельдшер.

\*

«Ну, нет... я буду бороться. Я буду... Я...» И сладкий сон после трудной ночи охватил меня. Потянулась пеленою тьма египетская... и в ней будто бы я... не то с мечом, не то со стетоскопом. Иду... борюсь... В глуши. Но не один. А идет моя рать: Демьян Лукич, Анна Николаевна, Пелагея Иванна. Все в белых халатах, и всё вперед, вперед...

Сон — хорошая штука!..

1926

## Пропавший глаз

Итак, прошел год. Ровно год, как я подъехал к этому самому дому. И так же, как сейчас, за окнами висела пелена дождя, и так же тоскливо никли желтые последние листья на березах. Ничто не изменилось, казалось бы, вокруг. Но я сам сильно изменился. Буду же в полном одиночестве праздновать вечер воспоминаний...

И по скрипящему полу я прошел в свою спальню и поглядел в зеркало. Да, разница велика. Год назад в зеркале, вынутом из чемодана, отразилось бритое лицо. Косой пробор украшал тогда двадцатитрехлетнюю голову. Ныне пробор исчез. Волосы были закинута назад без особых претензий. Пробором никого не прельстишь в тридцати верстах от железного пути. То же и относительно бритья. Пал верхней губой прочно утвердилась полоска, похожая на жесткую пожелтевшую зубную щеточку, щеки стали как терка, так что приятно, если зачешется предплечье во время работы, почесать его щекой. Всегда так бывает, ежели бриться не три раза в неделю, а только один раз.

Вот читал я как-то, где-то... где — забыл... об одном англичанине, попавшем на необитаемый остров. Интересный был англичанин. Досиделся он на острове даже до галлюцинаций. И когда подошел корабль к острову, и лодка выбросила людей-спасителей, он — отшельник — встретил их револьверной стрельбой, приняв за мираж, обман пустого водяного поля. Но он был выбрит. Брился каждый день на необитаемом острове. Помнится, громаднейшее уважение вызвал во мне этот гордый сын Британии. И когда я ехал сюда, в чемодане у меня лежала и безопасная «Жиллет», а к ней дюжина клинков, и опасная, и кисточка. И твердо решил я, что буду бриться через день, потому что у меня здесь ничем не хуже необитаемого острова.

Но вот однажды, это было в светлом апреле, я разложил все эти английские прелести в косом золотистом луче и только что отделал до глянца правую щеку, как ворвался, топоча, как лошадь, Егорыч в рваных сапожищах и доложил, что роды происходят в кустах у Заповедника над речушкой. Помнится, я полотенцем вытер левую щеку и выметнулся вместе с Егорычем. И бежали мы втроем к речке, мутной и вздувшейся среди оголенных куп лозняка, — акушерка с торзионным пинцетом и свертком марли и банкой с йодом, я с дикими, выпученными глазами, а сзади — Егорыч. Он через каждые пять шагов присаживался на землю и с проклятиями рвал левый сапог: у него отскочила подметка. Ветер летел нам на встречу, сладостный и дикий ветер русской весны, у акушерки Пелагеи Ивановны выскокил гребешок из головы, узел волос растрепался и хлопал ее по плечу.

— Какого ты черта пропиваешь все деньги? — бормотал я на лету Егорычу. — Это свинство. Больничный сторож, а ходишь, как босяк.

— Какие ж это деньги, — злобно огрызался Егорыч, — за двадцать целковых в месяц муку мученскую принимать... Ах, ты проклятая! — Он бил ногой в землю, как яростный рысак. — Деньги... тут не то что сапоги, а пить-есть не на что...

— Пить-то тебе — самое главное, — сипел я, задыхаясь, — оттого и шляешься оборванцем...

У гнилого мостика послышался жалобный легкий крик, он пролетел над стремительным половодьем и угас. Мы подбежали и увидели растрепанную корчившуюся женщину. Платок с нее свалился, и волосы прилипли к потному лбу, она в мучении заводила глаза и ногтями рвала на себе тулуп. Яркая кровь заляпала первую жиденькую бледную зеленую травку, проступившую на жирной, пропитанной водой земле.

— Не дошла, не дошла, — торопливо говорила Пелагея Ивановна, и сама, простоволосая, похожая на ведьму, разматывала сверток. И вот тут, слушая веселый рев воды, рвущейся через потемневшие бревенчатые устои моста, мы с Пелагеей Ивановной приняли младенца мужского пола. Живого приняли и мать спасли. Потом две сиделки и Егорыч, босой на левую ногу, освободившись, наконец, от ненавистной истлевшей подметки, перенесли родильницу в больницу на носилках.

Когда она, уже утихшая и бледная, лежала, укрытая простынями, когда младенец поместился в люльке рядом, и все пришло в порядок, я спросил у нее:

— Ты что же это, мать, лучшего места не нашла рожать, как на мосту? Почему же на лошади не приехала?

Она ответила:

— Свекор лошади не дал. Пять верст, говорит, всего, дойдешь. Баба ты здоровая. Нечего лошадь зря гонять...

— Дурак твой свекор и свинья, — отозвался я.

— Ах, до чего темный народ, — жалостливо добавила Пелагея Ивановна, а потом чего-то хихикнула.

Я поймал ее взгляд, он упирался в мою левую щеку.

Я вышел и в родильной комнате заглянул в зеркало. Зеркало это показало то, что обычно показывало: перекошенную физиономию явно дегенеративного типа с подбитым как бы правым глазом. Но — и тут уже зеркало не было виновато — на правой щеке дегенерата можно было плясать, как на паркете, а на левой тянулась густая рыжеватая поросль. Разделом служил подбородок. Мне вспомнилась книга в желтом переплете с надписью «Сахалин». Там были фотографии разных мужчин.

«Убийство, взлом, окровавленный топор, — подумал я, — десять лет... Какая все-таки оригинальная жизнь у меня на необитаемом острове. Нужно идти добриться...»

Я, вдыхая апрельский дух, приносимый с черных полей, слушал вороний грохот с верхушек берез, шурился от первого солнца, шел через двор добриваться. Это было около трех часов дня. А добрился я в девять вечера. Никогда, сколько я заметил, такие неожиданности в Мурьеве, вроде родов в кустах, не приходят в одиночку. Лишь только я взялся за скобку двери на своем крыльце, как лошадиная морда показалась в воротах, телегу, облепленную грязью, сильно трягнуло. Правила баба и тонким голосом кричала:

— Н- но, лешай!

И с крыльца я услышал, как в ворохе тряпья хныкал мальчишка.

Конечно, у него оказалась переломленная нога, и вот два часа мы с фельдшером возились, накладывая гипсовую повязку на мальчишку, который выл подряд два часа. Потом обедать нужно было, потом лень было бриться, хотелось что-нибудь почитать, а там приползли сумерки, затянуло дали, и я, скорбно морщась, добрился. Но так как зубчатый «Жиллет» пролежал позабытым в мыльной воде — на нем навеки осталась ржавенькая полосочка, как память о весенних родах у моста.

Да...бриться два раза в неделю было ни к чему. Порою нас заносило вовсе снегом, выла несусветная метель, мы по два дня сидели в Мурьевской больнице, не посылали даже в Вознесенск за девять верст за газетами, и долгими вечерами я мерил и мерил свой кабинет и жадно хотел газет, так жадно, как в детстве жаждал куперовского «Следопыта». Но все же английские замашки не потухли вовсе на мурьевском необитаемом острове, и время

от времени я вынимал из черного футлярчика блестящую игрушку и вяло брился, выходил гладкий и чистый, как гордый островитянин. Жаль лишь, что некому было полюбоваться на меня.

Позвольте... да... ведь был и еще случай, когда, помнится, вынул бритву, и только что Аксинья принесла в кабинет выщербленную кружку с кипятком, как в дверь грозно застучали и вызвали меня. И мы с Пелагеей Ивановной уехали в страшную даль, закутанные в бараньи тулупы, пронеслись, как черный призрак, состоящий из коней, кучера и нас, сквозь взбесившийся белый океан. Вьюга свистела, как ведьма, выла, плевалась, хохотала, все к черту исчезло, и я испытывал знакомое похолодание где-то в области солнечного сплетения при мысли, что собьемся мы с пути в этой сатанинской вертящейся мгле и пропадем за ночь все: и Пелагея Ивановна, и кучер, и лошади, и я. Еще, помню, возникла у меня дурацкая мысль о том, что когда мы будем замерзать, и вот нас наполовину занесет снегом, я и акушерке, и себе, и кучеру впрысну морфий... Зачем?... А так, чтобы не мучиться... «Замерзнешь ты, лекарь, и без морфия превосходнейшим образом, — помнится, отвечал мне сухой и здоровый голос, — ничто тебе...» У-гу-гу!.. Ха-ссс!.. — свистала ведьма, и нас мотало, мотало в санях... Ну, напечатают там, в столичной газете на задней странице, что вот, мол, так и так, погибли при исполнении служебных обязанностей лекарь такой-то, а равно Пелагея Ивановна с кучером и парюю коней. Мир их праху в снежном море. Тьфу... что в голову лезет, когда тебя так называемый долг службы несет и несет...

Мы не погибли, не заблудились, а приехали в село Грищево, где я стал производить второй поворот на ножку в моей жизни. Родильница была жена деревенского учителя, и пока мы по локоть в крови и по глаза в поту при свете лампы бились с Пелагеей Ивановной над поворотом, слышно было, как за дощатой дверью стонал и мотался по черной половине избы муж. Под стоны родильницы и под его неумолчные всхлипывания я ручку младенцу, по секрету скажу, сломал. Младенчика получили мы мертвого. Ах, как у меня тек пот по спине! Мгновенно мне пришло в голову, что явится кто-то грозный, черный и огромный, ворвется в избу, скажет каменным голосом: «Ага. Взять у него диплом!»

Я, угасая, глядел на желтое мертвое тельце и восковую мать, лежавшую недвижно, в забытии от хлороформа. В форточку била струя метели, мы открыли ее на минуту, чтобы разредить удушающий запах хлороформа, и струя эта превращалась в клуб пара. Потом я захлопнул форточку и снова вперил взор в мотающуюся беспомощно ручку в руках акушерки. Ах, не могу я выразить того отчаяния, в котором я возвращался домой один, потому что Пелагею Ивановну я оставил ухаживать за матерью. Меня швыряло в санях в поредевшей метели, мрачные леса смотрели укоризненно, безнадежно, отчаянно. Я чувствовал себя побежденным, разбитым, задавленным жестокой судьбой. Она меня бросила в эту глушь и заставила бороться одного, без всякой поддержки и указаний. Какие невероятные трудности мне приходится переживать. Ко мне могут привести какой угодно каверзный или сложный случай, чаще всего хирургический, и я должен стать к нему лицом, своим небритым лицом, и победить его. А если не победишь, вот и мучайся, как сейчас, когда валяет тебя по ухабам, а сзади остался трупик младенца и мамаша. Завтра, лишь утихнет метель, Пелагея Ивановна привезет ее ко мне в больницу, и очень большой вопрос — удастся ли мне отстоять ее? Да и как мне отстоять ее? Как понимать это величественное слово? В сущности, действую я наобум, ничего не знаю. Ну, до сих пор везло, сходили с рук благополучно изумительные вещи, а сегодня не сvezло. Ах, в сердце щемит от одиночества, от холода, оттого, что никого нет кругом. А может, я еще и преступление совершил — ручку-то. Поехать куда-нибудь повалиться кому-нибудь в ноги, сказать, что вот, мол, так и так, я, лекарь такой-то, ручку младенцу переломил. Берите у меня диплом, недостойн я его, дорогие коллеги, посылайте меня на Сахалин. Фу, неврастения!

Я завалился на дно саней, съежился, чтобы холод не жрал меня так страшно, и самому себе казался жалкой собачонкой, псом, бездомным и неумелым

Долго, долго ехали мы, пока не сверкнул маленький, но такой радостный, вечно род-

ной фонарь у ворот больницы. Он мигал, таял, вспыхивал и опять пропадал и манил к себе. И при взгляде на него несколько полегчало в одинокой душе, и когда фонарь уже прочно утвердился перед моими глазами, когда он рос и приближался, когда стены больницы превратились из черных в беловатые, я, въезжая в ворота, уже говорил самому себе так:

«Вздор — ручка. Никакого значения не имеет. Ты сломал ее уже мертвому младенцу. Не о ручке нужно думать, а о том, что мать жива».

Фонарь меня подбодрил, знакомое крыльцо тоже, но все же уже внутри дома, поднимаясь к себе в кабинет, ощущая тепло от печки, предвкушая сон, избавитель от всех мучений, бормотал так:

«Так-то оно так, но все-таки страшно и одиноко. Очень одиноко».

Бритва лежала на столе, а рядом стояла кружка с простывшим кипятком. Я с презрением швырнул бритву в ящик. Очень, очень мне нужно бриться...

И вот целый год. Пока он тянулся, он казался многоликим, многообразным, сложным и страшным, хотя теперь я понимаю, что он пролетел, как ураган. Но вот в зеркале я смотрю и вижу след, оставленный им на лице. Глаза стали строже и беспокойнее, а рот увереннее и мужественнее, складка на переносице останется на всю жизнь, как останутся мои воспоминания. Я в зеркале их вижу, они бегут буйной чередой. Позвольте, когда еще я трясся при мысли о своем дипломе, о том, что какой-то фантастический суд будет меня судить и грозные судьи будут спрашивать:

«А где солдатская челюсть? Отвечай, злодей, окончивший университет!»

Как не помнить! Дело было в том, что хотя на свете и существует фельдшер Демьян Лукич, который рвет зубы так же ловко, как плотник — ржавые гвозди из старых шалевок, но такт и чувство собственного достоинства подсказали мне на первых же шагах моих в Мурьевской больнице, что зубы нужно выучиться рвать и самому. Демьян Лукич может и отлучиться или заболеть, а акушерки у нас все могут, кроме одного: зубов они, извините, не рвут, не их дело.

Стало быть... я помню прекрасно румяную, но исстрадавшуюся физиономию передо мной на табурете. Это был солдат, вернувшийся в числе прочих с развалившегося фронта после революции. Отлично помню и здоровеннейший, прочно засевший в челюсти крепкий зуб с дуплом. Щурясь с мудрым выражением и озабоченно покрякивая, я наложил щипцы на зуб, причем, однако, мне отчетливо вспомнился всем известный рассказ Чехова о том, как дьячку рвали зуб. И тут мне впервые показалось, что рассказ этот несколько не смешон. Во рту громко хрустнуло, и солдат коротко взвыл:

— Ого - о!

После этого под рукой сопротивление прекратилось, и щипцы выскочили изо рта с зажатым окровавленным и белым предметом в них. Тут у меня екнуло сердце, потому что предмет этот превышал по объему всякий зуб, хотя бы даже и солдатский коренной. Вначале я ничего не понял, но потом чуть не зарыдал: в щипцах, правда, торчал и зуб с длиннейшими корнями, но на зубе висел огромный кусок ярко-белой неровной кости.

«Я сломал ему челюсть...» — подумал я, и ноги мои подкосились. Благословляя судьбу за то, что ни фельдшера, ни акушерок нет возле меня, я воровским движением завернул плод моей лихой работы в марлю и спрятал в карман. Солдат качался на табурете, вцепившись одной рукой в ножку акушерского кресла, а другою — в ножку табурета, и выпученными, совершенно ошалевшими глазами смотрел на меня. Я растерянно ткнул ему стакан с раствором марганцовокислого калия и велел:

— Полощи.

Это был глупый поступок. Он набрал в рот раствор, а когда выпустил его в чашку, тот вытек, смешавшись с алою солдатской кровью, по дороге превращаясь в густую жидкость невиданного цвета. Затем кровь хлынула изо рта солдата так, что я замер. Если б я полоснул беднягу бритвой по горлу, вряд ли она текла бы сильнее. Отставив стакан с калием, я набрасывался на солдата с комками марли и забивал зияющую в челюсти дыру. Марля

мгновенно остановилась алой, и, вынимая ее, я с ужасом видел, что в дыру эту можно свободно поместить больших размеров сливу ренклюд.

«Отделал я солдата на славу», — отчаянно думая, я и таскал длинные полосы марли из банки. Наконец кровь утихла, и я вымазал яму в челюсти йодом.

— Часа три не ешь ничего, — дрожащим голосом сказал я своему пациенту.

— Покорнейше вас благодарю, — отозвался солдат, с некоторым изумлением глядя в чашку, полную его крови.

— Ты, дружок, — жалким голосом сказал я, — ты вот чего... ты заезжай завтра или послезавтра показаться мне. Мне... видишь ли... нужно будет посмотреть... У тебя рядом еще зуб подозрительный... Хорошо?

— Благодарим покорнейше, — ответил солдат хмуро и удалился, держась за щеку, а я бросился в приемную и сидел там некоторое время, охватив голову руками и качаясь, как от зубной у самого боли. Рая пять я вытаскивал из кармана твердый окровавленный ком и опять прятал его.

Неделю жил я как в тумане, исхудал и захирел.

«У солдата будет гангрена, заражение крови... Ах ты, черт возьми! Зачем я сунулся к нему со щипцами?»

Нелепые картины рисовались мне. Вот солдата начинает трясти. Сперва он ходит, рассказывает про Керенского и фронт, потом становится все тише. Ему уже не до Керенского. Солдат лежит на ситцевой подушке и бредит. У него — 40°. Вся деревня навещает солдата. А затем солдат лежит на столе под образами с заострившимся носом.

В деревне начинаются пересуды.

«С чего бы это?»

«Дохтур зуб ему вытаскал...»

«Вот оно што...»

Дальше — больше. Следствие. Приезжает суровый человек:

«Вы рвали зуб солдату?..»

«Да... я».

Солдата выкапывают. Суд. Позор. Я — причина смерти. И вот я уже не врач, а несчастный, выброшенный за борт человек, вернее, бывший человек.

Солдат не показывался, я тосковал, ком ржавел и высыхал в письменном столе. За жалованием персоналу нужно было ехать через неделю в уездный город. Я уехал через пять дней и прежде всего пошел к врачу уездной больницы. Этот человек с прокуренной бородачкой двадцать пять лет работал в больнице. Виды он видал. Я сидел вечером у него в кабинете, уныло пил чай с лимоном, ковыряя скатерть, наконец, не вытерпел и обиняками повел туманную фальшивую речь: что вот, мол... бывают ли такие случаи... если кто-нибудь рвет зуб... и челюсть обломает... ведь гангрена может получиться, не правда ли?.. Знаете, кусок... я читал...

Тот слушал, слушал, уставив на меня свои вылинявшие глазки под косматыми бровями, и вдруг сказал так:

— Это вы ему лунку выломали... Здорово будете зубы рвать... Бросайте чай, идем водки выпьем перед ужином.

И тотчас и навсегда ушел мой мучитель-солдат из головы.

Ах, зеркало воспоминаний. Прошел год. Как смешно мне вспоминать про эту лунку! Я, правда, никогда не буду рвать зубы так, как Демьян Лукич. Еще бы! Он каждый день рвет штук по пяти, а я раз в две недели по одному. Но все же я рву так, как многие хотели бы рвать. И лунок не ломаю, а если бы и сломал, не испугался бы.

Да что зубы. Чего только я не перевидал и не сделал за этот неповторяемый год.

Вечер тек в комнату. Уже горела лампа, и я, плавая в горьком табачном дыму, подводил итог. Сердце, мое переполнялось гордостью. Я делал две ампутации бедра, а пальцев не считаю. А вычистки. Вот у меня записано восемнадцать раз. А грыжа. А трахеотомия!



Делал, и вышло удачно. Сколько гигантских гнойников я вскрыл! А повязки при переломах. Гипсовые и крахмальные. Вывихи вправлял. Интубации. Роды. Приезжайте, с какими хотите. Кесарева сечения делать не стану, это верно. Можно в город отправить! Но щипцы, повороты — сколько хотите.

Помню государственный последний экзамен по судебной медицине. Профессор сказал:

— Расскажите о ранах в упор.

Я развязно стал рассказывать и рассказывал долго, и в зрительной памяти проплывала страница толстейшего учебника. Наконец я выдохся, профессор поглядел на меня брезгливо и сказал скрипуче:

— Ничего подобного тому, что вы рассказали, при ранах в упор не бывает. Сколько у вас пятерок?

— Пятнадцать, — ответил я.

Он поставил против моей фамилии тройку, и я вышел в тумане и позоре вон...

Вышел, потом вскоре поехал в Мурьево, и вот я здесь один. Черт его знает, что бывает при ранах в упор, но когда здесь передо мной на операционном столе лежал человек и пузыристая пена, розовая от крови, вскакивала у него на губах, разве я потерялся?! Нет, хотя вся грудь у него в упор была разнесена волчьей дробью, и было видно легкое, и мясо груди висело клоками, разве я потерялся? И через полтора месяца он ушел у меня из больницы живой. В университете я не удостоился ни разу подержать в руках акушерские щипцы, а здесь, правда, дрожая, наложил их в одну минуту. Не скрою того, что младенца я получил странного: половина его головы была раздувшаяся, сине-багровая, безглазая. Я похолодел. Смутно выслушал утешающие слова Пелагеи Ивановны:

— Ничего, доктор, это вы ему на глаз наложили одну ложку.

Я трясся два дня, но через два дня голова пришла в норму.

Какие я раны зашивал. Какие видел гнойные плевриты и взламывал при них ребра, какие пневмонии, тифы, раки, сифилис, грыжи (и вправлял), геморрои, саркомы.

Вдохновенно я развернул амбулаторную книгу и час считал. И сосчитал. За год, вот до этого вечернего часа, я принял 15 613 больных. Стационарных у меня было 200, а умерло только шесть.

Я закрыл книгу и поплелся спать. Я, юбиляр двадцати четырех лет, лежал в постели и, засыпая, думал о том, что мой опыт теперь громаден. Чего мне бояться? Ничего. Я таскал горох из ушей мальчишек, я резал, резал, резал... Рука моя мужественна, не дрожит. Я видел всякие каверзы и научился понимать такие бабьи речи, которых никто не поймет. Я в них разбираюсь, как Шерлок Холмс в таинственных документах... Сон все ближе...

— Я, — пробурчал я, засыпая, — я положительно не представляю себе, чтобы мне привезли случай, который бы мог меня поставить в тупик... может быть, там, в столице, и скажут, что это фельдшеризм.. пусть... им хорошо... в клиниках, в университетах... в рентгеновских кабинетах... я же здесь... всё... и крестьяне не могут жить без меня... Как я раньше дрожал при стуке в дверь, как корчился мысленно от страха... А теперь...

\*

— Когда же это случилось?

— С неделю, батюшка, с неделю, милый... Выперло...

И баба захныкала.

Смотрело серенькое октябрьское утро первого дня моего второго года. Вчера я вечером гордился и хвастался, засыпая, а сегодня утром стоял в халате и растерянно вглядывался...

Годовалого мальчишку она держала на руках, как полено, и у мальчишки этого левого глаза не было. Вместо глаза из растянутых, источенных век выпирал шар желтого цвета величиной с небольшое яблоко». Мальчишка страдальчески кричал и бился, баба хныкала.

И вот я потерялся.

Я заходил со всех сторон. Демьян Лукич и акушерка стояли сзади меня. Они молчали, ничего такого они никогда не видели.

«Что это такое... Мозговая грыжа... Гм... он живет... Саркома... Гм... мягковата. Какая-то невиданная, жуткая опухоль... Откуда же она развилась... Из бывшего глаза... А может быть, его никогда и не было... Во всяком случае, сейчас нет...»

— Вот что, — вдохновенно сказал я, — нужно будет вырезать эту штуку...

И тут же я представил себе, как я надсеку веко, разведу в стороны и...

«И что... Дальше-то что? Может, это действительно из мозга... Фу, черт... Мягковато... на мозг похоже...»

— Что резать? — спросила баба, бледнея. — На глазу резать? Нету моего согласия...

И она в ужасе стала заворачивать младенца в тряпки.

— Никакого глаза у него нету, — категорически ответил я, — ты гляди, где ж ему быть. У твоего младенца странная опухоль...

— Капелек дайте, — говорила баба в ужасе.

— Да что ты, смеешься? Каких таких капелек?! Никакие капельки тут не помогут!

— Что ж ему, без глаза, что ли, оставаться?

— Нету у него глаза, говорю тебе...

— А третьего дни был! — отчаянно воскликнула баба.

«Черт!...»

— Не знаю, может, и был... черт... только теперь: нету... И вообще, знаешь, милая, вези ты своего младенца в город. И немедленно, там сделают операцию... Демьян Лукич. А?

— М- да, — глубокомысленно отозвался фельдшер, явно не зная, что и сказать, — штука невиданная.

— Резать в городе? — спросила баба в ужасе. - Не дам.

Кончилось это тем, что баба увезла своего младенца, не дав притронуться к глазу.

Два дня я ломал голову, пожимал плечами, рылся в библиотечке, разглядывал рисунки, на которых были изображены младенцы с вылезающими вместо глаз пузырями... Черт.

А через два дня младенец был мною забыт.

\*

Прошла неделя.

— Анна Жукова! — крикнул я.

Вошла веселая баба с ребенком на руках.

— В чем дело? — спросил я привычно.

— Бока закладывает, не продохнуть, — сообщила баба и почему-то насмешливо улыбнулась.

Звук ее голоса заставил меня встрепенуться.

— Узнали? — спросила баба насмешливо.

— Постой... постой... да это что... Постой... это тот самый ребенок?

— Тот самый. Помните, господин доктор, вы говорили, что глаза нету и резать что-бы...

Я ошалел. Баба победоносно смотрела, в глазах ее играл смех.

На руках молчаливо сидел младенец и глядел на свет карими глазами. Никакого желтого пузыря не было в помине.

«Это что-то колдовское...» — расслабленно подумал я.

Потом, несколько придя в себя, осторожно оттянул веко. Младенец хныкал, пытался вертеть головой, но все же я увидел... малюсенький шрамик на слизистой... А-а...

— Мы как выехали от вас тады... Он и лопнул...

— Не надо, баба, не рассказывай, — сконфуженно сказал я, — я уже понял...

— А вы говорите, глаза нету... Ишь, вырос. — И баба издевательски хихикнула.

«Понял, черт меня возьми... у него из нижнего века развился громаднейший гнойник, вырос и оттеснил глаз, закрыл его совершенно... а потом как лопнул, гной вытек... и все пришло на место...»

\*

Нет. Никогда, даже засыпая, не буду горделиво бормотать о том, что меня ничем не удивишь. Нет. И год прошел, пройдет другой год и будет столь же богат сюрпризами, как и первый... Значит, нужно покорно учиться.

1926

## Звездная сыпь

Это он. Чутье мне подсказало. На знание мое рассчитывать не приходилось. Знания у меня, врача, шесть месяцев тому назад окончившего университет, конечно, не было.

Я побоялся тронуть человека за обнаженное и теплое плечо (хотя бояться было нечего) и на словах велел ему:

— Дядя, а ну-ка, подвиньтесь ближе к свету!

Человек повернулся так, как я этого хотел, и свет керосиновой лампы-молнии залил его желтоватую кожу. Сквозь эту желтизну на выпуклой груди и на боках проступала мраморная сыпь. «Как в небе звезды», — подумал я и с холодком под сердцем склонился к груди, потом отвел глаза от нее, поднял их на лицо. Передо мной было лицо сорокалетнее, в свалывшейся бородке грязно-пепельного цвета, с бойкими глазками, прикрытыми напухшими веками. В глазках этих я, к великому моему удивлению, прочитал важность и сознание собственного достоинства.

Человек помаргивал и оглядывался равнодушно и скучающе и поправлял поясок на штанах.

«Это он — сифилис», — вторично мысленно и строго сказал я. В первый раз в моей врачебной жизни я натолкнулся на него, я — врач, прямо с университетской скамеечки брошенный в деревенскую даль в начале революции.

На сифилис этот я натолкнулся случайно. Этот человек приехал ко мне и жаловался на то, что ему заложило глотку. Совершенно безотчетно, и не думая о сифилисе, я велел ему раздеться и вот тогда увидел эту звездную сыпь.

Я сопоставил хрипоту, зловещую красноту в глотке, странные белые пятна в ней, мраморную грудь и догадался. Прежде всего я малодушно вытер руки сулемовым шариком, причем беспокойная мысль: «Кажется, он кашлянул мне на руки», — отравила мне минуту. Затем беспомощно и брезгливо повертел в руках стеклянный шпатель, при помощи которого исследовал горло моего пациента. Куда бы его деть?

Решил положить на окно, на комок ваты.

— Вот что, — сказал я, — видите ли... Гм... По - видимому... Впрочем, даже наверно... У вас, видите ли, нехорошая болезнь — сифилис...

Сказал это и смутился. Мне показалось, что человек этот очень сильно испугается, разнервничается...

Он нисколько не разнервничался и не испугался. Как-то сбоку он покосился на меня, вроде того как смотрит круглым глазом курица, услышав призывающий ее голос. В этом круглом глазе я очень изумленно отметил недоверие.

— Сифилис у вас, — повторил я мягко.

— Это что же? — спросил человек с мраморной сыпью.

Тут остро мелькнул у меня перед глазами край снежно-белой палаты, университетской палаты, амфитеатр с громоздящимися студенческими головами и седая борода про-

фессора-венеролога... Но быстро я очнулся и вспомнил, что я в полутора тысячах верст от амфитеатра и в сорока верстах от железной дороги, в свете лампы-молнии... За белой дверью глухо шумели многочисленные пациенты, ожидающие очереди. За окном неуклонно смеркалось и летел первый зимний снег.

Я заставил пациента раздеться еще больше и нашел заживающую уже первичную язву. Последние сомнения оставили меня, и чувство гордости, неизменно являющееся каждый раз, когда я верно ставил диагноз, пришло ко мне.

— Застегивайтесь, — заговорил я, — у вас сифилис! Болезнь весьма серьезная, захватывающая весь организм. Вам долго придется лечиться!..

Тут я запнулся, потому что — клянусь!.. — прочел в этом, похожем на куриный, взоре удивление, смешанное явно с иронией.

— Глотка вот захрипла, — молвил пациент.

— Ну да, вот от этого и захрипла. От этого и сыпь на груди. Посмотрите на свою грудь...

Человек скосил глаза и глянул. Иронический огонек не погасал в глазах.

— Мне бы вот глотку полечить, — вымолвил он

«Что это он все свое? — уже с некоторым нетерпением подумал я. — Я про сифилис, а он про глотку!»

— Слушайте, дядя, — продолжал я вслух, — глотка дело второстепенное. Глотке мы тоже поможем, но, самое главное, нужно вашу общую болезнь лечить. И долго вам придется лечиться — два года.

Тут пациент вытаращил на меня глаза. И в них я прочел свой приговор: «Да ты, доктор, рехнулся!»

— Что ж так долго? — спросил пациент. — Как это так два года?! Мне бы какого-нибудь полоскания для глотки...

Внутри у меня все загорелось. И я стал говорить. Я уже не боялся испугать его. О нет! Напротив, я намекнул, что и нос может провалиться. Я рассказал о том, что ждет моего пациента впереди, в случае если он не будет лечиться как следует. Я коснулся вопроса о заразительности сифилиса и долго говорил о тарелках, ложках и чашках, об отдельном полотенце...

— Вы женаты? — спросил я.

— Жанат, — изумленно отозвался пациент.

— Жену немедленно пришлите ко мне! — взволнованно и страстно говорил я. — Ведь она тоже, наверное, больна?

— Жану?! — спросил пациент и с великим удивлением всмотрелся в меня.

Так мы и продолжали разговор. Он, помаргивая, смотрел в мои зрачки, а я в его. Вернее, это был не разговор, а мой монолог. Блестящий монолог, за который любой из профессоров поставил бы пятерку пятикурснику. Я обнаружил у себя громаднейшие познания в области сифилидологии и недюжинную сметку. Она заполняла темные дырки в тех местах, где не хватало строк немецких и русских учебников. Я рассказал о том, что бывает с костями нелеченого сифилитика, а попутно очертил и прогрессивный паралич. Потомство! А как жену спасти?! Или, если она заражена, а заражена она наверное, то как ее лечить?

Наконец поток мой иссяк, и застенчивым движением я вынул из кармана справочник в красном переплете с золотыми буквами. Верный друг мой, с которым я не расставался на первых шагах моего трудного пути. Сколько раз он выручал меня, когда проклятые рецептурные вопросы разверзали черную пропасть передо мной! Я украдкой, в то время как пациент одевался, перелистывал странички и нашел то, что мне было нужно.

Ртутная мазь — великое средство.

— Вы будете делать втирания. Вам дадут шесть пакетиков мази. Будете втирать по одному пакету в день... вот так...

И я наглядно и с жаром показал, как нужно втирать, и сам пустую ладонь втирал в ха-

лат...

— ...Сегодня — в руку, завтра — в ногу, потом опять в руку — другую. Когда сделаете шесть втираний, вымоетесь и придете ко мне. Обязательно. Слышите? Обязательно! Да! Кроме того, нужно внимательно следить за зубами и вообще за ртом, пока будете лечиться. Я вам дам полоскание. После еды обязательно полощите...

— И глотку? — спросил пациент хрипло, и тут я заметил, что только при слове «полоскание» он оживился.

— Да, да, и глотку.

Через несколько минут желтая спина тулупа уходила с моих глаз в двери, а ей на встречу протискивалась бабья голова в платке.

А еще через несколько минут, пробегая по полутемному коридору из амбулаторного своего кабинета в аптеку за папиросами, я услышал бегло хриплый шепот:

— Плохо лечит. Молодой. Понимаешь, глотку заложило, а он смотрит, смотрит... То грудь, то живот... Тут делов полно, а на больницу полдня. Пока выедешь — вот те и ночь. О Господи! Глотка болит, а он мази на ноги дает.

— Без внимания, без внимания, — подтвердил бабий голос с некоторым дребезжанием и вдруг осекся. Это я, как привидение, промелькнул в своем белом халате. Не вытерпел, оглянулся и узнал в полутьме бороденку, похожую на бороденку из пакли, и набрякшие веки, и куриный глаз. Да и голос с грозной хрипотой узнал. Я втянул голову в плечи, как-то воровато съежился, точно был виноват, исчез, ясно чувствуя какую-то ссадину, нагоравшую в душе. Мне было страшно.

Неужто же все впустую?..

...Не может быть! И месяц я сыщически внимательно проглядывал на каждом приеме по утрам амбулаторную книгу, ожидая встретить фамилию жены внимательного слушателя моего монолога о сифилисе. Месяц я ждал его самого. И не дождался никого. И через месяц он угас в моей памяти, перестал тревожить, забылся...

Потому что шли новые и новые, и каждый день моей работы в забытой глуши нес для меня изумительные случаи, каверзные вещи, заставлявшие меня изнурять мой мозг, сотни раз теряться, и вновь обретать присутствие духа, и вновь окрыляться на борьбу.

Теперь, когда прошло много лет, вдалеке от забытой облупленной белой больницы, я вспоминаю звездную сыпь на его груди. Где он? Что делает? Ах, я знаю, знаю. Если он жив, время от времени он и его жена ездят в ветхую больницу. Жалуются на язвы на ногах. Я ясно представляю, как он разматывает портянки, ищет сочувствия. И молодой врач, мужчина или женщина, в беленьком штопаном халате, склоняется к ногам, давит пальцем кость выше язвы, ищет причин. Находит и пишет в книге: «Lues III», потом спрашивает, не давали ли ему для лечения черную мазь.

И вот тогда, как я вспоминаю его, он вспомнит меня, 17-й год, снег за окном и шесть пакетиков в вошеной бумаге, шесть неиспользованных липких комков.

— Как же, как же, давал... — скажет он и поглядит, но уже без иронии, а с черноватой тревогой в глазах. И врач выпишет ему йодистый калий, быть может, назначит другое лечение. Так же, быть может, заглянет, как и я, в справочник...

Привет вам, мой товарищ!

«...еще, дражайшая супруга, передайте низкий поклон дяде Сафрону Ивановичу. А кроме того, дорогая супруга, съездимте к нашему доктору, покажь ему себе, как я уже полгода больной дурной болью сифилем. А на побывке у Вас не открылся. Примите лечение.

Супруг Ваш *А.Н. Буков*».

Молодая женщина зажала рот концом байкового платка, села на лавку и затряслась от плача. Завитки ее светлых волос, намокшие от растаявшего снега, выбились на лоб.

— Подлец он! А?! — выкрикнула она.

— Подлец, — твердо ответил я.

Затем настало самое трудное и мучительное. Нужно было успокоить ее. А как успокоить? Под гул голосов нетерпеливо ждущих в приемной мы долго шептались...

Где-то в глубине моей души, еще не притупившейся к человеческому страданию, я разыскал теплые слова. Прежде всего я постарался убить в ней страх. Говорил, что ничего еще ровно не известно и до исследования предаваться отчаянию нельзя. Да и после исследования ему не место: я рассказал о том, с каким успехом мы лечим эту дурную боль — сифилис.

— Подлец, подлец, — всхлипнула молодая женщина и давилась слезами.

— Подлец, — вторил я.

Так довольно долго мы называли бранными словами «дражайшего супруга», побывавшего дома и отбывшего в город Москву.

Наконец лицо женщины стало высыхать, остались лишь пятна и тяжело набрякли веки над черными отчаянными глазами.

— Что я буду делать? Ведь у меня двое детей, — говорила она сухим измученным голосом.

— Погодите, погодите, — бормотал я, — видно будет, что делать.

Я позвал акушерку Пелагею Ивановну, втроем мы уединились в отдельной палате, где было гинекологическое кресло.

— Ах, прохвост, ах, прохвост, — сквозь зубы сипела Пелагея Ивановна. Женщина молчала, глаза ее были как две черных ямки, она всматривалась в окно — в сумерки.

Это был и один из самых внимательных осмотров в моей жизни. Мы с Пелагеей Ивановной не оставили ни одной пяди тела. И нигде и ничего подозрительного я не нашел.

— Знаете что, — сказал я, и мне страстно захотелось, чтобы надежды меня не обманули и дальше не появилась бы нигде грозная твердая первичная язва, — знаете что?.. Перестаньте волноваться! Есть надежда. Надежда. Правда, все еще может случиться, но сейчас у вас ничего нет.

— Нет? — сипло спросила женщина. — Нет? — Искры появились у нее в глазах, и розовая краска тронула скулы. — А вдруг сделается? А?..

— Я сам не пойму, — вполголоса сказал я Пелагее Ивановне, — судя по тому, что она рассказывала, должно у нее быть заражение, однако же ничего нет.

— Ничего нет, — как эхо, откликнулась Пелагея Ивановна.

Мы еще несколько минут шептались с женщиной о разных сроках, о разных интимных вещах, и женщина получила от меня наказ ездить в больницу.

Теперь я смотрел на женщину и видел, что это — человек, перешибленный пополам. Надежда закралась в нее, потом тотчас умирала. Она еще раз всплакнула и ушла темной тенью. С тех пор меч повис над женщиной. Каждую субботу беззвучно появлялась в амбулатории у меня. Она очень осунулась, резче выступили скулы, глаза запали и окружались тенями. Сосредоточенная дума оттянула углы ее губ книзу. Она привычным жестом размазывала платок, затем мы уходили втроем в палату. Осматривали ее.

Первые три субботы прошли, и опять ничего не нашли мы на ней. Тогда она стала отходить понемногу. Живой блеск зарождался в глазах, лицо оживало, расправлялась стянутая маска. Наши шансы росли. Таяла опасность. На четвертую субботу я говорил уже уверенно. За моими плечами было около 90% за благополучный исход. Прошел с лихвой первый 21-дневный знаменитый срок. Остались дальние случайные, когда язва развивается с громадным запозданием. Прошли наконец и эти сроки, и однажды, отбросив в таз сияющее зеркало, в последний раз ощупав железы, я сказал женщине:

— Вы вне всякой опасности. Больше не приезжайте. Это — счастливый случай.

— Ничего не будет? — спросила она незабываемым голосом.

— Ничего.

Не хватит у меня умения описать ее лицо. Помню только, как она поклонилась низко

в пояс и исчезла.

Впрочем, еще раз она появилась. В руках у нее был сверток — два фунта масла и два десятка яиц. И после страшного боя я ни масла, ни яиц не взял. И очень этим гордился, вследствие юности. Но впоследствии, когда мне приходилось голодать в революционные годы, не раз вспоминал лампу-молнию, черные глаза и золотой кусок масла с вдавленными от пальцев, с проступившей на нем росой.

К чему же теперь, когда прошло так много лет, я вспомнил ее, обреченную на четырехмесячный страх. Недаром. Женщина эта была второй моей пациенткой в этой области, которой впоследствии я отдал мои лучшие годы. Первым был тот — со звездной сыпью на груди. Итак, она была второй и единственным исключением: она боялась. Единственная в моей памяти, сохранившей освещенную керосиновыми лампами работу нас четверых (Пелагеи Ивановны, Анны Николаевны, Демьяна Лукича и меня).

В то время как текли ее мучительные субботы, как бы в ожидании казни, я стал искать «его». Осенние вечера длинны. В докторской квартире жарки голландки-печи. Тишина, и мне показалось, что я один во всем мире со своей лампой. Где-то очень бурно неслась жизнь, а у меня за окнами бил, стучался косой дождь, потом незаметно превратился в беззвучный снег. Долгие часы я сидел и читал старые амбулаторные книги за предшествующие пять лет. Предо мной тысячами и десятками тысяч прошли имена и названия деревень. В этих колоннах людей я искал его и находил часто. Мелькали надписи, шаблонные, скучные: «Bronchitis», «Laryngit»... еще и еще... Но вот он! «Lues III». Ага... И сбоку размашистым почерком, привычной рукой выписано:

«Rp.: Ung. hydrarg. ciner. 3,0 D.t.d...»

Вот она — «черная» мазь.

Опять. Опять пляшут в глазах бронхиты и катары и вдруг прерываются... вновь «Lues»...

Больше всего было пометок именно о вторичном люэсе. Реже попадался третичный. И тогда йодистый калий размашисто занимал графу «лечение».

Чем дальше я читал старые, пахнущие плесенью амбулаторные забытые на чердаке фолианты, тем больший свет проливался в мою неопытную голову. Я начал понимать чудовищные вещи.

Позвольте, а где же пометки о первичной язве? Что-то не видно. На тысячи и тысячи имен редко одна, одна. А вторичного сифилиса — бесконечные вереницы. Что же это значит? А вот что это значит...

— Это значит... — говорил я в тени самому себе и мыши, грызущей старые корешки на книжных полках шкафа, — это значит, что здесь не имеют понятия о сифилисе и язва эта никого не пугает. Да-с. А потом она возьмет и заживет. Рубец останется... Так, так, и больше ничего? Нет, не больше ничего! А разовьется вторичный, и бурный при этом, — сифилис. Когда глотка болит и на теле появятся мокнущие папулы, то поедет в больницу Семен Хотов, 32 лет, и ему дадут серую мазь... Ага!..

Круг света помещался на столе, и в пепельнице лежащая шоколадная женщина исчезла под грудой окурков.

— Я найду этого Семена Хотова. Гм...

Шуршали чуть тронутые желтым тлением амбулаторные листы. 17 июня 1916 года Семен Хотов получил шесть пакетиков ртутной целительной мази, изобретенной давно на спасение Семена Хотова. Мне известно, что мой предшественник говорил Семену, вручая ему мазь:

— Семен, когда сделаешь шесть втираний, вымоешься, приедешь опять. Слышишь, Семен?

Семен, конечно, кланялся и благодарил сиплым голосом. Посмотрим: деньков через 10 — 12 должен Семен неизбежно опять показаться в книге. Посмотрим, посмотрим... Дым, листы шуршат. Ох, нет, нет Семена! Нет через 10 дней, нет через 20... Его вовсе нет. Ах,

бедный Семен Хотов. Стало быть, исчезла мраморная сыпь, как потухают звезды на заре, подсохли кондиломы. И погибнет, право, погибнет Семен. Я, вероятно, увижу этого Семена с гуммоными язвами у себя на приеме. Цел ли у него носовой скелет? А зрачки у него одинаковые?.. Бедный Семен!

Но вот не Семен, а Иван Карпов. Мудреного нет. Почему же не заболеть Карпову Ивану? Да, но позвольте, почему же ему выписан каломель с молочным сахаром в маленькой дозе?! Вот почему: Ивану Карпову 2 года! А у него «Lues II»! Роковая двойка! В звездах принесли Ивана Карпова, на руках у матери он отбивался от цепких докторских рук. Все понятно.

Я знаю, я догадываюсь, я понял, где была у мальчишки двух лет первичная язва, без которой не бывает ничего вторичного. Она была во рту! Он получил ее с ложечки.

Учи меня, глушь! Учи меня, тишина деревенского дома! Да, много интересного расскажет старая амбулатория юному врачу.

Выше Ивана Карпова стояла:

«Авдотья Карпова, 30 лет».

Кто она? Ах, понятно. Это — мать Ивана. На руках-то у нее он и плакал.

А ниже Ивана Карпова:

«Марья Карпова, 8 лет».

А это кто? Сестра! Каломель...

Семья налицо. Семья. И не хватает в ней только одного человека — Карпова, лет 35 — 40... И неизвестно, как его зовут — Сидор, Петр. О, это не важно!

«...дражайшая супруга... дурная болезнь сифиль...»

Вот он — документ. Свет в голове. Да, вероятно, приехал с проклятого фронта и «не открылся», а может, и не знал, что нужно открыться. Уехал. А тут пошло. За Авдотьей — Марья, за Марьей — Иван. Общая чашка со щами, полотенце...

Вот еще семья. И еще. Вон старик, 70 лет. «Lues II». Старик. В чем ты виноват? Ни в чем. В общей чашке! Внеполовое, внеполовое. Свет ясен. Как ясен и беловат рассвет раннего декабря. Значит, над амбулаторными записями и великолепными немецкими учебниками с яркими картинками я просидел всю мою одинокую ночь.

Уходя в спальню, зевал, бормотал:

— Я буду с «ним» бороться.

Чтобы бороться, нужно его видеть. И он не замедлил. Лег санный путь, и бывало, что ко мне придало 100 человек в день. День занимался мутно-белым, а заканчивался черной мглой за окнами, в которую загадочно, с тихим шорохом уходили последние сани.

Он пошел передо мной разнообразный и коварный. То являлся в виде язв беловатых в горле у девчонки-подростка. То в виде сабельных искривленных ног. То в виде подрытых вялых язв на желтых ногах старухи. То в виде мокнущих папул на теле цветущей женщины. Иногда он горделиво занимал лоб полулунной короной Венеры. Являлся отраженным наказанием за тьму отцов на ребятах с носами, похожими на казачьи седла. Но, кроме того, он проскальзывал и не замеченным мною. Ах, ведь я был со школьной парты!

И до всего доходил своим умом и в одиночестве. Где-то он таился и в костях, и в мозгу. Я узнал многое.

— Перетирку велели мне тогда делать.

— Черной мазью?

— Черной мазью, батюшка, черной...

— Накрест? Сегодня — руку, завтра — ногу?

— Как же. И как ты, кормилец, узнал? (Льстиво.)

«Как же не узнать? Ах, как не узнать. Вот она — гумма!...»

— Дурной болью болел?

— Что вы! У нас и в роду этого не слыхивали.

— Угу... Глотка болела?



— Глотка-то. Болела глотка. В прошлом годе.

— Угу... А мазь давал Леонтий Леонтьевич?

— Как же! Черная, как сапог.

— Плохо, дядя, втирал ты мазь. Ах, плохо!..

Я расточал бесчисленные кило серой мази. Я много, много выписывал йодистого калия и много извергал страстных слов. Некоторых мне удавалось вернуть после первых шести втираний. Нескольким удалось, хотя большей частью и не полностью, провести хотя бы первые курсы впрыскиваний. Но большая часть утекала у меня из рук, как песок в песочных часах, и я не мог разыскать их в снежной мгле. Ах, я убедился в том, что здесь сифилис тем и был страшен, что он не был страшен. Вот почему в начале этого моего воспоминания я и привел ту женщину с черными глазами. И вспомнил я ее с каким-то теплым уважением именно за ее боязнь. Но она была одна!

Я возмужал, я стал сосредоточен, порой угрюм. Я мечтал о том, когда окончится мой срок, и я вернусь в университетский город, и там станет легче в моей борьбе.

В один из таких мрачных дней на прием в амбулаторию вошла женщина, молодая и очень хорошая собою. На руках она несла закутанного ребенка, а двое ребят, ковыляя и путаясь в непомерных валенках, держась за синюю юбку, выступавшую из-под полушубка, ввалились за нею.

— Сыпь кинулась на ребят, — сказала краснощекая бабенка важно.

Я осторожно коснулся лба девочки, держащейся за юбку. И она скрылась в ее складках без следа. Необыкновенно мордастого Ваньку выудил из юбки с другой стороны. Коснулся и его. И лбы у обоих были не жаркие, обыкновенные.

— Раскрой, миленькая, ребенка.

Она раскрыла девочку. Голенькое тельце было усеяно не хуже, чем небо в застывшую морозную ночь. С ног до головы сидела пятнами розеола и мокнущие папулы. Ванька вздумал отбиваться и выть. Пришел Демьян Лукич и мне помог...

— Простуда, что ли? — сказала мать, глядя безмятежными глазами.

— Э-х-эх, простуда, — ворчал Лукич, и жалостливо и брезгливо кривя рот. — Весь Коробовский уезд у них так простужен.

— Ас чего ж это? — спрашивала мать, пока я разглядывал ее пятнистые бока и грудь.

— Одевайся, — сказал я.

Затем присел к столу, голову положил на руку и зевнул (она приехала ко мне одной из последних в этот день, и номер ее был 98). Потом заговорил:

— У тебя, тетка, а также у твоих ребят «дурная боль». Опасная, страшная болезнь. Вам всем сейчас же нужно начинать лечиться, и лечиться долго.

Как жаль, что словами трудно изобразить недоверие в выпуклых голубых бабьих глазах. Она повернула младенца, как полено, на руках, тупо поглядела на ножки и спросила:

— Скудова же это?

Потом криво усмехнулась.

— Скудова — не интересно, — отозвался я, закуривая пятидесятую папиросу за этот день, — другое ты лучше спроси, что будет с твоими ребятами, если не станешь лечить.

— А что? Ничаво не будет, — ответила она и стала заворачивать младенца в пеленки.

У меня перед глазами лежали часы на столике. Как сейчас помню, что поговорил я не более трех минут, и баба зарыдала. И я очень был рад этим слезам, потому что только благодаря им, вызванным моими нарочито жесткими и пугающими словами, стала возможна дальнейшая часть разговора:

— Итак, они остаются. Демьян Лукич, вы поместите их во флигеле. С тифозными мы справимся во второй палате. Завтра я поеду в город и добьюсь разрешения открыть стационарное отделение для сифилитиков.

Великий интерес вспыхнул в глазах фельдшера.

— Что вы, доктор, — отозвался он (великий скептик был), — да как же мы управимся

одни? А препараты? Лишних сиделок нету... А готовить?... А посуда, шприцы?!

Но я тупо, упрямо помотал головой и отозвался:

— Добьюсь.

Прошел месяц...

В трех комнатах занесенного снегом флигелька горели лампы с жестяными абажурами. На постелях бельишко было рваное. Два шприца всего было. Маленький однограммовый и пятиграммовый — люэр. Словом, это была жалостливая, занесенная снегом бедность. Но... Гордо лежал отдельно шприц, при помощи которого я, мысленно замирая от страха, несколько раз уже делал новые для меня, еще загадочные и трудные вливания сальварсана.

И еще: на душе у меня было гораздо спокойнее — во флигельке лежали 7 мужчин и 5 женщин, и с каждым днем таяла у меня на глазах звездная сыпь.

Был вечер. Демьян Лукич держал маленькую лампочку и освещал застенчивого Ваньку. Рот у него был вымазан манной кашей. Но звезд на нем уже не было. И так все четверо прошли под лампочкой, лаская мою совесть.

— К завтраму, стало быть, выпишусь, — сказала мать, поправляя кофточку.

— Нет, нельзя еще, — ответил я, — еще один курс придется претерпеть.

— Нет моего согласия, — ответила она, — делов дома срезь. За помощь спасибо, а выпишывайте завтра. Мы уже здоровы.

Разговор разгорелся, как костер. Кончился он так: Ты... ты знаешь, — заговорил я и почувствовал, что багровею, — ты знаешь... ты дура!..

— Ты что же это ругаешься? Это какие же порядки — ругаться?

— Разве тебя дурой следует ругать? Не дурой, а... а!.. Ты посмотри на Ваньку! Ты что же, хочешь его погубить? Ну, так я тебе не позволю этого!

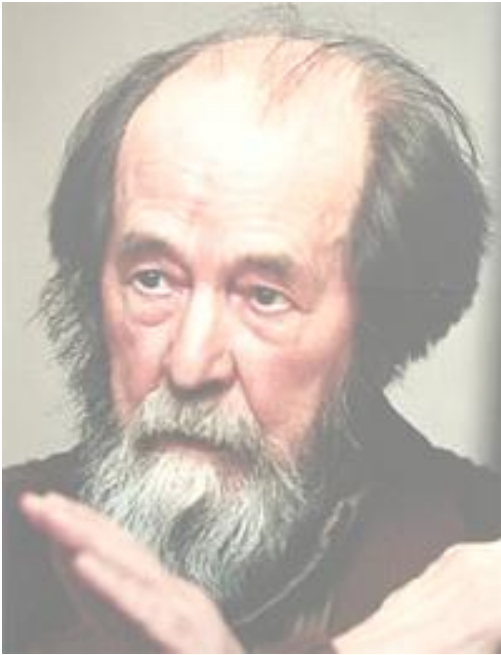
И она осталась еще на десять дней.

Десять дней! Больше никто бы ее не удержал. Я вам ручаюсь. Но, поверьте, совесть моя была спокойна, и даже... «дура» не потревожила меня. Не раскаиваюсь. Что брань по сравнению с звездной сыпью!

Итак, ушли года. Давно судьба и бурные лета разлучили меня с занесенным снегом флигелем. Что там теперь и кто? Я верю, что лучше. Здание выбелено, быть может, и белье новое. Электричества-то, конечно, нет. Возможно, что сейчас, когда я пишу эти строки, чья-нибудь юная голова склоняется к груди больного. Керосиновая лампа отбрасывает свет желтоватый на желтоватую кожу...

Привет, мой товарищ!

## А.И. Солженицын (1918 – 2008)



**Александр Исаевич Солженицын** – один из великих писателей современности, лауреат Нобелевской премии. Солженицын прожил долгую и сложную жизнь: прошёл Великую Отечественную войну, в 1945 году был репрессирован, 8 лет провёл в лагерях и на поселении. В 1970 году писатель был награждён Нобелевской премией по литературе, а в 1974 году Солженицына выслали из СССР и лишили гражданства после публикации "Архипелага ГУЛАГа" на Западе. 20 лет спустя Александр Солженицын вернулся из эмиграции и продолжил писательскую деятельность в Москве. В 2008 году писатель получил Государственную премию России в области гуманитарных наук.

Его повесть «Раковый корпус» была задумана в 1954 году в Ташкенте, где он, после заключения в лагере, лечился в раковом корпусе. Вот как Солженицын вспоминает то время: «Это был страшный момент в моей жизни: смерть на пороге освобождения и гибель всего написанного, всего смысла прожитого до тех пор». Пережитое стало основой автобиографической повести «Раковый корпус», написанной в 1963-66 гг.: «Действие повести происходит в 1955 г. в онкологической клинике крупного южного советского города. Я сам лежал там, будучи при смерти, и использую свои личные впечатления. Впрочем, повесть – не только о больнице, потому что при художественном подходе всякое частичное явление становится, если пользоваться математическим сравнением, «связкой плоскостей»: множество жизненных плоскостей неожиданно пересекается в избранной точке». Автор в своем произведении поднимает вопрос о смысле человеческой жизни.

По мнению литературоведа Е.Б. Тагера, повесть Солженицына - «вещь сильная, очень сильная, и – неровная... главное – это пронзительность и цепкость взгляда, властная сила, с которой охватываются и поворачиваются люди и вещи, обретая непререкаемую убедительность – пластическую, психологическую, всяческую... написано рукой большого художника, тому веришь, как веришь той безусловной жизни, которая доступна лишь настоящему искусству».

Солженицын характеризует социальные условия функционирования медицинских учреждений, личные качества медицинских кадров, роль чуткого отношения врача к пациенту, право врача на риск. Автор рассуждает и о главных социальных недостатках советской системы здравоохранения, к числу которых он относит уравниловку, канцелярщину, отсутствие института семейного врача, нехватку практикующих врачей. А.И. Солженицын знакомит читателя с разными людьми, работающими в раковом корпусе, - от санитарок до главврача. Автор подчеркивает решающее значение личных качеств медицинского персонала в лечении пациентов. Автор убежден, что чуткое отношение врача к пациенту – это его прямая профессиональная обязанность. Обращается писатель и к «вечным» проблемам медицины. Он задумывается: какова верхняя цена жизни, стоит ли «...получить жизнь с пищеварением, дыханием, мускульной и мозговой деятельностью – и все. Стать ходячей схемой». Из глубокой древности идет принцип: «Не навреди!». В повести описаны такие

случаи, когда при лечении опухоли желудка применяют гормонотерапию, чреватую для мужчин импотенцией, когда спасение молодой женщины возможно только путем удаления матки, когда рентгеновскому облучению подвергались маленькие дети. Право и обязанность врача идти на риск обосновывается в повести тем, что если отказываться от каждого нового метода, то тогда вообще нельзя приносить повседневную пользу. В то же время совершенно неоправданно рисковать, когда можно применить испытанные, традиционные средства.

Можно сказать, что в повести «Раковый корпус» А.И. Солженицын проявил себя убедительно и как замечательный художник, и как человек, обладающий высоким гражданским долгом. Повесть «Раковый корпус» была переведена практически на все европейские языки и ряд азиатских. В России впервые опубликована в 1990 году.

*Повесть печатается по изданию: Солженицын А.И. Раковый корпус, - С.-П. Изд-во «Азбука-классика», 2006.*

## РАКОВЫЙ КОРПУС

(в сокращении)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### Вообще не рак

Раковый корпус носил и номер тринадцать. Павел Николаевич Русанов никогда не был и не мог быть суеверен, но что-то опустилось в нем, когда в направлении ему написали: «тринадцатый корпус». Вот уж ума не хватило назвать тринадцатым какой-нибудь протезный или кишечный.

Однако во всей республике сейчас не могли ему помочь нигде, кроме этой клиники.

— Но ведь у меня — не рак, доктор? У меня ведь — не рак? — с надеждой спрашивал Павел Николаевич, слегка потрагивая на правой стороне шеи свою злую опухоль, растущую почти по дням, а снаружи все так же обтянутую безобидной белой кожей.

— Да нет же, нет, конечно, — в десятый раз успокоила его доктор Донцова, размашистым почерком исписывая страницы в истории болезни. Когда она писала, она надевала очки — скругленные четырехугольные, как только прекращала писать — снимала их. Она была уже немолода, и вид у нее был бледный, очень усталый.

Это было еще на амбулаторном приеме, несколько дней назад. Назначенные в раковый даже на амбулаторный прием, больные уже не спали ночь. А Павлу Николаевичу Донцова определила лечь, и как можно быстрее.

Не сама только болезнь, непредусмотренная, неподготовленная, налетевшая как шквал на беспечного счастливого человека, - но не меньше болезни угнетало теперь Павла Николаевича то, что приходилось ложиться в эту клинику на общих основаниях, как он лечился уже не помнил когда. Стали звонить — Евгению Семеновичу, и Шендяпину, и Ульмасбаеву, а те в свою очередь звонили, выясняли возможности, и нет ли в этой клинике спецпалаты или нельзя хоть временно организовать маленькую комнату как спецпалату. Но по здешней тесноте не вышло ничего.

И единственное, о чем удалось договориться через главного врача — что можно будет миновать приемный покой, общую баню и передевалку.

И на их голубеньком «москвичике» Юра подвез отца и мать к самым ступенькам Тринадцатого корпуса.

Несмотря на морозец, две женщины в застиранных бумазейных халатах стояли на открытом каменном крыльце — ежились, а стояли.

Начиная с этих неопрятных халатов всё было здесь для Павла Николаевича неприятно: слишком истертый ногами цементный пол крыльца; тусклые ручки двери, захватанные руками больных; вестибюль ожидающих с облезлой краской пола, высокой оливковой пане-

лью стен (оливковый цвет так и казался грязным) и большими рейчатыми скамьями, на которых не помещались и сидели на полу приехавшие издалека больные — и в стеганых ватных халатах, старые узбечки больные - платках, а молодые — в лиловых, красно-зеленых, и все в сапогах и в галошах. Один русский парень лежал, занимая целую скамейку, в расстегнутом, до полу свешенном пальто, сам истощавший, а с животом, опухшим, и непрерывно кричал от боли. И эти его вопли оглушили Павла Николаевича и так задели, будто парень кричал не о себе, а о нем.

Павел Николаевич побледнел до губ, остановился и прошептал:

— Капа! Я здесь умру. Не надо. Вернемся.

Капитолина Матвеевна взяла его руку и сжала:

— Пашенька! дальше?

— Ну, может быть, с Москвой еще как-нибудь устроится...

— Капитолина Матвеевна обратилась к мужу всей своей широкой головой, еще уширенной пышными медными стриженными кудрями:

— Пашенька! Москва — это, может быть, еще две недели, может быть, не удастся. Как можно ждать? Ведь каждое утро она больше!

Жена крепко сжимала его у кисти, передавая бодрость. В делах гражданских и служебных Павел Николаевич был неуклонен и сам, — тем приятней и спокойней было ему в делах семейных всегда полагаться на жену: все важное она решала быстро и верно.

А парень на скамейке раздирался-кричал!

— Может, врачи домой согласятся... Заплатим...— неуверенно отпирался Павел Николаевич.

— Пасик! — внушала жена, страдая вместе с мужем.— Ты знаешь, я сама первая всегда за это: позвать человека и заплатить. Но мы же выяснили: эти врачи не ходят, денег не берут. И у них аппаратура. Нельзя...

Павел Николаевич и сам понимал, что нельзя. Это он говорил только на всякий случай.

По уговору с главврачом онкологического диспансера их должна была ожидать старшая сестра в два часа дня вот здесь, у низа лестницы, по которой сейчас осторожно спускался больной на костылях. Но, конечно, старшей сестры на месте не было, и каморка ее под лестницей была на замочке.

— Ни с кем нельзя договориться! — вспыхнула Капитолина Матвеевна. — За что им только зарплату платят!

Как была, объятая по плечам двумя чернобурками, Капитолина Матвеевна пошла по коридору, где написано было: «В верхней одежде вход воспрещен».

Павел Николаевич остался стоять в вестибюле. Боязливо, легким наклоном головы направо, он ощупывал свою опухоль между ключицей и челюстью. Такое было впечатление, что за полчаса — с тех пор, как он дома в последний раз посмотрел на нее в зеркало, окутывая кашне, — за эти полчаса она будто еще выросла. Павел Николаевич ощущал слабость и хотел бы сесть. Но скамьи казались грязными, и еще надо было просить подвигнуться какую-то бабу в платке с сальным мешком на полу между ног. Даже издали, как бы не достигал до Павла Николаевича смрадный запах от этого мешка.

И когда только научится наше население ездить с чистыми аккуратными чемоданами! (Впрочем, теперь, при опухолях, это уже было все равно.)

Страдая от криков того парня и от всего, что видели глаза, и от всего, что входило через нос, Русанов стоял, чуть прислонясь к выступу стены. Снаружи вошел какой-то мужик, перед собой неся полулитровую банку с наклейкой, почти полную желтой жидкостью. Банку он нес не пряча, а гордо приподняв, как кружку с пивом, выстоянную в очереди. Перед самым Павлом Николаевичем, чуть не протягивая ему эту банку, мужик остановился, хотел спросить, но посмотрел на котиковую шапку и отвернулся, ища дальше, к больному на костылях:

— Милай! Куда это несть, а?

Безногий показал ему на дверь лаборатории.

Павла Николаевича просто тошнило.

Раскрылась опять наружная дверь — и в одном белом халате вошла сестра, не мило-видная, слишком долголицая. Она сразу заметила Павла Николаевича и догадалась, и по-дошла к нему.

— Простите, — сказала она через запышку, румяная до цвета покрашенных губ, так спешила. — Простите, пожалуйста! Вы давно меня ждете? Там лекарства привезли, я принимаю.

Павел Николаевич хотел ответить едко, но сдержался. Уж он рад был, что ожидание кончилось. Подошел, неся чемодан и сумку с продуктами, Юра — в одном костюме, без шапки, как правил машиной — очень спокойный, с покачивающимся высоким светлым чубом.

— Пойдемте! — вела старшая сестра к своей кладовке под лестницей. — Я знаю, Низамутдин Бахрамович мне говорил, вы будете в своем белье и привезли свою пижаму, только еще не ношенную, правда?

— Из магазина.

— Это обязательно, иначе ведь нужна дезинфекция, вы понимаете? Вот здесь вы переоденетесь.

Она отворила фанерную дверь и зажгла свет. В камерке со скошенным потолком не было окна, а висело много графиков цветными карандашами.

Юра молча занес туда чемодан, вышел, а Павел Николаевич вошел переодеваться. Старшая сестра рванулась куда-то еще за это время сходить, но тут подошла Капитолина Матвеевна:

— Девушка, вы что, так торопитесь?

— Да н-немножко...

— Как вас зовут?

— Мита.

— Странное, какое имя. Вы не русская?

— Немка...

— Вы нас ждать заставили.

— Простите, пожалуйста. Я сейчас там принимаю...

— Так вот слушайте, Мита, я хочу, чтоб вы знали. Мой муж... заслуженный человек, очень ценный работник. Его зовут Павел Николаевич.

— Павел Николаевич, хорошо, я запомню.

— Понимаете, он и вообще привык к уходу, а сейчас у него такая серьезная болезнь. Нельзя ли около него устроить дежурство постоянной сестры?

Озабоченное беспокойное лицо Миты еще озаботилось. Она покачала головой:

— У нас кроме операционных на шестьдесят человек три дежурных сестры днем. А ночью две.

— Ну вот, видите! Тут умирать будешь, кричать — не подойдут.

— Почему вы так думаете? Ко всем подходят.

Ко «всем»!.. Если она говорила «ко всем», то, что ей объяснять?

— К тому ж ваши сестры меняются?

— Да, по двенадцать часов.

- Ужасно это обезличенное лечение!.. Я бы сама с дочерью сидела посменно! Я бы постоянную сиделку за свой счет пригласила, — мне говорят— и это нельзя..?

— Я думаю, ми невозможно. Так никто еще не делал. Да там, в палате и стула негде поставить.

— Боже мой, воображаю, что это за палата! Еще надо посмотреть эту палату! Сколько ж там коек?

— Девять. Да это хорошо, что сразу в палату. У нас новенькие лежат на лестницах, в коридорах.

— Девушка, я: буду все-таки просить, вы знаете своих людей, вам легче организовать. Договоритесь с сестрой или с санитаркой, чтобы к Павлу Николаевичу было внимание не казенное...— она уже расщелкнула большой черный ридикюль и вытянула оттуда три пятидесятки.

Недалеко стоявший молчаливый сын отвернулся.

Мита отвела обе руки за спину.

— Нет, нет! Таких поручений...

— Но я же не вам даю! — совала ей в грудь растопыренные бумажки Капитолина Матвеевна. — Но раз нельзя это сделать в законном порядке... Я плачу за работу! А вас прошу только о любезности передать!

— Нет-нет, — холодела сестра. — У нас так не делают.

Со скрипом двери из каморки вышел Павел Николаевич в новенькой зелено-коричневой пижаме и теплых комнатных туфлях с меховой оторочкой. На его почти безволосой голове была новенькая малиновая тубетейка. Теперь, без зимнего воротника и кашне, особенно грозно выглядела его опухоль в кулак на боку шеи. Он и голову уже не держал ровно, а чуть набок.

Сын пошел собрать в чемодан все снятое. Спрятав деньги в ридикюль, жена с тревогой смотрела на мужа:

— Не замерзнешь ли ты?.. Надо было теплый халат тебе взять. Привезу. Да, здесь же шарфик, — она вынула из его кармана. — Обмотай, чтоб не простудить! — В чернобурках и в шубе она казалась втрое мощнее мужа. — Теперь иди в палату, устраивайся. Разложи продукты, осмотрись, продумай, что тебе нужно, я буду сидеть ждать. Спустишься, скажешь — к вечеру все привезу.

Она не теряла головы, она всегда все предусматривала. Она была настоящий товарищ по жизни. Павел Николаевич с благодарностью и страданием посмотрел на нее, потом на сына.

— Ну, так значит едешь, Юра?

— Вечером поезд, папа, — подошел Юра. Он держался с отцом почтительно, но, как всегда, порыв - у него не было никакого, сейчас вот — порыва разлук с отцом, оставляемым в больнице. Он все воспринимал погашено.

— Так, сынок. Значит, это первая серьезная командировка. Возьми сразу правильный тон. Никакого благодушия! Тебя благодушие губит! Всегда помни, что ты — не Юра Русанов, не частное лицо, ты — представитель закона, понимаешь?

Понимал Юра или нет, но Павлу Николаевичу труд, но было сейчас найти более точные слова. Мита мялась и рвалась идти.

— Так я же подожду с мамой, — улыбался Юра.

Ты не прощайся, иди пока, пап.

— Вы дойдете сами? — спросила Мита.

— Боже мой, человек еле стоит, неужели вы не можете довести его до койки? Сумку донести!

— Павел Николаевич сиротливо посмотрел на своих, отклонил поддерживающую руку Миты и, крепко взявшие!, за перила, стал всходить. Сердце его забило, еще не от подъема совсем. Он всходил по ступенькам, как всходят на этот, на как его... ну, вроде трибуны, Чтобы там, наверху, отдать голову.

Старшая сестра, опережая, взбежала вверх с его сумкой, там что-то крикнула Марии и еще прежде, чем Николаевич прошел первый марш, уже сбегала по лестнице другою стороной и из корпуса вон, показывая Капитолине Матвеевне, какая тут ждет ее мужа чуткость.

А Павел Николаевич медленно взошел на лестничную площадку — широкую и глубокую, какие могут быть только в старинных зданиях. На этой серединной площадке, ничуть не мешая движению, стояли две кровати с больными и еще тумбочки при них. Один больной был плох, изнурен и сосал кислородную подушку.

Стараясь не смотреть на его безнадежное лицо, Русанов повернул и пошел выше, глядя вверх. Но и в конце второго марша его не ждало ободрение. Там стояла Мария. Ни улыбки, ни приветия не излучало ее с иконописное лицо. Высокая, худая и плоская, ждала его, как солдат, и сразу же пошла верхним вестибюлем, показывая, куда. Отсюда было несколько дверей, и только их не загораживая, еще стояли кровати с больными. В беззаконном завороте под постоянно настольной лампой стоял письменный столик сестры, ее же процедурный столик, а рядом висел наемный шкаф, с матовым стеклом и красным крестом. Мимо этикеток, еще мимо кровати, и Мария указала длинной сухой рукой:

— Вторая от окна.

И уже торопилась уйти — неприятная черта общей больницы, не постоит, не поговорит.

Створки двери в палату были постоянно распахнуты, и все же, переходя порог, Павел Николаевич ощутил влажно-спертый смешанный, отчасти лекарственный запах — мучительный при его чуткости к запахам.

Койки стояли поперек стен тесно, с узкими проходами по ширине тумбочек, и средний проход вдоль комнаты тоже был двоим разминуться.

В этом проходе стоял коренастый широкоплечий больной в розово-полосчатой пижаме. Толсто и туго была обмотана бинтами вся его шея — высоко, почти под мочки ушей. Белое сжимающее кольцо бинтов не оставляло ему свободы двигать тяжелой тупой головой, буро заросшей.

Этот больной хрипло рассказывал другим, слушавшим с коек. При входе Русанова он повернулся к нему всем корпусом, с которым наглухо сливалась голова, посмотрел без участия и сказал:

— А вот — еще один рачок.

Павел Николаевич не считал нужным ответить на эту фамильярность. Он чувствовал, что и вся комната сейчас смотрит на него, но ему не хотелось ответно оглядывать этих случайных людей и даже здороваться с ними. Он лишь отодвигающим движением повел рукою в воздухе, указывая бурому больному посторониться. Тот пропустил Павла Николаевича и опять так же всем корпусом с приклепанной головой повернулся вослед.

— Слышь, браток, у тебя рак — чего? — спросил он нечистым голосом.

Павла Николаевича, уже дошедшего до своей койки, как заскобило от этого вопроса. Он поднял глаза на нахала, стараясь не выйти из себя (но все-таки плечи его дернулись), и сказал с достоинством:

— Ни чего. У меня вообще не рак.

Бурый просопел и присудил на всю комнату:

— Ну, и дурак! Если б не рак — разве б сюда положили?

## Тревоги врачей

Как это называется? — расстроена? угнетена? — какой-то невидимый, но плотный тяжелый туман входит в грудь, а все наше облегает и сдавливает к середине. И мы чувствуем только это сжатие, эту муть, не сразу даже понимаем, что именно нас так утеснило.

Вот это чувствовала Вера Корнильевна, кончая обход и спускаясь вместе с Донцовой по лестнице. Ей было очень нехорошо.

В таких случаях помогает вслушаться и разобраться: отчего это все? И выставить что-то в заслон.

Вот что было: была боязнь за маму — так звали между собой Людмилу Афанасьевну



три ее ординатора-лучевика. Мамой она приходилась им и по возрасту — им всем близ тридцати, а ей под пятьдесят; и по тому особенному рвению, с которым натаскивала их на работу: она сама была старательна до въедливости и хотела, чтоб ту же старательность и въедливость усвоили все три «дочери»; она была из последних, еще охватывающих и рентгенодиагностику и рентгенотерапию, и вопреки направлению времени и дроблению знаний, добивалась, *чтоб* ее ординаторы тоже удержали обе. Не было секрета, который она таила бы для себя и не поделилась. И когда Вера Гангарт то в одном, то в другом оказывалась живей и острее ее, то «мама» только радовалась. Вера работала у нее уже восемь лет, от самого института — и вся сила, которую она в себе теперь чувствовала, сила вытягивать умоляющих людей из запахнувшей их смерти, — вся произошла от Людмилы Афанасьевны.

Этот Русанов мог причинить «маме» тягучие неприятности. Мудрено голову приставить, а срубить немудрено.

Да если бы только один Русанов! Это мог сделать любой больной с ожесточенным сердцем. Ведь всякая травля, однажды кликнутая, — она не лежит, она бежит. Это — не след по воде, это борозда по памяти. Можно ее потом заглаживать, песочком засыпать, — но крикни опять кто-нибудь хоть спяну: «бей врачей!» или «бей инженеров!» — и палки уже при руках.

Клочки подозрений остались там и сям, проносятся. Совсем недавно лежал в их клинике по поводу опухоли желудка шофер МГБ. Он был хирургический, Вера Корнильевна не имела к нему никакого отношения, но как-то дежурила ночью и делала вечерний обход. Он жаловался на плохой сон. Она назначила ему бромурал, но, узнав от сестры, что мелка расфасовка, сказала: «Дайте ему два порошка сразу!» Больной взял, Вера Корнильевна даже не заметила особенного его взгляда. И так бы не узналось, но лаборантка их клиники была этому шоферу соседка по квартире, и навещала его в палате. Она прибежала к Вере Корнильевне взволнованная: шофер не выпил порошков (почему два сразу?), он не спал ночь, а теперь выспрашивал лаборантку: «Почему ее фамилия Гангарт? Расскажи о ней по подробней. Она отравить меня хотела. Надо ею заняться.»

И несколько недель Вера Корнильевна ждала, что ею займутся. И все эти недели она должна была неуклонно, неошибочно и даже со вдохновением ставить диагнозы, безупречно отмерять дозы лечения и взглядом и улыбкой подбадривать больных, попавших в этот пресловутый раковый круг, и от каждого ожидать взгляда: «А ты не отравительница?»

Шла удрученная с обхода и Людмила Афанасьевна и тоже вспоминала неприятный случай - с Полиной Заводчиковой, скандальнейшей бабой. Не сама она была больна, но сын ее, а она лежала с ним в клинике. Ему вырезали внутреннюю опухоль — и она напала в коридоре на хирурга, требуя выдать ей кусочек опухоли сына. И не будь это Лев Леонидович, пожалуй бы и получила. А дальше у нее была идея — отнести кусочек в другую клинику, там проверить диагноз, и если не сойдется с первоначальным диагнозом Донцовой, то вымогать деньги или в суд подавать.

Не один такой случай был на памяти у каждой из них..

Теперь, после обхода, они шли договорить друг с другом то, чего нельзя было при больных, принять решения.

С помещениями было скудно в Тринадцатом корпусе, и не находилось комнатки для врачей лучевого отделения. Они не помещались ни в операторской «грамма-пушки», ни в операторской длиннофокусных рентгеновских установок на сто двадцать и двести тысяч вольт. Было место в рентгенодиагностическом, но там постоянно темно. И поэтому свой стол, где они разбирались с текущими делами, писали истории болезни и другие бумаги, они держали в лечебном кабинете короткофокусных рентгеновских установок — как будто мало им было за годы и годы их работы тошнотного рентгеновского воздуха с его особенным запахом и разогревом.

Они пришли и сели рядом за большой этот стол без ящиков, грубо остроганный. Вера Корнильевна переключала карточки стационара — женские и мужские разделяя, какие она сама обрабатывает, а о каких надо решить вместе. Людмила Афанасьевна угрюмо смотрела перед собой в стол, чуть выкатив нижнюю губу и постукивая карандашиком.

Вера Корнильевна с участием взглядывала на нее, но не решалась сказать ни о Русанове, ни о Костоглотове, ни об общей врачебной судьбе — потому что понятное повторять ни к чему, а высказаться можно недостаточно тонко, недостаточно осторожно и только задеть, не утешить.

А Людмила Афанасьевна сказала:

— Как же это бесит, что мы бессильны, а?! — (Это могло быть о многих, осмотренных сегодня.) Еще постукала карандашиком. — Но ведь нигде ошибки не было. — (Это могло быть об Азовкине, о Мурсалимове.) — Мы когда-то шатнулись в диагнозе, но лечили верно. И меньшей дозы мы дать не могли тоже. Нас погубила бочка.

Вот как! — она думала о Сибгатове! Бывают же такие неблагоприятные болезни, что тратишь на них утроенную изобретательность, а спасти, больного нет сил. Когда Сибгатов впервые принесли на носилках, рентгенограмма показала полное разрушение почти всего крестца. Шатание, было в том, что даже с консультацией профессора признали саркому кости, и лишь потом постепенно выявили, что это была гигантоклеточная опухоль, когда в кости появляется жижа, и вся кость заменяется желеподобной тканью. Однако, лечение совпало.

Крестец нельзя отнять, нельзя выпилить — это камень, положенный во главу угла. Оставалось — рентгено-облучение и обязательно сразу большими дозами - меньшие не могли помочь. И Сибгатов выздоровел! — крестец укрепился. Он выздоровел, но от бычьих доз рентгена все окружающие ткани стали непомерно чувствительны и расположены к образованию новых, злокачественных опухолей. И так от ушиба у него вспыхнула трофическая язва. И сейчас, когда уже кровь его и ткани его отказывались принять рентген, — сейчас бушевала новая опухоль, и нечем было ее сбить, ее только держали.

Для врача это было сознание бессилия, несовершенства методов, а для сердца — жалость, самая обыкновенная жалость: вот есть такой кроткий, вежливый, печальный татарин Сибгатов, так способный к благодарности, но все, что можно для него сделать, это — продлить его страдания.

Сегодня утром Низамутдин Бахрамович вызывал. Донцову по специальному этому поводу: ускорить оборачиваемость коек, а для того во всех неопределенных случаях, когда не обещается решительное улучшение, больных выписывать. И Донцова была согласна с этим: ведь в приемном вестибюле у них постоянно сидели ожидающие, даже по несколько суток, а из районных онкопунктов шли просьбы разрешить прислать больного. Она была согласна в принципе, и никто, как Сибгатов, так ясно не подпадал под этот принцип, — а вот выписать его она не могла. Слишком долгая изнурительная борьба велась за этот один человеческий крестец, чтоб уступить теперь простому разумному рассуждению, чтоб отказать — даже от простого повторения ходов с ничтожной надеждой, что ошибется все-таки смерть, а не врач. Из-за Сибгатова у Донцовой даже изменилось направление научных интересов: она углубилась в патологию костей из одного порыва — спасти Сибгатова. Может быть, в приемной сидели больные с не меньшей нуждой — а вот она не могла отпустить Сибгатова и будет хитрить перед главврачом, сколько сможет.

И еще настаивал Низамутдин Бахрамович не задерживать обреченных. Смерть их должна происходить по возможности вне клиники — это тоже увеличит оборачиваемость коек, и меньше угнетения будет оставшимся, и улучшится статистика, потому что они будут выписаны не по причине смерти, а лишь «с ухудшением».

По этому разряду и выписывался сегодня Азовкин. Его история болезни, за месяцы превратившаяся уже в толстую тетрадочку из коричневатых склеенных листиков с грубой выделкой, со встрявшими белесоватыми кусочками древесины, задирающими перо, содер-

жала много фиолетовых и синих цифр и строчек. И оба врача видели сквозь эту подклеенную тетрадочку вспотевшего от страданий городского мальчика, как он сживал на койке, сложенный в погибель, но читаемые тихим мягким голосом цифры были неумолиме раскатов трибунала, и обжаловать их не мог никто. Тут было двадцать шесть тысяч «эр» облучения, из них двенадцать тысяч в последнюю серию, пятьдесят инъекций синэстрола, семь трансфузий крови, и все равно лейкоцитов! только три тысячи четыреста, эритроцитов... Метастазы рвали оборону, как танки, они уже твердели в средостении, появились в легких, уже воспаляли узлы над ключицами, но организм не давал помощи, чем их остановить.

Врачи переглядывали и дописывали отложенные карточки, а сестра-рентгенолаборант тут же продолжала процедуры для амбулаторных. Вот она ввела четырехлетнюю девочку в синем платье, с матерью. У девочки на лице были красные сосудистые опухолечки, они еще были малы, они еще не были злокачественны, но принято было облучать их, чтоб они не росли и не переродились. Сама же девочка мало заботилась, не знала о том, что, может быть, на крохотной губке своей несла уже тяжелую гирю смерти. Она не первый раз была здесь, уже не боялась, щебетала, тянулась к никелированным деталям аппаратов и радовалась блестящему миру. Весь сеанс ей был три минуты, но эти три минуты она никак не хотела посидеть неподвижно под точно направленной на больное место узкой трубкой. Она тут же изворачивалась, отклонялась, и рентгентехник, нервничая, выключала и снова и снова наводила на нее трубку. Мать держала игрушку, привлекая внимание девочки, и обещала ей еще другие подарки, если будет сидеть спокойно. Потом вошла мрачная старуха и долго разматывала платок и снимала кофту. Потом пришла из стационара женщина в сером халате с шариком цветной опухоли на ступне — просто наколола гвоздем в туфле — и весело разговаривала с сестрой, никак не предполагая, что этот сантиметровый пустячный шарик, который ей не хотят почему-то отрезать, есть королева злокачественных опухолей — меланобластома.

Врачи невольно отвлекались и на этих больных, осматривая их и давая советы сестре, так уже перешло время, когда надо было Вере Корнильевне идти делать; эмбихинный укол Русанову, — и тут она положила перед Людмилой Афанасьевной последнюю нарочно ею так задержанную карточку Костоглотова.

— При таком запущенном исходном состоянии — такое блистательное начало, — сказала она. — Только очень уж упрямый. Как бы он, правда, не отказался.

— Да попробует он только! — пристукнула Людмила Афанасьевна. Болезнь Костоглотова была та самая, что у Азовкина, но так обнадежливо поворачивалось лечение, и еще б он смел отказаться!

У вас — да, — согласилась сразу Гангарт. — А я уверена, что его переупрямлю. Может, прислать его к вам? — Она счищала с ногтя какую-то прилепившую соринку. — У меня с ним сложились довольно трудные отношения... Не удастся категорично с ним говорить. Не знаю, почему.

## История анализа

Прежде всего Людмила Афанасьевна повела Костоглотова в аппаратную, откуда только что вышла больная после сеанса. С восьми утра почти непрерывно работала здесь большая ставосьмидесятитысячевольтная рентгеновская трубка, свисающая со штатива на подвесах, а форточка была закрыта, и весь воздух был наполнен чуть сладковатым, чуть противным рентгеновским теплом.

Этот разогрев, как ощущали его легкие (а был он не просто разогрев), становился противен больным после полудюжины, после десятка сеансов, Людмила же Афанасьевна привыкла к нему. За двадцать лет работы здесь, когда трубки и совсем никакой защиты не имели, (она попадала и под провод высокого напряжения, едва убита не была); Донцова каждый день дышала воздухом рентгеновских кабинетов, и больше часов, чем до-

пустимо, сидела на диагностике. И, несмотря на все экраны и перчатки, она получила на себя, наверное, больше «эр», чем самые терпеливые и тяжелые больные, только никто этих «эр» не подсчитывал, не складывал.

Она спешила — но не только, чтоб выйти скорей, а нельзя было лишних минут задерживать рентгеновскую установку. Показала Костоготову лечь на твердый топчан под трубку и открыть живот. Какой-то щекочущей прохладной кисточкой водила ему по коже, что-то очерчивая и как будто выписывая цифры.

И тут же сестре-рентгентехнику объяснила схему квадрантов и как подводить трубку на каждый квадрант, потом велела ему перевернуться на живот и мазала еще на спине. Объявила:

— После сеанса — зайдете ко мне.

И ушла. А сестра опять велела ему животом вверх и обложила первый квадрант простынями, потом ста носить тяжелые коврики из просвинцованной резины закрывать ими все смежные места, которые не должны были сейчас получить прямого удара рентгена. Гибкие коврики приятно-тяжело облегли тело.

Ушла и сестра, затворила дверь, и видела его теперь только через окошечко в толстой стене. Раздалось тихое гудение, засветились вспомогательные лампы, раскалилась главная трубка.

И через оставленную клетку кожи живота, а потом через прослойки и органы, которым названия не знал сам обладатель, через туловище жабы-опухоли, через желудок или кишки, через кровь, идущую по артериям и венам, через лимфу, через клетки, через позвоночник; малые кости, и еще через прослойки, сосуды и кожу там, на спине, потом через настил топчана, четырехсантиметровые доски пола, через лаги, через засыпку и дальше, уходя в самый каменный фундамент или в землю, — полились жесткие рентгеновские лучи, непредставимые человеческому уму вздрагивающие векторы электрического и магнитного полей, или более понятные снаряды-кванты, разрывающие и решетящие все, что попадалось им на пути.

И этот варварский расстрел крупными квантами происходивший беззвучно и неосязаемо для расстреливаемых тканей, за двенадцать сеансов вернул Костоготову намерение жить, и вкус жизни, и аппетит, и даже веселое настроение. Со второго и третьего прострела освободясь от болей, делавших ему невыносимым существование, он потянулся узнать и понять, как же пронизывающие снарядики могут бомбить опухоль и не трогать остального тела. Костоготов не мог вполне податься лечению, пока для себя не понял его идеи и не поверил в нее.

И он постарался выведать идею рентгенотерапии от Веры Корнильевны, этой милой женщины, обезоружившей его предвзятость и настороженность с первой встречи под лестницей, когда он решил, что пусть хоть пожарниками пиками и милицией его вытаскивают, а доброй волей он не уйдет.

— Вы не бойтесь, объясните, — успокаивал ее. - Я как тот сознательный боец, который должен понимать боевую задачу, иначе он не воюет. Как это может быть, чтобы рентген разрушал опухоль, а остальных тканей не трогал?

Все чувства Веры Корнильевны еще прежде глаз выражались в ее отзывчивых легких губах. И колебание выразилось в них же.

(Что она могла ему рассказать об этой слепой артиллерии, с тем же удовольствием лупящей по своим, как и по чужим?)

— Ох, не полагается... Ну, хорошо. Рентген, конечно, разрушает все подряд. Только нормальные ткани быстро восстанавливаются, а опухолевые нет. Правду ли, неправду ли сказала, но Костоготову это понравилось.

— О! На таких условиях я играю. Спасибо. Теперь буду выздоравливать!

И, действительно, выздоравливал. Охотно ложился под рентген и во время сеанса еще особо внушал клетками опухоли, что они — разрушаются, что им — хана.

А то и вовсе думал под рентгеном, о чем попало, даже дремал.

Сейчас вот он обошел глазами многие висящие шланги и провода и хотел для себя объяснить, зачем их столько, и если есть тут охлаждение, то водяное или масляное. Но мысль его на этом не задержалась, и ничего он себе не объяснил.

Он думал, оказывается, о Вере Гангарт. Он думал, вот такая милая женщина никогда не появится у них в Уш-Тереке. И все такие женщины обязательно замужем. Впрочем, помня этого мужа в скобках, он думал о ней вне этого мужа. Он думал, как приятно было бы поболтать с ней не мельком, а долго-долго, хоть бы вот походить по двору клиники. Иногда напугать ее резкостью суждения — она забавно теряется. Милость ее всякий раз светит в улыбке как солнышко, когда она только попадет в коридоре навстречу или войдет в палату. Она не по профессии добра, она просто добра. И — губы...

Трубка зудела с легким призвоном.

Он думал о Вере Гангарт, но думал и о Зое. Оказалось, что самое сильное впечатление от вчерашнего вечера, выплывшее и с утра, было от ее дружно подобранных грудей, составлявших как бы полочку, почти горизонтальную. Во время вчерашней болтовни лежала на столе около них большая и довольно тяжелая линейка для расчерчивания ведомостей — не фанерная линейка, а из струганой досочки. И весь вечер у Костоглового был соблазн — взять эту линейку и положить на полочку ее грудей — проверить: соскользнет или не соскользнет. Ему казалось, что — не соскользнет.

Еще он с благодарностью думал о том тяжелом просвинцованном коврике, который кладут ему ниже живота. Этот коврик давил на него и радостно подтверждал: «Защиту, не бойся!»

А может быть, нет? А может, он недостаточно толст? А может, его не совсем аккуратно кладут?

Впрочем, за эти двенадцать дней Костоглов не просто вернулся к жизни — к еде, движению и веселому настроению. За эти двенадцать дней он вернулся и к ощущению, самому красному в жизни, но которое за последние месяцы в болях совсем потерял. И, значит, свинец держал оборону!

А все-таки надо было выскакать из клиники, пока цел.

Он и не заметил, как прекратилось жужжание, и стали остывать розовые нити. Вошла сестра, стала снимать с чего щитки и простыни. Он спустил ноги с топчана и тут хорошо увидел на своем животе фиолетовые клетки и цифры.

— А как же мыться?

— Только с разрешения врачей.

— Удобненькое устройство. Так это что мне — на месяц заготовили?

Он пошел к Донцовой. Та сидела в комнате короткофокусных аппаратов и смотрела на просвет большие рентгеновские пленки. Оба аппарата были выключены, обе форточки открыты, и больше не было никого.

— Садитесь, — сказала Донцова сухо.

Он сел.

Она еще продолжала сравнивать две рентгенограммы.

Хотя Костоглов с ней и спорил, но все это была его оборона против излишеств медицины, разработанных в инструкции. А сама Людмила Афанасьевна вызывала у него доверие — не только мужской решительностью, четкими командами в темноте у экрана, и возрастом, и безусловной преданностью работе одной, но больше всего тем, как она с первого дня уверенно щупала контур опухоли и шла точно-точно по нему. О правильности щупа ему говорила сама опухоль, которая тоже что-то чувствовала. Только больной может оценить, верно ли врач понимает опухоль пальцами. Донцова так щупала его опухоль, что ей и рентген был не нужен.

Отложив рентгенограммы и сняв очки, она сказала:

— Костоглов. В вашей истории болезни существенный пробел. Нам нужна точная

уверенность в природе вашей первичной опухоли. - Когда Донцова переходила на медицинскую речь, ее манера говорить очень убыстрялась: длинные фразы и термины проскакивали одним дыханием. — То, что вы рассказываете об операции в позапрошлом году, и положение нынешнего метастаза сходятся к нашему диагнозу. Но все-таки не исключаются и другие возможности. А это нам затрудняет лечение. Взять пробу сейчас из вашего метастаза, как вы понимаете, невозможно.

— Слава Богу. Я бы и не дал.

— Я все-таки не понимаю— почему мы не можем получить стеклов с первичным препаратом. Вы-то сами вполне уверены, что гистологический анализ был?

— Да, уверен.

— Но почему в таком случае вам не объявили результата? - строчила она скороговоркой делового человека. О некоторых словах надо было догадываться.

А вот Костоглотов торопиться отвык:

— Результата? Такие у нас были бурные события, Людмила Афанасьевна, такая обстановка, что честное слово... Просто стыдно было о моей биопсии спрашивать. Тут головы летели. Да я и не понимал, зачем биопсия - Костоглотов любил, разговаривая с врачами употреблять их термины.

— Вы не понимали, конечно. Но врачи-то должны были понять, что этим не играют.

— Врачи?

Он посмотрел на сединку, которую она не прятала и не закрашивала, охватил собранное деловое выражение ее несколько скуластого лица.

Как идет жизнь, что вот сидит перед ним его соотечественница, современница и доброжелатель — и на общем их родном русском языке он не может объяснить ей самых простых вещей. Слишком издали начинать надо, что ли. Или слишком рано оборвать.

— И врачи, Людмила Афанасьевна, ничего поделать не могли. Первый хирург, украинец, который назначил мне операцию и подготовил меня к ней, был взят на этап в самую ночь под операцию.

— И что же?

— Как что? Увезли.

— Но позвольте, когда его предупредили, он мог...

Костоглотов рассмеялся откровеннее.

— Об этапе никто не предупреждает, Людмила Афанасьевна. В том-то и смысл, чтобы выдернуть человека внезапно.

Донцова нахмурилась крупным лбом. Костоглотов говорил какую-то несообразицу.

— Но если у него был операционный больной?..

— Ха! Там принесли еще почище меня. Один литовец проглотил алюминиевую ложку, столовую.

— Как это может быть?!

— Нарочно. Чтоб уйти из одиночки. Он же не знал, что хирурга увозят.

— Ну, а... потом? Ведь ваша опухоль быстро росла?

— Да, прямо-таки от утра до вечера, серьезно... Потом дней через пять привезли с другого лагпункта другого хирурга, немца, Карла Федоровича. Во-от... Ну, он осмотрелся на новом месте и еще через денек сделал мне операцию. Но никаких этих слов: «злокачественная опухоль», «метастазы» — никто мне не говорил. Я их не знал.

— Но биопсию он послал?

— Я тогда ничего не знал, никакой биопсии. Я лежал после операции, на мне — мешочки с песком. К концу недели стал учиться спускать ноги с кровати, стоять — вдруг собирают из лагеря еще этап, человек семьсот, называется «бунтарей». И в этот этап попадает мой смиреннейший Карл Федорович. Его взяли из жилого барака, не дали обойти больных последний раз.

— Дикость, какая!

— Да это еще не дикость. — Костоглотов оживился больше обычного. — Прибежал мой дружок, шепнул, что я тоже в списке на тот этап, начальница санчасти мадам Дубинская дала согласие. Дала согласие, зная, что я ходить не могу, что у меня швы не сняты, вот сволочь! Простите... Ну, я твердо решил: ехать в телячьих вагонах с неснятыми швами — загноится, это смерть. Сейчас за мной придут, скажу: стреляйте тут, на койке, никуда не поеду. Твердо! Но за мной не пришли. Не потому, что смиловалась мадам Дубинская, она еще удивлялась, что меня не отправили. А разобрались в учетно-распределительной части: сроку мне оставалось меньше года. Но я отвлекся... Так вот я подошел к окну и смотрю. За штакетником больницы — линейка, метров двадцать от меня, и на нее уже готовых с вещами сгоняют на этап. Откуда Карл Федорыч меня в окне увидал и кричит: «Костоглотов! Откройте форточку!» Ему надзор: «Замолчи, падло!» А он: «Костоглотов! Запомните! Это очень важно! Срез вашей опухоли я направил на гистологический анализ в Омск, на кафедру патанатомии, запомните!» ту и... угнали их. Вот мои врачи, ваши предшественники. В чем они виноваты?

Костоглотов откинулся в стуле. Он разволновался. Его охватило воздухом той больницы, не этой.

Отбирая нужное от лишнего (в рассказах больных всегда много лишнего), Донцова вела свое:

— Ну, и что ж ответ из Омска? Был? Вам объявили? Костоглотов пожал остроуголыми плечами.

— Никто ничего не объявлял. Я и не понимал, зачем мне это Карл Федорович крикнул. Только вот прошлой осенью, в ссылке, когда меня уж очень забрало, один старичок-гинеколог, мой друг, стал настаивать, чтоб я запросил. Я написал в свой лагерь. Ответа не было. Тогда написал жалобу в лагерное управление. Месяца через два ответ пришел такой: «При тщательной проверке вашего архивного дела установить анализа не представляется возможности». Мне так тошно уже становилось от опухоли, что переписку эту я бы бросил, но поскольку все равно и лечиться меня комендатура не выпускала, — я написал наугад и в Омск, на кафедру патанатомии. И оттуда быстро, за несколько дней, пришел ответ — вот уже в январе, перед тем, как меня выпустили сюда.

— Ну вот, вот! Этот ответ! Где он?!

— Людмила Афанасьевна, я сюда уезжал — у меня... Безразлично все. Да и бумажка без печати, без штамба, это просто письмо от лаборанта кафедры. Она любезно пишет, что именно от той даты, которую я называю, именно из того поселка поступил препарат, и анализ был сделан и подтвердил вот... подозреваемый вами к опухоли. И что тогда же ответ был послан запрашивающей больнице, то есть нашей лагерной. И вот это очень похоже на тамошние порядки, я вполне верю: ответ пришел, никому не был нужен, и мадам Дубинская...

Нет, Донцова решительно не понимала такой логики! Руки её были скрещены, и она нетерпеливо прихлопнула горстями повыше локтей.

— Да ведь из такого ответа следовало, что вам немедленно нужна рентгенотерапия!

— Ко-го? — Костоглотов шутливо прижмурился и посмотрел на Людмилу Афанасьевну. — Рентгенотерапия?

Ну вот, он четверть часа рассказывал ей — и что же рассказал? Она снова ничего не понимала.

— Людмила Афанасьевна! — воззвал он. — Нет, чтоб тамошний мир вообразить... Ну, о нём совсем не распространено представление! Какая рентгенотерапия! Ещё боль у меня не прошла на месте операции, вот как сейчас у Ахмаджана, а я уже был на общих работах и бетон заливал. И не думал, что могу быть чем-то недоволен. Вы не знаете, сколько весит глухой ящик с жидким бетоном, если его вдвоём поднимать?

Она опустила голову.

— Ну пусть. Но вот теперь этот ответ с кафедры патанатомии — почему же он без печати? Почему он — частное письмо?

— Ещё спасибо, что хоть частное письмо! — уговаривал Костоглотов. — Попался добрый человек. Всё-таки добрых людей среди женщин больше, чем среди мужчин, я замечаю... А частное письмо — из-за нашей треклятой секретности! Она и пишет дальше: однако препарат опухоли был прислан к нам безымянно, без указания фамилии больного. Поэтому мы не можем дать вам официальной справки и стекла препарата тоже не можем выслать. — Костоглотов начал раздражаться. Это выражение быстрее других завладевало его лицом. — Великая государственная тайна! Идиоты! Трясутся, что на какой-то там кафедре узнают, что в каком-то лагере томится некий узник Костоглотов. Брат Людовика! Теперь анонимка будет там лежать, а вы будете голову ломать, как меня лечить. Зато тайна!

Донцова смотрела твёрдо и ясно. Она не уходила от своего.

— Что ж, и это письмо я должна включить в историю болезни.

— Хорошо. Вернусь в свой аул — и сейчас же вам его вышлю.

— Нет, надо быстрее. Этот ваш гинеколог не найдёт, не вышлет?

— Да найти-то найдёт... А сам я когда поеду? — Костоглотов смотрел исподлобья.

— Вы поедете тогда, — с большим значением отвесила Донцова, — когда я сочту нужным прервать ваше лечение. И то на время.

Этого мига и ждал Костоглотов в разговоре! Его-то и нельзя было пропускать без боя!

— Людмила Афанасьевна! Как бы нам установить не этот тон взрослого с ребёнком, а — взрослого со взрослым? Серьёзно. Я вам сегодня на обходе...

— Вы мне сегодня на обходе, — погрозило крупное лицо Донцовой, — устроили позорную сцену. Что вы хотите? — будоражить больных? Что вы им в голову вколачиваете?

— Что я хотел? — Он говорил не горячася, тоже со значением, и стул занимал прочно, спиной о спинку. — Я хотел только напомнить вам о своём праве распоряжаться своей жизнью. Человек — может распоряжаться своей жизнью, нет? Вы признаёте за мной такое право?

Донцова смотрела на его бесцветный извилистый шрам и молчала. Костоглотов развивал:

— Вы сразу исходите из неверного положения: раз больной к вам поступил, дальше за него думаете вы. Дальше за него думают ваши инструкции, ваши пятиминутки, программа, план и честь вашего лечебного учреждения. И опять я — песчинка, как в лагере, опять от меня ничего не зависит.

— Клиника берёт с больных письменное согласие перед операцией, — напомнила Донцова.

(К чему это она об операции?... Вот уж на операцию он ни за что!)

— Спасибо! За это — спасибо, хотя она так делает для собственной безопасности. Но кроме операции — ведь вы ни в чём не спрашиваете больного, ничего ему не поясняете! Ведь чего стоит один рентген!

— О рентгене — где это вы набрались слухов? — догадывалась Донцова. — Не от Рабиновича ли?

— Никакого Рабиновича я не знаю! — уверенно мотнул головой Костоглотов. — Я говорю о принципе.

(Да, именно от Рабиновича он слышал эти мрачные рассказы о последствиях рентгена, но обещал его не выдавать. Рабинович был амбулаторный больной, уже получивший двести с чем-то сеансов, тяжело переносивший их и с каждым десятком приближавшийся, как он ощущал, не к выздоровлению, а к смерти. Там, где жил он — в квартире, в доме, в городе, никто его не понимал: здоровые люди, они с утра до вечера бегали и думали о каких-то удачах и неудачах, казавшихся им очень значительными. Даже своя семья уже устала от него.



Только тут, на крылечке противоракового диспансера, больные часами слушали его и сочувствовали. Они понимали, что это значит, когда окостенел подвижный треугольник «дужки» и сгустились рентгеновские рубцы по всем местам облучения.)

Скажите, он говорил о принципе!.. Только и не хватало Донцовой и ее ординаторам проводить дни в беседах с больными о принципах лечения! Когда б тогда и лечить!

Но такой дотошный любознательный упрямец, как этот, или как Рабинович, изводивший ее выяснениями о ходе болезни, попадались на пятьдесят больных один, не миновать было тяжкого жребия иногда с ними объясниться. Случай же с Костоглотовым был особый и медицински: особый в том небрежном, как будто заговорно-зловонном ведении болезни до нее, когда он был допущен, дотолкнут до самой смертной черты, — и особый же в крутом исключительно-быстром оживлении, которое под рентгеном у него началось.

— Костоглотов! За двенадцать сеансов рентген делал вас живым человеком из мертвеца — и как же вы смеете руку заносить на рентген? Вы жалуетесь, что вас в лагере и ссылке не лечили, вами пренебрегали — и тут же вы жалуетесь, что вас лечат и о вас беспокоятся, где логика?

— Получается, логики нет, — потряс черными кудлами Костоглотов. — Но может быть, ее и не должно быть, Людмила Афанасьевна? Ведь человек же — очень сложное существо, почему он должен быть объяснен логикой? или там экономикой? или физиологией? Да, я приехал к вам мертвецом, и просился к вам, и лежал на полу около лестницы — и вот вы делаете логический вывод, что я приехал к вам спасаться л ю б о й ценой. А я не хочу — любой ценой!! Такого и на свете нет ничего, за что б я согласился платить л ю б у ю цену! — Он стал спешить, как не любил, но Донцова клонила его перебить, а еще тут много было высказать. — Я приехал к вам за облегчением страданий! Я говорил: мне очень больно, помогите! И вы помогли! И вот мне не больно. Спасибо! Спасибо! Я — ваш благодарный должник. Только теперь — отпустите меня! Дайте мне, как собаке, убраться к себе в конуру и там отлежаться и отлежаться,

— А когда вас снова подопрет — вы опять приползете к нам?

— Может быть. Может быть, опять приползу.

— И мы должны будем вас принять?

— Да!! И в этом я вижу ваше милосердие! А вас беспокоит что? — процент выздоровления? отчетность? Как вы запишите, что отпустили меня после пятнадцати сеансов, если Академия медицинских наук рекомендует не меньше шестидесяти?

Такой сбивчивой ерунды она еще никогда не слышала. Как раз с точки зрения отчетности очень выгодно было его сейчас выписать с «резким улучшением», а через пятьдесят сеансов этого не будет.

А он все толк свое:

— С меня довольно, что вы опухоль попятили. И остановили. Она — в обороне. И я в обороне. Прекрасно. Солдату лучше всего живется в обороне. А вылечить «до конца» вы все равно не сможете, потому что никакого конца у ракового лечения не бывает. Да и вообще все процессы природы характеризуются асимптотическим насыщением, когда большие усилия приводят уже к малым результатам. Вначале моя опухоль разрушалась быстро, теперь пойдет медленно — так отпустите меня с остатками моей крови.

— Где вы этих сведений набрались, интересно? — сощурилась Донцова.

— А я, знаете, с детства любил подчитывать медицинские книги.

— Но что именно вы боитесь в нашем лечении?

— Чего мне бояться — я не знаю, Людмила Афанасьевна, я не врач. Это, может быть, знаете, вы, да не хотите еще объяснить. Вот, например, Вера Корнильевна хочет назначить мне колоть глюкозу...

— Обязательно.

— А я — не хочу.

— Да почему же?

— Во-первых, это неестественно. Если мне уж очень нужен виноградный сахар — так давайте мне его в рот! Кто это придумали в двадцатом веке: каждое лекарство — уколом? Где это видано в природе? у животных? Пройдет сто лет — над нами, как над дикарями, будут смеяться. А потом — как колют? Одна сестра попадет сразу, а другая истычет весь этот вот... локтевой сгиб. Не хочу! Потом я вижу, что вы подбираетесь к переливанию мне крови...

— Вы радоваться должны! Кто-то отдает вам свою кровь! Это — здоровье, это — жизнь!

— А я не хочу! Одному чечену тут при мне перелили, его потом на койке подбрасывало три часа, говорят: «неполное совмещение». А кому-то ввели кровь мимо вены, у него шишка на руке вскочила. Теперь компрессы и парят целый месяц. А я не хочу.

— Но без переливания крови нельзя давать много рентгена.

— Так не давайте!! Почему вообще вы берете себе право решать за другого человека? Ведь это — страшное право, оно редко ведет к добру. Бойтесь его! Оно не дано и врачу.

— Оно именно дано врачу! В первую очередь — ему! — убежденно вскрикнула Донцова, уже сильно рассерженная. — А без этого права не было бы и медицины никакой!

— А к чему это ведет? Вот скоро вы будете делать доклад о лучевой болезни, так?

— Откуда вы знаете? — изумилась Людмила Афанасьевна.

— Да это легко предположить...

(Просто лежала на столе толстая папка с машинописными листами. Надпись на папке приходилась Костоглотову вверх ногами, но за время разговора он прочел ее и обдумал.)

—...легко догадаться. Потому что появилось новое название и, значит, надо делать доклады. Но ведь и двадцать лет назад вы облучали какого-нибудь такого Костоглотова, который отбивался, что боится лечения, а вы уверяли, что все в порядке, потому что еще не знали лучевой болезни. Так и я теперь: еще не знаю, чего мне надо бояться, но — отпустите меня! Я хочу выздоравливать собственными силами. Вдруг да мне станет лучше, а?

Есть истина у врачей: больного надо не пугать, больного надо подбодрять. Но такого назойливого больного, как Костоглотов, надо было, напротив, ошеломить.

— Лучше? Не станет! Могу вас заверить, — она прихлопнула четырьмя пальцами по столу как хлопущей муху, — не станет! Вы, — она еще соразмеряла удар, — умрете!

И смотрела, как он вздрогнет. Но он только затих.

— У вас будет судьба Азовкина. Видели, да? Ведь у вас с ним одна болезнь и запущенность почти одинаковая. Ахмаджана мы спасаем — потому что его стали облучать сразу после операции. А у вас потеряно два года, вы думайте об этом! И нужно было сразу делать вторую операцию — ближнего по ходу следования лимфоузла, а вам пропустили, учитите. И метастазы потекли! Ваша опухоль — из самых опасных видов рака! Она опасна тем, что скоротечна и резко злокачественна, то есть очень быстро дает метастазы. Ее смертность совсем недавно составляла девяносто пять процентов, вас устраивает? Вот, я вам покажу...

Она вытащила папку из груды и начала рыться в ней.

Костоглотов молчал. Потом заговорил, но тихо, совсем не так уверенно, как раньше:

— Откровенно говоря, я за жизнь не очень-то держусь. Не только впереди у меня ее нет, но и сзади не было. И если проглянуло мне пожить полгодика — надо их и прожить. А на десять-двадцать лет планировать не хочу. Лишнее лечение — лишнее мучение. Начнется рентгеновская тошнота, рвоты — зачем?..

— Нашла! Вот! Это наша статистика. — И она повернула к нему двойной тетрадь-

ный листик. Через весь развернутый лист шло название его опухоли, а потом над левой стороной: «Уже умерли», над правой: «Еще живы». И в три колонки писались фамилии — в разное время, карандашами, чернилами. В левой стороне помарок не было, а в правой — вычеркивания, вычеркивания, вычеркивания... — Так вот. При выписке мы записываем каждого в правый список, а потом переносим в левый... Но все-таки есть счастливицы, которые остаются в правом, видите?

Она дала ему еще посмотреть список и подумать.

— Вам кажется, что вы выздоровели! — опять приступила энергично. — Вы — больны, как и были. Каким пришли к нам, таким и остались. Единственное, что выяснилось — что с вашей опухолью можно бороться! Что не все еще погибло. И в этот момент вы заявляете, что уйдете? Ну, уходите! Уходите! Выписывайтесь хоть сегодня! Я сейчас дам распоряжение... А сама занесу вас вот в этот список. Еще не умерших.

Он молчал.

— А? Решайте!

— Людмила Афанасьевна, — примирительно выдвинул Костоглотов. — Ну, если нужно какое-то разумное количество сеансов — пять, десять...

— Не пять и не десять! Ни одного! Или — столько, сколько нужно! Например, с сегодняшнего дня — по два сеанса, а не по одному. И все виды лечения, какие понадобятся! И курить бросите! И еще обязательное условие: переносить лечение не только с верой, но с радостью! С радостью! Вот только тогда вы вылечитесь!

Он опустил голову. Отчасти-то сегодня он торговался с запросом. Он опасался, как бы ему не предложили операцию — но вот и не предлагали. А облучиться еще можно, ничего. В запасе у Костоглотова было секретное лекарство — иссык-кульский корень, и он рассчитывал уехать к себе в глушь не просто, а полечиться корнем. Имея корень, он вообще-то приезжал в этот раковый диспансер только для пробы.

А доктор Донцова, видя, что победила, сказала великодушно:

— Хорошо, глюкозы давать вам не буду. Вместо нее — другой укол, внутримышечный,

Костоглотов улыбнулся:

— Ну, это я вам уступаю.

— И, пожалуйста: ускорьте пересылку омского письма.

Он шел от нее и думал, что идет между двумя вечностями. С одной стороны — список обреченных умереть. С другой стороны - в е ч н а я ссылка. Вечная,, как звезды. Как галактики.

## Рак берёзы

Все-таки субботний вечер с его незримым облегчением как-то чувствовался и в палатах ракового корпуса, хотя неизвестно почему: ведь от болезней своих больные не освобождались на воскресенье, ни тем более от размышлений о них. Освобождались они от разговоров с врачами и от главной части лечения — и вот этому-то, очевидно, и рада была какая-то вечно-детская струнка в человеке.

Когда после разговора с Асей Демка, осторожно ступая на ногу, занывающую все сильней, одолел лестницу и вошел в свою палату, тут было оживленно, как никогда.

Не только свои все и Сибгатов были в сборе, но еще и гости с первого этажа, среди них знакомые, как старый кореец Ни, отпущенный из радиологической палаты (пока в языке у него стояли радиевые иголки, его держали под замком, как банковую ценность), и совсем новенькие. Один новичок — русский, очень представительный мужчина с высоким серым зачесом, с пораженным горлом — только шепотом он говорил, сидел как раз на Демкиной койке. И все слушали — даже Мурсалимов и Егенбердиев, кто и по-русски не

понимал.

А речь держал Костоглотов. Он сидел не на койке, а выше, на своем подоконнике, и этим тоже выражал значительность момента. (При строгих сестрах ему б так не дали рас-сиживаться, но дежурил медбрат Тургун, свойский парень, который правильно понимал, что от этого медицина не перевернется.) Одну ногу в носке Костоглотов поставил на свою койку, а вторую, согнув в колене, положил на колено первой, как гитару, и, чуть покачиваясь, возбужденный, громко на всю палату рассуждал:

— Вот был такой философ Декарт. Он говорил: все подвергай сомнению!

— Но это не относится к нашей действительности! — напомнил Русанов, поднимая палец.

— Нет, конечно, нет, — даже удивился возражению Костоглотов. — Я только хочу сказать, что мы не должны, как кролики, доверяться врачам. Вот, пожалуйста, я читаю книгу, — он приподнял с подоконника раскрытую книгу большого формата, — Абрикосов и Струков, Патологическая анатомия, учебник для вузов. И тут говорится, что связь хода опухоли с центральной нервной деятельностью еще очень слабо изучена. А связь удивительная! Даже прямо написано, — он нашел строчку, — редко, но бывают случаи с а м о - п р о и з в о л ь н о г о и с ц е л е н и я ! Вы чувствуете, как написано? Не излечения, а и исцеления! А?

Движение прошло по палате. Как будто из распахнутой большой книги выпорхнуло осязаемой радужной бабочкой самопроизвольное исцеление, и каждый подставлял лоб и щеки, чтоб оно благодетельно коснулось его налету.

— Самопроизвольное! — отложив книгу, тряс Костоглотов растопыренными руками, а ногу по-прежнему держал как гитару. — Это значит: вот вдруг по необъяснимой причине опухоль трогается в обратном направлении! Она уменьшается, рассасывается и, наконец, ее нет! А?

Все молчали, рты, приоткрывши сказке. Чтобы опухоль, его опухоль, вот эта губительная, всю его жизнь, перековеркавшая опухоль, — и вдруг бы сама изошла, истекла, иссякла, кончилась?..

Все молчали, подставляя бабочке лицо, только угрюмый Поддуев заскрипел кроватью и, безнадежно набычившись, прохрипел:

— Для этого надо, наверно... чистую совесть.

Не все даже поняли: это он — сюда, к разговору, или свое что-то.

Павел Николаевич, который на этот раз не только со вниманием, а даже отчасти с симпатией слушал соседа - Оглоеда, отмахнулся:

— При чем тут совесть? Стыдитесь, товарищ Поддуев!

Но Костоглотов принял на ходу:

— Это ты здорово рубанул, Ефрем! Здорово! Все может быть, ни хрена мы не знаем. Вот, например, после войны читал я журнал, так там интереснейшую вещь... Оказывается, у человека на переходе к голове есть какой-то кровемозговой барьер, и те вещества или там микробы, которые убивают человека, пока они не пройдут через этот барьер в мозг — человек жив. Так отчего ж это зависит?..

Молодой геолог, который, придя в палату, не покидал книгу и сейчас сидел с книгой на койке, у другого, окна, близ Костоглотова, иногда поднимал голову на спор. Поднял и сейчас. Слушали гости, слушали и свои. А Федерату у печки с еще чистой белой, но уже обреченной шеей, комочком лежал на боку и слушал с подушки.

— ...А зависит, оказывается, в этом барьере от соотношения солей калия и натрия. Какие-то из этих солей, не помню, допустим, натрия, если перевешивают, то ничто человека не берет, через барьер не проходит, и он не умирает. А перевешивают, наоборот, соли калия — барьер уже не защищает, и человек умирает. А от чего зависит натрий и калий? Вот это — самое, интересное! Их соотношение зависит — от настроения человека!! Понимаете? Значит, если человек бодр, если он духовно стоек — в барьере перевешивает на-

трий, и никакая болезнь не доведет его до смерти! Но достаточно ему упасть духом — и сразу перевесит калий, и можно заказывать гроб.

Геолог слушал со спокойным оценивающим выражением, как сильный студент, который примерно догадывается, что будет на доске в следующей строчке. Он одобрил:

— Физиология оптимизма. По идее хорошо.

И будто упуская время, окунулся опять в книгу. Тут и Павел Николаевич ничего не возразил. Оглоед рассуждал вполне научно.

— Так я не удивлюсь, — развивал Костоглотов, — что лет через сто откроют, что еще какая-нибудь цезиевая соль выделяется по нашему организму при спокойной совести и не выделяется при отягощенной. И от этой цезиевой соли зависит, будут ли клетки расти в опухоль или опухоль рассосется.

Ефрем хрипло вздохнул:

— Я — баб много разорил. С детьми бросал... Плакали... У меня не рассосется.

— Да при чем тут?! — вышел из себя Павел Николаевич. — Да это же махровая поповщина, так думать! Начитались вы всякой слякоти, товарищ Поддубев, и разоружились идеологически! И будете нам тут про всякое моральное усовершенствование талдыкать...

— А что вы так прицепились к нравственному усовершенствованию? — огрызнулся Костоглотов. — Почему нравственное усовершенствование вызывает у вас такую изжогу? Кого оно может обижать? Только нравственных уродов!

— Вы... не забывайте! — блеснул очками и оправой Павел Николаевич и в этот момент так строго, так ровно держал голову, будто никакая опухоль не подпирала её справа под челюсть. — Есть вопросы, по которым установилось определенное мнение! И вы уже не можете рассуждать!

— А почему это не могу? — темными глазищами уперся Костоглотов в Русанова.

— Да ладно! — зашумели больные, примиряя их.

— Слушайте, товарищ, — шептал безголосый с Деминой кровати, — вы начали насчет березового гриба...

Но ни Русанов, ни Костоглотов не хотели уступить. Ничего они друг о друге не знали, а смотрели взаимно с ожесточением.

— А если хотите высказаться, так будьте же хоть грамотны! — вылепливая каждое слово по звукам, осадил своего оппонента Павел Николаевич. — О нравственном усовершенствовании Льва Толстого и компании раз и навсегда написал Ленин! И товарищ Сталин! И Горький!

— Простите! — напряженно сдерживаясь и вытягивая руку навстречу, ответил Костоглотов. — Раз и навсегда никто на земле ничего сказать не может. Потому что тогда осталась бы жизнь. И всем последующим поколениям нечего было бы говорить.

Павел Николаевич опешил. У него покраснели верхние кончики его чутких белых ушей и на щеках кое-где выступили красные круглые пятна.

(Тут не возражать, не спорить надо было по-субботному, а надо было *проверить*, что это за человек, откуда он, из чьих, — и его вопиюще-неверные взгляды, не вредят ли занимаемой им должности.)

— Я не говорю, — спешил высказать Костоглотов, — что я грамотен в социальных науках, мне мало пришлось их изучать. Но своим умишком я понимаю так, что Ленин упрекал Льва Толстого за нравственное усовершенствование тогда, когда оно отводило общество от борьбы с произволом, от зреющей революции. Так. Но зачем же вы затыкаете рот человеку, — он обеими крупными кистями указал на Поддубева, — который задумался о смысле жизни, находясь на грани ее со смертью?

Почему вас так раздражает, что он при этом читает Толстого? Кому от этого худо? Или, может быть, Толстого надо сжечь на костре? Может быть, правительствующий Синод не довел дело до конца? — Не изучав социальных наук, спутал святейший с правительствующим.

Теперь оба уха Павла Николаевича налились в полный красный налив. Этот уже прямой выпад против правительственного учреждения (он не расслышал, правда, — какого именно) да еще при случайной аудитории, усугублял ситуацию настолько, что надо было тактично прекратить спор, а Костоглотов при первом же случае *проверить*. И поэтому, не поднимая пока дела на принципиальную высоту, Павел Николаевич сказал в сторону Поддуева:

— Пусть Островского читает. Больше будет пользы.

Но Костоглотов не оценил тактичности Павла Николаевича, а нес свое перед неподготовленной аудиторией:

— Почему мешать человеку задуматься? В конце концов, к чему сводится наша философия жизни?— «Ах, как хороша жизнь!.. Люблю тебя, жизнь! Жизнь дана для счастья!» Что за глубина! Но это может и без нас сказать любое животное — курица, кошка, собака.

— Я прошу вас! Я прошу вас! — уже не по гражданской обязанности, а по человечески предостерег Павел Николаевич. — Не будем говорить о смерти! Не будем о ней даже вспоминать!

— И просить меня нечего! — отмахивался Костоглотов рукой-лопатой. — Если *здесь* о смерти не поговорить, где ж о ней поговорить? «Ах, мы будем жить вечно!»

— Так что? Что?— взывал Павел Николаевич, — Что вы предлагаете? Говорить и думать все время о смерти! Чтоб эта калиевая соль брала верх?

— Не все время — немного стих Костоглотов, поняв, что попадает в противоречие. — Не все время, но хотя бы иногда. Это полезно. А то ведь что мы всю жизнь твердим человеку? — ты член коллектива! ты член коллектива! Но это - пока он жив. А когда придет час умирать - мы отпустим его из коллектива. Член-то он член, а умирать ему одному. А опухоль сядет на него одного не на весь коллектив. Вот вы! — грубо совал он палец в сторону Русанов. - Ну-ка скажите, чего вы сейчас больше всего боитесь на свете? Умереть!! А о чем больше всего боитесь говорить? О смерти! Как это называется?

Павел Николаевич перестал слушать, потерял интерес спорить с ним. Он забылся, сделал неосторожное движение, и так больно отдалось ему от опухоли в шею и в голову, что померк весь интерес просвещать этих балбесов и рассеивать их бредни. В конце концов, он попал в эту клинику случайно и такие важные минуты болезни не с ними он должен был переживать. А главное и страшное было то, что опухоль ничуть не опала и ничуть не размягчилась от вчерашнего укола. И при мысли об этом холодело в животе. Оглоеду хорошо рассуждать о смерти, когда он выздоравливает.

Демкин гость, безголосый дородный мужчина, придерживая гортань от боли, несколько раз пытался вступить сказать что-то свое, то прервать неприятный спор, напомнил им, что они сейчас все — не субъекты истории, а ее объекты, но шепота его не слышали, а сказать громче он был бессилен и только накладывал два пальца на гортань, чтобы ослабить боль и помочь звуку. Болезни языка и горла, неспособность к речи, как-то особенно угнетают нас, все лицо становится лишь отпечатком этой угнетенности. Он пробовал остановить спорящих широкими взмахами рук, а теперь и по проходу выдвинулся.

— Товарищи! Товарищи! — сипел он, и вчуже становилось больно за его горло. — Не надо этой мрачности! Мы и так убиты нашими болезнями! Вот вы, товарищ! — он шел по проходу и почти умоляюще протягивал одну руку, (вторая была на горле) к возвышенно сидевшему растрепанному Костоглотову, как к божеству. — Вы так интересно начали о березовом грибе. Продолжайте, пожалуйста!

— Давай, Олег, о березовом! Что ты начал? — просил Сибгатов.

И бронзовый Ни, с тяжестью ворочая языком, от которого часть отвалилась в прежнем лечении, а остальное теперь распухло, неразборчиво просил о том же.

И другие просили.

Костоглотов ощущал недобрую легкость. Столько лет он привык перед *вольными* помалкивать, руки держать назад, а голову опущенной, что это вошло в него как природ-

ный признак, как сутулость от рождения, от чего он не вовсе отстал и за год жизни в ссылке. А руки его на прогулке по аллеям медгородка и сейчас легче и проще всего складывались позади. Но вот вольные, которым столько лет запрещалось разговаривать с ним как с равным, вообще всерьез обсуждать с ним что-нибудь, как с человеческим существом, а горше того — позвать ему руку или принять от него письмо, — эти вольные теперь, ничего не подозревая, сидели перед ним, развязно уютившись на подоконнике, — и ждали опоры своим надеждам. И за собой замечал теперь Олег, что тоже не противопоставлял себя им, как привык, а в общей беде соединял себя с ними.

Особенно он отвык от выступления сразу перед многими, как вообще от всяких собраний, заседаний, митингов. И вдруг стал оратором. Это было Костоглотову дико, в забавном сне. Но как по льду с разгону уже нельзя остановиться, а летишь — что будет, так и он с веселого разгона своего выздоровления, нечаянного, но кажется выздоровления, продолжал нестись.

— Друзья! Это удивительная история. Мне рассказал ее один больной, приходивший на проверку, когда я еще ждал приема сюда. И я тогда же, ничем не рискуя, написал открытку с обратным адресом диспансера. И вот сегодня уже пришел ответ! Двенадцать дней прошло — и ответ. И доктор Масленников еще извиняется передо мной за задержку, потому что, оказывается, отвечает в среднем на десять писем в день. А меньше, чем за полчаса, толкового письма ведь не напишешь. Так он пять часов в день одни письма пишет! И ничего за это не получает!

— Наоборот, на марки четыре рубля в день тратит, — вставил Дема.

— Да. Это в день — четыре рубля. А в месяц, значит, сто двадцать! И это не его обязанность, не служба его, это просто его доброе дело. Или как надо сказать? — Костоглотов обернулся к Русанову. — *Гуманное*, да?

Но Павел Николаевич дочитывал бюджетный доклад в газете и притворился, что не слышит.

— И штатов у него никаких, помощников, секретарей. Это все — во внеслужебное время. И славы — тоже ему за это никакой! Ведь нам, больным, врач — как паромщик: нужен на час, а там не знай нас. И кого он вылечит — тот письмо выбросит. В конце письма он жалуется, что больные, особенно кому помогло, перестают ему писать. Не пишут о принятых дозах, о результатах. И еще он же меня *просит* — просит, чтоб я ему ответил аккуратно! Когда мы должны ему в ноги поклониться!

— Но ты по порядку, Олег! — просил Сибгатов со слабой улыбкой надежды.

Как ему хотелось вылечиться! — вопреки удручающему, многомесячному, многолетнему и уже явно безнадежному лечению — вдруг вылечиться внезапно и окончательно! Заживить спину, выпрямиться, пойти твердым шагом, чувствуя себя мужчиной-молодцом! Здравствуйтесь, Людмила Афанасьевна! А я — здоров!

Как всем им хотелось узнать о таком враче-чудодее, о таком лекарстве, не известном здешним врачам! Они могли признаваться, что верят, или отрицать, но все они до одного в глубине души верили, что такой врач, или такой травник, или такая старуха-бабка где-то живет, и только надо узнать — где, получить это лекарство — и они спасены.

Да не могла же, не могла же их жизнь быть уже обреченной!

Как ни смеялись бы мы над чудесами, пока сильны, здоровы и благоденствуем, но если жизнь так заклинется, так сплющится, что только чудо может нас спасти, мы в это единственное, исключительное чудо — верим!

И Костоглотов, сливаясь с жадной настороженностью, с которой товарищи слушали его, стал говорить распаленно, даже более веря своим словам сейчас, чем верил письму, когда читал его про себя.

— Если с самого начала, Шараф, то вот. Про доктора Масленникова тот прежний больной рассказал мне, что это старый земский врач Александровского уезда, под Москвой. Что он десятки лет — так раньше это было принято, лечил в одной и той же больни-

це. И вот заметил, что, хотя в медицинской литературе все больше пишут о раке, у него среди больных крестьян рака не бывает. Отчего б это?..

(Да, отчего б это?! Кто из нас с детства не вздрагивал от Таинственного? — от прикосновения к этой непроницаемой, но податливой стене, через которую все же нет-нет да проступит то, как будто чье-то плечо, то как будто чье-то бедро. И в нашей каждодневной, открытой, рассудочной жизни, где нет ничему таинственному места, оно вдруг да блеснет нам: я здесь! не забывай!)

— ...Стал он исследовать, стал он исследовать, — повторял Костоглотов с удовольствием, — и обнаружил такую вещь: что, экономя деньги на чай, мужики во всей этой местности заваривали не чай, а чагу, иначе называется березовый гриб...

— Так подберезовик? — перебил Поддуев. Даже сквозь то отчаяние, с которым он себя согласил и в котором замкнулся последние дни, просветило ему такое простое доступное средство.

Тут все кругом были люди южные и не то что подберезовика, но и березы самой иные в жизни не видали, тем более вообразить не могли, о чем толковал Костоглотов.

— Нет, Ефрем, не подберезовик. Вообще это даже не березовый гриб, а березовый рак. Если ты помнишь, бывают на старых березах такие... уродливые такие наросты — хребтовидные, сверху черные, а внутри — темно-коричневые.

— Так трутовица? — добивался Ефрем. — На нее огонь высекали раньше?

— Ну, может быть. Так вот Сергею Никитичу Масленникову и пришло в голову: не этой ли самой чагой русские мужики уже несколько веков лечатся от рака, сами того не зная?

— То есть совершают профилактику? — кивнул молодой геолог. Не давали ему весь вечер читать, однако разговор того стоил.

Но догадаться было мало, вы понимаете? Надо было все проверить, Надо было многие-многие годы еще наблюдать за теми, кто этот самодельный чай пьет и кто не пьет. И еще — поить тех, у кого появляются опухоли, а ведь это — взять на себя не лечить их другими средствами. И угадать, при какой температуре заваривать, и в какой дозе, кипятить или не кипятить, и поскольку стаканов пить, и не будет ли вредных последствий, и какой опухоли помогает больше, а какой меньше. На все это ушли...

— Ну, а теперь? Теперь? — волновался Сибгатов.

А Дема думал: неужели и от ноги может помочь? Ногу — неужели спасет?

— А теперь? — вот он на письма отвечает. Вот пишет мне, как лечиться.

— И у вас есть адрес? — жадно спросил безголосый, все придерживая рукой сипящее горло, и уже вытягивал из кармана курточки блокнот с авторучкой. — И написан способ употребления? А от опухоли гортани помогает, он не пишет?

Как ни хотел Павел Николаевич выдержать характер и наказать соседа полным презрением, но упустить такой рассказ было нельзя. Уже не мог он вникать дальше в смысл и цифры проекта государственного бюджета на 1955 год, представленный сессии Верховного Совета, уже явно опустил газету, и постепенно повернулся к Оглоеду лицом, не скрывая и своей надежды, что это простое народное средство вылечит и его. Безо всякой уже враждебности, чтобы не раздражать Оглоеда, но и напоминая все же, Павел Николаевич спросил:

— А официально этот способ признан? Он апробирован в какой-нибудь инстанции?

Костоглотов сверху, со своего подоконника, усмехнулся.

— Вот насчет инстанции не знаю. Письмо, — он потрепал в воздухе маленьким желтоватым листиком, исписанным зелеными чернилами, — письмо деловое: как толочь, как разводить. Но думаю, что если б это прошло инстанции, так нам бы уже сестры разносили такой напиток. На лестнице бы бочка стояла.



## Иссык-кульский корень

Вера Корнильевна беспокоилась, как Русанов перенесет полную дозу, за день навещалась несколько раз и задержалась после конца работы. Она могла бы так часто не приходить, если бы дежурила Олимпиада Владиславовна, как было по графику, но ее-таки взяли на курсы профказначеев, вместо нее сегодня днем дежурил Тургун, а он был слишком беспечен.

Русанов перенес укол тяжело, однако в допустимых пределах. Вслед за уколом он получил снотворное и не просыпался, но беспокойно ворочался, дергался, стонал. Всякий раз Вера Корнильевна оставалась понаблюдать за ним и слушала его пульс. Он корчился и снова вытягивал ноги. Лицо его покраснело, взмокло. Без очков да еще на подушке голова его не имела начальственного вида. Редкие белые волосики, уцелевшие от облысения, были разлизаны по темени.

Но, столько раз ходя в палату, Вера Корнильевна заодно делала и другие дела. Выписывался Поддуев, который считался старостой палаты, и хотя должность эта существовала ни для чего, однако полагалась. И от койки Русанова перейдя по соседству к следующей, Вера Корнильевна объявила: — Костоглотов. С сегодняшнего дня вы назначаетесь старостой палаты.

Костоглотов лежал поверх одеяла одетый и читал газету (уж второй раз Гангарт приходила, а он все читал газету). Всегда ожидая от него какого-нибудь выпада, Гангарт проводила свою фразу легкой улыбкой, как бы объясняя, что и сама понимает, что все это ни к чему. Костоглотов поднял от газеты веселое лицо и, не зная, как лучше выразить уважение к врачу, подтянул к себе слишком вытянутые по кровати длинные ноги. Вид его был очень благожелательный, а сказал он:

— Вера Корнильевна! Вы хотите нанести мне непоправимый моральный урон. Никакой администратор не свободен от ошибок, а иногда и впадает в соблазн власти. Поэтому я после многолетних размышлений дал себе обет никогда больше не занимать административных должностей.

— А вы занимали? И высокие? — Она входила в забаву разговора с ним.

— Самая высокая была — помкомвзвода. Но фактически даже еще выше. Моего командира взвода за полную тупость и неспособность отправили на курсы усовершенствования, откуда он должен был выйти не ниже, как командиром батареи — но уже не к нам в дивизион. А другого офицера, которого вместо него прислали, сразу пристегнули к политотделу сверх штата. Комдив мой не возражал, потому что я приличный был топограф, и ребята меня слушались. И так я в звании старшего сержанта два года был и. о. комвзвода — от Ельца до Франкфурта-на-Одере. И кстати, это были лучшие годы всей моей жизни, как ни смешно.

Все-таки и с поджатыми ногами получалось невежливо, он спустил их на пол.

— Ну, вот видите, — улыбка расположения не сходила с лица Гангарт и когда она слушала его и когда сама говорила. — Зачем же вы отказываетесь? Вам опять будет хорошо.

— Славненькая логика! — мне хорошо! А демократия? Вы же попираете принципы демократии: палата меня не выбирала, избиратели не знают даже моей биографии... Кстати, и вы не знаете...

— Ну что ж, расскажите.

Она вообще негромко говорила, и он снизил голос для нее одной. Русанов спал, Зацырко читал, койка Поддуева была уже пуста, — их почти и не слышали.

— Это очень долго. И потом я смущен, что я сижу, а вы стоите. Так не разговаривают с женщинами. Но если я, как солдат, стану сейчас в проходе, будет еще глупей. Вы присядьте на мою койку, пожалуйста.

— Вообще-то мне идти надо, — сказала она. И села на краешек.

— Видите, Вера Корнильевна, за приверженность демократии я больше всего в жизни пострадал. Я пытался насаждать демократию в армии— то есть, много рассуждал. За это меня в 39-м не послали в училище, оставили рядовым. А в 40-м уже доехал до училища, так сдерзил начальству там, и оттуда отчислили. И только в 41-м кой-как кончил курсы младших командиров на Дальнем Востоке. Честно говоря, очень досадно было мне, что я не офицер, все мои друзья пошли в офицеры. В молодости это как-то переживаешь. Но справедливость я ценил выше.

— У меня один близкий человек, — сказала Гангарт, глядя в одеяло, — тоже имел такую судьбу: очень развитой — и рядовой. — Полпаузы, миг молчания пролетел меж их головами, и она подняла глаза. — Но вы и сегодня таким остались.

— То есть: рядовым или развитым?

— Дерзким. Как, например, вы всегда разговариваете с врачами? Со мной особенно.

Она строго это спросила, но странная была у нее строгость, вся пропитанная мелодичностью, как все слова и движения Веры Гангарт.

— Я — с вами? Я с вами разговариваю исключительно почтительно. Это у меня высшая форма разговора, вы еще не знаете. А если вы имеете в виду первый день, так вы не представляете, в каких же я был клещах. Еле-еле меня, умирающего, выпустили из области. Приехал сюда — тут вместо зимы дождь-проливняк, а у меня — валенки под мышкой, у нас же там морозяра. Шинель намокла, хоть отжимай. Валенки сдал в камеру хранения, сел в трамвай ехать в старый город, там у меня еще с фронта адрес моего солдата. А уже темно, весь трамвай отговаривает: не идите, зарежут! После амнистии 53-го года, когда всю шпану выпустили, никак ее опять не выловят. А я еще не был уверен, тут ли мой солдат, и улица такая, что никто ее не знает. Пошел по гостиницам. Такие красивые вестибюли в гостиницах, просто стыдно моими ногами входить, и кое-где даже места были, но вместо паспорта протяну свое ссыльное удостоверение — «нельзя!», «нельзя!» Ну, что делать? Умирать я был готов, но почему же под забором? Иду прямо в милицию: «Слушайте, я — ваш. Устраивайте меня ночевать». Перемялись, говорят: «Идите в чайхану и ночуйте, мы там документов не проверяем». Но не нашел я чайханы, поехал опять на вокзал. Спать нельзя, милиционер ходит-гоняет. Утром — к вам в амбулаторию. Очередь. Посмотрели — сейчас же ложиться. Теперь двумя трамваями через весь город — в комендатуру. Так рабочий день по всему Советскому Союзу — а комендант ушел и наплевать. И никакой запиской он ссыльных не удостаивает: может придет, может нет. Тут я сообразил: если я ему удостоверение отдам — мне, пожалуй, валенок на вокзале не выдадут. Значит, двумя трамваями опять на вокзал. Каждая поездка — полтора часа.

— Что-то я у вас валенок не помню. Разве были?

— Не помните, потому что я тут же, на вокзале, эти валенки продал какому-то дядьке. Рассчитал, что эту зиму долежу в клинике, а до следующей не доживу. Теперь опять в комендатуру! — на одних трамваях червонец проездил. Там еще километр грязюкой переться, а ведь у меня боли, я еле иду и всюду мешок свой тащу. Слава тебе, пришел комендант. Отдаю ему в залог разрешение моей областной комендатуры, показываю направление вашей амбулатория, отмечает: можно лечь. Теперь еду... не к вам еще, в центр. По афишам вижу, что идет «Спящая красавица».

— Ах, вот как! Так вы еще — по балетам? Ну, знала б — не положила б! Не-ет!

— Вера Корнильевна, это — чудо! Перед смертью последний раз посмотреть балет! Да и без смерти я его в своей вечной ссылке никогда не увижу. Так нет же, черт! — замечен спектакль! Вместо «Спящей красавицы» пойдет «Агу - Балы».

Беззвучно смеясь, Гангарт качала головой. Вся эта затея умирающего с балетом ей, конечно, нравилась, очень нравилась.

— Что делать? В консерватории — фортепьянный концерт аспирантки. Но — далеко от вокзала, и угла лавки не захвачу. А дождь все лупит, все лупит! Один выход: ехать сдаваться к вам. Приезжаю — «мест нет, придется несколько дней подождать». А больные го-

ворят: тут и по неделе ждут. Где ждать? Что мне оставалось? Без лагерной хватки пропадешь. А тут вы еще бумажку у меня из рук уносите?.. Как же я должен был с вами разговаривать?

Теперь весело вспоминалось, обоим было смешно.

Он это все рассказывал без усилия мысли, а думал вот о чем: если мединститут она кончила в 46-м году, то ей сейчас не меньше тридцати одного года, она ему почти ровесница. Почему же Вера Корнильевна кажется ему моложе двадцатитрехлетней Зои? Не по лицу, а по повадке: по несмелости, по застыдчивости. В таких случаях бывает можно предположить, что она... Внимательный взгляд умеет выделить таких женщин по мелочам поведения. Но Гангарт — замужем. Так почему же...?

А она смотрела на него и удивлялась, почему он вначале показался ей таким недоброжелательным и грубым. У него, правда, темный взгляд и жесткие складки, но он умеет смотреть и, говорить очень дружелюбно и весело, вот как сейчас. Вернее, у него всегда наготове и та, и другая манера, и не знаешь, какую ждать.

— О балеринах и о валенках я теперь иге усвоила, улыбалась она. — Но — сапоги? Вы знаете, что ваши сапоги — это небывалое нарушение нашего режима?

И она сузила глаза.

— Опять режим, — скривился Костоготов, и шрам его скривился. — Но ведь прогулка даже в тюрьме положена. Я без прогулки не могу, я тогда не вылечусь. Вы ж не хотите лишить меня свежего воздуха?

Да, Гангарт видела, как подолгу он гулял сторонними одинокими аллеями медгородка: у кастелянши выпросил женский халат, которых мужчинам не давали, не хватало; морщ халата сгонял под армейским поясом с живота на бока, а полы халата все равно раздергивались. В сапогах, без шапки, с косматом черной головой он гулял крупными твердыми шагами, глядя в камни под собой, а дойдя до намеченного рубежа, на нем поворачивался. И всегда он держал руки сложенными за спиной. И всегда один, ни с кем.

— Вот на днях ожидается обход Низамутдина Бахрамовича и знаете, что будет, если он увидит ваши сапоги? Мне будет выговор в приказе.

— Опять она не требовала, а просила, даже как бы жаловалась ему. Она сама удивлялась тому тону даже не равенства, а немного и подчинения, который установился между ними, и которого у нее с больными вообще никогда не бывало.

Костоготов, убеждая, тронул своей лапой ее руку:

— Вера Корнильевна! Стопроцентная гарантия, что он у меня их не найдет. И даже в вестибюле никогда в них не встретит.

— А на аллейке?

— А там он не узнает, что я — из его корпуса! Даже вот хотите, давайте для смеху напишем анонимный донос на меня, что у меня сапоги, и он с двумя санитарками придет здесь шарить — и никогда не найдут.

— А разве это хорошо — писать доносы? — Она опять сузила глаза.

Еще вот: зачем она губы красила? Это было грубовато для нее, это нарушало ее тонкость. Он вздохнул:

— Да ведь пишут, Вера Корнильевна, как пишут! И получается. Римляне говорили: *testis unus — testis nullus*, один свидетель — никакой не свидетель. А в двадцатом веке и один — лишний стал, и одного-то не надо.

Она увела глаза. Об этом трудно ведь было говорить.

— И куда ж вы их тогда спрячете?

— Сапоги? Да десятки способов, сколько будет времени. Может быть, в холодную печку кину, может быть, на веревочке за окно подвешу. Не беспокойтесь!

Нельзя было не засмеяться и не поверить, что он действительно вывернется.

— Но как вы умудрились не сдать их в первый день?

— Ну, это уж совсем просто. В той конуре, где передевался, поставил за створку две-

ри. Санитарка все остальное сгребла в мешок с биркой и унесла на центральный склад. Я из бани вышел, в газетку их обернул и понес.

Разговаривали уже о какой-то ерунде. Шел рабочий день, и почему она тут сидела? Русанов беспокойно спал, потный, но спал, и рвоты не было. Гангарт еще раз подержала его пульс, и уж было пошла, но тут же вспомнила, опять обернулась к Костоглотову:

— Да, вы дополнительного еще не получаете?

— Никак нет, — наострился Костоглотов.

— Значит, с завтрашнего дня. В день два яйца, два стакана молока и пятьдесят грамм масла.

— Что-что? Могу ли я верить своим ушам? Да ведь меня никогда в жизни так не кормили!.. Впрочем, знаете, это справедливо. Ведь я за эту болезнь даже по бюллетеню не получу.

— Как это?

— Очень просто. Оказывается, я в профсоюзе еще не состою шести месяцев. И мне ничего не положено.

— Ай-я-яй! Как же это случилось?

— Да отвык я просто от этой жизни. Приехал в ссылку — как я должен был догадаться, что надо скорей вступать в профсоюз?

С одной стороны, такой ловкий, а с другой — такой неприспособленный. Этого дополнительного именно Гангарт ему добивалась, очень настойчиво, было не так легко... Но надо идти, идти, так можно проговорить целый день.

Она подходила уже к двери, когда он с насмешкой крикнул:

— Подождите, да вы меня не как старосту подкупаете? Теперь я буду мучиться, что впал в коррупцию с первого дня!..

Гангарт ушла.

Но после обеда больных ей было неизбежно снова навещать Русанова. К этому времени она узнала, что ожидаемый обход главного врача будет именно завтра. Так появилось и новое дело в палатах — идти проверять тумбочки, потому что Низамутдин Бахрамович ревнивей всего следил, чтобы в тумбочках не было крошек, лишних продуктов, а в идеале и ничего, кроме казенного хлеба и сахара. И еще он проверял чистоту, да с такой находчивостью, что и женщина бы не догадалась.

Поднявшись на второй этаж, Вера Корнильевна запрокинула голову и зорко смотрела по самым верхним местам их высоких помещений. И в углу над Сибгатовым ей повиделась паутина (стало больше света, на улице проглянуло солнце). Гангарт подозвала санитарку — это была Елизавета Анатольевна, почему-то именно на нее выпадали все авралы, объяснила, как надо сейчас все мыть к завтрашнему дню, и показала на паутину.

Елизавета Анатольевна достала из халата очки, надела их, сказала:

— Представьте, вы совершенно правы. Какой ужас! — Сняла очки и пошла за лестницей и щеткой. Убирала она всегда без очков.

Дальше Гангарт вошла в мужскую палату. Русанов был в том же положении, распаренный, но пульс снизился, а Костоглотов как раз надел сапоги и халат и собирался гулять. Вера Корнильевна объявила всей палате о завтрашнем важном обходе и просила самим просмотреть тумбочки прежде, чем она их тоже проверит.

— А вот мы начнем со старосты, — сказала.

Начинать можно было и не со старосты, она не знала, почему опять пошла именно в этот угол.

Вся Вера Корнильевна была — два треугольника, поставленных вершина на вершину: снизу треугольник пошире, а сверху узкий. Перехват ее стана был до того узенький, что просто руки тянулись наложить пальцы и подкинуть ее. Но ничего подобного Костоглотов не сделал, а охотно растворил перед ней свою тумбочку:

— Пожалуйста.

— Ну-ка, разрешите, разрешите, — добиралась она. Он посторонился. Она села на его кровать у самой тумбочки и стала проверять.

Она сидела, а он стоял над ней сзади и хорошо видел теперь ее шею — беззащитные топки линии, и волосы средней томности, положенные просто в узелок на затылке без всякой претензии на моду.

Нет, надо было как-то освобождаться от этого наплыва. Невозможно, чтобы каждая милая женщина вызывала полное замутнение головы. Вот посидела с ним, поболтала, ушла — а он все эти часы думал о ней. А ей что? — она придет вечером домой, ее обнимет муж.

Надо было освобождаться! — но невозможно было, и освободиться иначе, как через женщину же.

И он стоял и смотрел ей в затылок, в затылок. Сзади воротник халата поднялся колпачком, и открылась кругленькая косточка — самая верхняя косточка спины. Пальцем бы ее обвести.

— Тумбочка, конечно, из самых безобразных в клинике, — комментировала тем временем Гангарт. — Крошки, промасленная бумага, тут же и махорка, и книга, и перчатки. Как вам не стыдно? Это вы все-все сегодня уберете.

А он смотрел ей в шею и молчал.

Она вытянула верхний выдвижной ящик и тут, между мелочью, заметила небольшой флакон с бурой жидкостью, миллилитров на сорок. Флакон был туго заткнут, при нем была пластмассовая рюмочка, как в дорожных наборах, и пипетка.

— А это что? Лекарство? Костоглотов чуть свистнул.

— Так, пустяки.

— Что за лекарство? Мы вам такого не давали.

— Ну что ж, я не могу иметь своего?

— Пока вы лежите в нашей клинике и без нашего ведома — конечно, нет!

— Ну, мне неудобно вам сказать... От мозолей.

Однако, она вертела в пальцах безымянный ненадписанный флакон, пытаясь его открыть, чтобы понюхать, — и Костоглотов вмешался. Обе жесткие горсти сразу он наложил на ее руки и отвел ту, которая хотела вытянуть пробку.

Вечное это сочетание рук, неизбежное продолжение разговора...

— Осторожно, — очень тихо предупредил он. — Это нужно уметь. Нельзя пролить на пальцы. И нюхать нельзя.

И мягко отобрал флакон.

В конце концов, это выходило за границы всяких шуток!

— Что это? — нахмурилась Гангарт. — Сильное вещество?

Костоглотов опустил, сел рядом с ней и сказал деловито, совсем тихо:

— Очень. Это — иссык-кульский корень. Его нельзя нюхать — ни в настойке, ни в сухом виде. Поэтому он так и заткнут. Если корень перекалывать руками, а потом рук не помыть и забывши лизнуть — можно умереть.

Вера Корнильевна была испугана:

— И зачем он вам?

— Вот беда, — ворчал Костоглотов, — откопали вы на мою голову. Надо было мне его спрятать... Затем, что я им лечился и сейчас подлечиваюсь.

— Только для этого? — испытывала она его глазами. Сейчас она ничуть их не сужала, сейчас она была врач и врач.

Она-то смотрела как врач, но глаза-то были светло-кофейные.

— Только, — честно сказал он.

— Или это вы... про запас? — все еще не верила.

— Ну, если хотите, когда я ехал сюда — такая мысль у меня была. Чтоб лишнего не мучиться... Но боли прошли — это отпало. А лечиться я им продолжал.

— Тайком? Когда никто не видит?  
— А что человеку делать, если не дают вольно жить? Если везде режим?  
— И поскольку капали?  
— По ступенчатой схеме. От одной до десяти, от десяти до одной и десять дней перерыв. Сейчас как раз перерыв. А честно говоря, я не уверен, что боли упали у меня от одного рентгена. Может, и от корня тоже.

Они оба говорили приглушенно.

— Это на чем настойка?

— На водке.

— Вы сами делали?

— У-гм.

— И какая ж концентрация?

— Да какая... Дал мне охапку, говорит: вот это — на три поллитра. Я и разделил.

— Но весит-то сколько?

— А он не взвешивал. Он так, на глазок принес.

— На глазок? Такой ядище! Это — аконитум! Подумайте сами!

— А что мне думать? — начал сердиться Костоглотов. — Вы бы попробовали умирать одна во всей вселенной, да когда комендатура вас за черту поселка не выпускает, вот тогда б и думали — аконитум! да сколько весит! Мне эта пригоршня корня, знаете, сколько могла потянуть? Двадцать лет каторжных работ! За самовольную отлучку с места ссылки. А я поехал. За полтораста километров. В горы. Живет такой старик, Кременцов, борода академика Павлова. Из поселенцев начала века. Чистый знахарь! — сам корешок собирает, сам дозы назначает. В собственной деревне над ним смеются, в своем ведь отечестве нет пророка. А из Москвы и Ленинграда приезжают. Корреспондент «Правды» приезжал. Говорят, убедился. А сейчас слухи, что старика посадили. Потому что дураки какие-то развели на поллитре и открыто в кухне держали, а позвали на ноябрьские гостей, тем водки не хватило, они без хозяев и выпили. Трое насмерть. А еще в одном доме дети отравились. А старик при чем? Он предупреждал...

Но, заметив, что уже говорит против себя, Костоглотов замолк.

Гангарт волновалась:

— Так вот именно! Содержание сильнодействующих веществ в общих палатах — запрещено! Это исключается — абсолютно! Возможен несчастный случай. Дайте-ка сюда флакончик!

— Нет, — уверенно отказался он.

— Дайте! — она соединила брови и протянула руку к его сжатой руке.

Крепкие, сильные, много работавшие пальцы Костоглотова закрылись так, что и пузырька в них видно не было.

Он улыбнулся:

— Так у вас не выйдет.

Она расслабила брови:

— В конце концов, я знаю, когда вы гуляете, и могу взять флакончик без вас.

— Хорошо, что предупредили, теперь запряху.

— На веревочке за окно? Что ж мне остается, пойти и заявить?

— Не верю. Вы же сами сегодня осудили доносы!

— Но вы мне не оставляете никакого средства!

— И значит нужно доносить? Недостойно. Вы боитесь, что настойку выпьет вот товарищ Русанов? Я не допущу. Заверну и упакую. Но я буду уезжать от вас — ведь я опять начну корнем лечиться, а как же! А вы в него не верите?

— Совершенно! Это темные суеверия и игра со смертью. Я верю только в научные схемы, испытанные на практике. Так меня учили. И так думают все онкологи. Дайте сюда флакон.

Она все-таки пробовала разжать его верхний палец.

Он смотрел в ее рассерженные светло-кофейные глаза, и не только не хотелось ему упорствовать или спорить с ней, а с удовольствием он отдал бы ей этот пузырек, и всю даже тумбочку. Но поступиться убеждениями ему было трудно.

— Э-эх, святая наука! — вздохнул он. — Если б это было все так безусловно, не опровергало само себя каждые десять лет. А во что должен верить я? В ваши уколы? Вот зачем мне новые уколы еще назначили? Что это за уколы?

— Очень нужные! Очень важные для вашей жизни! Вам надо ж и з н ь спасти! — она выговорила это ему особенно настойчиво, и светлая вера была в ее глазах. — Не думайте, что вы выздоровели!

— Ну, а точней? В чем их действие?

— А зачем вам точней! Они вылечивают. Они не дают возникать метастазам. Точней вы не поймете...Хорошо, тогда отдайте мне флакон, а я даю вам честное слово, что верну его, когда будете уезжать!

Они смотрели друг на друга.

Он прекомично выглядел — уже одетый для прогулки в бабий халат и перепоясанный ремнем со звездой.

Но до чего ж она настаивала! Шут с ним, с флаконом, не жалко и отдать, дома у него еще вдесятеро этого аконитума. Беда в другом: вот милая женщина со светло-кофейными глазами. Такое светящееся лицо. С ней так приятно разговаривать. Но ведь никогда невозможно будет ее поцеловать. И когда он вернется в свою глушь, ему даже поверить будет нельзя, что он сидел рядом вплоть вот с такой светящейся женщиной, и она хотела его, Костоглотова, спасти во что бы то ни стало!

Но именно спасти его она и не может.

— Вам тоже я опасаясь отдать, — пошутил он. — У вас кто-нибудь дома выпьет.

(Кто! Кто выпьет дома?! Она жила одна. Но сказать это сейчас было неуместно, неприлично).

— Хорошо, давайте вничью. Давайте просто выльем.

Он рассмеялся. Ему жаль стало, что он так мало может для нее сделать.

— Ладно. Иду во двор и выливаю.

А все-таки губы она красила зря.

— Нет уж, теперь я вам не верю. Теперь я должна сама присутствовать.

— Но вот идея! Зачем выливать? Лучше я отдам хорошему человеку, которого вы все равно не спасете. А вдруг ему поможет?

— Кому это?

Костоглотов показал кивком на койку Вадима Зацырко и еще снизил голос:

— Ведь меланобластома?

— Вот теперь я окончательно убедилась, что надо выливать. Вы тут кого-нибудь мне отравите обязательно! Да как у вас духу хватит дать тяжелобольному яд? А если он отравится? Вас не будет мучить совесть?

Она избегала как-нибудь его называть. За весь долгий разговор она не назвала его никак ни разу,

— Такой не отравится. Это стойкий парень.

— Нет-нет-нет! Пойдемте выливать!

— Просто я в ужасно хорошем настроении сегодня. Пойдемте, ладно.

И они пошли между коек и потом на лестницу.

— А вам не будет холодно? — Нет, у меня кофточка поддета.

Вот, она сказала — «кофточка поддета». Зачем она так сказала? Теперь хотелось посмотреть — какая кофточка, какого цвета. Но и этого он не увидит никогда.

Они вышли на крыльцо. День разгулялся, совсем был весенний, приедем не пове-

ритель, что только седьмое февраля. Светило солнце. Высоковетвенные тополя и низкий кустарник изгородей — все еще было голо, но и редкие уже были клочки снега в тени. Между деревьями лежала бурая и серая прилегшая прошлогодняя трава. Аллеи, плиты, камни, асфальт были влажны, еще не высохли. По скверу шло обычное оживленное движение — навстречу, в обгон, в перекрест по диагоналям. Шли врачи, сестры, санитарки, обслуга, амбулаторные больные и родственники клинических. В двух местах кто-то даже присел на скамьи. Там и здесь, в разных корпусах, уже были открыты первые окна.

Перед самым крыльцом тоже было странно выливать.

— Ну, вон туда пойдете! — показал он на проход между раковым корпусом и ухогорлоновым. Это было одно из его прогuloчных мест.

Они пошли рядом плитчатой дорожкой. Врачебная шапочка Гангарт, сшитая по фасону пилотки, приходилась Костоглотову как раз по плечо.

Он покосился. Она шла вполне серьезно, как бы делать важное дело. Ему стало смешно.

— Скажите, как вас в школе звали? — вдруг спросил он.

Она быстро взглянула на него.

— Какое это имеет значение?

— Да никакого, конечно, а просто интересно.

Несколько шагов она прошла молча, чуть пристукивая по плитам. Ее тонкие газельи ноги он заметил еще в первый раз, когда лежал умирающий на полу, а она подошла.

— Вега, — сказала она.

(То есть, и это была неправда. Неполная правда. Ее так в школе звали, но один только человек. Тот самый развитой рядовой, который с войны не вернулся. Толчком, не зная, почему, она вдруг доверила это имя другому.)

Они вышли из тени в проход между корпусами — и солнце ударило в них, и здесь тянул ветерок.

— Вега? В честь звезды? Но Вега — ослепительно белая.

Они остановились.

— А я — не ослепительная, — кивнула она. — Но я — Вера Гаигарт. Вот и все.

В первый раз не она перед ним растерялась, а он перед ней.

— Я хотел сказать... — оправдывался он.

— Все понятно. Выливайте! — приказала она.

И не давала себе улыбнуться.

Костоглотов расшатал плотно загнанную пробку, осторожно вытянул ее, потом наклонился (это очень смешно было в его халате-юбке сверх сапог) и отвалил небольшой камешек из тех, что остались тут от прежнего мощения.

— Смотрите! А то скажете — я в карман перелил! — объявил он с корточек у ее ног.

Ее ноги, ноги ее газельи, он заметил еще в первый раз, в первый раз.

В сырую ямку на темную землю он вылил эту мутно-бурую чью-то смерть. Или мутно-бурое чье-то выздоровление.

— Можно закладывать? — спросил он. Она смотрела сверху и улыбалась.

Было мальчишеское в этом выливании и закладывании камнем. Мальчишеское, но и похожее на клятву. На тайну.

— Ну, похвалите же меня, — поднялся он с корточек.

— Хвалю, — улыбнулась она. Но печально. — Гуляйте.

И пошла в корпус.

Он смотрел ей в белую спину. В два треугольника, верхний и нижний.

До чего ж его стало волновать всякое женское внимание! За каждым словом он понимал больше, чем было. И после каждого поступка он ждал следующего.

Вега. Вера Гангарт. Что-то тут не сошлось, но он сейчас не мог понять. Он смотрел ей в спину.

— Вега! Вега! — вполголоса проговорил он, стараясь внушить издали. — Вернись, слышишь? Вернись! Ну, обернись!

Но не внушилось. Она не обернулась.



**Река, впадающая в пески**

3 марта 1955

Дорогие Елена Александровна и Николай Иванович!

Вот вам загадочная картинка, что это и где? На окнах — решетки (правда, только на первом этаже, от воров, и фигурные — как лучи из одного угла, да и намордников нет). В комнатах — койки с постельными принадлежностями. На каждой койке — перепуганный человек. С утра — пайка, сахар, чай (нарушение в том, что еще и завтрак). Утром — угрюмое молчание, никто ни с кем разговаривать не хочет, зато вечерами — гул и оживленное общее обсуждение. Споры об открытии и закрытии форточек, и кому ждать лучшего, и кому худшее, и сколько кирпичей в Самаркандской мечети. Днем «дергают» поодиночке — на беседы с должностными лицами, на процедуры, на свидания с родственниками. Шахматы, книги. Приносят и передачи, получившие — гужуются с ними. Выписывают кой-кому и дополнительное, правда — не стукачам (уверенно говорю, потому что сам получаю). Иногда производят шмоны, отнимают личные вещи, приходится утаивать их и бороться за право прогулки. Баня — крупнейшее событие и одновременно бедствие: будет ли тепло? хватит ли воды? какое белье получишь? Нет смешней, когда приводят новичка, и он начинает задавать наивные вопросы, еще не представляя, что его ждет...

Ну, догадались?.. Вы, конечно, укажете, что я заврался: для пересыльной тюрьмы — откуда постельные принадлежности? а для следственной — где же ночные допросы? Предполагая, что это письмо будут проверять на уштерекской почте, уж я не вхожу в иные аналогии.

Вот такого жителя-бытия в раковом корпусе я отбыл уже пять недель. Минутами кажется, что опять вернулся в прежнюю жизнь, и нет ей конца. Самое томительное то, что сижу — без срока, до особого распоряжения. (А от комендатуры разрешение только ведь на три недели, формально я уже просрочил, и могли бы меня судить как за побег.) Ничего не говорят, когда выпишут, ничего не обещают. Они по лечебной инструкции должны, очевидно, выжать из больного все, что выжимается, и отпустят только, когда кровь уже будет совсем «не держать».

И вот результаты: то лучшее, как вы его в прошлом письме назвали — «эйфорическое» состояние, которое было у меня после двух недель лечения, когда я просто радостно возвращался к жизни — все ушло, ни следа. Очень жалею, что не настоял тогда выписаться. Все полезное в моем лечении кончилось, началось одно вредное.

Глушат меня рентгеном по два сеанса в день, каждый двадцать минут, триста «эр» — и хотя я давно забыл о боли, с которыми уезжал из Уш-Терека, но узнал рентгеновскую тошноту (а может быть, и от уколов, тут все складывается). Вот разберет грудь — и часами! Курить, конечно, бросил — само бросилось. И такое противное состояние — не могу гулять, не могу сидеть, одно только хорошее положение выискал (в нем и пишу вам сейчас, оттого карандашом и не очень ровно): без подушки, навзничь, ноги чуть приподнять, а голову даже чуть свесить с койки. Когда зовут на сеанс, то, входя в аппаратную, где «рентгеновский» запах густой, просто боишься извергнуться. Еще от этой тошноты помогают соленые огурцы и квашеная капуста, но ни в больнице, ни в медгородке их, конечно, не достать, а из ворот больных не выпускают. Пусть, мол, вам родные приносят. Родные!.. Наши родные в красноярской тайге на четвереньках бегают, известно! Что остается бедному арестанту? Надеваю сапоги, перепоясываю халат армейским ремнем и крадусь к такому месту, где стена медгородка полуразрушена. Там перебираюсь, перехожу железную дорогу — и через пять минут на базаре. Ни на при базарных улочках, ни на самом базаре мой вид ни у кого не вызывает удивления или смеха. Я усматриваю в этом духовное здоро-

вье нашего народа, который ко всему привык. По базару хожу и хмуро торгуюсь, как только зэки, наверно, умеют (на жирную бело-желтую курицу прогундосить: «и сколько ж, тетка, за этого туберкулезного цыпленка просишь?»). Какие у меня рублики? а достались как? Говорил мой дед: копейка рубль бережет, а рубль бережет, а рубль — голову. Умный был у меня дед.

Только огурцами и спасаюсь, ничего есть не хочется. Голова тяжелая, один раз кружилась здорово. Ну, правда, и опухоли половины не стало, края мягкие, сам ее прошупываю с трудом. А кровь тем временем разрушается, поят меня специальными лекарствами, которые должны повысить лейкоциты (а что-то ж и испортить!), и хотят «для провокации лейкоцитоза» (так у них и называется, во язычок!) делать мне... молочные уколы! Ну чистое ж варварство! Да вы поднесите мне кружечку парного так! Ни за что не дамся колоть.

А еще грозятся кровь переливать. Тоже отбиваюсь. Что меня спасает — группа крови у меня первая, редко привозят.

Вообще, с заведующей лучевым отделением у меня отношения натянутые, что ни встреча — то спор. Крутая очень женщина. Последний раз стала щупать мне грудь и уверять, что «нет реакции на синестрол», что я избегаю уколов, обманываю ее. Я натурально возмутился, а на самом деле, конечно, обманываю.

А вот с лечащим врачом мне труднее твердость проявить — и почему? Потому что она мягкая очень. (Вы, Николай Иванович, начали мне как-то объяснять, откуда это выражение — «мягкое слово кость ломит». Напомните, пожалуйста!) Она не только никогда не прикрикнет, но и бровей-то схмурить как следует не умеет. Что-нибудь против моей воли назначает — и потупляется. И я почему-то уступаю. Да некоторые детали нам с ней и трудно обсуждать: она еще молодая, моложе меня, как-то неловко спросить до конца. Кстати, и милovidная очень.

Да и школярство в ней сидит, она тоже непрошибаемо верит в их установленные методы лечения, и я не могу заставить ее усомниться. Вообще, никто не снисходит до обсуждения этих методов со мной, никто не хочет взять меня в разумные союзники. Мне приходится вслушиваться в разговоры врачей, догадываться, дополнять несказанное, добывать медицинские книги — и вот так выяснять для себя обстановку.

И все равно трудно решить: как же мне быть? как поступить правильно? Вот щупают часто над ключицами, а насколько это вероятно, что там обнаружатся метастазы? Для чего они простреливают меня этими тысячами и тысячами рентгеновских единиц? — действительно ли, чтоб опухоль не начала снова расти? или на всякий случай, с пятикратным и десятикратным запасом прочности, как строятся мосты? или только в исполнение бесчувственной инструкции, отойти от которой они не могут, иначе лишатся работы? Но я-то мог бы и отойти! Я-то мог бы и разорвать этот круг, только скажите мне истину!.. — не говорят.

Да я б разругался с ними и уехал давно — но тогда я теряю с п р а в о ч к у от них — Богиню Справку! — а она ой-ой-ой как нужна ссыльному! Может быть, завтра комендант или опер захотят заслать меня еще на триста километров в пустыню дальше — а справочкой-то я и зацеплюсь: нуждается в постоянном наблюдении, лечении, — извините, пожалуйста, гражданин начальник! Как старому арестанту отказываться от медицинской справки? — немислимо!

И значит — опять хитрить, прикидываться, обманывать, тянуть — и надоело же за целую жизнь!.. (Кстати, от слишком большой хитрости устаем мы и ошибаемся. Сам же я все и накликал письмом омской лаборантки, которое просил вас прислать. Отдал — схватили его, подшили в историю болезни, и с опозданием я понял, что на этом меня обманули: теперь они с уверенностью дают гормонотерапию, а то бы, может, сомневались). Справочку, справочку получить — и оторваться отсюда по-хорошему, не ссорясь.

А вернусь в Уш-Терек и, чтоб опухоль никуда метастазов не кинула, — прибью ее еще иссык-кульским корешком. Что-то есть благородное в лечении сильным ядом: яд не

притворяется невинным лекарством, он так и говорит: я — яд! берегись! или — или! И мы знаем, на что идем.

Ведь не прошу же я долгой жизни! — и что загадывать вдаль?.. То я жил все время под конвоем, то я жил все время под болями, — теперь я хочу немножечко прожить и без конвоя, и без болей, одновременно без того и без другого — и вот предел моих мечтаний. Не прошу ни Ленинград, ни Рио-де-Жанейро, хочу в нашу заглушь, в наш скромный Уш-Терек. Скоро лето, хочу это лето спать под звездами на топчане, так, чтоб ночью проснуться — и по развороту Лебеда и Пегаса знать, который час. Только вот это одно лето пожить так, чтобы видеть звезды, чтоб не засвечивали их зонные фонари — а после мог бы я и совсем не просыпаться. Да, и еще хочу, Николай Иванович, с вами (и с Жуком, разумеется, и с Тобиком), когда будет спадать жара, ходить степною тропочкой на Чу и там, где глубже, где вода выше колена, садиться на песчаное дно, ноги по течению, и долго-долго так сидеть, неподвижностью соревноваться с цапляй на том берегу.

Наша Чу не дотягивает ни до какого моря, ни озера, ни до какой большой воды. Река, кончающая жизнь в песках! Река, никуда не впадающая, все лучшие воды и лучшие силы раздарившая так, по пути и случайно, — друзья! разве это не образ наших арестантских жизней, которым ничего не дано сделать, суждено бесславно заглохнуть, — и все лучшее наше — это один плес, где мы еще не высохли, и вся память о нас — в двух ладоньках водички, то, что протягивали мы друг другу встречей, беседой, помощью.

Река, впадающая в пески!.. Но и этого последнего плеса врачи хотят меня лишить. По какому-то праву (им не приходит в голову спросить себя о праве) они без меня и за меня решаются на страшное лечение — такое, как гормонотерапия. Это же — кусок раскаленного железа, которое подносят однажды — и делают калеккой на всю жизнь. И так это буднично выглядит в будничном быте клиники!

Я и раньше давно задумывался, а сейчас особенно, над тем: какова, все-таки, верхняя цена жизни? Сколько можно за нее платить, а сколько нельзя? Как в школах сейчас учат: «Самое дорогое у человека — это жизнь, она дается один раз». И значит — любой ценой цепляйся за жизнь... Многим из нас лагерь помог установить, что предательство, что губительные хороших и беспомощных людей — цена слишком высокая, того наша жизнь не стоит. Ну, об угодничестве, лести, лжи — лагерные голова разделялись, говорили, что цена эта — сносная, да может, так и есть.

Ну, а вот такая цена: за сохранение жизни заплатить всем тем, что придает ей же краски, запахи и волнение? Получить жизнь с пищеварением, дыханием, мускульной и мозговой деятельностью — и все. Стать ходячей схемой. Такая цена — не слишком ли заломлена? Не насмешка ли она? Платить ли? После семи лет армии и семи лет лагеря — дважды семи лет, дважды сказочного или дважды библейского срока — и лишиться способности визнавать, где мужчина, где женщина — эта цена не лихо ли запрошена?

Вашим последним письмом (дошло быстро, за пять дней) вы меня взбудоражили: что? у нас в районе — и геодезическая экспедиция? Это что б за радость была — стать у теодолита! хоть годик поработать как человек! Да возьмут ли меня? Ведь обязательно пересекать комендантские границы и вообще это все — трижды секретно, без этого не бывает, а я — человек запачканный.

«Мост Ватерлоо» и «Рим — открытый город», которые вы хвалите, мне теперь уже не повидать: в Уш-Тереке второй раз не покажут, а здесь, чтобы пойти в кино, надо после выписки из больницы где-то ночевать, а где же? Да еще и не ползком ли я буду выписываться?

Вы предлагаете подбросить мне деньжишек. Спасибо. Сперва хотел отказаться: всю жизнь избегал (и избег) быть в долгах. Но вспомнил, что смерть моя будет не совсем безнаследная: бараний Уш-Терекский полушубок — это ж все-таки вещь! А черное двухметровое сукно в службе одеяла? А перьяная подушка, подарок Мельничуков? А три ящика, сбитых в кровать? А две кастрюли? Кружка лагерная? Ложка? Да ведро же? Остаток сак-

саула! Топор! Наконец, керосиновая лампа! Я просто был опрометчив, что не написал за-вещения.

Итак, буду вам благодарен, если пришлете мне полторы сотни (не больше!). Ваш заказ — поискать марганцовки, соды и корицы — принял. Думайте и пишите: что ещё? Может быть, все-таки, облегченный уют? Я припру, вы не стесняйтесь.

По вашей, Николай Иванович, метеосводке вижу, что у вас еще холодновато, снег не сошел. А здесь такая весна, что даже неприлично и непонятно.

Кстати, о метео. Увидите Инну Штрём — передайте ей от меня очень большой привет. Скажите, что я о ней часто здесь...

А может быть — и не надо...

Нюют какие-то неясные чувства, сам я не знаю: чего хочу? Чего право имею хотеть?

Но когда вспоминаю утешительницу нашу, великую поговорку: «было ж хуже!» — приободряюсь сразу. Кому-кому, но не нам голову ронять! Так еще побарахтаемся!

Елена Александровна замечает, что за два вечера написала десять писем. И я подумал: кто теперь так помнит дальних и отдает им вечер за вечером? Оттого и приятно писать вам долгие письма, что знаешь, как вы прочтете их вслух, и еще перечтете, и еще по фразам переберете и ответите на все.

Так будьте все так же благополучны и светлы, друзья мои!

*Ваш Олег.*

### **Зачем жить плохо?**

Пятого марта на дворе выдался день мутный, с холодным мелким дождиком, а в палате — пестрый, сменный: спускался в хирургическое Демка, накануне подписав согласие на операцию, и подкинули двоих новичков. Первый новичок как раз и занял демкину койку - в углу, у двери. Это был высокий человек, но очень сутулый, с непрямою спиной, с лицом, изношенным до старости. Глаза его были до того отечные, нижние веки до того опущены, что овал, как у всех людей, превратился у него в круг — и на этом круге белок выказывал нездоровую краснину, а светло-табачное радужное кольцо выглядел тоже крупней обычного из-за оттянутых нижних век. Этими большими круглыми глазами старик будто разглядывал всех с неприятным постоянным вниманием.

Демка последнюю неделю был уже не свой: ломило, и дергало его ногу неутешно, он не мог уже спать, не мог ничем заниматься и еле крепился, чтобы не вскрикивать, соседям не досаждать. И так его доняло, что нога уже перестала ему казаться драгоценной для жизни, а проклятой обузой, от которой избавиться бы полегче да поскорей. И операция, месяц назад представлявшаяся концом жизни, теперь выглядела спасением.

Но хотя со всеми в палате пересоветовался Демка, прежде чем поставить подпись согласия, он еще и сегодня, скрутив узелок и прощаясь, навел так, чтоб его успокаивали и убеждали. И Вадиму пришлось повторить уже говоренное: что счастлив Демка, что может так отделаться легко; что он, Вадим, с удовольствием бы с ним поменялся.

А Демка еще находил возражения:

— Кость-то — пилой пилят. Просто пилят, как бревно. Говорят, под любым наркозом слышно.

Но Вадим не умел и не любил долго утешать:

— Ну что ж, не ты первый. Выносят другие — и ты вынесешь.

В этом, как во всем, он был справедлив и ровен: он и себе утешения не просил и не потерпел бы. Во всяком утешении уже было что-то мяккое, религиозное.

Был Вадим такой же собранный, гордый и вежливый, как и в первые дни здесь, только горную смуглость его стало сгонять желтизной, да чаще вздрагивали губы от боли и подергивало лоб от нетерпения, от недоумения. Пока он только говорил, что обречен, жить

восемь месяцев, а еще ездил верхом, летал в Москву, встречался с Черегородцевым: — он на самом деле еще уверен был, что выскочит. Но вот уже месяц он лежал здесь — один месяц из тех восьми, и уже, может быть, не первый, а третий или четвертый из восьми. И с каждым днем становилось больней ходить — уже трудно было мечтать сесть на коня и ехать в поле. Болело уже и в паху. Три книги из привезенных шести он прочел, но меньше стало уверенности, что найти руды по водам — это одно-единственное нужное, и оттого не так уже пристально он читал, не столько ставил вопросительных и восклицательных знаков. Всегда считал Вадим лучшей характеристикой жизни, если не хватает дня, так занят. Но вот что-то стало ему дня хватать и даже оставаться, а не хватало — жизни. Обвисла его струнная способность к занятиям. По утрам уже не так часто он просыпался, чтоб заниматься в тишине, а иногда и просто лежал, укрывшись с головой, и наплывало на него, что, может быть, поддаться да и кончить — легче, чем бороться. Нелепо и жутко становилось ему от ничтожного здешнего окружения, от дурацких разговоров, и, разрывая лощеную выдержку, ему хотелось по-звериному взвыть на капкан: «ну, довольно шутить, отпусти ногу-го!»

Мать Вадима в четырех высоких приемных не добила коллоидного золота. Она привезла из России чагу, договорилась тут с санитаркой, чтоб та носила ему банки настоя через день, сама же опять улетела в Москву: в новые приемные, все за тем же золотом. Она не могла примириться, что радиоактивное золото где-то есть, а у сына метастазы будут просачиваться через пах.

Подошел Демка и к Костоглотову сказать последнее слово или услышать последнее. Костоглотов лежал наискось на своей кровати, ноги подняв на перильца, а голову свесив с матраса в проход. Так, перевернутый для Демки и сам его видя перевернутым, он протянул руку и тихо напутствовал (ему трудно стало говорить громко, отдавалось что-то под легкими):

— Не дрейфь, Демка. Лев Леонидович приехал, я видел. Он быстро отхватит.

— Ну? — прояснил Демка. — Ты сам видел?

— Сам.

— Вот хорошо бы!.. Вот хорошо, что я дотянул!

Да, стоило появиться в коридорах клиники этому верзиле-хирургу со слишком длинными свисающими руками, как больные окрепли духом, будто поняв, что вот именно того долговязого тут и не хватало целый месяц. Если бы хирургов сперва пропускали перед больными для показа, а потом давали выбирать, — то многие, записываясь бы, наверно, ко Льву Леонидовичу. А ходил он по клинике всегда со скучающим видом, но и вид-то его скучающий истолковывался так, что сегодня — не операционный день.

Хотя ничем не была плоха для Демки Евгения Устиновна, хотя прекрасный была хирург хрупенькая Евгения Устиновна, но совсем же другое настроение было лечь под эти волосатые обезьяньи руки. Уж чем бы ни кончилось, спасет не спасет, но и своего промаха не сделает. В этом была почему-то у Демки уверенность.

На короткое время сродняется больной с хирургом, но сродняется ближе, чем с отцом родным.

— А что, хороший хирург? — глухо спросил от бывшей Демкиной кровати новичок с отечными глазами. У него был застегнутый, растерянный вид. Он зяб, и даже в комнате на нем был сверх пижамки бумазейный халат, распахнутый, не опоясанный, — и озирался старик, будто он был взбужен ночным стуком в одиноком доме, сошел с кровати и не знал — откуда беда.

— М-м-м-м! — промычал Демка, все больше проясняясь, все больше довольный, как будто пол-операции с него свалилось. — Во парень! С присыпочкой! А вам — тоже операция? А что у вас?

— Тоже, — только и ответил новичок, будто не слышал всего вопроса. Лицо его не усвоило демкиного облегчения, никак не изменились его большие круглые усиленные гла-

за — то ли слишком пристальные, то ли совсем ничего не видящие.

Демка ушел, новичку постелили, он сел на койку, прислонился к стене — и опять молча уставился укрупненными глазами. Он глазами не водил, а уставлялся на кого-нибудь одного в палате и так долго смотрел. Потом всю голову поворачивал — на другого смотрел. А может и мимо. Он не шевелился на звуки и движения в палате. Не говорил, не отвечал, не спрашивал. Час прошел — всего-то и вырвали из него, что он из Ферганы. Да от сестры услышали, что его фамилия — Шулубин.

Он — филин был, вот кто он был, Русанов сразу признал: эти кругло-уставленные глаза с неподвижностью. И без того была палата невеселая, а уж этот филин совсем тут некстати. Угрюмо уставился он на Русанова и смотрел так долго, что стало просто неприятно. На всех он так уставлялся, будто все они тут были в чем-то виноваты перед ним. И уже не могла их палатная жизнь идти прежним непринужденным ходом.

Павлу Николаевичу был вчера двенадцатый укол. Уж он втянулся в эти уколы, переносил их без бреда, но развились у него частые головные боли и слабость. Главное выяснилось, что смерть ему не грозит, конечно, — это была семейная паника. Вот уже не стало половины опухоли, а то, что еще сидело на шее, помягчело, и хотя мешало, но уже не так, голове возвращалась свобода движения. Оставалась одна только слабость. Слабость можно перенести, в этом даже есть приятное: лежать и лежать, читать «Огонек» и «Крокодил», пить укрепляющее, выбирать вкусное, что хотелось бы съесть, говорить бы с приятными людьми, слушать бы радио — но это уже дома. Оставалась бы одна только слабость, если бы Донцова жестким упором пальцев не щупала б ему больно еще под мышками всякий раз, не надавливала бы как палкой. Она искала чего-то, а месяц тут полежав, можно было догадаться, чего ищет: второй новой опухоли. И в кабинет его вызывала, клала и щупала пах, так же остро больно надавливая.

— А что, может переброситься? — с тревогой спрашивал Павел Николаевич. Затмевалась вся его радость от спада опухоли.

— Для того и лечимся, чтоб — нет! — встряхивала головой Донцова. — Но еще много уколов надо перенести.

— Еще столько? — ужасался Русанов.

— Там видно будет.

(Врачи никогда точно не говорят.)

Он уже был так слаб от двенадцати, уже качали головами над его анализами крови — а надо было выдержать еще столько же? Не мытьем, так катаньем болезнь брала свое. Опухоль спадала, а настоящей радости не было. Павел Николаевич вяло проводил дни, больше лежал. К счастью, присмирел и Оглоед, перестал орать и огрызаться, теперь-то видно было, что он не притворяется, укрутила болезнь и его. Все чаще он свешивал голову вниз и так подолгу лежал, сожмутив глаза. А Павел Николаевич принимал порошки от головной боли, смачивал лоб тряпкой и глаза прикрывал от света. И так они лежали рядом, вполне мирно, не перебраниваясь, — по много часов.

За это время повесили над широкой лестничной площадкой (откуда унесли в морг того маленького, что все сосал кислородные подушки) лозунг — как полагается белыми буквами по длинному кумачовому полотну:

*Больные! Не разговаривайте друг с другом о ваших болезнях!*

Конечно, на таком кумаче и на таком видном месте приличней было бы вывесить лозунг из числа октябрьских или первомайских, — но для их здешней жизни был очень важный и этот призыв, и уже несколько раз Павел Николаевич, ссылаясь на него, останавливал больных, чтоб не травмили душу.

(А вообще-то, рассуждая по-государственному, правильной было бы опухолевых больных в одном месте не собирать, раскидывать их по обычным больницам, и они друг друга бы не пугали, и им можно было бы правды не говорить, и это было бы гораздо гуманнее.)

В палате люди менялись, но никогда не приходили веселые, а все пришибленные, заморенные. Один Ахмаджан, уже покинувший костылек и скорый к выписке, скалил белые зубы, но развеселить кроме себя никого не умел, а только, может быть, вызывал зависть. И вдруг сегодня, часа через два после угрюмого новичка, среди серенького унылого дня, когда все лежали по кроватям и стекла, замытые дождем, так мало пропускали света, что еще прежде обеда хотелось зажечь электричество, да чтоб скорей вечер наступал, что ли, — в палату, опережая сестру, быстрым здоровым шагом вошел невысокий, очень живой человек. Он даже не вошел, он ворвался — так поспешно, будто здесь были выстроены в шеренгу для встречи, и ждали его, и утомились. И остановился, удивляясь, что все вяло лежат на койках. Даже свистнул. И с энергичной укоризной бодро заговорил:

— Э-э, братья, что это вы подмокли все? Что это вы ножки съезжили? — Но хотя они и не были готовы к встрече, он их приветствовал полувоенным жестом, вроде салюта: — Чалый, Максим Петрович! Прошу любить! Воль-на!

Не было на его лице ракового истомления, играла жизнелюбивая уверенная улыбка — и некоторые улыбнулись ему навстречу, в том числе и Павел Николаевич. За месяц среди всех нытиков это, кажется, первый был человек!

— Та-ак, — никого не спрашивая, быстрыми глазами высмотрел он свою койку и вбивчиво протопал к ней. Это была койка рядом с Павлом Николаевичем, бывшая Мурсалимова, и новичок зашел в проход со стороны Павла Николаевича. Он сел на койку, покачался, поскрипел. Определил: — Амортизация — шестьдесят процентов. Главврач мышей не ловит.

И стал разгружаться, а разгружать ему оказалось нечего: в руках ничего, в одном кармане бритва, а в другом пачка, но не папирос — а игральных, почти еще новых карт.

## Вера

Она вышла из клиники в праздничном настроении и тихо напевала, для себя одной слышимо, с закрытым ртом. В светло-песочном демисезонном пальто, уже без бот, потому что везде на улицах было сухо, она чувствовала себя легко, всю себя, и ноги особенно, — так невесомо шлось, можно было весь город наискосок.

Такой же солнечный, как день, был и вечер, хотя уже прохладнел, а очень отдавал весной. Дико было бы лезть в автобус, душиться.

Хотелось только идти пешком.

И она пошла.

Ничего в их городе не бывало красивее цветущего урюка. Вдруг захотелось ей сейчас, в обгон весны, непременно увидеть хоть один цветущий урюк — на счастье, за забором где-нибудь, за дувалом, хоть издали, эту воздушную розовость не спутать ни с чем.

Но — рано было для того. Деревья только чуть отзеленивали от серого: был тот момент, когда зеленый цвет уже не отсутствует в дереве, но серого еще гораздо больше. И где за дувалом был виден клочок сада, отстоенного от городского камня, — там была лишь сухая рыжеватая земля, вспаханная первым кетменем.

Было — рано.

Всегда, как будто спеша, Вера садилась в автобус — умачивалась на разбитых пружинах сиденья или дотягивалась пальцами до поручня, висла так и думала ничего не хочется делать, вечер впереди, — а ничего не хочется делать. И вопреки всякому разуму часы вечера надо только убить, а утром в таком же автобусе спешить опять на работу.

Сегодня же она неторопливо шла — и ей всё-всё хотелось делать! Сразу выступило много дел — и домашних, и магазинных, и, пожалуй, шитейных, и библиотечных, и просто приятных занятий, которые совсем не были ей запрещены или преграждены, а она почему-то избегала их до сих пор. Теперь все это ей хотелось, даже сразу! Но она, наоборот, ни-

чуть не спешила ехать и делать их скорей, ни одного из них, а — шла медленно, получая удовольствие от каждого переступа туфелькой по сухому асфальту.

Она шла мимо магазинов, еще не закрытых, но ни в один не зашла купить, что ей было нужно из еды или из обихода. Проходила мимо афиш, но ни одну из них не прочла, хотя их-то и хотелось теперь читать.

Просто так вот шла, долго шла, и в этом было всё удовольствие.

И иногда улыбалась.

Вчера был праздник — но подавленной и презренной ощущала она себя. А сегодня рабочий будний день — и такое легкое счастливое настроение.

Праздник в том, чтобы почувствовать себя правой. Твои затаенные, твои настойчивые доводы, осмеянные и непризнанные, ниточка твоя, на которой одной ты еще висишь — вдруг оказываются тросом стальным, и его надежность признает, уверенно виснет и сам на него такой бывалый, недоверчивый, неподатливый человек.

И как в вагончике подвесной канатной дороги над немыслимой пропастью человеческого непонимания, они плавно скользят, поверив друг другу.

Это просто восхитило ее! Ведь мало знать, что ты — нормальная, не сумасшедшая, но и услышать, что — да, нормальная, не сумасшедшая, и от кого! Хотелось благодарить его, что он так сказал, что он сохранился такой, пройдя провалы жизни.

Благодарить, а пока что оправдываться перед ним — за гормонотерапию. Фридлянда он отвергал, но и гормонотерапию тоже. Здесь было противоречие, но логику спрашивают не с больного, а с врача.

Было здесь противоречие, не было здесь противоречия — а надо было убедить его подчиниться этому лечению! Невозможно было отдать этого человека — назад опухоли! Все ярее разгорался у нее азарт: переубедить, переупрямить и вылечить именно этого больного! Но чтобы такого огрызливого упряма снова и снова убеждать, надо было очень верить самой. А ей самой при его упреке вдруг прояснилось, что гормонотерапия введена у них в клинике по единой всесоюзной инструкции для широкого класса опухолей и с довольно общей мотивировкой. О том, как оправдала себя гормонотерапия в борьбе именно с семиномой, она не помнила сейчас специальной отдельной научной статьи, а их могла быть не одна, и иностранные тоже. И чтобы доказывать — надо бы все прочесть. Не так много она их вообще успевала читать...

Но теперь-то! — она все успеет! Теперь она обязательно прочтет.

Костоглов однажды швырнул ей, что он не видит, чем его знахарь с корешком меньше врач, что, мол, математических подсчетов он и в медицине не замечает. Вера тогда почти обиделась. Но потом подумала: отчасти верно. Разве, разрушая клетки рентгеном, они знают хоть приблизительно: сколько процентов разрушения падает на здоровые клетки, сколько на больные? И насколько верней, чем когда знахарь зачерпывает сушеный корешок — горстью, без весов?.. А кто объяснил старинные простые горчичники? Или: все бросились лечить пенициллином — однако кто в медицине воистину объяснил, в чем суть действия пенициллина? Разве это не темная вода?.. Сколько тут надо следить за журналами, читать, думать! Но теперь она все успеет!

Вот уже — совсем не заметно, как скоро! — она была и у себя во дворе. Поднявшись на несколько ступенек на общую большую веранду с перилами, обвешанными чьими-то ковриками и половиками, пройдя по цементному полу в выбоинах, она без уныния отперла общеквартирную дверь с отодранной местами обивкой и пошла темноватым коридором, где не всякую лампочку можно было зажечь, потому что они были от разных счетчиков.

Вторым английским ключом она отперла дверь своей комнаты — и совсем не угнетающей показалась ей эта келья-камера с обрешеченным от воров окном, как все первоэтажные окна города, и где было предсумеречно сейчас, а солнце яркое заглядывало только



утром. Вера остановилась в дверях, не снимая пальто, и смотрела на свою комнату с удивлением, как на новую. Здесь очень хорошо и весело можно было жить! Пожалуй только, переменить сейчас скатерть. Пыль кое-где стереть. И, может быть, на стене перевесить Петропавловскую крепость в белую ночь и черные кипарисы Алупки.

Но, сняв пальто и надев передник, она сперва пошла на кухню. Смутно помнилось ей, что с чего-то надо начинать на кухне. Да! надо же было разжигать керогаз и что-нибудь себе готовить.

Однако соседский сын, здоровый парень, бросивший школу, всю кухню перегородил мотоциклом и, свистя, разбирая его, части раскладывал по полу и мазал. Сюда падало предзакатное солнце, еще было светло от него. Вообще-то можно было протискиваться и ходить к своему столу. Но Вере вдруг совсем не захотелось возиться тут — а только в комнате, одна с собою.

Да и есть ей не хотелось, нисколько не хотелось!

И она вернулась к себе и с удовольствием защелкнула английский замок. Совсем ей было незачем сегодня выходить из комнаты. А в вазочке были шоколадные конфеты, вот их и грызть потихоньку...

Вера присела перед маминым комодом на корточки и потянула тяжелый ящик, в котором лежала другая скатерть.

Но нет, прежде надо было перетереть пыль!

Но еще прежде надо было переодеться попроще!

И каждый этот переброс Вера делала с удовольствием, как изменяющиеся в танце па. Каждый переброс тоже доставлял удовольствие, в этом и был танец.

А может быть, раньше надо было перевесить крепость и кипарисы? Нет, это требовало молотка, гвоздей, а всего неприятнее делать мужскую работу. Пусть повисят пока так.

И она взяла тряпку и двигалась с нею по комнате, чуть напевая.

Но почти сразу наткнулась она на приставленную к пузатому флакончику цветную открытку, полученную вчера. На лицевой стороне были красные розы, зеленые ленты и голубая восьмерка. А на обороте черным машинописным текстом ее поздравляли. Местком поздравлял ее с международным женским днем.

Всякий общий праздник тяжел одинокому человеку. Но невыносим одинокой женщине, у которой годы уходят, — праздник женский! Овдовелые и безмужние, собираются такие женщины хлестнуть вина и попеть, будто им весело. Тут, во дворе, бушевала вчера одна такая компания. И один чей-то муж был среди них; с ним потом, пьяные, целовались по очереди.

Желал ей местком безо всякой насмешки: больших успехов в труде и счастья в личной жизни.

Личная жизнь!.. Как личина какая-то сползающая. Как личинка мертвая сброшенная.

Она разорвала открытку вчетверо и бросила в корзину.

Переходила дальше, перетирая то флаконы, то стеклянную пирамидку с видами Крыма, то коробку с планками около приемника, то пластмассовый ребрѣный чемоданчик электропроигрывателя.

Вот сейчас она могла без боли слушать любую свою пластинку. Могла поставить непереносимую:

И теперь, в эти дни,

Я, как прежде, один...

Но искала другую, поставила, включила приемник на проигрыватель, а сама ушла в глубокое мамино кресло, ноги в чулках подобрала к себе туда же. Пылевая тряпка так и осталась кончиком зажата в рассеянной руке и свисла вымпелом к полу.

Уже совсем было в комнате серо, и отчетливо светилась зеленоватая шкала приемника. Это была сюита из «Спящей красавицы». Шло адажио, потом «появление Фей».

Вега слушала, но не за себя. Она хотела представить, как должен был это адажио слушать с балкона оперного театра вымокший под дождем, распираемый болью, обречённый на смерть и никогда не видавший счастья человек.

Она поставила снова то же.

И опять.

Она стала разговаривать — но не вслух. Она воображаемо разговаривала с ним, будто он сидел тут же, через круглый стол, при том же зеленоватом свечении. Она говорила то, что ей надо было сказать, и выслушивала его: верным ухом отбирала, что он мог бы ответить. У него очень трудно предвидеть, как он вывернет, но, кажется, она привыкала.

Она досказывала ему сегодняшнее — то, что при их отношениях еще никак сказать нельзя, а вот сейчас можно. Она развивала ему свою теорию о мужчинах и женщинах. Хемиигуэевские сверхмужчины — это существа, не поднявшиеся до человека, мелко плавает Хемингуэй. (Обязательно буркнет Олег, что никакого Хемингуэя он не читал, и даже гордо будет выставлять: в армии не было, в лагере не было.) Совсем не это надо женщине от мужчины: нужна внимательная нежность и ощущение безопасности с ним — прикрытости, укрытости.

Именно с Олегом — бесправным, лишенным всякого гражданского значения, эту защищенность почему-то испытывала Вега.

А с женщиной запутали еще больше. Самой женственной объявили Кармен. Ту женщину объявили самой женственной, которая активно ищет наслаждения. Но это — лже-женщина, это — переодетый мужчина.

Тут еще много надо объяснять. Но, не готовый к этой мысли, он, кажется, захвачен врасплох. Обдумывает.

А она опять ставит ту же пластинку.

Совсем уже было темно, и забыла она перетирать дальше. Все глубже, все значительней зеленела на комнату светящая шкала.

Зажигать света никак, ни за что не хотелось, а надо было обязательно посмотреть.

Однако эту рамочку она уверенной рукой и в полутьме нашла на стене, ласково сняла и поднесла к шкале. Если б шкала и не давала своей звездной зелени, и даже погасла сейчас, — Вера продолжала бы различать на карточке все: это мальчишеское чистенькое лицо; незащищенную светлость еще ничего не выдавших глаз; первый в жизни галстук на беленькой сорочке; первый в жизни костюм па плечах — и, не жалея пиджачного отворота, ввинченный строгий значок: белый кружок, в нем черный профиль. Карточка — шесть на девять, значок совсем крохотный, и все же днем отчетливо видно, а на память видно и сейчас, что профиль этот — Ленина.

«Мне других орденов не надо», — улыбался мальчик.

Этот мальчик и придумал звать ее Вегой.

## Хорошее начинание

Когда волнуется хирург, не новичок? Не в операциях. В операции идет открытая честная работа, известно что за чем, и надо только стараться все вырезаемое убирать порадикальнее, чтоб не жалеть потом о недоделках. Ну, разве иногда внезапно осложнится, хлынет кровь, и вспомнишь, что Резерфорд умер при операции грыжи. Волнения же хирурга начинаются после операции, когда почему-то держится высокая температура или не спадает живот, и теперь, на хвосте упускаемого времени, надо без ножа мысленно вскрыть, увидеть, понять и исправить — как свою ошибку. Бесплезнее всего валить послеоперационное осложнение на случайную побочную причину.

Вот почему Лев Леонидович имел привычку еще до пятиминутки забегать к своим

послеоперационным, глянуть одним глазом.

В канун операционного дня предстоял долгий общий обход и не мог Лев Леонидович еще полтора часа не знать, что с его желудочным и что с Демкой. Он заглянул к желудочному — все было неплохо; сказал сестре, чем его поить и по сколько. И в соседнюю крохотную комнатку, всего на двоих, заглянул к Демке.

Второй здесь поправлялся, уже выходил, а Демка лежал серый, укрытый по грудь, на спине. Он смотрел в потолок, но не успокоено, а тревожно, собрав с напряжением все мускулы вокруг глаз, как будто что-то мелкое хотел и не мог разглядеть на потолке.

Лев Леонидович молча остановился, чуть ноги расставив, чуть из боку к Демке, и развесив длинные руки, правую даже отведя немного, смотрел исподлобья, будто примерялся: а если Демку сейчас трахнуть правой снизу в челюсть — так что будет?

Демка повернул голову, увидел — и рассмеялся.

И угрозно-строгое выражение хирурга тоже легко раздвинулось в смех. И Лев Леонидович подмигнул Демке одним глазом как парню своему, понимающему:

— Значит, ничего? Нормально?

— Да где ж нормально? — Много мог пожаловаться Демка. Но, как мужчина мужчине, жаловаться было не на что.

— Грызет?

— У-гм.

— И в том же месте?

— У-гм.

— И еще долго будет, Демка. Еще на будущий год будешь за пустое место хвататься. Но когда грызет, ты все-таки вспоминай: нету! И будет легче. Главное то, что теперь ты будешь жить, понял? А нога — туда!

Так облегченно это сказал Лев Леонидович! И действительно, заразу гнетучую — туда ее! Без нее легче.

— Ну, мы еще у тебя будем!

И уметнулся на пятиминутку — уже последний, опаздывая (Низамутдин не любил опозданий), быстро расталкивая воздух. Халат на нем был спереди круглоохватывающий, сплошной, а сзади полы никак не сходились, и поворозки перетягивались через спину пиджака. Когда он шел по клинике один, то всегда быстро, по лестнице через ступеньку, с простыми крупными движениями рук и ног — и именно по этим крупным движениям судили больные, что он тут не околачивается и не для себя время проводит.

А дальше началась пятиминутка на полчаса. Низамутдин достойно (для себя) вошел, достойно (для себя) поздоровался и стал с приятностью (для себя) неторопливо вести заседание. Он явно прислушивался к своему голосу и при каждом жесте и повороте очевидно видел себя со стороны, — какой он солидный, авторитетный, образованный и умный человек. В его родном ауле о нем творили легенды, известен он был и в городе, и даже в газете о нем упоминали иногда.

Лев Леонидович сидел на отставленном стуле, заложив одну длинную ногу за другую, а растопыренные лапы всунул под жгут белого пояска, завязанного у него па животе. Он криво хмурился под своей шапочкой-пилоткой, но так как он перед начальством чаще всего и бывал хмур, то главврач не мог принять этого на свой счет.

Главврач понимал свое положение не как постоянную, неусыпную и изнурительную обязанность, но как постоянное красование, награды и клавиатуру прав. Он назывался главврач и верил, что от этого названия он действительно становится главный врач, что он тут понимает больше остальных врачей, ну, может быть не до самых деталей, что он вполне вникает, как его подчиненные лечат, и только поправляя и руководя, оберегает их от ошибок. Вот почему он так долго должен был вести Пятиминутку, впрочем, очевидно, приятную и для всех. И поскольку права главврача так значительно и так удачно перевешивали его обязанности, он и на работу к себе в диспансер принимал — администраторов,

врачей или сестер — очень легко: именно тех, о ком звонили ему и просили из облздрава, или из горкома, или из института, где он рассчитывал вскоре защитить диссертацию; или где-нибудь за ужином в хорошую минуту кого он пообещал принять; или если принадлежал человек к той же весте древнего рода, что и он сам. А если начальники отделений возражали ему, что новопринятый ничего не знает и не умеет, то еще более них удивлялся Низамутдин Бахрамович: «Так научите, товарищи! А вы-то здесь зачем?»

С той сединой, которая с известного десятка лет равнодушно-благородным нимбом окружает головы талантов и тупиц, самоотверженцев и загребал, трудяг и бездельников; с той представительностью и успокоенностью, которыми вознаграждает нас природа за неиспытанные муки мысли; с той круглой ровной смуглостью, которая особенно идет к седине, — Низамутдин Бахрамович рассказывал своим медицинским работникам, что плохо в их боте и как вернее им бороться за драгоценные человеческие жизни. И на казенных прямоспинных диванах, на креслах и на стульях за скатертью синевы павлиньего пера, сидели и с видимым вниманием слушали Низамутдина — те, кого еще он не управился уволить, и те, кого он уже успел принять.

Хорошо видный Льву Леонидовичу, сидел курчавый Халмухамедов. У него был вид как будто с иллюстраций к путешествиям капитана Кука, будто он только что вышел из джунглей: дремучие поросли сплелись на его голове, черно-угольные вкрапины отмечали бронзовое лицо, в дико-радостной улыбке открывались крупные белые зубы, и лишь не было — но очень не хватало — кольца в носу. Да дело было, конечно, не в виде его, как и не в аккуратном дипломе мединститута, а в том, что ни одной операции он не мог вести, не загубя. Раза два допустил его Лев Леонидович — и навсегда закаялся. А изгнать его тоже было нельзя — это был бы подрыв национальных кадров. И вот Халмухамедов четвертый год вел истории болезней, какие попроще, с важным видом присутствовал на обходах, на перевязках, дежурил (спал) по ночам и даже последнее время занимал полторы ставки, уходя, впрочем, в конце одинарного рабочего дня.

Еще сидели тут две женщины с дипломами хирургов. Одна была — Пантехина, чрезвычайно полная, лет сорока, всегда очень озабоченная — тем озабоченная, что у нее росло шестеро детей от двух мужей, а денег не хватало, да и догляду тоже. Эти заботы не сходили с ее лица и в так называемые служебные часы — то есть, те часы, которые она должна была для зарплаты проводить в помещении диспансера. Другая — Анжелина, молоденькая, третий год из института, маленькая, рыженькая, недурна собой, возненавидевшая Льва Леонидовича за его невнимание к ней и теперь в хирургическом отделении главный против него интриган. Обе они ничего не могли делать выше амбулаторного приема, никогда нельзя было доверить им скальпеля — но тоже были важные причины, по которым ни ту, ни другую главврач не уволил бы никогда.

Так числилось пять хирургов в отделении, и на пять хирургов рассчитывались операции, а делать могли только двое.

И еще сестры сидели тут, и некоторые были подстать этим врачам, но их тоже принял и защищал Низамутдин Бахрамович.

Порою так все стискивало Льва Леонидовича, что работать тут становилось больше нельзя ни дня, надо было только рвать и уходить! Но куда ж уходить? Во всяком новом месте будет свой главный, может еще похуже, и своя надутая чушь, и свои не работники вместо работников. Другое дело было бы принять отдельную клинику и в виде оригинальности все поставить только на деловую ногу: чтобы все, кто числились — работали, и только б тех зачислять, кто нужен. Но не таково было положение Льва Леонидовича, чтобы ему доверили стать главным, или уж где-нибудь очень далеко, а он и так сюда от Москвы заехал не близко.

Да и само по себе руководить он ничуть не стремился. Он знал, что шкура администратора мешает разворотливой работе. А еще и не забылся период в его жизни, когда он видел павших и на них познал тщету власти: он видел комдивов, мечтавших стать дневаль-

ными, а своего первого практического учителя, хирурга Корякова, вытащил из помойки.

Порою же как-то мягчело, сглаживалось, и казалось Льву Леонидовичу, что терпеть можно, уходить не надо. И тогда он, напротив, начинал опасаться, что его самого, и Донцову, и Гангарт вытеснят, что дело к этому идет, что с каждым годом обстановка будет не проще, а сложней. А ему уже не легко было переносить изломы жизни: шло все-таки к со- рока, и тело уже требовало комфорта и постоянства.

Он вообще находился в недоумении относительно собственной жизни. Он не знал, надо ли ему сделать героический рывок, или тихо плыть, как плывется. Не здесь и не так начиналась его серьезная работа — она начиналась с отменным размахом. Был год, когда он находился от сталинской премии уже в нескольких метрах. И вдруг весь их институт лопнул от натяжек и от поспешности, и оказалось, что даже кандидатская диссертация не защищена. Отчасти это Коряков его когда-то так наставил: «Вы — работайте, работайте! *Написать* всегда успеете». А — когда «успеете»?

Или — на черта и писать?..

Лицом, однако, не выражая своего неодобрения главврачу, Лев Леонидович щурился и как будто слушал. Тем более что предлагалось ему в следующем месяце провести пер- вую операцию на грудной клетке.

Но все кончается! — кончилась и пятиминутка. И, постепенно выходя из комнаты со- вещаний, хирурги собрались на площадке верхнего вестибюля. И все так же держа лапы подsunутыми под поясок на животе, Лев Леонидович как хмурый рассеянный полководец повел за гобойю на большой обход седую тростиночку Евгению Устиновну, буйно- курчавого Халмухамедова, толстую Пантехину, рыженькую Анжелину и еще двух сес- тер.

Бывали обходы-облеты, когда надо было спешить работать. Спешить бы надо и сегодня, но сегодня был по расписанию медленный всеобщий обход, не пропуская ни од- ной хирургической койки. И все семеро они медленно ходили в каждую палату, окунаясь в воздух, спертый от душных лекарственных примесей, от неохотного проветривания и от самих больных, - теснились и сторонились в узких проходах, пропуская друг друга, а по- том смотря друг другу через плечо. И, собравшись кружком около каждой койки, они должны были в одну, в три или в пять минут все войти в боли этого одного больного, как они уже вошли в их общий тяжелый воздух, — в боли его и в чувства его, и в его анамнез, в историю болезни и в ход лечения, в сегодняшнее его состояние и во все то, что теория и практика разрешали им делать дальше.

И если б их было меньше; и если б каждый из них был наилучший у своего дела; и если б не по тридцать больных приходилось на каждого лечащего; и если б не запорашива- ло им голову, что и как удобнее всего записать в прокурорский документ — в историю бо- лезни; и если б они не были люди, то есть, прочно включенные в свою кожу и кости, в свою память и в свои намерения существа, испытывающие облегчение от сознания, что са- ми они этим болям не подвержены-то, пожалуй, и нельзя было бы придумать лучшего ре- шения, чем такой вот обход.

Но условий этих всех не было, обхода же нельзя было ни отменить, ни заменить. И потому Лев Леонидович вел их всех по заведенному, и, щурился, одним глазом больше, по- корно выслушивал от лечащего о каждом больном (и не наизусть, а по папочке) - откуда он, когда поступил (о давнишних это давно было и известно), по какому поводу поступил, какой род лечения получает в каких дозах, какова у него кровь, уже ли намечен к операций, и что мешает, или вопрос еще не решен. Он выслушивал, и ко многим садился на койку, не- которых просил открыть больное место, смотрел, шупал, после прощупа сам же заворачи- вал на больном одеяло или предлагал пощупать и другим врачам.

Истинно трудных случаев на таком обходе нельзя было решить — для того надо бы- ло человека вызвать и заниматься им отдельно. Нельзя было на обходе и высказать, на- звать все прямо, как оно есть, и потому понятно договориться друг с другом. Здесь даже

нельзя было ни о ком сказать, что состояние ухудшилось, разве только: «процесс несколько обострился». Здесь все называлось полунамеком, под псевдонимом (даже вторичным) или противоположно тому, как было на самом деле. Никто ни разу не только не сказал «рак» или «саркома», но уже и псевдонимов, ставших больным полупонятными, — «канцер», «канцерома», «цэ-эр», «эс-а» - тоже не произносили. Называли вместо этого что-нибудь безобидное: «язва», «гастрит», «воспаление», «полипы» — а что кто под этим словом понял, можно было вполне объясниться только уже после обхода. Чтобы все-таки понимать, друг друга, разрешалось говорить такое, как: «расширена тень средостения», «тимпонит», «случай не резектабельный», «не исключен летальный ход» (а значило: как бы не умер на столе). Когда все-таки выражений не хватало, Лев Леонидович говорил:

— Отложите историю болезни.

И переходили дальше.

Чем меньше они могли во время такого обхода понять болезнь, понять друг друга и условиться, — тем больше Лев Леонидович придавал значения подбодрению больных. В подбодрении он даже начинал видеть главную цель такого обхода.

— Status idem,— говорили ему. (Значило: все в том положении.)

— Да? — обрадованно откликнулся он. И уже у самой больной спешил удостовериться: — Вам легче немножко?

— Да пожалуй, — удивляясь, соглашалась и больная. Она сама этого не заметила, но если врачи заметили, то так, очевидно, и было.

— Ну, вот видите! Так постепенно и поправитесь.

Другая больная полошилась:

— Слушайте! Почему у меня так позвоночник болит? Может, и там у меня опухоль?

— Это вторичное явление.

(Он правду говорил: метастаз и был вторичным явлением)

Над страшным обострившимся стариком, мертвецки-серым и еле движущим губами в ответ, ему докладывали:

— Больной получает общеукрепляющее и болеутоляющее.

То есть: конец, лечить поздно, нечем, и как бы только меньше ему страдать.

И тогда, сдвинув тяжелые брови и будто решаясь на трудное объяснение, Лев Леонидович приоткрывал:

— Давайте, папаша, говорить откровенно, начнет тут! Все, что вы испытываете — это реакция на предыдущее лечение. Но не торопите нас, лежите спокойно, и мы вас вылечим. Вы лежите, вам как будто ничего особенного не делают, но организм с нашей помощью защищается.

И обреченный кивал. Откровенность оказывалась совсем не убийственной! — она засвечивала надежду.

— В подвздошной области туморозное образование вот такого типа, — докладывали Льву Леонидовичу и показывали рентгеновский снимок.

Он смотрел черно-мутно-прозрачную рентгеновскую пленку на свет и одобряюще кивал:

— Очень хороший снимок! Очень хороший! Операция в данный момент не нужна.

И больная ободрялась: с ней не просто хорошо, а очень хорошо.

А снимок был потому очень хорош, что не требовал повторения, он, бесспорно, показывал размеры и границы опухоли. И что операция — уже невозможна, упущена.

Так все полтора часа генерального обхода заведующий хирургическим отделением говорил не то, что думал, следил, чтоб тон его не выражал его чувств, - и вместе с тем, чтобы лечащие врачи делали правильные заметки для истории болезни — той сшивки полукartonных бланков, исписанных от руки, застромчивых под пером, по которой любого из них могли потом судить. Ни разу он не поворачивал резко головы, ни разу не взглядывал тревожно, и по доброжелательно-скучающему выражению Льва Леонидовича видели боль-

ные, что уж очень просты их болезни, давно известны, а серьезных нет.

И от полутора часов актерской игры, совмещенной с деловым размышлением, Лев Леонидович устал и расправляющее двигал кожей лба.

Но старуха пожаловалась, что ее давно не обстукивали — и он ее обстукал.

А старик объявил:

— Так! Я вам скажу немного!

И стал, путано рассказывать, как он сам понимает возникновение и ход своих болей. Лев Леонидович терпеливо слушал и даже кивал.

Теперь хотели вы сказать! — разрешил ему старик. Хирург улыбнулся:

— Что ж мне говорить? У нас с вами интересы совпадают. Вы хотите быть здоровым, и мы хотим, чтобы вы были здоровы. Давайте и дальше действовать согласованно.

С узбеками он самое простое умел сказать и по-узбекски. Очень интеллигентную женщину в очках, которую неловко было видеть на койке и в халате, он не осматривать публично. Мальчишке маленькому при матери серьезно подал руку. Семилетнего стукнул щелчком в живот, и засмеялись вместе.

И только учительнице, которая требовала, чтобы он вызвал на консультацию невропатолога, он ответил что-то совсем вежливое.

Но это и палата уже была последняя. Он вышел усталый, как после доброй операции. И объявил:

— Перекур пять минут.

И с Евгенией Устиновной затянули в два дыма, так схватились, будто весь их обход только к этому и шел (но строго говорили они больным, что табак канцерогенен, абсолютно противопоказан!).

Потом все зашли и уселись в небольшой комнатке за одним общим столом, и снова замелькали те же фамилии, которые были на обходе, но картина всеобщего улучшения и выздоровления, которую мог бы составить посторонний слушатель на обходе, здесь расстроилась и развалилась. У «status idem» случай был иноперабельный, и рентгенотерапию ей давали симптоматическую, то есть для снятия непосредственных болей, а совсем не надеясь излечить. Тот малыш, которому Лев Леонидович подавал руку, был инкурабельный, с генерализированным процессом, и лишь из-за настояния родителей следовало еще несколько подержать его в больнице и дать ему псевдо-рентгеновские сеансы без тока в трубке. О той старухе, которая настояла выстукать ее, Лев Леонидович сказал:

— Ей шестьдесят восемь. Если будем лечить рентгеном — может, дотянем до семидесяти. А соперим — года не проживет. А, Евгения Устиновна?

Уж если отказывался от ножа такой его поклонник, Лев Леонидович, Евгения Устиновна согласна была более.

А он вовсе не был поклонник ножа. Но он был скептик. Он знал, что никакими приборами так хорошо посмотришь, как простым глазом. И ничем так решительно не убеешь, как ножом.

О том больном, который не хотел сам решать операцию, а просил, чтоб советовались с родственниками, Лев Леонидович теперь сказал:

— Родственники у него в глубинке. Пока свяжемся, да пока приедут, да еще что скажут — он умрет. Надо его уговорить и взять на стол, не завтра, но следующий раз. С большим риском, конечно. Сделаем ревизию, может — зашьем.

— А если на столе умрет? — важно спросил Халмухамедов, так важно, будто он-то и рисковал.

Лев Леонидович пошевелил длинными сросшими бровями сложной формы.

— То еще «если», а без нас наверняка. — Подумал. У нас пока отличная смертность, мы можем и рисовать.

Всякий раз он спрашивал:

— У кого другое мнение?

Но мнение ему было важно одной Евгении Устиновны. А при разнице опыта, возраста и подхода оно у них почти всегда сходилось, доказывая, что разумным людям легче всего друг друга понимать.

— Вот этой желтоволосой, — спросил Лев Леонидович, — неужели ничем уже не поможем, Евгения Устиновна? Обязательно удалять?

— Ничем. Обязательно, — пожала изгибистыми накрашенными губами Евгения Устиновна. — И еще хорошую порцию рентгенотерапии потом.

— Жалко! — вдруг выдохнул Лев Леонидович и опустил голову со сдвинутым к заду куполом, со смешной шапочкой. Как бы рассматривая ногти, ведя большим — очень большим — пальцем вдоль четырех остальных, пробурчал: — У таких молодых отнимать — рука сопротивляется. Ощущение, что действуешь против природы.

Еще концом указательного обвел по контуру большого ногтя. Все равно ничего не получалось. И поднял голову:

— Да, товарищи! Вы поняли, в чем дело с Шулубиным?

— Цэ-эр рэкти? — сказала Пантехина.

— Цэ-эр рэкти, да, но как это обнаружено? Вот цена всей нашей онкопропаганде и нашим онкопунктам.

Правильно как-то сказал Орещенков на конференции: тот врач, который брезгает вставить палец больному в задний проход — вообще не врач! Как же у нас запущено все! Шулубин таскался по разным амбулаториям и жаловался на частые позывы, на кровь, потом на боли - у него все анализы брали, кроме самого простого - пощупать пальцем! От дизентерии лечили, от геморроя — все впустую. И вот в одной амбулатории по онкологическому плакату на стене он, человек грамотный, прочел — и догадался! И сам у себя пальцем нащупал опухоль! Так врачи не могли на полгода раньше?

— И глубоко?

— Было сантиметров семь, как раз за сфинктером. Ещё вполне можно было сохранить мышечный жом, и человек остался бы человеком! А теперь — уже захвачен сфинктер, ретроградная ампутация, значит, будет бесконтрольное выделение стула, значит, надо выводить анус на бок, что это за жизнь?.. Дядька хороший...

Стали готовить список завтрашних операций. Отмечали, кого из больных потенцировать, чем; кого в баню вести или не вести, кого как готовить.

— Чалого можно не потенцировать, — сказал Лев Леонидович. — Канцер желудка, а такое бодрое состояние, просто редкость.

(Знал бы он, что Чалый завтра утром будет сам себя потенцировать из флакона!)

Распределяли, кто у кого будет ассистировать, кто на крови. Опять неизбежно получалось так, что ассистировать у Льва Леонидовича должна была Анжелина. Значит, опять завтра она будет стоять против него, сбоку будет снова операция сестра и, вместо того, чтобы самой заранее угадывать, какой нужен инструмент, будет коситься на Анжелину, а Анжелина будет звериться, каковы они с операционной сестрой. А та — психовая, ту не тронь, она, смотри, нестерильного шелка подхватит — и пропала вся операция... Проклятые бабы! И не знают простого мужского правила: там, где работаешь, там не...

Оплошные родители назвали девочку при рождении Анжелиной, не представляя, в какого она еще демона вырастет. Лев Леонидович косился на славную, хотя и лисью, мордочку ее, и ему хотелось произнести примирительно:

«Слушайте, Анжелина, или Анжела, как вам нравится! Ведь вы же совсем не лишены способностей. Если бы вы обратили их не на происки по замужеству, а на хирургию — вы бы уже совсем неплохо работали. Слушайте, нельзя же нам ссориться, ведь мы стоим у одного операционного стола...»

Но она бы поняла так, что он утомлен ее кампанией и сдается.

Еще ему хотелось подробно рассказать о вчерашнем суде. Но Евгении Устиновне он коротко начал во время курения, а этим товарищам по работе даже и рассказывать не хо-



телось.

И едва кончилась их планерка, Лев Леонидович встал, закурил и, крупно помахивая избыточными руками и рассекая воздух облитой белой грудью, скорым шагом пошел в коридор к лучевику. Хотелось ему все рассказать именно Вере Гангарт. В комнате короткофокусных аппаратов он застал ее вместе с Донцовой за одним столом, за бумагами.

— Вам пора обеденный перерыв делать! — объявил он. — Дайте стул!

И, подбросив стул под себя, сел. Он расположился весело, дружески поболтать, но заметил:

— Что это вы ко мне какие-то неласковые?

Донцова усмехнулась, крутя на пальце большими роговыми очками:

— Наоборот, не знаю, как вам понравиться. Оперировать меня будете?

— Вас? Ни за что!

— Почему?

— Потому что если зарежу вас, скажут, что из зависти: что ваше отделение превосходило моё успехами.

— Никаких шуток, Лев Леонидович, я спрашиваю серьезно.

Людмилу Афанасьевну, правда, трудно было представить шутящей.

Вера сидела печальная, подобранная, плечи сжав, будто немного зябла.

— На днях будем Людмилу Афанасьевну посмотреть, Лев. Оказывается, у нее давно болит желудок, а она молчит. Онколог, называется!

— И вы уж, конечно, подобрали все показания в пользу канцера, да? — Лев Леонидович изогнул свои диковинные, от виска до виска, брови. В самом простом разговоре, где ничего смешного не было, его обычное выражение была насмешка, неизвестно над кем.

— Еще не все, — призналась Донцова.

— Ну, какие, например? Та назвала.

— Мало! — определил Лев Леонидович. — Как Райкин говорит: ма-ла! Пусть вот Верочка подпишет диагноз — тогда будем разговаривать. Я скоро буду поручать отдельную клинику — и заберу у вас Верочку диагностом. Отдадите?

— Верочку ни за что! Берите другую!

— Ну, какую другую, только Верочку! За что ж вас тогда оперировать?

Он шутливо смотрел и болтал, дотягивая папиросу до доньшка, а думал совсем без шуток. Как говорил все тот же Коряков: молод — опыта нет, стар — сил нет. Но Гангарт сейчас была (как и он, сам) в том вершинном возрасте, когда уже налился колос опыта и еще прочен стебель сил. На его глазах она из девочки-ординатора стала таким схватчивым диагностом, что он верил ей не меньше, чем самой Донцовой. За такими диагностами хирург, даже скептик, живет как у Христа за пазухой. Только у женщины этот возраст еще короче, чем у мужчины.

— У тебя завтрак есть? — спрашивал он у Веры. — Ведь все равно не съешь, домой понесешь. Давай я съем!

И действительно, смех смехом, появились бутерброды с сыром, и он стал есть, угощая:

— Да вы тоже берите!.. Так вот был я вчера на суде. Надо было вам прийти, поучительно! В здании школы. Собралось человек четыреста, ведь интересно!.. Обстоятельства такие: была операция ребенку по поводу высокой непроходимости кишок, заворот. Сделана. Несколько дней ребенок жил, уже играл! — установлено. И вдруг — снова частичная непроходимость и смерть. Восемь месяцев этого несчастного хирурга трепали следствием — как он там эти месяцы оперировал! Теперь на суд приезжают из горздрава, приезжает главный хирург города, а общественный обвинитель — из мединститута, слышите? И фугует: преступно-халатное отношение! Тянут и свидетели родителей — тоже нашли свидетелей! — какое-то там одеяло было перекошено, всякую глупость. А масса, граждане наши, сидят, глазят: вот гады врачи! И среди публики — врачи, и понимаем всю глуп-

пость, и это затягивание неотвратимое: ведь это нас самих затягивают, сегодня ты, а завтра я! — и молчим. И если б я не только что из Москвы — наверно, тоже бы промолчал. Но после свежего московского месяца как-то другие масштабы, свои и местные, чугунные пергородки оказываются подгнившими деревянными. И я — полез выступать.

— Там можно выступать?

— Ну да, вроде прений. Я говорю: как вам не стыдно устраивать весь этот спектакль? (Так и крошу! Меня одергивают: «лишим слова!») Вы уверены, что судебную ошибку не так же легко сделать, как медицинскую?! Весь этот случай есть предмет разбирательства научного, а никак не судебного! Надо было собрать только врачей — на квалифицированный научный разбор. Мы, хирурги, каждый вторник и каждую пятницу идем на риск, на минное поле идем! И наша работа вся основана на доверии, мать должна доверять нам ребенка, а не выступать свидетелем в суде!

Лев Леонидович и сейчас разволновался, в горле его дрогнуло. Он забыл недоеденный бутерброд и, рвя полупустую пачку, вытянул папиросу и закурил:

— И это еще — русский хирург! А если бы был немец, или, вот скажем, жьжбид, — протянул он мягко и долго «ж», выставя губы, — так повесить, чего ждать?.. Аплодировали мне! Но как же можно молчать? Если уж петлю затягивают — так надо рвать, чего ждать?!

Вера потрясенно качала и качала головой вслед рассказу. Глаза ее становились умно-напряженными, понимающими, за что и любил Лев Леонидович ей все рассказывать. А Людмила Афанасьевна недоуменно слушала и тряхнула большой головой с пепелистыми стриженными волосами:

— А я не согласна! А как с нами, врачами, можно разговаривать иначе? Там салфетку в живот зашили, забыли! Там влили физиологический раствор вместо новокаина! Там гипсом ногу омертвили! Там в дозе ошиблись в десять раз! Иногруппную кровь переливаем! Ожоги делаем! Как с нами разговаривать? Нас за волосы надо таскать, как детей!

— Да вы меня убиваете, Людмила Афанасьевна! — пятерню большую, как, защищаясь, поднял к голове Лев Леонидович. — Да как можете так говорить — вы!? Да здесь вопрос, выходящий даже за медицину! Здесь — борьба за характер всего общества!

— Надо вот что! надо вот что! — мирила их Гангарт, улавливая руки обоих от размахиваний. — Надо, конечно, повысить ответственность врачей, но через то, что снизить им норму — в два раза! в три раза! Девять больных в час на амбулаторном приеме — это разве в голове помещается? Дать возможность спокойно разговаривать с больными, спокойно думать. Если операция — так одному хирургу в день — одна, не три!

Но еще и еще Людмила Афанасьевна и Лев Леонидович выкрикнули друг другу, не соглашаясь. Все же Вера их успокоила и спросила:

— Чем же кончилось?

Лев Леонидович разощурился, улыбнулся:

— Отстояли! Весь суд — на пшик, признали только, что неправильно велась история болезни. Но подождите, это еще не конец! После приговора выступает горздрав — ну, там: плохо воспитываем врачей, плохо воспитываем больных, мало профсоюзных собраний. И в заключение выступает главный хирург города! И что ж он из всего вывел? что понял? Судить врачей, говорит, это хор о ш е н а ч и н а н и е , товарищи, очень хорошее!..

## Что кому интересно

Был обычный будний день и обход обычный: Вера Корнильева шла к своим лучевым одна, и в верхнем вестибюле к ней присоединилась сестра.

Сестра же была — Зоя.

Они постояли немного около Сигбатова, но так как здесь всякий новый шаг решался

самою Людмилой Афанасьевной, то долго не задержались и вошли в палату.

Они, оказывается, были в точности одинакового роста: на одном и том же уровне и губы, и глаза, и шапочки. Но так как Зоя была гораздо плотней, то казалась и крупнее. Можно было представить, что через два года, когда она будет сама врачом, она будет выглядеть осанистее Веры Корнильевны.

Они пошли по другому ряду, и все время Олег видел только их спины, да черноусый узелок волос из-под шапочки Веры Корнильевны, да золотые колечки из-под шапочки Зои.

Но и на эти колечки он уже два ночных ее дежурства не выходил. Никогда она не сказала, но зинуло вдруг ему, что вся неуступчивость ее, такая досадно-промедлительная, так обижавшая его — совсем не кокетство, а страх: переступить черту от невечного — к вечному. Он ведь — *вечный*. С вечным — какая игра?

А уж на этой черте Олег трезвел во мгновение: уд какие мы есть.

Весь тот ряд был сегодня лучевой, и они медленно продвигались, Вера Корнильевна садилась около каждого, смотрела, разговаривала.

Ахмаджану, осмотрев его кожу и все цифры в истории болезни и на последнем анализе крови, Вера Корнильевна сказала:

— Ну, скоро кончим рентген! Домой поедешь!

Ахмаджан сиял зубами.

— Ты где живешь?

— Карабаир.

— Ну, вот и поедешь.

— Выздоровел? — сиял Ахмаджан.

— Выздоровел.

— Совсем?

— Пока совсем.

— Значит, не приеду больше?

— Через полгода приедешь.

— Зачем, если совсем?

— Покажешься.

Так и прошла она весь ряд, ни разу не повернувшись в сторону Олега, все время спиной. И всего разок в его угол глянула Зоя.

Она посмотрела с особенной легкостью, ею усвоенной с какого-то времени. И на обходах она всегда находила такой момент, когда он один видел ее глаза — и тогда посылала ему, как сигналы Морзе, коротенькие вспышки веселости в глазах, вспышки-тире и вспышки-точки.

Но именно по этой возросшей легкости Олег однажды и догадался: что это — не колесо дальше прокатывалось, а потому так легко, что уж чересчур трудно, по добровольности — переступ невозможный.

Да ведь правда, если это вольное племя не может бросить квартиру в Ленинграде — то ведь и здесь? Конечно, счастье — с кем, а не где, но все же в большом городе...

Близ Вадима Вера Корнильевна задержалась надолго. Она смотрела его ногу и щупала пах, оба паха, и потом живот, и подвздошье, все время спрашивая, что она чувствует, и еще новый для Вадима задавала вопрос: что Л он чувствует после еды, после разной еды.

Вадим был сосредоточен, она тихо спрашивала, он тихо отвечал. Когда начались неожиданные для него прощупывания в правом подвздошье и вопросы о еде, он спросил:

— Вы — печень смотрите?

Он вспомнил, что мама перед отъездом как бы невзначай там же прощупала его.

— Все ему надо знать, — покрутила головой Вера Корнильевна. — Такие грамотные больные стали — хоть белый халат вам отдавай.

С белой подушки, смоляновоусый, изжелта-смузлый, с прямо лежащею головой,

Вадим смотрел на врача со строгим пронизанием, как иконный отрок.

— Я ведь понимаю, — сказал он тихо. — Я ведь читал, в чем дело.

Так это без напора было сказано, без претензии, чтоб Гангрант с ним соглашалась или тотчас же бы ему все объяснила, что она смутилась и слов не нашла, сидя на его кровати, перед ним как виноватая. Он хорош был собой, и молод, и наверно очень способен — и напоминал ей одного молодого человека в близко знакомой им семье, который долго умирал, с ясным сознанием, и никакие врачи не умели ему помочь, и именно из-за него Вера, еще тогда восьмиклассница, передумала быть инженером и решила — врачом.

Но вот и она не могла помочь.

В баночке на окне у Вадима стоял черно-бурый настой чаги, на который с завистью приходили посмотреть другие больные.

— Пьете?

— Пью.

Сама Гангарт не верила в чагу — просто никогда о ней раньше не слышала, не говорили, но, во всяком случае, она была безвредна, это не иссык-кульский корень. А если больной верил — то тем самым и полезна.

— Как с радиоактивным золотом? — спросила она.

— Все-таки обещают. Может быть, на днях дадут, — также собранно и сумрачно говорил он. - Но ведь это, оказывается, не на руки, это еще будут пересылать служебным порядком. Скажите, — он требовательно смотрел в глаза Гангарт, — через... две недели, если привезут — метастазы уже будут в печени, да?

— Да нет, что вы! Конечно, нет! — очень уверенно и оживленно солгала Гангарт и, кажется, убедила его. — Вели уж, хотите знать, то это измеряется месяцами.

(Но, зачем тогда она щупала подвздошь? Зачем спрашивала, как переносит еду?..)

Склонился Вадим поверить ей.

Если поверить — легче...

За то время, что Гангарт сидела на койке Вадима, Зоя от нечего делать, по соседству, повернула голову и посмотрела из боку книжку Олега на окне, потом на него самого и глазами что-то спросила. Но — непонятно что. Ее спрашивающие глаза с поднятыми бровками выглядели очень мило, но Олег смотрел без выражения, без ответа. Зачем теперь была вослед игра глазами, напоенный рентгеном, он не понимал. Для чего-чего, но для такой игры он считал себя староватым.

Он приготовился к подробному осмотру, как это шло сегодня, снял пижамную курточку и готов был стащить нижнюю сорочку.

Но Вера Корнильевна, кончив с Зацырко, вытирая руки и повернувшись лицом сюда, не только не улыбнулась Костоглову, не только не пригласила его к подробному рассказу, не присела к нему на койку, но и взглянула на него лишь очень мельком, лишь столько, сколько надо было, чтобы отметить, что теперь речь пойдет о нем. Однако и за этот короткий перевод глаз Костоглов мог увидеть, как они отчуждены. Та особенная светлость и радость, которую они излучали в день перелива ему крови, и даже ласковая прежняя расположенность, и еще прежнее внимательное сочувствие — всё разом ушло из них. Глаза опустели.

— Костоглов, — отметила Гангарт, смотря скорее на Русанова. — Лечение — то же. Вот странно, — и она посмотрела на Зою, — слабо выражена реакция на гормонотерапию.

Зоя пожала плечами:

— Может быть, частная особенность организма?

Она так, очевидно, поняла, что с ней, студенткой предпоследнего курса, доктор Гангарт консультируется как с коллегой.

Но прослушав Зоину идею мимо, Гангарт спросила ее, явно не консультируясь:

— Насколько аккуратно делаются ему уколы?

Быстрая на понимание, Зоя чуть откинула голову, чуть расширила глаза и — жел-

то-карими, выкаченными честно-удивленными — открыто в упор смотрела на врача:

— А какое может быть сомнение?.. Все процедуры, какие полагаются... всегда! — Еще бы немножко, и она была бы просто оскорблена. — Во всяком случае, в мои дежурства...

О других дежурствах ее и не могли спрашивать, это понятно. А вот это «во всяком случае» она произнесла одним свистом, и именно слившиеся торопливые звуки убедили почему-то Гангарт, что Зоя лжет. Да кто-то же должен был пропускать уколы, если они не действовали во всю полноту! Это не могла быть Мария. Не могла быть Олимпиада Владиславовна. А на ночных дежурствах Зои, как известно...

Но по смелому, готовому к отпору взгляду Зои Вера Корнильевна видела, что доказать ей этого будет нельзя, что Зоя уже решила: этого ей не докажут! И вся сила отпора и вся решимость Зои отречься были таковы, что Вера Корнильевна не выдержала и опустила глаза.

Она всегда опускала их, если думала о человеке неприятное.

Она виновато опустила глаза, а Зоя, победив, еще продолжала испытывать ее оскорбленным прямодушным взглядом.

Зоя победила — но и тут же поняла, что нельзя так рисковать: что если приступит с расспросами Донцова, кто-нибудь из больных, например Русанов, подтвердит, что она никаких уколов Костоглотову не делает — ведь так можно и потерять место в клинике, и получить дурной отзыв в институт.

Риск — а во имя чего? Колесу игры было некуда дальше катиться. И взглядом, расторгающим условие не делать уколов, Зоя прошла по Олегу.

Олег же явно видел, что Вера не хочет на него даже смотреть, но совершенно не мог понять — отчего это, поэтому так внезапно? Кажется, ничего не произошло. И никакого перехода не было. Вчера, правда, она отвернулась от него в вестибюле, но он думал — случайность.

Это — женские характеры, он совсем их забыл! Все в них так: дунул — и уже нету. Только с мужиками и могут быть долгие ровные нормальные отношения.

Вот и Зоя, взмахнув ресницами, уже его упрекала. Струсила. И если начнутся уколы — что между ними ещё может остаться, какая тайна?

Но что хочет Гангарт? — чтоб он обязательно делал все уколы? Да почему они ей так дались? За ее расположение — не велика ли цена?.. Пошла она... дальше!

А Вера Корнильевна тем временем заботливо, тепло разговаривала с Русановым. Этой теплотой особенно выделялось, как же она была обрывиста с Олегом...

## С оборота

Чтобы до такой степени известное тебе, многократно, вдоль и поперек известное, могло так выворотиться и стать совсем новым и чужим — Донцова все-таки не представляла. Тридцать лет уже она занималась болезнями других людей, добрых двадцать сидела у рентгеновского экрана, читала на экранах, читала на пленке читала в искаженных умоляющих глазах, сопоставляла с анализами, с книгами, писала статьи, спорила с коллегами, спорила с больными — и только всё непреложнее становились ей свой опыт и своя выработанная точка зрения, всё связнее — медицинская теория. Была этиология и патогенез, симптомы, диагноз, течение, лечение, профилактика и прогноз, а сопротивления, сомнения и страхи больных, хотя и были понятными человеческими слабостями и вызывали сочувствие врача, — но при взвешивании методов они были нули, в логических квадратах им не оставлено было место.

До сих пор все человеческие тела были устроены абсолютно одинаково: единый анатомический атлас описывал их. Одинакова была и физиология жизненных процессов, и физиология ощущений. Всё, что было нормальным и что было отклонением от нормально-

го, — разумно объяснялось авторитетными руководствами.

И вдруг в несколько дней ее собственное тело вывалилось из этой стройной системы, ударилось о жесткую землю, и оказалось беззащитным мешком, набитым органами, органами, каждый из которых в любую минуту мог заболеть и закричать.

В несколько дней все выверотилось наизнанку и, доставленное по-прежнему из изученных элементов, стадо неизученно и жутко.

Когда сын ее еще был маленьким мальчиком, они смотрели с ним картинки: самые простые домашние предметы — чайник, ложка, стул, — нарисованные из необычной точки, были неузнаваемы.

Таким же неузнаваемым выглядел теперь ей ход ее собственной болезни и ее новое место в лечении. Теперь уже не предстояло ей быть в лечении разумной направляющей силой — но отбивающимся безрассудным комком. Первое приятие болезни раздавило ее, как лягушку. Первое сживание с болезнью было невыносимо: опрокидывался мир, опрокидывался весь порядок мировых вещей. Еще не умерев, уже надо было бросить и мужа, и сына, и дочь, и внука, и работу — хотя именно эта самая работа будет теперь грохотать по ней и через нее. Надо было в один день отказаться от всего, что составляло жизнь, и бледно-зеленой тенью потом еще сколько-то мучиться, долго не зная, до конца ли она дохнет или вернется к существованию.

Никаких, кажется, украшений, радостей и празднеств не было в ее жизни — труд и беспокойства, труд и беспокойства — но до чего ж, оказывается, была прекрасна эта жизнь, и как до вопля невозможно было с ней расстаться!

Все воскресенье уже было ей не воскресенье, а подготовка своих внутренностей к завтрашнему рентгену.

В понедельник, как договорились, в четверть десятого Дормидонт Тихонович в их рентгеновском кабинете вместе с Верой Гангарт и еще одной из ординаторок потушили свет и начали адаптироваться к темноте. Людмила Афанасьевна разделась, зашла за экран. Беря от санитарки первый стакан бариевой взвеси, она проплеснула неловко: оказалось, что ее рука — столько раз тут же, в резиновых перчатках, твердо выминавшая животы — трясется.

И все известные приемы повторили над ней: щупанья, выминанья, поворачивания, подъем рук, вздохи. Тут же опускали стойку, клали ее и делали снимки в разных проекциях. Потом надо было дать время контрастной массе распространиться по пищевому тракту дальше — а рентгеновская установка не могла же пустовать, и ординатор пока пропускала своих очередных больных. И Людмила Афанасьевна даже подсаживалась ей на помощь, но плохо соображала и не помогла. Снова подходило ей: время становиться за экран, пить барий и ложиться под снимок.

Только просмотр не проходил в обычной деловой тишине с короткими командами, а Орещенков все время подшучивал то над своими молодыми помощницами, то над Людмилой Афанасьевой, то над собой: рассказывал, как его, еще студента, вывели из молодого тогда МХАТа за безобразие — была премьера «Власти тьмы», и Аким так натурально сморкался и так онучи разворачивал, что Дормидонт с приятелем стали шикать. И с тех пор, говорил он, каждый раз во МХАТе боится, чтобы его не узнали и опять не вывели. И все старались побольше говорить, чтоб не такие томительные были паузы между этими молчаливыми рассматриваниями. Однако Донцова хорошо слышала, что Гангарт говорит через силу, сухим горлом, ее-то она знала!

Но так ведь Людмила Афанасьевна и хотела! Вытирая рот после бариевой сметаны, она еще раз объявила:

— Нет, больной не должен знать всего! Я так всегда считала и сейчас считаю. Когда вам надо будет обсуждать — я буду выходить из комнаты.

Они приняли этот порядок, и Людмила Афанасьевна выходила, пыталась найти себе дело то с рентгенолаборантами, то над историями болезней, дел много было, но ни одного

из них она не могла сегодня дополнять. И вот снова звали ее — и она шла с колотящимся сердцем, что они встретят ее обрадованными словами, Верочка Гангарт облегченно обнимет и поздравит — но ничего этого не случилось, а снова были распоряжения, повороты и осмотры.

Подчиняясь каждому такому распоряжению, Людмила Афанасьевна сама не могла над ним не думать и не пытаться объяснить.

— По вашей методике я же вижу, что вы у меня ищите! — все-таки вырвалось у нее.

Она так поняла, что они подозревают у нее опухоль не желудка и не на выходе из желудка, но на входе - а это был самый трудный случай, потому что, требовал бы при операции частичного вскрытия грудной клетки.

— Ну, Людочка, — гудел в темноте Орещенков, — ведь вы же требуете раннего распознавания, так вот методика вам не та! Хотите, месяца три подождем, тогда быстрее скажем?

— Нет уж, спасибо вам за три месяца!

И большой главной рентгенограммы, полученной к концу дня, она тоже не захотела смотреть. Потеряв обычные решительные мужские движения, она смятая сидела на стуле под верхней яркой лампой и ждала заключительных слов Орещенкова — слов, решения, но не диагноза!

— Так вот, так вот, уважаемый коллега, — доброжелательно растягивал Орещенков, — мнения знаменитостей разделились.

А сам из-под угловатых бровей смотрел и смотрел на ее растерянность. Казалось бы, от решительной непреклонности Донцовой можно было ждать большей силы в этом испытании. Ее внезапная обмяклость еще и еще раз подтверждала мнение Орещенкова, что современный человек беспомощен перед ликом смерти, что ничем он не вооружен встретить ее.

— И кто же думает хуже? — силилась улыбнуться Донцова.

(Ей хотелось, чтоб — не он!)

Орещенков развел пальцами:

— Хуже думают ваши *дочки*. Вот как вы их воспитали. А я о вас все же лучшего мнения. — Небольшой, но очень доброжелательный изгиб выразился углами его губ.

Гангарт сидела бледная, будто решения ждала себе.

— Ну, спасибо, — немного легче стало Донцовой. — И... что же?

Сколько раз за этим глотком передышки ждали больные решения от нее, и всегда это решение строилось на разуме, на цифрах, это был логически постигаемый и перекрестно проверенный вывод. Но какая же бочка ужаса еще таилась, оказывается, в этом глотке!

— Да что ж, Людочка, — успокоительно рокотал Орещенков. — Мир ведь несправедлив. Были бы вы *не наша*, мы бы вот так сейчас с альтернативным диагнозом передали бы вас хирургам, а они бы там что-нибудь резанули, по пути что-нибудь бы выхватили. Есть такие негодники, что из брюшной полости никогда без сувенира не уйдут. Резанули бы — и выяснилось, кто ж тут прав. Но вы ведь — *наша*. И в Москве, в институте рентгенодиагностики — наша Леночка, и Сережа там. Так вот что мы решили: поезжайте-ка вы туда?... У-гм? Они прочтут, что мы им напишем, они вас и сами посмотрят. Число мнений увеличится. Если надо будет резать — так там и режут лучше. И вообще там все лучше, а?

(Он сказал: «если надо будет резать». Он хотел выразить, что, может, и не придется?... Или нет, вот что... Нет, хуже...)

— То есть, — сообщила Донцова, — операция настолько сложна, что вы не решаетесь делать ее здесь?

— Да нет же, ну нет! — нахмурился и прикрикнул.

Орещенков. — Не ищите за моими словами ничего больше сказанного. Просто мы устраиваем вам... как это блат. А не верите — вон, — кивнул на стол, — берите пленку и смотрите сами.

Да, это было так просто! Это было — руку протянуть и подвластно ее анализу.

— Нет, нет, — отгородилась Донцова от рентгенограммы. — Не хочу.

Так и решили. Поговорили с главным. Донцова съездила в республиканский Минздрав. Там почему-то нисколько не тянули, а дали ей и разрешение, и направление. И вдруг оказалось, что по сути ничто больше уже не держит ее в городе, где она проработала двадцать лет.

Верно знала Донцова, когда ото всех скрывала свою боль: только одному человеку объяви — и всё тронется неудержимо, и от тебя ничего уже не будет зависеть. Все постоянные жизненные связи, такие прочные, такие вечные — рвались и лопались не в дни да же, а в часы. Такая единственная и незаменимая в диспансере и дома — вот она уже и заменялась.

Такие привязанные к земле — мы совсем на ней и не держимся!..

И что же теперь было медлить? В ту же среду она шла в свой последний обход по палатам с Гангарт, которой передавала заведывание лучевым отделением.

Этот обход у них начался утром, а шел едва ли не до обеда. Хотя Донцова очень надеялась на Верочку, и всех же стационарных знала Гангарт, что и Донцова, — но когда Людмила Афанасьевна начала идти мимо коек больных с сознанием, что вряд ли вернется к ним раньше месяца, а может быть, не вернется совсем, — она первый раз за эти дни просветлилась и немного окрепла, к ней вернулись интерес и способность соображать. Как-то сразу отшелушилось ее утреннее намерение скорее передать дела, скорее оформить последние бумаги и ехать домой собираться. Так привыкла она направлять все властно сама, что и сегодня ни от одного больного не могла отойти, не представив себе хоть месячного прогноза: как потечет болезнь, какие новые средства понадобятся в лечении, в каких неожиданных мерах может возникнуть нужда. Она почти как прежде, почти как прежде ходила по палатам — и это были первые облегченные часы в заверти ее последних дней.

Она привыкала к горю.

А вместе с тем шла она и как лишенная врачебных прав, как дисквалифицированная за какой-то непростительный поступок, к счастью еще не объявленный больным. Она выслушивала, назначала, указывала, смотрела мнимо-вещим взглядом на больную, а у самой холодок тек по спине, что она уже не смеет судить жизнь и смерть других, что через несколько дней она будет такая же беспомощная и поглупевшая лежать в больничной постели, мало следя за своею внешностью — и ждать, что скажут старшие и опытные. И бояться болей. И может быть, досадовать, что легла не в ту клинику. И может быть, сомневаться, что ее не так лечат. И как о счастье самом высшем мечтать, о будничном праве, быть свободной от больничной пижамы и вечером идти к себе домой.

Это всё подступало и опять-таки мешало ей соображать с обычной определенностью.

А Вера Корнильевна безрадостно принимала бремя, которого совсем не хотела такой ценой. Да и вообще-то не хотела.

«Мама» не пустое было для Веры слово. Она дала Людмиле Афанасьевне самый тяжелый диагноз из трех, она ожидала для нее изнурительной операции, которой та, подточенная хронической лучевой болезнью, могла и не вынести. Она ходила сегодня с ней рядом и думала, что может быть это в последний раз — и ей придется еще многие годы ходить между этих коек и всякий день щемяще вспоминать о той, кто сделал из нее врача.

И незаметно снимала пальцем слезинки.

А должна была Вера сегодня, напротив, как никогда четко предвидеть и не упустить задать ни одного важного вопроса, — потому что все эти полсотни жизней первый раз полной мерой ложились на нее, и уже спрашивать будет не у кого.

Так, в тревоге и рассеянии, тянулся их обход полдня. Сперва они прошли женские палаты. Потом всех лежащих в лестничном вестибюле и коридоре. Задержались, конечно, около Сибгатова.

Сколько ж было вложено в этого тихого татарина! А выиграны только месяцы оттяж-



ки, да и месяцы какие — этого жалкого бытия в неосвященном, непроветренном углу вестибюля. Уже не держал Сибгатов крестец, только две сильные руки, приложенные сзади к спине, удерживали его вертикальность; вся прогулка его была — перейти посидеть в соседнюю палату и послушать, о чем толкуют; весь воздух — что дотягивалось на дальней форточке; все небо — потолок.

Но даже и за эту убогую жизнь, где ничего не содержалось, кроме лечебных процедур, свары санитарок, казенной еды да игры в домино, — даже за эту жизнь с зияющей спиной на каждом обходе светились благодарностью его изболелые глаза.

И Донцова подумала, что если свою обычную мерку отбросить, а принять от Сибгатова, так она еще — счастливый человек.

А Сибгатов уже слышал откуда-то, что Людмила Афанасьевна — сегодня последний день.

Ничего не говоря, они гляделись друг в друга, разбитые, но верные союзники, перед тем как хлыст победителя разгонит их в разные края.

«Ты видишь, Шараф, — говорили глаза Донцовой, — я сделала, что могла. Но я ранена и падаю тоже.»

«Я знаю, мать, — отвечали глаза татарина. — И тот, кто меня родил, не сделал для меня больше. А я вот спасти тебя — не могу.»

С Ахмаджаном исход был блестящий: незапущенный случай, все сделано точно по теории и точно по теории оправдывалось. Подсчитали, сколько он облучен, и объявила ему Людмила Афанасьевна:

— Выписываешься!

Это бы с утра надо было, чтоб дать знать старшей сестре и успели бы принести ему обмундирование склада, — но и сейчас Ахмаджан, уже безо всякого костыля, бросился вниз к Мите. Теперь и вечера лишнего он тут бы не стерпел — на этот вечер его ждали друзья в Старом городе.

Знал и Вадим, что Донцова сдает отделение и едет в Москву. Это так получилось: вчера вечером пришла телеграмма от мамы в два адреса — ему и Людмиле Афанасьевне — о том, что коллоидное золото высылается их диспансеру. Вадим сразу поковылял вниз, Донцова выла в Минздраве, но Вера Корнильевна уже видела телеграмму, поздравила его и тут же познакомила с Эллой Рафаиловной, их радиологом, которая и должна была теперь вести курс его лечения, как только золото достигнет их радиологического кабинета. Тут пришла и разбитая Донцова, прочла телеграмму и сквозь потерянное свое выражение тоже старалась бодро кивать Вадиму.

Вчера Вадим радовался безудержно, заснуть не мог, но сегодня к утру раздумался: а когда ж это золото доvezут? Если б его дали на руки маме — уже сегодня утром оно было бы здесь. Будут ли его везти три дня? или неделю? Этим вопросом Вадим и встретил подходящих к нему врачей.

— На днях, конечно на днях, — сказала ему Людмила Афанасьевна.

(Но про себя-то знала она эти дни. Она знала случай, когда другой препарат был назначен московским институтом для рязанского диспансера, но девчонка на сопроводилровке написала: «казанскому», а в министерстве — без министерства тут никак — прочли «казахскому» и отправили в Алма-Ату.)

Что может сделать радостное известие с человеком! Те же самые черные глаза, такие мрачные последнее время, теперь блистали надеждой, те же самые припухлые губы, уже в непоправимо косой складке, опять выровнялись и помолодели, и весь Вадим, побритый, чистенький, подобранный, вежливый, сиял как именинник, с утра обложенный подарками.

Как мог он так упасть духом, так ослабиться волей последние две недели! Ведь в воле — спасение, в воле — всё! Теперь — гонка! Теперь только одно: чтобы золото быстрее пронеслось свои три тысячи километров, чем свои тридцать сантиметров проползут метастазы! И тогда золото очистит ему пах. Оградит остальное тело. А ногой — ну, ногой бы

можно и пожертвовать. Или может быть — какая наука, в конце концов, может совсем запретить нам веру? — попятно распространяясь, радиоактивное золото излечит и саму ногу?

В этом была справедливость, разумность, чтоб именно он остался жив! А мысль примириться со смертью, дать черной пантере себя загрызть — была глупа, вяла, недостойна. Блеском своего таланта он укреплялся в мысли, что — выживет, выживет! Полночи он не спал от распирающего радостного возбуждения, представляя, что может сейчас делаться с тем свинцовым бюксиком, в котором везут ему золото: в багажном ли оно вагоне или везут его на аэродром? или оно уже на самолете? Он глазами возносился туда, в три тысячи километров темного ночного пространства, и торопился, торопился и даже ангелов бы кликнул на помощь, если б ангелы существовали.

Сейчас на обходе он с подозрением следил, что, будут делать врачи. Они ничего худого не говорили и даже лицами старались не выражать, но — щупали. Щупая, правда, не только печень, а в разных местах, и обменивались какими-то незначительными советами. Вадим отмеривал, не дольше ли они щупают печень, чем всё остальное.

(Они видели, какой это пристальный, настороженный больной, и совсем без надобности ходили пальцами даже на селезенку, но истинная цель их натеренных пальцев была проверить, насколько изменена печень.)

Никак не удалось бы быстро миновать и Русанова: он ждал своего спецпайка внимания. Он последнее время очень подобрел к этим врачам: хотя и не заслуженные, и не доценты, но они его вылечили, факт. Опухоль на шее теперь свободно побалтывалась, была плоская, небольшая. Да, наверно, и с самого начала такой опасности не было, как раздули.

— Вот что, товарищи, — заявил он врачам. — Я от уколов устал, как хотите. Уже больше двадцати. Может, хватит, а? Или я дома докончил бы?

Кровь у него, действительно, была совсем неважная, хотя переливали четыре раза. И - желтый, замороженный, сморщенный вид. Даже тубетейка на голове стала как будто большая.

— В общем, спасибо, доктор! Я тогда, вначале, был не прав, — честно объявил Русанов Донцовой. Он любил признавать свои ошибки. — Вы меня вылечили — и спасибо.

Донцова неопределенно кивнула. Не от скромности так, не от смущения, а потому что ничего он не понимал, что говорил. Еще ожидали его вспышки опухолей во многих железах. И от быстроты процесса зависело — будет ли вообще он жив через год.

Как, впрочем, и она сама.

Она и Гангарт жестко щупали его под мышками и надключичные области. Русанов даже поеживался, так сильно они давили.

— Да там нет ничего! — уверял он. Теперь-то ясно было, что его только запугивали этой болезнью. Но он — стойкий человек, и вот легко ее перенес. И этой стойкостью, обнаруженной в себе, он особенно был горд.

— Тем лучше. Но надо быть очень внимательным самому, товарищ Русанов, — внушала Донцова. — Дадим вам еще укол или два и, пожалуй, выпишем. Но вы будете являться на осмотр каждый месяц. А если сами что-нибудь где-нибудь заметите, то и раньше.

Однако повеселевший Русанов из своего-то служебного опыта понимал, что эти обязательные явки на осмотр — простые галочные мероприятия, графу заполнить. И сейчас же пошел звонить домой о радости.

Дошла очередь до Костоглотова. Этот ждал их со смешанным чувством: они ж его, как будто, спасли, они ж его и погубили. Мед был с дегтем равно смешан в бочке, и ни в пищу теперь не шел, ни на смазку колес. Когда подходила к нему Вера Корнильевна одна — это была Вега, и о чем бы по службе она его ни спрашивала, и что бы ни назначала — он смотрел на нее и радовался. Он почему-то, последнюю неделю, полностью простил ей то калечение, которое она настойчиво несла его телу. Он стал признавать за ней как будто какое-то право на свое тело — и это было ему тепло. И когда она подходила к нему на обходах, то всегда хотелось погладить ее маленькие руки или мордой потереться о них как

пёс.

Но вот они подошли вдвоем, и это были врачи, закопанные в свои инструкции, и Олег не мог освободиться от непонимания и обиды.

— Ну, как? — спросила Донцова, садясь к нему на кровать.

А Вега стояла за ее спиной и слегка-слегка ему улыбалась. К ней опять вернулось это расположение или даже неизбежность — всякий раз при встрече хоть чуть да улыбнуться ему. Но сегодня она улыбалась как через пелену.

— Да неважно, — устало отозвался Костоглотов, вытягивая голову из свешенного состояния на подушку. — Еще стало у меня от неудачных движений как-то сжимать вот тут... в средостении. Вообще чувство, что меня залечили. Прошу — кончать.

Он не с прежним жаром этого требовал, а говорил равнодушно, как о деле чужом и слишком ясном, чтоб еще настаивать.

Да Донцова что-то и не настаивала, устала и она:

— Голова — ваша, как хотите. Но лечение не кончено.

Она стала смотреть его кожу на полях облучения. Пожалуй, кожа уже взывала об окончании. Поверхностная реакция могла еще и усилиться после конца сеансов.

— Он у нас уже не по два в день получает? — спросила Донцова.

— Уже по одному, — ответила Гангарт.

(Она произносила такие простые слова: «уже по одному», и чуть вытягивала тонкое горло, и получалось, что она что-то нежное выговаривала, что должно было тронуть душу!)

Странные живые ниточки, как длинные женские волосы, зацепились и перепутали ее с этим больным. И только она одна ощущала боль, когда они натягиваются и рвутся, а ему не было больно, и вокруг не видел никто. В тот день, когда Вера услышала о ночных сценах с Зоей, ей как будто рванули целый клочок. И может, так было бы и лучше кончить. Этим рывком напомнили ей закон, что мужчинам не ровесницы нужны, а те, кто моложе. Она не должна была забывать, что ее возраст пройден.

Но потом он стал так явно попадаться ей на дороге, так ловить ее слова, так хорошо разговаривать и смотреть. И ниточки-волосы стали отбиваться по одной и запутываться вновь.

Что были эти ниточки? Необъяснимое и нецелесообразное. Вот-вот он должен был уехать — и крепкая хватка будет держать его там. И приезжать он будет лишь тогда, когда станет очень худо, когда смерть будет гнуть его. А чем здоровей — тем реже, тем никогда.

— А сколько он у нас получил синестрола? — осведомлялась Людмила Афанасьевна.

— Больше, чем надо, — еще прежде Веры Корнильевны неприязненно сказал Костоглотов и смотрел тупо. — На всю жизнь хватит.

В обычное время Людмила Афанасьевна не спустила б ему такой грубой реплики и проработала бы крепко. Но сейчас — поникла в ней вся воля, она еле доканчивала обход. А вне своей должности, уже прощаясь с ней, она, собственно, не могла возразить Костоглотову. Конечно, лечение было варварское.

— Вот вам мой совет, — сказала она примирительно и так, чтобы в палате не слышали. — Не надо вам стремиться к семейному счастью. Вам надо еще много лет дожить без полноценной семьи.

Вера Корнильевна опустила глаза.

— Потому что, помните: ваш случай был очень запущенный. Вы к нам прибыли поздно.

Знал Костоглотов, что дело плохо, но, так вот прямо услышав от Донцовой, разинул рот.

— М-мда-а-а, — промычал он. Но нашел утешающую мысль: — Ну, да я думаю — и начальство об этом позаботится.

— Будете, Вера Корнильевна, продолжать ему тезан и пентаксил. Но вообще при-

дется отпустить его отдохнуть. Мы вот что сделаем, Костоглотов: мы выпишем вам трехмесячный запас синестрола, он в аптеках сейчас есть, вы купите — и обязательно наладите лечение дома. Если уколы делать там у вас некому — берите таблетками.

Костоглотов шевельнул губами напомнить ей, что, во-первых, нет у него никакого дома, во-вторых, нет денег, а в-третьих, не такой он дурак, чтобы заниматься тихим самоубийством.

Но она была серо-зеленая, измученная, и он раздумал, не сказал.

На том и кончился обход.

Прибежал Ахмаджан: все уладилось, пошли и за его обмундированием. Сегодня он будет с дружкой выпивать! А справки-бумажки завтра получит. Он так был возбужден, так быстро и громко говорил, как никогда еще его не видели. Он с такой силой и твердостью двигался, будто не болел эти два месяца с ними здесь. Под черным густым ежиком, под мазутно-черными бровями глаза его горели, как у пьяного, и всей спиной он вздрагивал от ощущения жизни — за порогом, сейчас. Он кинулся собираться, бросил, побежал просить, чтоб его покормили обедом вместе с первым этажом.

А Костоглотову вызвали на рентген. Он ждал там, потом лежал под аппаратом, потом еще вышел на крыльцо посмотреть, отчего погода такая хмурая.

## Первый день творения

Рано утром, когда еще все спали, Олег тихо поднялся, застелил кровать, как требовалось — с четырьмя заворотами пододеяльника — и, на цыпочках ступая тяжелыми сапогами, вышел из палаты.

За столом дежурной сестры, положив черную густоволосую голову на переплетенные руки поверх раскрытого учебника, спал сидя Тургун.

Старушка-няня нижнего этажа отперла Олегу ванную, и там он переоделся в свое, за два месяца уже какое-то и отчужденное: старенькие армейские брюки с напуском «галифе», полушерстяную гимнастерку, шинель. Все это в лагерях вылежалось у него в каптерках — и так сохранилось, еще не изношенное до конца. А зимняя шапка его была гражданская, уже купленная в Уш-Тереке и мала ему очень, сдавливала. День ожидался теплый, Олег решил шапку совсем не надевать, уж очень обращала его в чучело. И ремнем опоясал он не шинель, а гимнастерку под шинелью, так что для улиц вид у него стал какого-то вольноотпущенника или солдата, сбегавшего с гауптвахты. Шапка же пошла в вещмешок — старый, с сальными пятнами, с прожогом от костра, с залатанной дырой от осколка, этот фронтовой вещмешок тетка принесла Олегу в передаче в тюрьму он так попросил, чтобы в лагерь ничего хорошего не брать.

Но даже и такая одежда после больничной придавала осанку, бодрость и будто здоровье.

Костоглотов спешил скорее выйти, чтобы что-нибудь не задержало. Нянечка отложила брусок, задвинутый в ручку наружной двери, и выпустила его.

Он выступил на крылечко, — и остановился. Он вдохнул — это был молодой воздух, еще ничем не всколыхнутый, не замутненный! Он взглянул — это был молодой зеленеющий мир! Он поднял голову выше — небо развертывалось розовым от вставшего где-то солнца. Он поднял голову еще выше — веретёна перистых облаков кропотливой, многовековой выделки были вытянуты через все небо — лишь на несколько минут, пока расплывутся, лишь для немногих, запрокинувших головы, может быть — для одного Олега Костоглотова во всем городе.

А через вырезку, кружева, перышки, пену этих облаков — плыла еще хорошо видная, сверкающая, фигурная ладья ущербленного месяца.

Это было утро творения! Мир сотворялся снова для одного того, чтобы вернуться

Олегу: иди! живи!

И только зеркальная чистая луна была — не молодая, не та, что светит влюбленным.

И, лицом разойдясь от счастья, улыбаясь никому — небу и деревьям, в той ранневесенней, раннеутренней радости, которая вливается и в стариков, и в больных, Олег пошел по знакомым аллеям, никого не встречая, кроме старого подметальщика.

Он обернулся на раковый корпус. Полузакрытый длинными метлами пирамидальных тополей, корпус высился в светло-сером кирпиче, штучка к штучке, нисколько не постарев за свои семьдесят лет.

Олег шел — и прощался с деревьями медицинского городка. На кленах уже висели кисти-сережки. И первый уже цвет был — у алычи, цвет белый, но из-за листьев алыча казалась бело-зеленой.

А вот урюка здесь не было ни одного. А он уже, сказали, цветет. Его хорошо смотреть в Старом городе.

В первое утро творения — кто ж способен поступать благорассудно? Все планы ломая, придумал Олег непутевое: сейчас же, по раннему утру, ехать в Старый город смотреть цветущий урюк...

## И последний день

«Милая Вега!

(Я все время порывался вас так назвать, ну – хоть сейчас.)

Можно мне написать вам совсем откровенно - так, как мы не говорили с вами вслух, но — ведь думали? Ведь это не просто больной — тот, кому врач предлагает свою комнату и постель?

Я несколько раз к вам шел сегодня! Один раз – дошел. Я шел к вам и волновался, как в шестнадцать лет, как, может быть, уже неприлично с моей биографией Я волновался, стеснялся, радовался, боялся. Ведь это надо столько лет исколотиться, чтобы понять: Бог посылает!

Но, Вега! Если б я вас застал, могло бы начаться что-то неверное между нами, что-то насильно задуманное! Я ходил потом и понял: хорошо, что я вас не застал. Все, что мучились вы до сих пор и что мучился до сих пор я, — это, по крайней мере, можно назвать, можно признать! Но то, что началось бы у нас с вами — в этом нельзя было бы даже сознаться никому! Вы, я, и между нами это - какой-то серый, дохлый, но все растущий змей.

Я – старше вас, не так по годам, как по жизни. Так поверьте мне: вы - правы, вы во всем, во всем, во всем правы! – в вашем прошлом, в вашем сегодняшнем, но только будущую себя угадать вам не надо. Можете не соглашаться, но я предсказываю: еще прежде, чем вы доплывете до равнодушной старости, вы благословите этот день, когда не разделили моей судьбы. (Я не о ссылке совсем говорю - о ней даже слух, что кончится.) Вы полжизни своей закололи, как ягненка, - пощадите вторую!

Сейчас, когда я все равно уезжаю (а если кончится ссылка, то проверяться и дальше лечиться я буду не у вас, значит - мы прощаемся), я открою вам: и тогда, когда мы говорили о самом духовном, и я честно тоже так думал и верил, мне все время, все время хотелось - вскинуть вас на руки и в губы целовать!

Вот и разберись.

И сейчас я без разрешения - целую их.»

1863-1967

## Ю. Крелин (1929-2006)



**Юлий Зуcманович Крелин** принадлежит к числу тех писателей, которые пришли в литературу, не оставляя свою первую профессию. Ю. Крелин окончил медицинский институт в 1954 году, защитил диссертацию и стал кандидатом медицинских наук, заведующим хирургическим отделением одной из московских больниц. Через 10 лет после окончания вуза в журнале «Новый мир» появилась его первая публикация – серия новелл под общим названием «Семь дней в неделю». Эта книга о беспокойной, ответственной работе хирурга, о часах, проведенных у операционного стола и постели больного, о смертях и «чудесных» исцелениях. Один из современников Крелина так писал о его книге: «Самое привлекательное в его рассказах – человеческий образ хирурга... Перед нами человек сложного душевного устройства. Цельный, но сложный – каким и должен быть человек по-настоящему содержательный, ощущающий свою профессию, как миссию, как призвание...

И приятно, что автор повествует не в традиционном тягуче обстоятельном стиле «записок», а в резкой, психологически острой, преднамеренно лаконичной манере».

Самое значительное из написанного впоследствии – повести «От мира сего», «Суэта», «Очередь», объединенные в книгу «Хроника одной больницы». Особенностью его книг является отсутствие четкого сюжета. Персонажи Крелина много думают и много говорят. Автор воссоздает поток жизни, работы врача. Его книги написаны сдержанным языком, «деловой прозой». Практически все произведения Крелина посвящены работе хирургов. Ю. Крелин – профессиональный хирург, поэтому образ медика, созданный Крелиным-писателем, отличается особой достоверностью. Герой Крелина влюблен в свою работу настолько, что готов платить за интересную операцию, если бы позволяла зарплата. Рассказывая об операции, автор говорит, что у оперирующего хирурга есть замечательное качество – «интеллект рук». На многих страницах его книг с блеском описана работа хирурга. Поэтому его повести и новеллы можно определить как производственные произведения: настолько точно переданы в них специфика и, главное, красота врачебного труда. Автор вводит читателя в атмосферу больничных будней, в их то размеренный, то напряженный ритм, используя специфические термины. Перед нами предстают разнообразные по характеру больные, напряженные эпизоды операций. Споры о профессии, призвании, врачебной этике занимают особое место в произведениях Крелина. Ничто человеческое не чуждо медикам. Но никогда не сможет плохой человек стать хорошим специалистом. Врачи Крелина практичны, здраво оценивают ситуацию, особенно ценят жизнь, кроме профессиональных качеств, наделены чертами интеллигента. В произведениях Крелина отражены очень конкретные недостатки, проблемы, противоречия организации государственного здравоохранения в Советском Союзе в 60-70-е годы 20 в.: нехватка оборудования и медикаментов, малочисленность обслуживающего персонала, строгое следование инструкциям и приказам. Слова одного из героев повести Крелина «От мира сего» являются ключевыми для тех, кто хочет стать медиком: «Я честно трудился. Так и только так можно добиться успеха в нашем деле. Все великие хирурги, все трудились в клиниках до кровавых мозолей... Хотите быть хорошими врачами, помните: лишь терпение и труд перетрут канат, удерживающий вдали от нас знания и умения». Произведения Крелина посвящены главному делу его жиз-

ни: больным, врачам, медицине. В то же время эти книги не относятся к числу узкопрофессиональных. Они не просто раскрывают особенности и секреты врачебной специальности, они пытаются постичь философию профессии.

*Рассказы печатаются по изданию: Крелин Ю. Семь дней в неделю. - Изд-во «Советская Россия», М., 1967.*

## **Семь дней в неделю** (записки хирурга)

### **ПОЧЕМУ Я СТАЛ ВРАЧОМ?**

Банальный вопрос, над которым я никогда не задумывался. Почему я стал врачом?

Но так без выдумки. Без громких фраз.

Мой отец — врач. Помню, он не приходил домой сутками. Звонил ночью в больницу. Иногда ночью уезжал в больницу. Когда кто-нибудь из знакомых болел, папа сразу же становился самым главным. Сразу же обращались к нему. А он осматривал, выстукивал, ощупывал, молчал и изрекал. Я слышал разговоры отца по телефону. Это была сплошь какая-то терминологическая абракадабра: аппендэктомия, кивательная мышца, лимфогрануломатоз, митральная комиссуротомия, синдром Броун-Секкара, сирингомиелиоз и тому подобное. Какой-то каскад нечеловеческой речи. Шаманские заклинания. Я гордился папой.

Но с другой стороны — приходили его товарищи, врачи. Они говорили с ним о своих делах:

— Работа тяжелая. Покоя нет. Нет времени даже почитать свои журналы врачебные. Про другие книги и говорить не приходится. Никто об этом не думает, никто этого не учитывает. Платят мало. За адову работу. Надо еще где-то подрабатывать. Подрабатывать дежурствами. Потом три дня в себя прийти не можешь! Больные жалуются. На каждую жалобу надо обязательно «реагировать». Исходят при этом из принципа — больной всегда прав...

Таких разговоров было много. И все они кончались одним: «Не дай бог дети наши по нашему пути пойдут».

Роптавшие и брюзжавшие, оказалось, не ввали. Но у большинства из этих сетующих дети все-таки становились врачами.

А потом я работал электромонтером в больнице и уже сам видел работу медиков.

Вправляли вывих ноги, и от петли, которая была перекинута с ноги больного на шею хирурга (есть и такой способ), на шее осталась борозда. Такие борозды потом уже, во время занятий по судебной медицине, я видел на повешенных. Только у повешенных спереди, а у хирурга сзади.

Я увидал больных, выздоравливающих после операции. И больных, умирающих после операции. Врачей, не отходивших от них сутками. Врачи и сестры что-то вали и говорили фальшиво бодрыми голосами, что скоро они выпишутся и даже можно будет ехать на курорт.

А иногда видел родственников, кричавших на врачей, на сестер: «Убийцы! Зарезали! Бездушные!»

Видел и хорошее. Настоящую благодарность. Видел проводы больных: улыбки, цветы.

Отцовские товарищи были правы — тяжелая работа. Но я решил стать врачом. Почему? — не знаю. Глупый это вопрос.

А вот хочу ли я, чтобы и дочь моя была врачом? Я думаю об этом — я думаю о своей сегодняшней работе...

Вспоминаю умерших после моих операций. Их я всех помню. Помню, что я делал им

и что можно было еще сделать, если можно было что-нибудь сделать. Помню, чего я не сделал.

Думаю о риске, иногда неоправданном, а человек все-таки оставался жив. А иногда и риска почти не было, а — неудача, горе.

Думаю о своих первых операциях.

Думаю о первых операциях более молодых хирургов, операциях, на которых я уже помогал, учил.

Вспоминаю радость и горе. Только горе, обида почему-то помнятся лучше. А радостей и удач в работе намного больше.

Вспоминаю некоторые обиды на больных. Думаю о том, как сами мы боеем. Как ведем себя. Мы еще хуже. Мы все понимаем. Ну и что? Правильные выводы делаем? Нет.

Я думаю... вспоминаю... размышляю...

Если дочь моя тоже захочет стать врачом — ох и трудно ей придется! Но я — за!

## ПЕРВАЯ РЕЗЕКЦИЯ

Иду я из больницы ликующий. Кажется, что все на меня смотрят. А если еще не смотрят — посмотрят.

Человек идет такой довольный. Такой радостный. Наверняка смотрят. Должны смотреть.

Сегодня я первый раз сделал резекцию желудка.

Резекция желудка — это узловой пункт. Как сделал эту операцию — ты человек, ты можешь жениться. Но женился я раньше. И два месяца назад у меня дочь родилась. А резекцию желудка сделал только сегодня.

Должен быть закон — если ты хирург, пока не сделаешь резекцию желудка, о потомстве и думать не моги. Иначе как воспитаешь ребенка? Человека-то воспитать — надо быть человеком. И так в каждой специальности. Пока ты не сделал чего-то хорошего, ценного, пока не доказал свое право на продолжение тебе подобных — нишкни.

Можно подумать, что я после первой резекции уже овладел главным в деле. Ерунда.

Все-таки.

Я еще после операции позвонил домой и сообщил. Дома меня ждал подарок — пепельница.

Я люблю пепельницы. Я люблю, чтобы их было много. Чтобы, где бы я ни находился в комнате, — стоит руку протянуть, и пепельница под ней, стряхиваешь пепел. Это все от лени. А действительно, зачем вставать каждый раз — идти за пепельницей? Все должно быть под рукой. Как на операции. Ведь дома нет операционной сестры.

Вечером я сидел и кидал окурки в новую пепельницу — чугунные сани.

В одиннадцать часов звонит телефон.

- Слушай, ты там после своей резекции назначил пенициллин вливать через трубку в живот?

- Да.

- А трубки нет. Ты точно ее поставил?

- Абсолютно.

- Мне сестра сказала. Я ходила проверять. Трубки нет.

- Трубку оставил. Абсолютно точно.

- Не могла же она уйти внутрь? Ты ее не подшивал?

- Не подшивал.

Могла уйти внутрь. Наверно, лучше было подшить. Наверно, ушла внутрь. Может, она еще под кожей? Еще не ушла в живот? Я ведь длинный конец оставил. Сани. Чугунные сани. «Не в свои сани не садись...»

- Знаешь, я сейчас приеду. Разошьем кожу. Посмотрим. Может, она еще там.



- Чего ты поедешь? Не надо. Экая процедура. Я сама сделаю.

Пожалуй, еще обидится. Решит — не доверяю.

- Ну хорошо. И спроси у девочек в операционной — пусть посчитают трубки. Все у них или не хватает?

Через полчаса уже я звоню.

- Под кожей нет ничего. А сестры: одна говорит — все, а другой кажется, что должна быть еще одна. Я их, естественно, обругала, сказала, что, если кажется, пусть перекрестятся, еще какую-то глупость сказала и ушла.

- Ну, а рану ты зашила?

- Конечно. Какой ты умный, прямо прелесть. Как я ее могла не зашить?

Утром смотрю больную. Как будто таким осмотром можно узнать, где трубка. Заставил в операционной вновь пересчитать все трубки.

— Вроде все.

А одна сестра говорит:

— По-моему, у нас должна быть одна лишняя трубка. Вот так скажет раздумчиво, и все мучаются. А она-то не уверена. И вокруг поселяется всеобщая неуверенность. А потом переходит в такую неприятную уверенность. Ей что-то мерещится. Но может быть ведь и так.

Наркотизаторы говорят, что больная буйнила, когда выходила из наркоза. Пыталась повязку сорвать. Может, вытащила трубку сама? А нянечка, наверное, убрала. Никто и не заметил.

Может быть. Но как убедиться? Как же так это получилось? На первой резекции!..

Иду к заведующему отделением. Так, мол, и так.

— Ну что же теперь делать? От этого она сейчас не помрет. Пройдут первые дни, а потом на рентгене посмотрим.

Конечно, оттого что там маленькая мягкая резиновая трубка лежит, ничего не случится. Ну а мне-то какво.

Я все смотрю, нет ли каких-либо признаков ухудшения.

Ничего.

Седьмой день. Рентген. Два рентгенолога. Наш старый и новый. Новый рентгенолог — моя давняя приятельница. Мы еще в школе вместе учились. Нина ее зовут.

Больную уложили на столе. Погасили свет. Зазеленел в темноте экран. В темной рамке из непрозрачных костей замаячили туманные прозрачные кишки.

— Вот!

Оба рентгенолога уткнули пальцы в одно место. Да я и сам вижу.

Лежит, петель свернувшись.

- Нин, это точно, как ты думаешь?

- Ты сам не видишь?

- А вы снимок будете делать? Или ограничитесь просвечиванием?

- Конечно, снимок сделаем. Надо же зафиксировать это. И потом, не возить же ее каждый раз в рентген всем показывать. А уж будь уверен, теперь начнут смотреть.

Иду к шефу. Рассказываю.

Надо было подшить.

Знал бы где упасть, соломки бы подстелил.

Придется делать повторную операцию.

А нельзя так обойтись?

Как же, если там резина в животе? А если пролежень кишки будет? Тогда что? Надо обязательно делать.

— А как больной-то сказать?

— А это ты сам думай. Диплом у тебя есть? Операцию делал? Вот и думай.

Снова в рентгенкабинете.

Снимок готов.

Все смотрят.

- Нет на снимке ничего. Никакой трубки.

- Как так?

Рентгенологи ничего не понимают. Опять смотрят под экраном. Опять есть.

Повторный снимок — нет.

- Нин, ты как? Есть?

- Есть, по-моему.

- Придется оперировать.

- Забирайте больную.

Что ж. Первая резекция. Недаром говорят — опыт. А что ж, это моя вина? Да нет — это не от молодости. Лучше не связываться с большими операциями. Так и остаться аппендикулярщиком и грыжесеком? Да и при аппендиците то же может быть. Как ей сказать — вот вопрос. «Вас надо еще раз оперировать». Нет, этого и не скажешь. Но ведь я не виноват?.. Да, но ведь после моей операции надо повторно оперировать!

Ступенька за ступенькой — иду на пятый этаж. Приду на пятый этаж, дойду до палаты, а там надо говорить. Смотреть ей в глаза и говорить: «Вас надо еще раз оперировать». «Вас надо еще оперировать. Светлейшая, вас надо еще оперировать». А она мне в ответ: «Светлейший, не сходите с ума».

Никуда не денешься — вот палата, и надо говорить.

Может, посмотреть тяжелых больных сначала. Ха! Нет у меня сейчас больного тяжелее. Но она же не тяжелая. У нее все в порядке. Думает, что выздоравливает. А я сейчас приду и скажу...

Сзади меня быстрые шаги. Тук-тук. Тук-тук. Врезается цоканье в мозги. Это шпильки. Это кто-то не из отделения. У нас все переодеваются. Вот и я сейчас приду и цокну ее прямо в мозг. Шутка ли, второй раз оперировать?

Цоканье-то за мной. Это Нина.

- Приехал к нам на консультацию профессор-рентгенолог Пупко. Знаешь?

- Ну?

- Не хочешь показать?

- Конечно. А можно?

- Я попросила. Согласился.

Снова больная в кабинете. Профессор смотрит сначала под экраном.

— Вот это? Да-а. Ну, теперь снимок покажите. Не-ет. Так надо модель создать. У вас есть еще такая трубка? — шипит профессор в ухо, чтобы больная не услышала.

— Конечно, — говорю я громко.

Идиот! Почему я до этого не додумался. Конечно, надо было так сделать сразу. Ведь это так просто.

Безусловно, так. Конечно, надо было так сделать сразу. Идиот! Почему я до этого не додумался. Ведь это так просто. Ведь это на поверхности.

Трубка под больной.

Все смотрим.

Трубка выглядит совсем по-иному.

— Вот видите. В животе ничего нет, петля кишки проецируется.

Ничего там нет!

Какой дурак! Все так просто! Почему я не додумался?!

Через три года эту же больную пришлось мне оперировать совсем по другому поводу.

Только вскрыл живот... и сразу рука вниз. Туда, где мы ее видели. А вдруг...

Весь живот обшарил.

Оказалось, действительно ничего не было.

## РИСК

— Ну, а теперь что?

Теперь жду, что будет дальше. Не выхожу из отделения.

Шеф-то как?

Стараюсь на глаза не попадаться.

Громадный, неправдоподобный рост. Такой большой человек должен быть только хорошим. Если при таких размерах да еще быть плохим — было бы нечто фантастически ужасное. У него хорошая, умная голова. И какие руки!.. Я всегда получаю удовольствие, глядя, как он оперирует. Большие, правильные руки. Они хоть и большие, но я не могу сказать — сильные. Хотя они наверняка сильные. Богом данный хирург. Такие, наверное, редко рождаются.

На третьем курсе он ловил на улице беспризорных собак и устраивал из папиной профессорской квартиры экспериментальную операционную и виварий. Собаке делает морфий (вначале он не знал, что собак после этого надо прогуливать), и она лежит к столу привязанная и бьет хвостом по собственным испражнениям. И все летит на профессорские стены. Учился давать наркоз. Учился оперировать. Бедные родители!..

После института, где-то на селе, он уже оперировал так, как я мечтаю сейчас научиться. Попробуй заставь такого писать подробные, как у нас говорят — «для прокурора», истории болезни. Он, конечно, до сих пор пишет истории болезни так, что показать их начальству или студентам невозможно. Он слишком велик и широк для педантичных записей. Он и не ученый в привычном смысле слова, а просто Большой Хирург.

Теперь он мучается. Больной семьдесят пять лет. При таком возрасте решиться на операцию вообще трудно. А когда он увидел опухоль, занимающую весь желудок, стало ясно — оперировать нельзя. Все равно что стрелять в лоб. Но ни одного метастаза! В принципе технически опухоль удалима! Что делать?

Оперировать — почти наверняка убьешь.

Не оперировать — наверняка сама умрет, но... потом. Своими руками убить или приговорить. Что выбрать?

А все-таки оперировать — использовать оставшиеся полшанса. А вдруг выживет сейчас — и будет жить потом.

Но может ли хирург, оперируя, рассчитывать на «вдруг»?

Скорее всего она эту операцию не выдержит. Удалять весь желудок, а в этом случае еще и селезенку, сшивать кишку с пищеводом. Семьдесят пять лет. Кто нам, хирургам, дал право лишать человека последних трех-шести или, бог знает, скольких там месяцев. Мало ли зачем человеку они понадобятся. Ведь последние!

Пойти на эту операцию — пойти почти на сознательное убийство.

Но не использовать хоть такусенький шанс!..

Реши-ка за несколько минут жизнь чужого когда-то тебе человека. Но поддайся жалости к человеку во время операции, и ничего для него не сделаешь. Жалость лишь туманит глаза врача. Может, не делать? Пожалеть? Пусть поживет хоть сколько-нибудь. Вот так пожалеешь один раз, другой — так и будут они у тебя умирать. Сегодня, завтра или через полгода.

Слушается дело о жизни!

Банальная мысль: самое дорогое — это человеческая жизнь. Но ведь это не просто слова. Подумать только! Умереть! То есть — не жить. Никогда не существовать. Ничего больше не знать. Не чувствовать. Это так же трудно осознать до конца нормальной мыслительной системой, как такие категории, как бог или Вселенная.

Решив и поняв, что оперировать эту больную, удалять ей весь желудок невероятно опасно, он все же произвел радикальную операцию.

Он кончил ее в половине второго. Сейчас восемь часов. Как можно уйти сегодня из

больницы?! Но через час придет шеф со своим вечерним обходом тяжелых больных. Надо успеть убежать. Что можно сказать шефу? Он мудр. Шеф-то хорошо знает, что оперировать было нельзя. Скажи ему – убьет! У каждого своя точка зрения на право хирурга рисковать. Рискуешь больным, собой, отделением.

И мне поручено осторожно сказать правду.

И я же должен подать знак, когда можно будет вернуться к больной.

Как дежурство? Все в порядке?

Да ничего. Утомительно, когда никого не везут.

Ха, утомительно. Молодежь. Ложись и отдыхай, коль спокойно пока.

Да ведь покоя-то нет. Все ждешь чего-то. Ей-богу, я от операций меньше устаю, чем вот от такого ожидания. Всю ночь оперировать легче, чем слоняться и ждать.

А как послеоперационные?

Да тоже все спокойны. Только вот после сегодняшней Симонова требует наблюдения. Давление ничего. Мы ей кровь перелили. Впечатление, что она хорошо пойдет. Подождем четвертого дня.

О чем ты говоришь? Там же пробная. Что ждать четвертого дня?

Да там не было ни одного метастаза. И опухоль не так чтобы очень большая. Только вот к селезенке подходила.

Ты что? Я ж был в начале операции. Там же если делать, так тотальную! Да еще с селезенкой!

Конечно. Но давление было хорошее. И вообще она ничего была.

Так он что — сделал радикально?!

Глаза у шефа стали треугольными.

— Да она ничего, хорошая. Пойдем посмотрим. Там все в порядке.

По цензурным соображениям можно смело опустить дальнейшие детали нашего разговора. А больная была действительно ничего. Немного бледна. Переливают кровь. Рядом сидит дочь ее. И пульсишко ничего.

Уходя, шеф сказал, что, если больная помрет, он запретит нам двоим оперировать в течение трех месяцев.

Это предел недовольства и раздражения. Мало того, что санкция высока, он заодно и меня трахнул. А я-то при чем? Но молчу. Во-первых, нелепо в такой момент что-либо возражать. А во-вторых, мне даже лестно. Так сказать, сподобился. Может быть, за одинаковых держит? Нет. Это только в моменты крайнего раздражения.

«Преступника» можно звать обратно. Опасность миновала. Отбой.

А дальше началась нервотряска. Первая ночь спокойна. На следующий день давление восемьдесят. Уколы. Лекарства. Кровь. Кровь. Бледность. Пульс больше ста. Может быть, кровотечение? Гемоглобин — нормальный.

Он, конечно, не отходит от больной. Только на несколько минут. Для разговора с шефом.

Что же это, кровотечение или сердечная недостаточность?

Снова наблюдение. Снова переливание. Идет время.

А к вечеру давление восемьдесят. А потом девяносто, девяносто пять.

Когда я уходил, оставив его наедине с ней, давление было уже сто пять. Он мог бы и пойти поспать, да разве доверишь. Я не осуждаю его, хотя дежурные могут быть и в обиде.

Он целую ночь с больной. То кровь. То банки. То строфантин внутривенно. То бог его знает что.

Утром он стал еще длиннее. Наверно, потому, что похудел. К тому же все время в палате дочь. Это тоже очень нервирует. А что делать? Не разрешить? Тоже ведь не дело.

У нас часты разговоры, чтобы родственников пускать поменьше. Чтобы не каждый день. Что они мешают работать. Что они нервируют персонал. Все это безусловно и абсолютно правильно. Но мне все равно кажется варварством старание не допустить близких к

больному. Человек после операции. Всегда может внезапно наступить смерть. Запрещать близким приходить в больницу — конечно, негуманно. Надо взять на себя и эту трудность.

А на третий день — воспаление легких. Да какое! Оба легких. Нарастает дыхательная недостаточность. Дышит часто. Как-то не до конца. Не полной грудью. Семьдесят пять лет. Ногти, губы, кончик носа синие. Кислород не помогает.

Дышит не полной грудью. Значит, пока воздух дойдет по трахее, по бронхам, по всем путям до самой ткани легкого — сколько надо преодолеть! И как мало доходит. Надо сократить это расстояние. Это так называемое вредное пространство.

Надо отсасывать из легких мокроту, чтобы освободить дыхательную поверхность. Чтобы вдыхаемый кислород не имел преград на своем пути к легкому.

Снова работа. Разрез на шее впереди. Щитовидка отведена кверху. На кровати очень неудобно это делать. Вот трахея.

—Зацепи ее крючком, а я разрежу.

Из дыры с шумом выходит воздух и сгустки мокроты.

—Отсос! Сколько мокроты. Конечно, нечем дышать.

Наконец в трахею вставлена трубка. Дыхание стало ровнее.

Скоро больная порозовела. С дыхательной недостаточностью тоже справились.

Только вот если с больной надо поговорить, трубку прикрывают пальцем. Воздух из легких идет по нормальным путям. Через голосовую щель. Тогда звуки получаются. А пока ей приходится быть бессловесной.

Ночь опять была спокойной.

А на четвертый день мы все по очереди подходим к палате.

- Как живот?

- Мягкий Язык влажный. Пульс в пределах восьмидесяти-девяноста.

И так целый день.

Мы с ним целый день щупаем живот, а потом обсуждаем, рассуждаем. Да и шеф все время напоминает о грозящей нам санкции.

Если швы на желудке, на кишках расходятся, то чаще всего это бывает на четвертый день.

- Все-таки живот она немного напрягает. Как ты думаешь?

- Да, по-моему, мягкий. Это ты с перепугу.

- Знаешь, как у раковых больных. У них ведь после операции, когда все в порядке, живот, как тряпка. Тем более у такой старухи. Чем ей напрягать-то? Мышц почти нет.

- Верно, конечно. Но язык, пульс. Все ж хорошо.

- Старая. У них все протекает слабо выражено. В животе, может быть, уже бог знает что, а никакой симптоматики.

- Что гадать? Ты сейчас можешь что-нибудь сказать определенное? Тогда жди и молчи. Нечего портить нервы себе и людям.

Эк я его! Легко мне говорить. А когда я сам в таком положении? Точно так же юродствую. Конечно, она старая, и там может все развалиться. Ткани держат плохо. Все нитки могут прорезаться. Мало того, что ткани старые, семидесятипятилетние, — они же раковые. Плохо, очень плохо срastaются. Но что мы можем делать? Ждать.

- Ну как?

- Все то же.

- Пойдем к дежурным. Может, поешь чего-нибудь?

- Дануикче! - что-то буркнул он. Я понял: мысли у него далеки от «поешь». По-видимому, он кого-то послал к черту. Но кого? Дежурных? Еду? Меня? Надо оставить его в покое.

И вечером:

-Ну как?

Все то же. А утром:

- Ну как?

-Порядок. Знаешь, я сегодня ночью сделал очень интересную операцию. Уезжая в загородную больницу для долечивания, она говорила в полный голос. Что ж, такой риск оправдан.

## ОЛЕГ

Он худой, узкий. А нос вытянутый. Не вниз. Как-то необычно вперед. Похож на серого волка.

Сейчас стоит, дрожит, никак в карман не попадет. Закурить хочет.

И так он каждый раз после конференции.

В этой больнице общие конференции стали бичом. Два раза в неделю главный врач сама проводит их. Собираются все врачи больницы.

Это называется пятиминутка. Но Наталья Филипповна — главный врач — говорит, что на эти два часа в неделю она имеет право, и никто ей не может запретить проводить их так, как она считает нужным.

Конечно, никто.

Пробовали — не получилось.

Сначала все идет нормально. Дежурные сдают дежурство. Терапевты. Хирурги. Потом кто-нибудь что-нибудь вякнет. И вот берет слово она.

И пошло!

Посещения! Почему родственники ходят не вовремя. Кто их пропускает? За это отвечает кто? Лечащий врач. Она всегда быстро догадывается — во всем виноват лечащий врач. Может быть, она и права.

Передачи! Не вовремя передают. Мало передают. Много передают. Передают не то, что положено. Кто виноват? И на этот раз ей не изменяет догадливость.

Сведения! Это значит — выходить в определенное время и сообщать родственникам о состоянии здоровья их близких. Врачи не вовремя выходят. Еще терапевты выходят, а хирургов не дождешься. Плевать на ваши операции. Надо их планировать так, чтобы можно было выйти.

Тут уж она совсем права. Родственники должны знать про своих больных. Только лучше было бы их пропускать чаще.

У какого-то больного не сменили белье. Мы уже все знаем, кто виноват.

А в какой-то палате паутина была. Мы готовы хором сообщить, кто в этом виноват.

Дальше. Совсем развалилась санпросветработа.

Короче говоря, на час хватает, что сказать. И большой ли грех повторить это два раза в неделю?

А сегодня есть еще дополнительный материал. Сегодня канкан плясался на Олеге.

Он не ведет санпросветработы. Не проводит специальных бесед в палате...

Олег слушает ее уже шесть лет, но никак не может относиться к этому спокойно. Вступает в дискуссию. А потом его трясет. Невропат, наверно.

Вообще-то после этих конференций всегда кого-нибудь трясет. Но его особенно.

Нам даже пришлось сделать так, чтобы в день конференции не было операций. Конференции в среду и субботу — дни не операционные. Конечно, нельзя нам перед операцией устраивать нервотрепку. Шеф так после этих конференций не сразу идет в отделение. Сначала передохнет где-нибудь, потом — к нам. Ну, а если надо сразу к нам, — берегись.

А Олега всегда есть за что ругать. Он работник хороший. Но не любит медицину, предпочитает технику. Гаечки, винтики, наркозный аппарат, приборы. С ними он может сидеть целыми днями, а если что-то не клеится, может остаться и на ночь. Как мы с больными. Впрочем, он и с больными остается на сутки, но ради аппарата — с большим удовольствием. Он много раз просил Наталью Филипповну, чтобы его сделали наркотизато-

ром. Правильно — ему и не надо оперировать. Эта работа не для него.

Обход в палате он делает слишком долго. Потом возится с аппаратами. На операции времени почти не остается. А я между тем в операционной. В том числе и его больных оперирую. Он их с удовольствием мне отдает.

В палате он все делает правильно, обстоятельно. Но перед палатой принимает бронтозаврю дозу бехтеревки.

— Доктор, почему мне не поставили тряпку в живот, а вот ей — нас оперировали вместе, — ей поставили.

— У нее гнойный аппендицит. В животе гной. По этим тампонам гной оттекает из живота. А у вас был аппендицит без гноя.

— А вот она уже уходит домой, а мне все еще и пенициллин колют.

— Бывают воспалительные осложнения в ране. В них никто зачастую не виноват.

— Вы соседке моей разрешили ходить, а я до сих пор лежу. Можно мне тоже ходить?

— У вас же грыжа была. Ткани слабые. Рано встанете — опять грыжа будет... Этой больной вызовете невропатолога. Сотрясение мозга. Сегодня шестой день.

— Доктор, я хорошо себя чувствую. Можно ходить?

— С сотрясением мозга минимум десять дней лежать надо.

— Но у меня ничего не болит. Что вы меня зря лежать заставляете?

— Вы маляр, и я не буду давать вам советы, как лучше красить. Не понимаю. А вы в нашем деле тем более не понимаете.

Вступает в разговор еще одна больная:

— Мы здесь столько лежим, что теперь понимаем не меньше вашего.

Смешно, что говорит это она без улыбки. Еще смешнее — Олег начинает кипеть.

Нервы у него — бикфордовы шнуры. Иногда он пытается смягчить собственную напряженность — тогда пьет. И круг замыкается. Он с каждым годом становится все более напряженным. Это напряжение появилось давно. В 1940 году он окончил десятилетку и сдал экзамены в медицинский институт. А осенью его забрали в армию. В 1941 году под Вязьмой попал в окружение. Потом плен. Увезли в Германию. Был где-то в лагере. После освобождения довоевал еще. Так уж у него получилось — самое начало и самый конец. Демобилизованный, поехал в Москву. Его — в карантинный лагерь. Потом выпустили. Начал учиться в медицинском. Окончив институт, по собственному желанию уехал в Якутию. А после 1953 года вернулся, не знаю точно уж, в каком году.

Конечно, он немножко невропат. Но работа есть работа — и какое дело до этого главному врачу. И откуда знать это больным.

Обход продолжается.

Следующая больная спокойно улыбается. Чувствует себя хорошо. Олег тут же отходит.

— Можно мне пить томатный сок?

— Безусловно. Сделайте ей клизму. Сегодня снимем швы.

Дальше.

— Можно мне слабительное? Четыре дня стула не было.

— Мы в хирургии стараемся обходиться без слабительного. Предпочитаем клизму после операции.

— Я не люблю клизму. Я привыкла к пургену.

— Слабительное вам сейчас нельзя.

— Одну таблеточку, доктор.

— Ну давайте поторгуемся.

— Доктор, а мне домой можно?

— Лучше подождать пару дней. Увереннее пойдете.

— Здесь тяжело очень лежать. Я дома лежать буду.

— Насильно только в тюрьме держат. Я вам не советую.

— Доктор, а можете вы мне дать справку, что я нуждаюсь в постороннем уходе? Сын тогда из армии вернется.

— А вы нуждаетесь в постороннем уходе? Следующая больная — желтая. Несмотря на полноту, черты лица немного заострившиеся.

— Так больно? А здесь? Рвота была? Здесь?

— Ой!

Красноречивый ответ.

— Все-таки придется вас оперировать. Камни в желчном пузыре у вас.

— Может, обойдется? Может, мне лучше съездить на курорт? Подлечиться. Диету строже соблюдать.

— Ну, какой курорт?! — Он вытащил из кармана камень, показал ей. — Вот такие в вашем пузыре. Нет у нас сейчас такого лекарства, чтобы камни эти уничтожить. Разве что царскую водку в пузырь влить.

— На курорте я окрепну, а то я сейчас сильно ослабела.

— Что же ждать, время терять. Вы просто себя хотите обмануть. Оттянуть время. Вам сейчас под шестьдесят. Будете старше. С годами ваше состояние не улучшается. Оперировать будет опаснее. Ну, подумайте. Мы вас не торопим, а насильно никто оперировать вас не будет.

Следующей больной можно выписываться.

— Будьте здоровы. Старайтесь к нам больше не попадаться.

Его ругают за отсутствие санпросветработы в палатах. А это что же? Его обходы, его разговоры во время обходов — это не санпросвет? Но это не специальные беседы для больных. За такую работу в плане галочку не поставишь.

Потом он дает наркоз. И старается этим ограничиться. Оперируют другие. Если бог не поможет — оперирует и он.

А после окончания работы начинается работа. Надо писать истории болезни. Он садится за стол и скрупулезно и подробно пишет все, что полагается. Мы не пишем все, что полагается. А он пишет. И ворчит при этом.

— Говорят: пишите короче. А чуть жалоба или того хуже — следствие, сразу лезут в истории болезни. Как мы написали. Все ли мы написали. И даже забывают существо жалобы или прегрешения. Нечего лицемерно призывать к коротким записям. Измените систему контроля. И глупые записи сами собой отпадут.

Ворчит он чаще всего в воздух. Ни к кому не обращаясь.

Пишет медленно и долго. Два дела одновременно он делать не может, да и не хочет. Надо закурить. Он встает. Аккуратно расправляет свой белоснежный накрахмаленный халат. Поправляет великолепно отглаженные брюки.

— Я стираю и глажу сам. В лагере всему научился. Вовсе я не считаю, что жена это сумеет сделать лучше.

Зажигает спичку он о самый краешек коробка. С каждым зажиганием отодвигаясь от края. К концу коробка обе чиркалки ровненько и полностью заштрихованы. Затем курит. Курит и думает. Курит он с таким же видом, как закусывает рюмку водки. А закусывает он чаще всего тоже папироской.

Олег, ты почему никогда не закусываешь?

А зачем? Что я, стремлюсь побольше выпить, что ль? Я хочу, чтобы подействовало быстрее. Захмелел — и к стороне. Пить, что ли, как этот кабан? Он сначала кусок масла проглотит. Потом льет в себя, как в прорву. Ничего его не берет. Удадь показывает. Выпить побольше. Нахапать побольше. Хорошо, что он от нас ушел. Весь он вот такой. Если у тебя есть потребность выпить, уйти немножко от самого себя, чего ж тогда закусывать? Я пью, чтобы пить, а не нажираться.

Докурил. Можно продолжать работу. Пишет.

Мы все давно уже кончили. Иногда я сажусь и помогаю ему писать.



— Олег Алексеевич! В изоляторе больной плохо!

Дописал все истории болезни его. А он еще там. Покурил. Он там. Пошел своих больных посмотрел. Он все еще там.

Пойду к нему.

В изоляторе бог знает что делается. Около больной капельница стоит. Из носа зонд торчит — желудок промывают. Плачущая сестра убирает клизму.

Сестра молодая. Только что пришла из училища. Еще ни к чему не привыкла. Загонял, наверное. Жить учит, работать. Теперь не дождешься его. Надо домой ехать одному. Вышел сказать, чтоб я не ждал. И сестра тут же вышла. Передохнуть.

— Тяжелая была. Я вином немного напоил. Сразу легче стало. Видишь, какая сейчас спокойная. Лежит. Блаженно улыбается. Теперь пойдет на улучшение. Я знаю.

(Как будто можно быть уж так уверенным!)

— А что с сестрой? Чего она у тебя плачет?

— Да ну их. Приходят к нам такие пушистые, круглые, пучеглазые. И считают, что все дороги перед ними открыты. Выбирай и иди. А если работать насмерть, так что думать: можно или нельзя? Пойдешь так по дороге, жди. Как можно работать и только и думать — не что надо или не надо, а что можно или нельзя.

Чувствую, сейчас даст речь. Всегда так — распалится и пойдет митинговать. Говорит он, в общем, правильно, но очень уж пафосно и не по поводу. Всегда так. Вот и сейчас.

— Как можно живого человека ограничить рамками «можно» и «нельзя». Это только сегодня утром можно и нельзя. А уже к вечеру, что раньше было нельзя, стало возможным.

— Да что ты так раздухарился? Что случилось?

— Этих молодых девчонок выпускают из училища с формулами, созданными еще в девятнадцатом веке. Но ведь мыслить-то теперь надо уже по-другому. Двадцатый век! А если медики так же будут мыслить и действовать, как и раньше, что ж, пусть остаются шаманами. Но молодых зачем уродовать? Их просто напичкали целым сонмищем разных обязанностей и запретов. Ни дети, ни взрослые от лишних запретов лучше не становятся.

— Ну ладно, Олеж. Все это я уже слышал.

Он засмеялся над собственным митингом. Но не в силах сразу остановиться:

— А иначе и будет получаться, как у нас в больнице. «То положено, а это не положено», в сторону же и думать не могли.

«Положено» и «не положено» — любимые слова нашей Натальи Филипповны.

От них действительно иногда бывает страшно.

## ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?..

В приемный покой внесли больную.

— Что случилось?

— Болит, доктор, все.

— А что же — все?

— Живот болит. Сердце болит. Все болит. Сами ищите.

— А что же раньше всего заболело?

— Не знаю. Три дня болит живот. И сердце болит три дня.

— Вы одна? Вас никто не провожает?

— Все заняты. Да и зачем? На машине ведь повезли.

Болел живот. Рвота была. Потом, а может, сначала появились боли в сердце. Нет, наверное, все-таки потом появились боли в сердце. В животе, справа, в подреберье прощупывается плотный, очень болезненный желчный пузырь. Когда его щупаешь, становится страшно: сейчас лопнет. Быстрее оперировать? Сердце стучит глухо.

Может, лучше подождать? Подождать «с ножом в руках»? А что скажет терапевт?

Сердце стучало глухо. Терапевт был тих и неуверен.

—Если можете ждать, ждите.

Главный хирург:

—Попробуй лечить так. Если лучше не будет — с богом. Следи внимательно. Пузырь если лопнет, потеряем ее наверняка. Не тяни долго. Не будет лучше — делай.

Главный терапевт:

—На электрокардиограмме инфаркта нет. Но кто его знает. Постарайтесь сегодня быть консервативными, не оперировать. Ну, а нет...

Лед на живот. Жидкости под кожу, в вену. Пенициллин. Стрептомицин. Сердечные. Атропин. Кислород. Каждые два часа анализ крови. Каждый час ощупывание — пузырь оставался большим.

Но больная спокойнее. Боли, кажется, меньше. А может быть? Больные с желчными пузырями все толстые. Крепостью вздымается живот над кроватью. Подступись. А сердце?! Что же делать? Нет родственников. Не приходят. Больная спокойнее. Пузырь растет. Может, там уже гангрена — потому и болит меньше. Кабы речь шла обо мне, я бы решился на операцию. А вот поди-ка за нее реши. За другого тяжелее.

Что же делать? Если бы сердце было получше. Как быть? Голова лопается.

Состояние прежнее. Дальнейшего улучшения не наступает. Больная лежит. Пузырь растет.

Больная у нас уже двадцать часов.

Пришел сын.

—Знаете ли... матушку вашу, по-видимому, придется оперировать. Сердце не очень... Пытаемся обойтись без операции. Но похоже... придется решиться.

Сын круглый, полный, лицо добродушное. Улыбается добро, а при этом и без того маленькие глазки выглядывают как бы из щелки копилки.

—Нет, оперировать ее нельзя. Сердце не выдержит.

—Может, выдержит. Будем следить. Подождем еще. Неизвестно, что придется ставить на первое место в этой ситуации. Сердце — будем ждать. Пузырь — придется оперировать. Короче говоря, оперировать будем только при ухудшении. Только в крайнем случае.

—Нет. Оперировать ее нельзя все равно. Сердце не выдержит.

—Вам ведь это трудно решать так категорически. Вы же в этом мало понимаете. Мы врачи, но хирурги, поэтому тоже сами не решаемся — недостаточно компетентны. Терапевтов зовем на помощь, на совет.

—Это верно, конечно. Но оперировать ее нельзя. Сердце не выдержит.

Что же делать? Ничего себе настрой. А если все-таки не будет выхода? Если пузырь лопнет, она ведь от боли изойдет. Сама просить будет. А если умрет? Этот толстяк-добряк пропишет нам ижицу: «Я же говорил!» Поди объясни.

Пока оперировать других будем. Ясных и понятных.

Мыться!

После операции все опять собрались у больной. Живот стал хуже. Появились признаки воспаления брюшины — перитонит.

Надо оперировать!

Снова электрокардиограмма — инфаркта нет. Терапевты решили — боли в сердце рефлекторные, от пузыря. Сердце выдержит. Более того, после операции боли в сердце должны пройти.

Надо оперировать!

Но ведь все может быть. Может и умереть. Можно и палец разрезать и умереть. Один хирург в операционной показывал студентам, где будет произведен разрез. Провел ногтем по животу — больной и умер.

Надо оперировать. Больше ждать нельзя.

Больная лежит уже не так спокойно. Стонет. Живот напряжен. И пузырь... пузырь остается большим. Но еще цел.

— Все-таки придется вас оперировать. Дальше ждать нельзя.

— Еще немножечко бы обождать, а?

— Так ведь тридцать шесть часов ждали. Думали, обойдется. Живот стал хуже. Два раза кардиограмму делали. Сердце хорошее. Сердце выдержит. За сердце можете не волноваться.

— Боюсь я.

— Это понятно, что боитесь. Скажи мне оперироваться — я тоже буду бояться. Это свойственно человеку — бояться, когда его резать собираются. Но что же делать? Мы ждали сколько могли. Дальше нельзя. Да к тому же мы убедились, что сердце ваше не подведет ни вас, ни нас. А я вам слово даю, что через две недели буду с вами прощаться. Домой уйдете без болей. Ни в животе, ни в сердце.

— Да вот сын, уходя, не разрешил мне соглашаться. Ну да уж что делать. Лучше смерть, чем такие боли терпеть. Когда-никогда, а смерть придет. Оперируйте.

Все же попробую еще подождать родственников. Почему никто не идет? Тяжелая больная, а родственники и не чешутся. Еще пару часов подожду. У нас еще четыре операции. За это время я их сделаю.

— Если придут родственники, проводите их к операционной. Между двумя операциями я выйду к ним — поговорю...

После первой операции подошел муж больной.

— Дальше ждать нельзя. Придется оперировать. Мы проверили сердце. Сердце выдержит. Если ждать дальше, пузырь прорвется и спасти будет сложнее.

— Пойду поговорю с ней. Да и дочь сейчас придет. После второй операции к операционной никто не подошел.

Что они там думают? Что тянут время? Как им внушить?

После третьей операции никто к операционной не подошел.

После четвертой, последней операции никто к операционной не подошел. Я пошел в отделение. Если Магомет не идет к горе — гора идет к Магомету.

Из сестер на посту в отделении сегодня дежурит Света. Хохотушка. Учится на первом курсе медицинского. Ночью сидеть трудно без сна, когда нет тяжелых больных. Когда они есть — ночь без сна проходит легче. Чуть привезли — и с диванов, со стульев, из-за стола, из ординаторской — отовсюду выползают белые халаты. Все в одно место. К самому уязвимому месту. Так, если в тело попадает заноза, отовсюду бегут на борьбу лейкоциты.

А сейчас Света сидит за столом. Читает. Стихи какие-то. Чтобы не уснуть во время дежурства, она время от времени развлекается. Из своей прически, например, она сотворила короткие косички-хвостики. В стороны торчат. И сама она вся веселая, доброжелательная и очень милая с этими косичками.

Я люблю с ней работать. Когда она в моих палатах, я спокоен. Кроме необходимых дел, кроме настоящей, нужной лечебной работы, надо еще соблюдать формальности. Я забываю назначать анализы каждые десять дней. Без нужды, а для порядка. Света следит сама и напоминает. Помогает голову разгружать от шлака. А иногда и важную вещь подскажет. Плохо, когда сестра не творческий исполнитель чужой воли. А чаще всего это так. Почему-то сестер низводят только до простых раздатчиков лекарств, укалывателей и подавальщиков инструментов. Олег прав: нелеп в медицине старый военный принцип «не рассуждать» и «не положено». А вот со Светой хорошо работать. С ней и посоветоваться можно. Если больная откажется от операции, пошлю Свету на переговоры. Она чудеса делает. Все успевает. Сидит читает. Но я знаю — все в порядке. Это не от безделья. Больного тяжелого она не упустит и не оставит. Я знаю. Молодец. Правда, вчера вечером она отослала домой родственников одной больной. А ночью больная умерла.

— Почему ты не разрешила им остаться?

— А уже было десять часов. Дальше нельзя же было.

— Но больная-то умирающая.

— От них все равно никакой пользы. Они лишь суетились — вносили только беспокойство. Больной только вред.

— Какой же вред, когда больная все равно умирает?

— Мы ей делали все, что надо. А сквозь них даже не пробьешься к ней.

— Так нельзя, Света. Нельзя родственников отправлять домой, когда человек вот-вот умрет. Это просто негуманно.

— Главный врач категорически требует выполнения больничных правил. Ночевать в отделении родственникам нельзя.

Откуда у этой чудесной девочки такая жесткость? Может, даже жестокость? Из каких времен?

— Нельзя все так регламентировать, Света. Живые люди — не винтики.

И все же Света молодец.

— Света, позови, пожалуйста, родственников в ординаторскую.

Муж худой — в отличие от сына. Глаза тревожные. Дочь спокойна, величава. Строга и серьезна.

— Ну, как вы решили? Надо начинать операцию. А ее готовить к наркозу.

— Нет, доктор. Так что согласия на операцию мы дать не можем. Сердце не выдержит.

— Но желчный пузырь уже не выдержал! Она же умрет!

— Нет, доктор. Нельзя ее оперировать — не выдержит. Сын скажет, что мать мне не дорога, вот я и дал согласие.

— Но как же можно так! Вы поймите! Желчь из пузыря разольется по всему животу. Начнется желчный перитонит, воспаление брюшины. Брюшина по поверхности больше, чем кожа. Если кожа вся воспалится, человек умрет. А здесь этой поверхности еще больше. Если желчь разольется, спасти ее будет очень трудно. А может быть, и невозможно. Сердце у нее сейчас лучше. Терапевты считают, что боли в сердце от живота. Нельзя ее оставлять так, на произвол судьбы. Все, что можно было сделать без операции, мы сделали. Дальше ждать нельзя. Операция сейчас необходима. Грозит смерть.

— Нет, доктор. Вы ее не оперируйте. Завтра придет сын к вам, с ним поговорите.

— Завтра, — если для нее будет завтра! — состояние ее много хуже будет!

— Нет, доктор. Согласия на операцию мы не даем.

— Ну, хорошо. Подумайте, в какое вы нас ставите положение! Если станет совсем плохо? Мы же теперь и в будущем лишены возможности ее оперировать.

— И не надо, доктор.

— Тогда, если вы понимаете всю меру ответственности, которую на себя берете, пойдете и распишитесь в истории болезни, что категорически возражаете против операции. (Может, это на них подействует. Часто, когда мы начинаем просить расписку, и больные и родственники на это не решаются и начинают думать серьезно. Велик еще страх перед бу-мажкой у нас. Но в конце концов о чем они думают?! Какая-то нелепость. Вторая половина двадцатого века, а я на расписку рассчитываю.)

В дискуссию вступает дочь.

— А зачем давать расписку? Если вы будете ее оперировать и она умрет под ножом или от ножа (грамотно говорит), вам же все равно придется отвечать.

- ???!

Ну и ну! Ничего себе гуси. Как же ее теперь оперировать?

— Видите ли, я действительно отвечаю за ее жизнь. И если я настаиваю на операции, так это потому, что я отвечаю. Но отвечать надо за дело. А вы обрекаете на бездействие! Надо сделать все! И за действия свои отвечать. А просто ждать? Чет или нечет? Выживет или не выживет? В конце концов в первую очередь должна решать сама больная. Пойдемте

к ней. Если она откажется, тогда другое дело. А вы распишитесь в отказе. Я сейчас сниму операционный халат и выйду к вам.

Снял халат.

Вымыл руки.

Вытер.

Дал две минуты им. Пусть придут в себя и подумают.

— Света, а где же ее родственники?

— А они ушли.

Вот тебе и Света! Все равно что упустить больного.

— Пойдем в палату. Может, они там?

И в палате нет.

— Где же ваши родственники?

— А они сейчас попрощались и ушли.

— Как же нам с вами быть?

Я не буду оперироваться. Не разрешили они. Да и я сама думаю: лежу я здесь, не лечите вы меня. Вы вот полечите как следует. А под нож я всегда успею.

— Остайся, Света, здесь. Поговори с больными. Я пойду других оперировать.

А утром родственники увезли ее из больницы. Может, действительно не хотели оперировать? А может, не доверяли нам, увезли в другую больницу?

## ПЯТЬ МИНУТ

Проклятые пять минут решили дело.

В роддом нас с наркотизатором вызвали после двенадцати часов. Нужно помочь на операции. Едем.

Операционная большая. Впечатление, что все сконцентрировано в одном углу.

Двенадцать часов тридцать минут.

Больная на столе.

Доктор у руки — кровь переливает. В головах сестра — дает наркоз.

С моей стороны — две спины, полусогнутые. Против них стоит третий. Мне видна лишь его голова в колпаке. Кто-то подбирает инструменты с пола. Кто-то пронесет мимо меня таз.

Суета и одновременно — спокойствие. Тишина. Как сквозь вату доносятся слова:

— Кровь привезли?

— Нет еще.

— Лейте глюкозу!

Мне:

— Доктор, мойтесь.

Пошел мыть руки.

Я:

— Валя, начинай наш наркоз. А вы — рассказывайте.

Плеск, плеск — мою руки.

— Ей двадцать три года. Беременность протекала с осложнениями. Плохо с почками. Перед самыми родами желтуха началась. Под утро родила. Началось кровотечение. Чего только не делали — кровотечение. Кровь переливали с утра. Ничего! Да и кровь у нее резус-отрицательная, первая группа.

(Резус-отрицательная! Каналья! Где ее напасешься. Ее же мало. Да еще и первая группа! Была бы другая, можно было бы лить и ее и еще первую. А так только первую. Вот уж действительно подарочек.)

— А кровь пока есть?

— Уже давно нет. Везли все время. Три раза со станции переливания привозили. Весь

запас там кончился. Обещали достать.

— Сколько перелили?

— Десять литров. Льем, как на улицу. Мы туда, а она оттуда.

(Десять литров! С ума сойти! Во мне их всего пять.)

Когда я с вымытыми руками опять входил в операционную, наркоз давала уже Валя. Привычно было видеть ее строгое смуглое узкое лицо, выглядывающее из-под простыни, отгораживающей операционное поле. Это привычно, и потому и в «чужом доме» приводит в порядок предоперационную пляску нервов. Вале двадцать шесть. Сначала она работала санитаркой, потом постовой сестрой, и вот уже шесть лет — сестра-анестезист. Я спокоен, когда Валя дает наркоз. Она великолепно знает свое дело.

Вытираю руки.

(Полотенцем вытирают. Не салфетками. Хм, спирт с йодом смешивают. Дурацкая манера. Главные врачи любят повырничиваться.)

— Дайте спирт без йода — у меня руки йод не переносят.

(Как будто добавив каплю йода, они лишают спирт его питьевых качеств. Во-первых, и с йодом можно — козь любит кто. По цвету — коньяк. А по вкусу — *De gustibus non disputandum est* (О вкусах не спорят, *лат.*). Больше бы доверяли. Да и не очень-то пьют его. Халаты желтые, пожелтевшие, раз сто, не меньше, стерилизовались. А Петровский у себя завел зеленые. Конечно, для глаз белые хуже. Утомляют. А у Опделя в операционной все было черное. Представляю ужас больного. А ведь культурный человек был. Большой хирург. Музыку любил.)

— Перчатки, пожалуйста, поменьше. Лучше в обтяжку. Пусть сдавит. Ну, поболит рука. Зато удобнее. И чувствую лучше. Руки отойдут потом.

Двенадцать часов тридцать семь минут.

— Подвиньтесь, пожалуйста. Дайте сориентироваться. Так. Матку уже удалили?

— Матку удалили еще утром. А сейчас приходится повторно оперировать.

Вот те прыть! Когда же успели? Надо же такое везение! Беременность — на тебе желтуха. Беременность и желтуха — на тебе кровотечение. Удалили матку — на тебе послеоперационное внутрибрюшное кровотечение. Опять оперируй. Да это не свинство — хамство божье!

Так. Артерия. Ага. Тупфер. Салфетку. Больше. Черт! Я их не знаю. Сестра меня не знает. Дает не так. Зажим не в пальцы, не салфетки — тряпки. Тампоны без зажимов. Ладно, привыкай и не ропщи. Христос терпел... У Вали иконописное лицо...

— Дайте-ка зажим! Убираю салфетку! Кетгут. Так, началось внутрибрюшное кровотечение? Быстро заметили? А крови хватало? Откуда же взяли столько резус-отрицательной? С ума сойти! Захватили хорошо? Вяжите, пожалуйста. А выше лампу нельзя? Я все время об нее головой стучаюсь. Кровь еще переливаете? Кончилась кровь?!

Со станции переливания не везут. У них тоже кончилась. Конечно. Десять литров резус-отрицательной. Интересно прикинуть, сколько в Москве набрать можно? Примерно, у 85 процентов — резус-положительная. У 15 процентов — отрицательная. Первая группа, скажем, у 40 процентов. Значит, на Москву...

— А, собака! Нитка соскочила. Тампон. Еще. Еще. Зажим. Ага! Вяжи. Нет, на игле нитку. Прошьем. Так.

На Москву, приблизительно, тысяч шестьсот. Считаю, половина стариков и детей — триста тысяч. Больных или просто тех, у кого нельзя брать кровь — тысяч сто. Остается двести тысяч. А сколько из них желающих сдавать кровь? Ну ведь, наверное, не пятьдесят тысяч. Ну, от силы десять тысяч. Сдают они один раз в два месяца.

— Все. Все. Давай зашивать. Нечего тянуть. Быстрее. Вторая же операция. Кровь где?! И из пятнадцатой уже привезли свои запасы? А из шестидесятой? Из сорок шестой? Из семнадцатого роддома? Из всех ближайших?! (Уже весь район притащил... А нам все равно еще надо.) Звоните дальним больницам. По всем больницам звоните. Где есть —

отовсюду пусть везут. Шелк. Быстрее вяжите.

Мы включаем все более и более широкий круг помогающих. Как круги на воде от упавшего камня.

Без четверти час.

— Давление падает!

— Быстрее. Мы кончаем!

— Звонили со станции переливания. Они вызывают из дома доноров. Найдут, возьмут — и пришлют.

Попробуй добудь. Один на работе. У другого грипп. Четвертый пьяный. Ну, ну. Пришлют. Подумать только, сколько народу включено. Телефоны. Машины. И все торопятся. Спешат. Значит, должны спасти. Есть же бог на земле.

— Пульс слабый! Кончайте быстрее.

— Кровь!!! Лейте полиглюкин!

Быстрее. Быстрее. Все люди придумали. Шубы синтетические. В космос летаем. А создать кровь искусственную не можем. Да и вряд ли это возможно... И ведь наверняка ни у кого из присутствующих нет реэус-отрицательной. А это был бы выход.

Без тринадцати час.

— Звонили со станции. Есть три донора. Сейчас пришлют со скорой.

Нашли-таки! Откуда-нибудь вытащили с работы.

— Давление не определяется. Пульс только на сонных артериях.

Если придется оживлять — для искусственного дыхания все готово.

Валя стоит на дыхании. С детства она верила в бога-чудодея. Сейчас Валя знает, что чудес на свете не бывает. Чтобы человек жил, надо за это драться. До седьмого пота в кишках. Бог не поможет.

Без одиннадцати час.

— Ни пульса, ни давления.

— Кровь есть?

— Из семьдесят восьмой машина едет, и со станции отправили.

— Без десяти час.

— Кончили!

— Все, сердце не слышно.

— Нож! Скорее!

Грудная клетка раскрылась, как ларчик. Кровь совсем не течет. Да и откуда — сердце-то не работает. Лежит распластанное.

Начинаю массаж.

— Отвечает! Отвечает! Сокращается! Сейчас может начаться фибрилляция. Есть дефибрилятор? Ну, током ударить, чтобы мышца не беспорядочно работала.

Кровь гоню пока рукой. Кровотечение появилось. Но вообще-то сердце не работает.

— Кровь?! Где? Привезли?

— Три минуты после остановки сердца.

— Кровь?!

— Вот-вот будет.

Нет дефибрилятора. Что же делать? Вдруг начнется фибрилляция. Ложки!

— Возьмите две ложки и прикрутите к ним провод. Каждый провод к ложке. Чтоб до розетки доставали. От лампы настольной оторвите. На всякий случай. Чтоб готово было. Только быстрее.

Опять сердце вялое. Тряпка. Ну же! Ну же! Что-то отвечает.

— Адреналин дайте.

— Пять минут прошло!

— Кровь! Кровь есть! Привезли!

— Ну, быстрее, родненькие! Быстрее в артерию лейте!

Слава богу. Кровь. Шесть минут уже прошло. Кровь-то мы гнали. Да мало ее было: мало кислорода к тканям подходило. А мозг очень чувствителен. Мало кислорода мозгу было. А может, достаточно? Если мало, то все — кора не восстановится. Тогда хана! Боже, до чего рука устала!

—Нет, сменять меня не надо. Не хочется ритм сбивать.

До чего же трудно руке. А казалось бы, пустяковая работа. Никак не могу привыкнуть. Какой уже раз. И каждый раз одно и то же. Да, привыкнешь. Жди. Бьется! Бьется!

Час.

— Пульс на сонных артериях ничего.

— На локтевой артерии слабенько. Давление не могу определить.

Уже сил нет. Ужасно тяжело. Сейчас мы уже с кровью! Сейчас крови много. Со станции шестьсот граммов и из больниц восемьсот. Почти полтора литра. Работаем дальше. Видишь, Валя, ты права: все в руках наших.

— Давление сорок!

— !!!

В общем, сердце отвечает. Ну-тка, попробую отпустить. Нет, не то. Буду дальше. Не отвалится же рука. Кофейку бы сейчас. Рука уже почти автоматически ходит. Без меня. Утром хороший кофе был. А может быть, и вытянем. Интересно, как там мой больной после операции? Удрал и даже не посмотрел. Хорошая сегодня операция была. Так сказать, заряд хороший. Допинг. Сумел бы возиться я здесь так сейчас, если бы не получил этот хороший заряд?

— Давление шестьдесят.

Один час двадцать минут.

Сердце бьется самостоятельно, без массажа. Давление стабильно. Пульс хороший. Кровь есть.

Только бы тогда мозг не пострадал, когда крови не было. А то все напрасным окажется.

— Ну, подождем. Посидим. Хватит кровь лить.

Один час сорок пять минут.

— Давление 105/60. Пульс приличный.

— Я тогда зашиваю грудную клетку. Все хорошо.

Хорошо?! А те-то пять минут? Может быть, все-таки крови не хватило. Как кора? Если тогда, в те пять минут, кора полетела... Ну, тогда все напрасно. Пока все хорошо.

— Давление?

— То же.

— Дай-то бог. Пульс тоже ничего. (Хм. Черт, может, выживет. Руки жуть гудят.) А сколько ей-то, вы говорили? А ребенок жив?.. А муж знает?..

В головах Валя. Продолжает искусственное дыхание. Она держится за ручку гармошки-мехов. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Дышит за больную. Двадцать раз в минуту. У нее тоже руки устали. Но она молчит.

Валя хороший работник. С ней спокойно. Два часа она непрерывно сжимает и разжимает мехи. И не ропщет. Наверно, устала? Чудес на свете не бывает — она знает. Надо работать — дышать.

— Скажите, а как фамилия больной?

Два тридцать — давление тоже... Кой-какие рефлексы...

Три тридцать — давление то же.

В шесть часов давление то же.

Сознания нет.

И в десять часов давление то же.

И ночь всю...

...Все же те проклятые пять минут свое дело сделали.



Да, человек смертен. А смерть разнообразна.

Мы делали все. Да разве только мы! Весь город принимал участие. В больницах. На станции переливания крови. В центре оживления. Доноры. Шоферы. Телефонистки...

Только мы сейчас стоим перед трупом. А те, остальные, не знают. Ничего. И не надо им знать. Ведь много раз мы были победителями. Каждый участник берет на себя свою долю тяжести.

В конце концов ходить по улицам Москвы опаснее, чем рожать. Больше шансов под машину попасть, чем от родов умереть.

## РАК

— Нет, пожалуй, ничего нельзя сделать.

— А посмотри — по стенкам живота тоже метастазы?

— Да вот же! Видно.

— А все-таки, если можно убрать, даже оставив метастазы, надо пробовать.

— Для чего? Химией лечить попробовать?

— Ну конечно. Ведь химики говорят, что на метастазы иногда как-то можно подействовать, а на основную опухоль нельзя.

— Верно. Да что они знают?! Впрочем, давай попробуем. Вскроем связку, посмотрим заднюю стенку.

— Э-э! Не-е! Ни черта не выйдет.

Опухоль на ощупь, как дерево. Она переходит с желудка на поджелудочную железу. Я не чувствую границы между ними.

— Да-а! Опухоль прорастает всю железу.

— Да-а. Кранты.

— Все-таки кусочек возьмем под микроскоп. Химики ведь дают свои снадобья в зависимости от того, какой рак.

— Верно. Но что они знают?!

— Вот заладил. Что-то они, конечно, знают. Не один десяток лет они над этим колдуют. Что-то говорят же.

Кусочек отрезали и отправили для микроскопического исследования.

Рану быстро зашивали.

Быстро?!

Когда обнаруживаешь неоперабельный рак — руки быстро не зашивают.

Кажется, что делаешь быстро. А руки свинцовые. Мысли аморфные.

Зашиваешь.

(А может быть, это и не рак? Ну, например, туберкулез какой-нибудь? И обсеменение по брюшине, а? А может быть, сифилис? Все бы лучше было.)

— Аня! Позвони в лабораторию. Попроси сделать срочный анализ присланного кусочка. А подробный анализ потом уж пусть делают.

Если б что-нибудь другое, можно бы и лечить. А то рак!

Коридор от операционной до лестницы после неоперабельного рака всегда становится длинным, а глаза близорукими. Ну и наткнулся на товарища, естественно.

— Ты что по сторонам не смотришь. Устал?

— Ужасно! Просто сил никаких нет.

— Много операций было? Дежурил?

— Если бы! Одна. Двадцать минут.

— А. Рак? Неоперабельный?

— Угу.

— Ну, иди отдохни. Покури.

— Еще процедура предстоит.

— Родственники?

— Угу.

— Да ты посиди пока. Покури. Подскребешь сил — пойдешь скажешь.

— Да уж лучше сразу отделаться.

— А что там, совсем ничего нельзя было сделать? Или боялся — помрет?

— Да не! Все намертво проросло.

— Меня вчера как раз ругали. Смертность, говорят, большая, а я, мол, при такой ситуации на риск иду. Помрет, говорят. Случай почти безнадежен. Что ж не рисковать, говорю. Пусть помирает? Ведь — *почти*. Ну, а главную сам знаешь: «Когда у вас смертность шесть процентов, не рискуют». Конечно, в морду соседями тыкали. Сравнивали.

— Да! Они-то дали! Ноль процентов при раке желудка!

— Если при раке желудка смертность нулевая — значит, хирурги не рискуют. Делают с оглядкой. При раке-то! Делают только наверняка.

— По смертности при раке о хирурге судить нельзя. Как и по двойкам и второгодникам об учителях. Пусть разбирают каждый случай в отдельности. А то цифры, цифры — и сразу выводы.

— А ты на операцию шел — знал, что рак? Или сомневался?

— Да иди ты с дурацкими вопросами. Почти не сомневался.

— А как думал: можно радикально убрать?

— Ну что пристал? Что мы можем думать? Думал: там видно будет. В общем, ты мне надоел. Душу я отвел. А теперь пойду к родственникам.

— Помогай бог.

(Что же я им буду говорить? С утра сидят, ждут. Да...)

— Аня! Не звонили? Не говорили еще результаты?

— Нет еще.

Может, подождать, пока ответ будет. Пожалуй, сам позвоню.

— Патанатомия? Скажите, пожалуйста, мы сейчас присылали кусочек вам. Что там?

Рак?

— Да. Большой Соловьев.

— Рак без всяких сомнений. Да, так мы и думали. Извините. Спасибо.

Надо идти к родственникам.

В посетительской сидят мать его, жена, брат, дочь. С ума сойти!

Все сидят на скамейке. В ряд. Молчат и смотрят на дверь. Мне через шелку видно. Ждут. Дочери лет 16—17, она еще не совсем понимает. Какие-то блики бродят по лицу. Внутренне улыбается чему-то. Она еще не понимает. Брат о чем-то думает, другом. Что-то явно деловое. Какая-то забота. Смотрит все ж на дверь.

Жена вся в напряжении. Внутри, по-моему, она уже плачет. Вся в одном комке.

Мать! Старуха! Она не плачет. Она и не заплачет. Глаза совершенно пустые, в темноте. Сейчас я коснусь и... Она смотрит куда-то мимо двери. Прямо в шелку. На меня.

Сейчас я на них опрокину. Что жена? Закричит? Заплачет? Побежит? Молча, тихо отойдет? Будет спрашивать?

А мать? Это никогда не предусмотреть.

Резко открываю дверь. Как говорят: «Высокий, стройный, в белом халате, шапочке. На шее еще висит маска. На лице следы усталости и решительности. И т. д. и т. д.» Втолкнул себя в посетительскую.

Жена кинулась. Дочь за ней. Брат поднялся. Мать сидит не двигается. Лишь взгляд перевела. Уже отвернулась. Ей все ясно уже.

Уже и жене все ясно.

Брат:

— ...И ничего, ничего нельзя было сделать?

— Абсолютно.

— Даже если пойти на риск?  
— Там уже не было никакого риска.  
— Боже мой! Что же делать? Что делать?! - жена.  
— Не надо сейчас убиваться. Успокойтесь, не тратьте силы. Вам они еще понадобятся. Ведь ему сейчас очень тяжело. И не плачьте. Он не должен видеть слезы. Он не должен ничего понять. Он должен видеть: все хорошо, операция прошла хорошо.

Мать с ужасом смотрит на меня. Кто я сейчас для нее? Враг?

— Доктор, и долго он еще будет мучиться? — это брат.

Ни мать, ни жена так не спросят.

— Не могу вам сказать, но думаю, что больше месяца-двух не... Ну, еще месяц-два... Впрочем, ничего не могу сказать. Не надо гадать.

— Да-а-а. Спасибо, доктор.

— И никакой надежды?! — дочь.

— Только если чудо. Знаете, бывает. Один на миллион выздоравливает. Неизвестно отчего.

В углу, в стороне, сидела заплаканная женщина. Она с ужасом смотрела на меня. Сейчас встала и быстро вышла. Почти выбежала.

Я разводил руками. Иногда сочувственно, иногда понимающе, иногда виновато улыбался. Говорил о силах, которые еще понадобятся. И пятился к дверям.

И удрал.

От них удрал.

А от себя?

— Аня, отвезли больного?

— Да, он в послеоперационной.

— Проснулся?

— На вопросы отвечает.

— Смотри, не скажи ему, сколько времени. Они ведь сразу считают — сколько там пробыли. И если пить захочет, скажи — нельзя.

(Ему все можно. Но они ведь знают: кому вырезали, тому пить в первые дни нельзя.)

Он еще относительно полный. Лицо бледное, с желтизной. А сейчас, после операции, и того хуже.

Пульс хороший. Дышит хорошо. Надо все-таки жидкость ему в вену прокапать. Поддержать немного. А надо ли? Мучается ведь.

— Аня, поставь ему капельницу. Надо все ж поддержать его.

— А сердечные надо?

— Сейчас сделай. Пусть раздышится после наркоза.

Аня при деле.

Мы будем тянуть его.

Родственники придут к пяти часам. Он тогда совсем проснется. Совсем проснется.

А я домой.

Больница рядом с лесом. И я иду рядом с лесом. А в лес не захожу. Трава зеленая и там, где ее не топчут, густая. Навстречу дует ветер. Он не пригибает траву, а наклоняет. Все травинки, как стрелы, направлены на меня. Ветер прохладный, а солнце печет. Так и жарит в меня.

Нет, в лес я не пойду. Он, по-моему, все глотает. И меня глотнет. Ямка. Пенек. Кочка. Так. С пенька на кочку. Раз! Хм. А если бы ямка поглубже? Помню, одна больная с ушибленной ногой рассказывала, что на кладбище провалилась одной ногой в яму. «Я одной ногой в могилу попала». Ей тогда было семьдесят — сейчас семьдесят шесть. И ничего. А этому — сорок один! Яма, пенек, кочка. Раз!

Назавтра он лежал и тихо постанывал. Вокруг сидели родственники. Это очень тяжело, когда столько родственников вокруг, но что делать. Они смотрят на меня. Я не смотрю

на них. Они смотрят с надеждой и совершенно безнадежно. Как только больные по родственникам своим ни о чем не догадываются никогда?! Почти никогда. Мы привыкли врать. А они не могут. Даже когда врут — все одно не могут. Родственники всегда помнят - близкий человек умирает. Они никуда от этого не в состоянии уйти. Заботы, работа, магазины, дети, и вдруг сразу опять нахлынет: больница, близкая смерть. Человек живет, а они все думают о смерти и о похоронах, и о жизни без него, еще живого. А мы напаялим тогу авгура — поди пробейся сквозь такую защиту.

— Ну, как дела, Спиридоныч?

— Больно еще.

— Палец порежешь — болит. А тут живот пополам разрезан. Целый желудок отрезан. Ничего, скоро легче будет.

— А пить мне можно?

— Что вы! Ведь там все сшито. Швы разойдутся.

(Шекспировскую деталь добавил для большей реальности.)

Так он ничего, если только не знать, что внутри делается. Может, еще выписаться успеет.

— Аня, как ночь провел?

— Да как обычно. Родственники ему только покоя не давали. Пользы от них никакой. Один вред ему и усталость, но ведь не прогонишь — умирает.

Пойду в перевязочную.

А Аня пошла к Соловьеву. И совершенно иное у нее лицо. Это, наверное, защитная реакция человека. В суете мирской ее лицо неприятно. В палате — идеал.

Соловьеву плохо. Аня там целый день.

А разве сможешь?

Надо.

На следующий день ему еще хуже.

Белый, даже серый. Нос заострился. Пульс слабый. Пусть что-нибудь делают. Толком все равно не сможешь.

Через два дня начались сильные боли. Вот тут уж надо помогать. Боли снимай, чем хочешь: морфий, пантопон, хоть под наркозом держи все время.

Я к нему не пошел во время обхода. Все оттягивал.

А в палате жена. В коридоре дочь сидит. В палату не иду. Дочь на меня смотрит.

Ну что она смотрит! Я не могу помочь. Я же не виноват.

Дочь на меня смотрит.

Пошел в палату.

— Спиридоныч, как дела?

— Сильно болит.

— Но все-таки легче немного стало?

— Нет, совсем не легче.

— Ну как же. Рвоты нет? Ты уже пьешь?

— Ну, может, немного и легче. Но еще тяжело.

Что-то легко я его уговорил. Или он отмахнулся? Мелки мы сейчас рядом с ним. Но это сегодня. Как дальше буду уговаривать?

Дальше.

Дальше его совсем не стало видно под одеялом. Плоский стал. Только комочек лица на подушке.

Он совсем слабый. А рана зажила хорошо. Швы сняли — все в порядке. Зажило хорошо.

После снятия швов я уговариваю себя, что миссия моя закончена. Захожу к нему в последнюю очередь.

Я не могу выдержать его глаз! Жены глаз! Дочери! Матери!

Хочу спрятаться.

(Истерик!)

— Доктор, все равно вы ему ничем помочь не можете. Может, мы его домой забрем? Пусть дома помрет. Он заслужил это.

В душе я радуюсь. Спихнул с себя этот крест.

— Может, подождем еще пару дней? Пусть пройдет еще срок побольше после операции.

— Нет, увезем сейчас.

— Ну что ж. Воля ваша.

Я к нему сегодня и не захожу. Нет сил. Что мне сказать ему на прощание?

Упросил зава — пусть поговорит напоследок. Пусть эта тяжесть будет на нем.

Он пошел...

Через год пришел ко мне на контроль высокий, здоровый детина.

Это был Соловьев!

Я всегда видел его только лежащим в постели. Не думал, что он такой высокий. Рядом стояла жена.

— Вы меня похоронили, доктор?

— Бе-бе- бе, — что-то лепетал я бодренькое.

— А мы ему теперь все рассказали, — говорит жена. (Это она зря. Мало ли что будет дальше? Но раз сказали — карты на стол.)

— Ну, Спиридоныч — один на миллион. Умом даже не обоймешь. (Иногда в таких случаях любят говорить: «Сто тысяч выиграл». Хм.)

— Чем-нибудь лечили его? — это я к жене.

— Да нет. Только морфий кололи. От всего отказались. А он стал лучше, лучше. Правда, инвалидность ему дали, первую группу.

— Я и пришел поэтому к вам. Снимите с меня инвалидность. Я ж работать хочу. А меня не берут.

(Как же я сниму? Ведь у нас подтверждено микроскопом — рак. Может, на вторую переведут. Надо поговорить с начальством.)

— Видал! Тебя Соловьев искал.

— Не говори. Видал. Вот петрушка-то. Ты что-нибудь понимаешь?

— Да что ж понимать. Бывает.

— Значит, все-таки иногда он проходит...

Что же там бывает внутри, при этом раке? Совсем внутри?

## НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Кто это придумал, что хирурги режут?

Хирург — портной! Вот уже три часа, как я шью, шью. Крою и шью. Наверное, на резание в чистом виде ушло минуты полторы. И часа два с половиной чистого шитья. И так всегда.

Мы, в основном, шьем — и мало режем.

Да и вообще в этой больной не резание главное.

Она поступила с диагнозом — рак. Резать! Но у больной диабет.

Диабет — это не просто сахара много в крови, в моче. При диабете плохо заживают ткани. Для меня сейчас это главное.

Рак — резать!

Диабет!

А после операции сахар может неудержимо нарастать, нарастать. Человека сжигает сахарная буря. Потеря сознания. Диабетическая кома! Смерть.

А может быть наоборот. Дашь инсулина слишком много — сахар совсем исчезнет. И без сахара... Опять потеря сознания... Другая кома. Бессахарная кома! Смерть.

Надо позвать специалиста.

— У больной некомпенсирующийся диабет. Оперировать нельзя.

— У нее рак. Другого выхода нет.

— Слишком большой риск. А каков объем операции?

— Да кто ж его знает. Думаю, что в лучшем случае — велик.

— Ну что ж. Готовьте ее. Может, скомпенсируете. Тогда идите на риск.

(Риск! Кто будет рисковать? Мне рассказывал товарищ про одного больного, который долго не соглашался на операцию. У него был гнойный аппендицит, ему становилось все хуже и хуже. В конце концов, его уговорили. После операции, перед выпиской он подошел к моему товарищу — тот его оперировал:

— Доктор, я баптист.

— С кем не бывает. Но ведь все равно надо было оперироваться. Дело-то шло к худому.

— Я и сам вижу. Но мы против боли. Против насилия. Против операции. Грех это. Великий грех. Грех вам предлагать. Грех вам людей резать. Большой мой грех, что согласился.

— Но ведь вы бы умерли!

— Ну что ж. Значит, такова воля божья была бы. Кто не допустил смерти? Вы. Пошли вы против господней воли? Или выполняли его предначертанья? Не знаю. Но только большой вы грех взяли на себя. И, по-видимому, каждый день берете?

— Этот грех каждый день беру. Да вот видите, не жалею.

— Молитесь, доктор, за вас я буду. Творите вы, может, и хорошее, да божий помысел вам неведом. Большой ваш грех каждодневный буду я замаливать с нынешнего дня. И ушел.)

Ну, что-то вроде компенсации наступило.

Смотрели все вместе: хирурги, анестезиологи, эндокринолог-диабетчик, терапевты.

Самая трудная задача анестезиологам.

Идет операция. Момент жестокой травмы. Все должно оставаться в это время на одном уровне. Все чтоб было, как перед операцией. И сахар. И кровь. И дыхание. И давление. Все, что не в руках хирурга.

Еще не известно, у кого больше работы будет.

Нет, у меня больше. Но что я смогу без них?

Все подумали. Все разрешили.

Хирурги примерились.

Анестезиологи оценили и согласились.

И вот она на столе.

В операционной недавно был ремонт. Глаз режет белым цветом, белым блеском. Слишком бело. Не помню, у какого народа траурный цвет белый.

Голова Ларисы Петровны тоже белая.

— Тяжелая война сейчас начнется, Лариса Петровна!

А Лариса Петровна никогда не узнает или, в лучшем случае, никогда не сумеет оценить степень нашего совместного риска.

В головах два врача-анестезиолога, две сестры-анестезиста.

Я моюсь. Лаборантка набирает кровь в пробирочку. Сколько сахара там сейчас? Ответ будет через час.

Я моюсь. Седая голова. Глаза уже закрыты. Спит.

Я стою справа. Там же, ближе к голове, один ассистент. Напротив — другой. В ногах — сестра.

Анестезиологи пусть распределяются, как хотят. Это уже не моя забота. С этого момента наши заботы разграничены.

Моя забота — живот.

Их — вся остальная Лариса Петровна.

Разрез — секунда. Останавливаем кровотечение. Зажимы, нитки — полторы минуты. Разрез — секунда. Последний слой. Разрез — секунда. Почти все основные разрезы сделаны.

Весь желудок! И селезенка? И толстая кишка. А вся опухоль болтается — можно убрать. Опухоль убираема. Теоретически можно убрать. Но сколько? Выдержит ли? Желудок, селезенка, толстая кишка. Желудок весь? Да еще диабет. Может остаться на столе. Может не выдержать.

— Ну, как она?

— Ничего. Делай.

— Делай. Тут если делать, то форменную резню учинять.

Диабет. Заживет — не заживет. Срастутся ткани или нет?

Нельзя не убирать, если можно убрать.

Диабет — рак. Можно. Опасно. Как быть?

— Позовите шефа.

Без него испугался. Перестраховщик. Да поди же ты решишь! Умрет — скажут: «За чем делал. Превысил показания. Не оценил противопоказаний. Хирургическое хулиганство. Лихачество. Перестраховщик. Все равно я ж не скажу: «А мне шеф велел».

— Ну чего тебе?

Любит он строить из себя рубаху неотесанного. Эдакий мужичишка. Выдвиженец от сохи к скальпелю. Кудеяр-богатырь. А сам интеллигент, врач в третьем поколении. «Да я его со света сживу, удушю...» — а сам, кроме своих ближайших помощников, то есть меня и еще одного врача, никого обругать не может. Может, он и прав, когда говорит, что хирургу, в конечном счете, лучше всегда винить себя, а не искать объективные причины. «В себе ищи вину, — говорит он, — это окупится». Может, и так, но когда тебя ругают, все-таки лучше вспомнить объективные причины.

Рассказываю. Показываю.

— Ну и что? Делай, если можешь. Не оставлять же ей это.

А теперь пойдет в кабинет и будет думать: правильно сказал или нет. Но виду не покажет. Он никогда не сомневается. И больные, и мы, врачи, ему верим за то.

Ну что ж — помогай нам бог! Нам? Нам.

Под каждым зажимом перевязываю ниткой. Разрез секунда, полсекунды. Вязать — три-пять секунд.

Отделили толстую кишку. Теперь желудок.

А теперь шить, шить, шить.

Разрез — секунда. Шить — пять-семь минут.

В операционной ужасный шум. Что они шумят? Когда операция обычна, типична, никакой шум не беспокоит. А когда все на натянутом нерве... Говорят, у Петровского в новом институте музыка в операционной играет. Когда операция идет нормально — все довольно. Чуть что не ладится — «Выключите!..»

Так и я сейчас. Почему шумят? Нельзя ли потише?

А потише нельзя.

Слышу дискуссию.

— А холецистит старый.

— Да, бабке за шестьдесят. Отказывается от операции она.

— Молодец он, ваш холецистит, что отказывается. А то столы все заняты. Прободная язва поступила. Негде оперировать. Холецистит может и подождать, а язва нет.

— А язва у вас какая? Молодая? Старая?

— Молодая. Парень. Двадцать девять лет.  
— Тяжелая?  
— Не знаю, как в животе. А так — обычная.  
— Кто лечить ее собрался?  
— Шеф решил руку правую потешить.

Шеф уже моется. Мне видно. Плещет в тазиках руками.

Лезут в голову какие-то дурацкие мысли:

«На операциях руки небрезгливые. И в гною. И в кишках. И в перчатках и без перчаток. А вот курицу взять руками за столом — противно».

Лезут в уши обсуждения и дебаты. Я стараюсь не слушать, но слова долетают. Два стола для одной операционной много. Один стол на один зал. Я не хочу отвлекаться!

У меня уже весь желудок выделен.

Анализ: сахара стало меньше нормы. Вот те фокус!

Давление, пульс — все в порядке. Впрочем, не мое дело. Пусть анестезиологи заботятся.

Самое тяжелое, сложное — сшиваю пищевод с кишкой. Швов двадцать-тридцать.

Я не хочу отвлекаться.

Между мной и вторым столам опустился ватный занавес. Звуки, доносящиеся оттуда, приняли лишь осязаемую, но абстрактную форму воздушных колебаний. Смысл их пропал.

Я шью пищевод!

Ну вот. Теперь бы передохнуть. Надо бы каждый час операции кофе нам давать. А уже два часа прошло. Подвели бы трубочки ко рту. Пососал... и дальше. Мы ведь тоже космонавты. Да хоть бы после операции кофейку. Нет таких правил.

На том столе пронесся шелест облегчения. Ведь возможность ляпа — она всегда есть.

На том столе действительно язва. Резекцию желудка делают. Вообще-то всякие фокусы бывают. Казалось бы, диагноз абсолютно ясен. А в живот влезешь... а там ничего. Ошибка диагностики, или, как говорят у нас, «козья морда».

Экзюпери писал, что литература только тогда литература, когда основана на реальном столкновении с жизнью. А хирургия тем более. А когда нереальный конфликт — имеем «козью морду». На душе тогда муторно и заплевано. При чем тут литература? А, просто сегодня читал. Как во сне. Вся жизнь последних часов и дней трансформируется во сне. Так и на операции. Чего только не всплывет. Хорошее не всплывет. Дешевый звон.

Шьем кишки. А они перистальтируют, двигаются.

Хорошая рифма: перистальтика — перестаньте-ка. Не перестану. Еще надо сшить тонкие кишки. А потом толстые кишки. Теперь осталось только шить. Резать нечего.

Анестезиологи там чего-то зашебурились. Что у них там? Впрочем, это не моя забота. Их дело.

Сахар вроде больше не брали. Может, давление упало. Кровь переливают. Пусть покрутятся. У меня своих дел хватает.

— Ну как она там?

— Все в порядке. Делай спокойно.

И опять я шью, шью, шью.

Вообще-то надо бы все автоматами шить. И надежно. И всякий сможет. Не надо виртуозничать, чтобы сшить. Автоматов этих еще мало, но они наступают. А мне и хочется и не хочется. Ведь я умею шить: а так трудно этому было научиться. Фотография точнее живописи. Однако художники все-таки рисуют. И все же мы перейдем на автоматы. Кому нужны виртуозы. Нужно хорошо оперировать. Швы должны держаться. Кто б ни шил.

Говорят, символ хирурга — скальпель. Ерунда. Иголлка с ниткой — сегодня. Сшивающий аппарат — завтра.

Кишки сшил. Все в порядке.

Вытер живот изнутри. Или, как пишут в истории болезни, — брюшная полость осушена.



Можно зашивать живот.

Все!

Кончено!

Лариса Петровна молодец! Хорошо перенесла операцию!

Сигарета хорошо удерживается во рту и плохо пальцами.

А кончена всего лишь операция.

Вот как теперь?! Сбалансируем мы ее сахар? Даже если компенсация диабета останется, ткани все равно могут не срастаться на этом сахарном фоне.

Будем балансировать: инсулин — глюкоза, глюкоза — инсулин; кровь — моча, моча — кровь.

Опять сидим с анестезиологом и думаем, а часто гадаем, что сейчас дать больше — глюкозы или инсулина?

Опять берем анализы, анализы. Так и идет. Анализ крови: ух-ты! Надо глюкозы. Анализ мочи: ого! Надо инсулин.

Сидим, решаем, ждем, гадаем, ждем.

На следующий день:

— Лариса Петровна, как себя чувствуете?

— Плохо. Живот болит.

— Как же не болеть ему. Ведь резаный.

Хорошо поговорил. Вразумительно так. Успокоил.

Глупые вопросы мы задаем часто. А что делать? Спросить-то надо.

Дома у нас длинный пустой коридор. И много дверей выходит в него. И телефонный аппарат. Дверь, что напротив телефона, обита чем-то фундаментальным. Разговоры мешают. Чужие разговоры всегда мешают. Все соседи спокойные, положительные, тихие. Спать ложатся рано.

Сейчас у меня живет приятель. После десяти часов мы разговариваем приглушенно-притушенными голосами. Ходим по коридору осторожно, мягко переступая ногами, словно леопарды. Если нам звонят после десяти, у моей жены предынфарктное состояние. Она долго говорит мне про хамство и объясняет сущность беспардонности. А недавно в дверях нашел записку: «Граждане! Во избежание неприятностей просьба в ночное время громких разговоров не вести и после одиннадцати-двенадцати часов стульями не шаркать. Ведь кругом все спят. Надо считаться». И мы считаемся. После десяти в квартире мертво. А в нашей комнате шепот.

...И вот вам! 0 часов 30 минут.

Трезвон! Телефон!

Она!

— Да!

— Хорошо, что я на тебя напала. Понимаешь, у нее вечером развился жуткий парез кишечника. Живот вздулся. Рвота. Я как раз вечером звонила, мне об этом рассказали, ну я и притащилась сюда. — Это анестезиолог. — Я думала, диабет заиграл. Но это ваши фокусы, хирургические.

— Как сейчас?

— Сейчас все налаживается. Не волнуйся и не приезжай. Можешь смело не приезжать. Но завтра воскресенье. Ты с утра будь здесь. Сам посмотри. Так спокойнее.

— Завтра-то я буду обязательно. А вот сейчас? Точно не надо ехать?

— Нет. Сейчас все хорошо. Я просто хотела рассказать все. А дома у меня телефона нет. Будь здоров.

— Большое спасибо, что позвонила. До свидания.

Дома телефона нет. Какой абсурд. Врач без телефона! Сейчас мне часто звонят. Приходится в больницу ехать. И даже оперировать. Надо дома строить с готовыми телефонами. Город-то стал невероятно большим.

Утром.

— Лариса Петровна, как чувствуете себя?

— Сегодня лучше. А вчера живот надулся, как барабан. Думала, лопнет. Вот во рту только сохнет очень. Наверное, опять мой сахар.

— Ничего, с этим-то мы сейчас справимся.

В утреннем анализе крови и мочи сахара действительно много. «На одну единицу инсулина нужно четыре грамма сухого вещества глюкозы». Мы так и давали. И все-таки в моче ацетон: опять декомпенсация. Значит, больше инсулина. Но и глюкозы больше. Снова расчет. Новый расчет.

А живот мягкий. В животе пока все благополучно. Язык сухой, но это из-за сахара, а не из-за живота.

Перевязка. Все хорошо. Ну что ж, можно и домой тогда.

На следующий день мы опять сидим с анестезиологом. Опять считаем. К вечеру ацетон исчез. Сахар снизился до обычного уровня.

— Пожалуй, можно сохранить вчерашний инсулиновый режим?

— Лучше дождемся вечерних анализов. А пока пусть по-прежнему.

— У нее к ночи сахар в моче уменьшается. Так и до операции было. Может, вечернюю норму инсулина уменьшим?

— Опасно. Меньше? Нет, страшновато.

— Ну, посидим до вечера, тогда и решим.

— Лариса Петровна! Как жизнь?

— Ничего. Лучшеее все время. Вот если б попить разрешили. Больше б ничего и не надо.

Смотрит на меня так жалостливо. А может, пожалею и разрешу? Ох как хочется разрешить попить.

— Нет, нет. Ни в коем случае. Пока рано.

Вдруг стало подниматься давление. Наверное, для нее слишком много глюкозы в вене. Не выдерживает. Хорошо бы поменьше. Но тогда и инсулин надо уменьшить.

Вечерние анализы позволили это сделать.

А утренние сказали, что сделали мы это зря.

Новые расчеты. Опять мы сидим с анестезиологом. Ее обязанности давно уже кончились. Но мы опять сидим с ней, думаем, считаем, да и гадаем.

Снова на помощь призваны шефы.

Пришел самый главный шеф. Он — типичный книжный интеллигент. Очень мягок и мыслями гибок. Говорит тихо — иногда даже не слышно что. Мелочи, детали ведения больного, конкретного больного — от них он абстрагируется. Он думает глубже, шире, проблемно. Главный шеф, наверно, так и должен. Он сразу стал предлагать и рассуждать, как изменить местный сахарный обмен в заживающих тканях. Несколько идей, щедро сброшенных с богатого стола. Интересно. Подумать надо. По дороге шеф, правда, забыл о некоторых препятствующих в данном случае его идее деталях. Но в принципе этим надо заняться. Шеф прав. А сам я не додумался. Впрочем, я думал о больной.

Второй шеф — тот конкретно говорит, что и когда надо этой больной сделать. Попутно развил идеи главного.

Ну, а мы снова считаем и считаем, вводим, вливаем, давление мерим и анализы, анализы...

...К седьмому дню полностью уже безыдейные, выжатые и отжатые, почти ползающие, но... компенсации добились стойкой!

Ацетона нет! Давление стабильно! Сахар на одном уровне!

Новая забота. Столько вводили жидкостей, что появились отеки. В данном случае жидкость — это глюкоза. Без жидкости нельзя.

— Начнем поить ее, что ли? Семь дней. Будет пить сладкий чай.

— Если б можно, это был бы великолепный выход. Пошли попробуем. Господи благослови.

Даже если она спит, то, услышав наши шаги, моментально раскрывает глаза.

Язык хороший. Живот мягкий.

— Лариса Петровна, живот не болит?

— Нет. Совсем не болит.

— Ну, тогда можно попить. Хотите?

— Давно уже жду. Кажется, выпью и пойду сразу.

Лариса Петровна при нас пьет несколько глотков.

— Ничего не болит в животе?

— Нет. Все хорошо. А приятно-то как.

Глаза ее блаженно маслянятся, и вся она расслаблена и довольна.

Гляжу я на нашего анестезиолога. Лицо усталое и даже какое-то изможденное. Это за последнюю неделю. Сегодня она уходит, не дожидаясь ночи. Это стало для нее необычным. Сейчас она идет на курсы английского языка. Потом в Дом кино на премьеру. А совсем вечером в какой-то ресторан. Передых. Такая передышка не только приятна, но просто необходима ей.

Восьмой день. Отеки стали уменьшаться. С сахаром все хорошо. Лариса Петровна ела бульон, сок, жидкую кашу, пила чай.

— Еще мне денек, и я буду здорова совсем. Я чувствую, как мне становится лучше.

И мы чувствуем. Действительно, все идет на лад. Мы приходим часто просто так. Отдохнуть. Придешь, посмотришь, пощупаешь — и легче становится. Снимается усталость от других больных, от студентов, просто от различных невзгод. Все остается за порогом ее палаты. Она лежит одна в палате. Вторая кровать пустая. Посидишь, отойдешь к двери — издали оценивающе посмотришь. Посмотришь анализы и... пойдешь работать дальше. И шефам легко докладывать: «Все хорошо». И все. И главный шеф, который как бог, и непосредственный мой шеф, который как папа римский, — оба довольны.

Девятый день прошел так же хорошо.

Начались десятые сутки. Я гордо собрал всех близких своих на работе, и небольшой, но компактной массой все двинулись. Иду хвалиться.

Смотрели. Щупали. Все радовались.

А Лариса Петровна охотно со всеми разговаривала. Говорила, как она себя чувствует.

— Когда ходить можно будет, доктор?

Я сегодня дежурю. Дежурить-то легко сейчас. Когда устану ночью, да только вряд ли устану, зайду к ней.

Больные поступают. Больные! Поступайте! Много поступайте! Сегодня я со всеми справлюсь!

...Быстрее! В изолятор!!

Это кричат на лестнице. Бегу. На ходу:

— В чем дело?

— Кажется, умерла ваша больная.

— ?!

Какой вздор. Я же только оттуда. С чего бы ей плохо было? Нет. Не может быть.

Бегу.

Меня увидели анестезиологи. Сразу побежали следом. По отделению нельзя бегать. Редко бегаем.

Бегу.

Лежит спокойная и совсем мертвая. И ясно, что оживлять уже нельзя. Уже не Лариса Петровна.

Это или инфаркт сердца или какая-нибудь артерия важная закупорилась.

Совсем мертвая. Внезапная смерть. Я тоже так могу умереть. Ничего нельзя сделать.

— Как же так случилось, Лариса Петровна?

Выхожу из палаты сразу очень усталый. Выжатый.

Мысли обрывочны. Ноги распухшие. Неужели сегодня еще дежурить?

Огонек вокруг сигареты круги дает. Никак не встретится огонь с сигаретой. Наконец дым пошел в глотку.

В кабинете у шефа мягкое кресло. То ли сижу, то ли лежу. Передо мной окно замерзшее. Фонарь с улицы сверкает отдельно в каждой льдинке на стекле и на черном фоне ночи. Передо мной какая-то новая, чужая галактика. И я уношусь в нее. Мысли кувыркаются. Дежурство.... Больные... Дома строят... А вдруг война... Все равно же строить надо.

Что-то я распустился. Надо работать. Работа есть работа. Впереди дежурство. Пойду пока напишу посмертный эпикриз. Закончу ее историю болезни.

«Поступила в отделение с диагнозом — рак желудка. После компенсации имевшегося у больной диабета, 12. XII произведена операция. На операции обнаружен рак, занимающий весь желудок и прорастающий в толстую кишку и ножку селезенки. Произведено тотальное удаление желудка, селезенки и резекция поперечной толстой кишки. В послеоперационном периоде со стороны области операции течение удовлетворительное. Со стороны диабета состояние относительно тяжелое, лабильное. К седьмому дню диабет был компенсирован, углеводный обмен стабилизировался. Больная стала принимать через рот жидкую пищу. На десятые сутки на фоне благополучного лечения и удовлетворительного состояния наступила внезапная смерть, по-видимому, от эмболии легочной артерии.

Заключительный диагноз: рак желудка с прорастанием в ножку селезенки и толстую кишку. Сахарный диабет. Эмболия легочной артерии». И подпись. Моя.

Вообще-то это был успех. А смерть — случайность, которой не должно быть.

## МЕДИЦИНСКИЙ МОЛОТОЧЕК НА СТОЛЕ

### А.П. Чехов в кругу врачей

#### ЧАСТЬ 1

#### «...Москва меня признает за доктора»

«...Если бы я был около князя Андрея, то я бы его вылечил», – заметил Чехов по поводу смерти героя «Войны и мира». А в иронической полемике с поэтом Владимиром Гиларовским вопрошал: «Ты думаешь, я плохой доктор? Полицейская Москва меня признает за доктора, а не за писателя... Во «Всей Москве» напечатано: «Чехов Антон Павлович. Малая Дмитровка. Дом Пешкова. Практикующий врач».

Легко представить Чехова в кругу литераторов, в кругу актеров, в семейном кругу: об этом написана масса мемуаров, и написано талантливо, ярко, образно. Чего стоят имена: Куприн, Бунин, Горький, Станиславский, сестра Мария Павловна, жена Ольга Леонардовна...

По подсчетам исследователей, в круг общения А.П. Чехова входило более сотни медиков: с некоторыми дружил со студенческой поры, с некоторыми работал в больницах или во время кампании против холеры, со многими врачами состоял в переписке. Их воспоминания не так яркие, иногда отрывочны, иногда написаны языком, больше смахивающим на статистический отчет. Чувствуется, что писали люди, далекие от литературы. Потому и образ Чехова-врача намного бледнее образа Чехова-литератора, хотя его медицинская биография по драматизму и событийности никак не уступает биографии творческой. Отмечая в январе 1904 года 25-летие литературной работы, Чехов мог бы заодно отметить и другую славную дату – 20-летие выхода в жизнь в звании «уездного лекаря». 1884 год – год окончания медицинского факультета Московского университета. Если внимательно вчитаться в строки его биографии, то обнаружится, что Чехов, как ни странно, прошел почти все ступени типичной карьеры русского врача. На студенческой практике был в сельской Чикинской больнице. Подменяя коллегу, заведовал Звенигородской больницей в Подмосковье. Получил навыки судебно-медицинской работы – в молодости приходилось вскрывать тела погибших прямо на месте преступления – где-нибудь в поле, под зеленью молодого дуба... В Москве занимался частной врачебной практикой – на дверях «дома-комода» в Садово-Кудрине висела табличка: «Доктор А.П.Чеховъ». В годы наибольшего творческого подъема, в Мелихове, слыл за образцового земского врача. На холере возглавлял участок в 25 деревень, создав медпункты и ведя огромную лечебно-профилактическую работу, которая «съедала» все наличное время, а иногда доводила до отчаяния: «...Душа моя утомлена. Не принадлежать себе, думать только о поносах, вздрагивать по ночам от собачьего лая и стука в ворота (не за мной ли приехали?), ездить на отвратительных лошадях по неведомым дорогам и читать только про холеру и ждать только холеры...» Тем не менее через пару месяцев чувство удовлетворения от полнокровной общественной и врачебной работы покрывало минуты малодушия: «Летом трудно жилось, но теперь мне кажется, что ни одно лето я не проводил так хорошо».

Трудно перечислить сферы медицины, где бы ни остался чеховский след. Он сыграл ведущую роль в сохранении лучшего медицинского издания в России – журнала «Хирургия», на страницах которого увидело свет более полутора тысяч оригинальных статей. В Ялте вошел в число организаторов учреждений в помощь туберкулезным больным. И даже незадолго перед смертью мечтал поехать в Манчжурию военным врачом...

Не остался Чехов в стороне от медицинской науки. Еще в студенчестве задумал оригинальную работу об истории полового авторитета. По окончании факультета начал кандидатскую диссертацию «Врачебное дело в России». Простудировал объемистые летописные своды и сборники фольклорной мудрости, собирая по крупицам сведения о народном здравии во времена Владимира – Красное солнышко и Иоанна Грозного.

По свидетельству однокашника Чехова, знаменитого профессора-невропатолога Григория Ивановича Россолимо, Антону Павловичу не чужды были мысли о преподавательской деятельности. Ученая степень, без которой невозможно получить кафедру, казалась ему «желательной». Чехову хотелось прочитать на медфаке курс, основанный на идеях его учителя профессора Г.А.Захарьина (трехтомное издание лекций которого бережно сохранял в своей библиотеке). Захарьин учил, что нет болезней «вообще» – есть конкретные больные, которых можно успешно вылечить при учете индивидуальных особенностей. Россолимо запомнил характерную фразу Антона Павловича: дескать, он прочитает эти лекции, «как бы сидя в шкуре разбираемого больного». Был однажды разговор и о том, как донести до студентов личностные переживания больного. Чехов размышлял так: «Я страдаю. например, катаром кишок и прекрасно понимаю, что испытывает такой больной, а это редко врачу бывает понятно. Если бы я был преподавателем, то я бы старался глубже вовлекать свою аудиторию в область субъективных ощущений пациента... Это студентам могло бы действительно пойти на пользу». Чеховская идея профессору Россолимо понравилась. В качестве докторской диссертации, по общему мнению, могла бы пригодиться книга «Остров Сахалин» – безупречное с точки зрения медицинской статистики описание условий жизни целого каторжного острова. Россолимо подошел с этой идеей к декану медфака профессору Клейну. Тот сделал большие глаза... Чехов посмеялся над неудачный «походом» в науку и целиком погрузился в литературу.

## ЧАСТЬ 2

### «Дорогой, многоуважаемый шкаф»

Признавая в Чехове писательскую гениальность, немногие медицинские светила были готовы признать в нем неординарного врача. Писали, что Чехов по необходимости поменял профессию, поскольку медицина ему «не задалась». Даже друг его Россолимо как бы вскользь замечал, что Чехов приотстал от науки и черпал сведения из популярных изданий. Доктор И.Н. Альтшуллер, лечащий врач писателя, также утверждал, что в последние 10-15 лет Чехов научной медициной не занимался. В Ялте выписывал еженедельник «Русский врач», где прочитывал обыкновенно хронику и «заметки из практики». Любил поразить: – «Вы читали в последнем номере о новом средстве от геморроя? – Нет, не читал. – Вот, сударь, и растеряете практику. А я вот прочитал и уже Кондакова вылечил» (Н.П.Кондаков – академик, специалист по византийскому искусству. Имел в Ялте собственный дом и часто встречался с Чеховым). Альтшуллеру, очевидно, представлялось, что медицина в жизни Чехова стала чем-то вроде приятного воспоминания о «боевой молодости», а то и просто чудачеством. На столе у Чехова постоянно лежали молоточек, трубочка и медицинский календарь Риккерта. Практикой он не занимался, изредка пользовал домашних и прислугу. Была слабость: любил давать советы и выписывать рецепты. Поэтому Альтшуллер обычно лекарства не выписывал. Под диктовку лечащего врача Чехов передавал заказ по телефону в аптеку, как-то по особенному отчеканивал латинские названия, в конце непременно прибавляя: доктор Чехов...Такой взгляд на пациента слегка «свысока» – вообще свойственен докторам, хотя они этого и не замечают. Но в случае с «доктором Чеховым» это не очень верно.

Спору нет – газет Антон Павлович читал много, в том числе и медицинских. Но любопытно было бы заглянуть в книжный шкаф Чехова, расположенный в кабинете ялтинской Белой дачи писателя. Известно, что свою огромную, в несколько тысяч томов библиотеку Чехов передал в дар Таганрогу, – своего рода благодарность за стипендию, которую родной город выделил Антону Чехову для учебы на врача. Через руки Чехова прошла масса книжных изданий: много книг подарено авторами, много присылали из издательств и редакций. Антон Павлович скрупулезно составлял на них библиографические карточки – их и сейчас в музее хранится более 700 – и отправлял в Таганрог. В Ялте же сохранялось

то, что было либо дорого сердцу, либо необходимо – общий список книг и периодических изданий составлял чуть более шести сотен.

Наиболее ценное хранилось в кабинете, а словари и энциклопедические справочники стояли во встроенном шкафу в коридоре, в свободном, так сказать, доступе. Тут и донныне стоит трехтомный «Энциклопедический медицинский словарь» А. Виларе, вышедший в 1892 году. Словарь был приобретен Чеховым в мелиховские годы, но по характеру выделенных слов видно, что многие словарные статьи вычитывались и позднее, в Ялте. Чехов аккуратно отчеркивал нужный термин на полях красным и синим карандашом. Возможно, это связано с собственными «болячками» Антона Павловича. К примеру, он выделил латинский термин «Bronchiectasia», который означает расширение бронхов, потерю эластичности. Ясно, что легочный процесс был в сфере постоянного внимания больного писателя. Одна из посетительниц заметила, что Чехов сидит над какой-то картой – это оказалось схемой его собственных легких, на которой Чехов отмечал все новые пораженные области... Выделен в словаре и «агарицин» – средство от обильного потоотделения, которым страдают легочные больные.

У Чехова было сложная аномалия зрения – что-то вроде астигматизма. Отсюда понятен интерес к терминам типа «аккомодация», «ambliopia», которые характеризуют понижение остроты зрения. По свидетельству севастопольского писателя Б. Лазаревского, частого посетителя «Белой дачи», они оба с Чеховым страдали от боязни открытого пространства. Не случайно, стало быть, в словаре выделено: «Agoraphobia»... Возможно, не только материальные затруднения были причиной того, что комнаты ялтинской «Белой дачи» писателя оказались такими маленькими и затененными: они создавали хозяину дома психологический комфорт. В январе 1900 года у Чехова в Ялте гостил знаменитый художник И. Левитан. Чехов нашел у него серьезное сердечное заболевание – расширение аорты. Эта статья в словаре также тщательно проштудирована... Короче, медицинская энциклопедия была у Чехова всегда под рукой.

Наиболее ценные для писателя издания хранились в кабинете, в небольшом книжном шкафу у входа. Там всего пять полок. На верхней стоят томики Пушкина, Толстого, Тургенева – наиболее авторитетных мастеров слова, а также псалтырь и Новый завет. Ниже – сочинения Г. Успенского, Некрасова, Короленко, Гоголя, а также переводы чеховской прозы и драматургии на иностранные языки. Начиная с третьей полки, попадаются медицинские издания; четвертая и пятая полки почти целиком посвящены врачебному делу. Основное место занимают учебники, атласы, монографии студенческой поры: учебник по детским болезням, общая и частная хирургия, ларингоскопия, медицинская полиция, практическая офтальмология, лечение сифилиса, руководство к частной патологии...

Любопытно подержать в руках книги, над которыми долгими вечерами корпел студент Московского Императорского университета Антон Чехов. Вот «Руководство фармакологии» проф. Боннского университета Бинца: книга прекрасно переплетена, на корешке тисненая золотом чеховская анаграмма: «А. Ч.» Вот учебник проф. Синицина «Болезни мочеполювых органов» – литографическое издание лекций с многочисленными пометами добросовестного студента. На «Руководстве к анатомии человека» проф. Гиртля – также следы чеховских штудий. На последней странице Антон записывал столбиком, сколько анатомических таблиц удалось вы зубрить за день: «17 октября – 8 листов, 18 октября – 20 листов, 19 октября – 37 листов, 20 октября – 57 листов». Это называется: аппетит приходит во время еды!

По датам издания видно, что медицинская литература систематически приобреталась и после окончания университета. «Учебник судебной медицины» Э. Хофмана появился в конце 80-х годов. «Домашняя медицина» В.Флоренского, выдержавшая четыре издания и получившая премию имени Петра Великого, попала в чеховскую библиотеку в начале 1890-х годов. Книга эта получила большой общественный резонанс, поскольку она включала в борьбу за народное здоровье сельскую интеллигенцию – помещиков, учителей,

землемеров, лесников и других земских деятелей. На страницах 65-67 приводится примерный состав домашней аптечки, без которой помощь крестьянам проблематична. Чехов отчеркнул более 40 названий лекарств и препаратов. Среди них много традиционных народных средств – трав и корней: шалфей, листья толокнянки, корень валерианы, перечная мята, корень солодки... Пометы сделаны Чеховым в мелиховские годы, когда Чехов еще не догадывался о собственной легочной болезни, а «креозот», который использовался как антисептическое средство при туберкулезе, даже не подчеркнут...

Позднее медицинская библиотека Чехова пополнилась авторитетным «Курсом психиатрии» С.С. Корсакова (М., 1893), «Кратким курсом горловых, носовых и ушных болезней» А.Л. Ярошевского (СПб., 1896). Последняя книга была издана небрежно, и текст пестрит от чеховской правки опечаток. В 1896 году вышло «Руководство к частной терапии» А. Робена – оно также привлекло внимание хозяина мелиховской усадьбы. Другими словами, предположения о некоем «отставании» Чехова от современной науки некорректно. Правда, в последние ялтинские годы писатель увлекся благотворительной деятельностью, и библиотека пополнялась в основном за счет изданий по медстатистике, за счет уставов и отчетов обществ борьбы с туберкулезом и т.п. Но это не меняет общей картины, тем более, специальная литература помогала Чехову в его литературных делах. Работая над повестью «Черный монах» (сам автор называл ее «historia morbi»), Антон Павлович приобрел уже упомянутый «Курс психиатрии», по которому сверял симптомы душевной болезни магистера Коврина, возникшей на интеллектуальной почве. Больное воображение Коврина породило образ черного монаха, нашептывавшего мысли о гениальности...

Судя по всему, Чехов в это время активно общался с коллегами, работающими в лучшей по тем временам провинциальной психиатрической лечебнице доктора В. Яковенко: на это намекает шуточное «Меню» дружеского пикника врачей, имевшего место в мае 1894 года. Меню оказалось вложенным в книгу Корсакова. Пожалуй, только медики способны оценить юмор этого списка блюд, который публикуется здесь впервые:

**« МЕНЮ 4-го мая 1894 года, с. Покровское-Мещерское.**

1. **ПРОДРОМА** с соусом из ощущений голода и жажды. Салат из вздоров.
2. **ИНКУБАЦИЯ.** Меланхолическая рябиновка, маниакальная поповка, с десертом из разнообразных жертв борьбы за существование.
3. **ЗЕЛЕННЫЕ ЩИ** на алкогольной почве, но без признаков вырождения, вместо которых – ватрушки и пирожки с начинкой из подкорковых центров.
4. **ПАРАНОИЧЕСКИЙ РОСТБИФ-МОНСТР**, с бредом величия. Приправа: горький бред преследования. Рекомендуются запивать, легким вином и пивом. **СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫЙ БРЕД** с соусом из заздравных тостов.
5. **МОРОЖЕНОЕ** в качестве пузыря со льдом под язык.
6. **ОБЩАЯ СПУТАННОСТЬ** под влиянием алкогольных галлюцинаций.
7. **ЧАЙ ИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ** с патентованными лепешками Абрикосова.
8. **ПОДОЗРЕНИЕ** на прогрессивный паралич: расстройство координации движений.
9. **БЛАГОДЕТЕЛЬНЫЙ СОН** с внезапным выздоровлением».

Необыкновенный обед должен сопровождаться музыкой из опер и «гармоническим сочетанием звона тарелок, вилок, ножей и кликов дружеских: еще налей!» Эта остроумная шутка чем-то напоминает юмор самого Антона Павловича. Помните: купцы – персонажи повести «Три года» – заказывают в трактире «порцию главного мастера клеветы и злословия с картофельным пюре», имея в виду, конечно же, язык.



### ЧАСТЬ 3 «Талант человеческий»

Чехов не раз признавался, что его литературная работа во многом направлялась знаниями, которые он вынес из медицины. Вчитываясь в его произведения, вдруг осознаешь, что сама философия жизни и ее стержень – представления о прогрессе человечества, о движении его от тьмы к свету – у Чехова прямо вытекают из медицинского знания о человеке. Правда, писатель никогда не пытался выразить свои философские или социологические воззрения в научной или публицистической u1092 форме. Но сам факт настойчивого обращения его героев к размышлениям о путях улучшения жизни показателен.

Складывается даже своего рода художественная концепция прогресса, мимо которой дотошные исследователи почему-то прошли. Прогресс, как известно, не раз пытались «вывести» из начал, которые по отношению к самому человеку являлись вторичными, производными. Чехов не соглашался с идеей прогресса как нравственного самоусовершенствования или возврата к евангельским нормам бытия. Споря с Толстым, он замечал, что в паре и электричестве человеколюбия больше, чем в рисовых котлетках. Предполагалось также, что в истоке движения к светлому будущему лежат наука и техника. Сейчас, через сто лет после Чехова, мы уже знаем, что наука и техника скорее всего увеличивают сумму зла в мире. Об этом же размышлял и персонаж чеховской повести «Палата № 6» доктор Рагин. Как врач, оценивая прежде всего достижения медицинской науки, он отмечает «страшный прогресс»: тут и антисептика, открытия Пастера и Коха, гигиена и статистика! Однако он не может не признать, что «сущность дела нисколько не изменилась»: в мире царит зло... А прогрессом, очевидно, можно назвать уменьшение зла во всех его проявлениях.

Герои чеховских произведений связывают мысли о преодолении зла с особым типом личности, носителем особого «таланта человеческого». Чем он отличается от известных художественных, сценических, писательских талантов? В рассказе «Припадок», посвященном трагически погибшему писателю Всеволоду Гаршину, таким «талантом человеческим» является студент Васильев. «Он обладает тонким, великолепным ч у т ь е м к б о л и в о о б щ е (разрядка здесь и далее моя – Г.Ш.). Как хороший актер отражает в себе чужие движения и голос, так Васильев умеет отражать в своей душе чужую боль. Увидев слезы, он плачет; около больного он сам становится больным и стонет; если видит насилие, то ему кажется, что насилие совершается u1085 над ним. Чужая боль раздражает его, возбуждает, приводит в состояние экстаза». В сравнении с душевной болью и сильная зубная боль, и плеврит и невралгия – «было ничтожно».

Истоки чувствительности «таланта человеческого» в психофизических свойствах человека, в его природе. На эту тему высказывается герой другого значительного произведения Чехова – обитатель шестой палаты Громов: «Бог создал меня из теплой крови и нервов <...> А органическая ткань должна реагировать на всякое раздражение, и я реагирую! На боль я отвечаю криком и слезами, на подлость – негодованием, на мерзость – отвращением Это, собственно, и называется жизнью. Чем ниже организм, тем он менее чувствителен и тем слабее отвечает на раздражение, и чем выше, тем восприимчивее и энергичнее реагирует на действительность».

Наиболее известный пример личности с оголенными нервами – Иисус Христос. «Христос отвечал на действительность тем, что плакал, улыбался, печалился, гневался, даже тосковал; он не с улыбкой шел навстречу страданиям и не презирал смерти, а молился в саду Гефсиманском, чтобы его миновала чаша сия »... Жизнь порождает все большее число людей, остро реагирующих на чужую боль, и потому чеховский герой делает вывод: «Прогрессирует <...> от начала века до сегодня чуткость к боли, способность отвечать на раздражение».

Если бы не постоянное обращение Чехова к теме «таланта человеческого» на протя-

жении 80-90-х и даже 900-х годов, можно подумать, что приведенные выше размышления обитателя сумасшедшего дома играют частную роль и характеризуют только его болезненное воображение. За этим, однако, стоит интерес самого автора. В 1894 году, находясь в Ялте, Чехов пишет пасхальный рассказ «Студент», который сам называл своим любимым произведением. Тут снова вспоминаются события двухтысячелетней давности: предательство Иуды, поругание Христа во дворе синедриона, огромная душевная боль любимого ученика, будущего апостола христовой веры Петра.

Студент духовной академии Великопольский рассказывает о евангельских событиях простым крестьянкам, случайным собеседницам. Женщины темны, неграмотны, забиты беспросветной и неустроенной жизнью, – но они чувствуют боль, которую пережили герои христианской мистерии двадцать веков назад – они п л а ч у т... Студент осознает: правда и красота никогда не покидали этот мир. а в подтексте – не менее важная мысль самого автора: способность чувствовать чужую боль как свою собственную никогда не умирала в народе, и в этом залог прекрасного будущего, свободного от боли и порождающего ее зла...

Развивая тему прогресса, припомним, как герои Чехова мечтают о будущем: прекрасная жизнь наступит только через 200-300 лет! Если учесть, что «прогрессирует от века», то есть совершенствуется и обогащается душевная чувствительность, то можно представить, сколько пройдет поколений, пока «talанты человеческие» составят осязаемое большинство населения планеты и сумма зла, царящего в мире, сойдет на нет... Пока же носителям редкостного таланта уготована известная судьба: они плачут, остро реагируя на безобразия; вместо того, чтобы безобразия искоренить, чувствительного человека пичкают лекарствами, сажают в желтый дом...

Показательной сценой кончается и рассказ «Припадок». Врача не касается «чувствительность души» – он исследует чувствительность кожи и коленные рефлексы... Выйдя от доктора, Васильев держал в руках два рецепта: на одном был бромистый калий, на другом морфий... «Все это он принимал и раньше!» Таким образом, можно констатировать: прогресс в понимании Чехова – суть Человек. Истинный прогресс – это прогресс души, ее способности отвечать на боль.

Чехов выстраивает целую галерею «talантов человеческих» – начиная от библейских Иисуса и Петра, реального современника Гаршина – и кончая литературными образами студента Васильева, русских крестьянок. Имеет ли все это отношение к самому Чехову? Еще в юности, излагая брату «программу» воспитанного человека, Антон Павлович назвал как важнейшее свойство воспитанных людей: «они болеют душой»... это свойство, судя по наблюдениям современников, было присуще самому Чехову. А.И. Куприн описал поразивший многих случай в ялтинском порту. Чехов приплыл на пароходе, и знакомый носильщик-татарин бросился по сходням за багажом. Помощник капитана с размаху ударил его по лицу. – Ты думаешь, ты меня ударил? – прокричал татарин, размазывая кровь. – Ты – вот кого ударил! – указал он на Чехова. И все увидели, как страшно побледнело лицо писателя...

Об особой ментальности Чехова размышлял и Россолимо, пытаясь понять причины ухода Антона Павловича из медицины. «Должно полагать, что выбор медицинского факультета вытекает нередко у ч у т к о г о юноши из стремления разобраться в человеческих с т р а д а н и я х и что, раз подойдя к медицине, он естественно углубляется в изучение человека и жизни». Один мудрый человек заметил, что сочувствование – это свойство человека, а вот с о р а д о с т и е, то есть, способность еще и радоваться чужой радости, присуще только ангелам. Читая чеховские письма к коллегам – литераторам и врачам, частенько ловишь себя на мысли, что пером их автора водило доброе, светлое существо, обитающее там, где «небо в алмазах»...

## ЧАСТЬ 4

### Участковый попечитель Чехов

В Ялте Чехов быстро вошел в круг врачей – деятелей благотворительных организаций. Большинство из них оказалось на Южном берегу не от хорошей жизни и не в погоне за «длинным рублем». Общая судьба объединяла С. Елпатьевского, Л. Средина, П. Розанова, И. Альтшуллера и других: учеба на медицинском факультете в столице, туберкулез легких, решение переехать в Ялту, где можно и лечиться, и лечить других. Каждый побывал в той самой «шкуре больного», о которой упоминал Чехов, и стремление помочь людям, попавшим в беду, было у них не показным. В Чехове они нашли знающего и опытного организатора благотворительных акций, который вовсе не желал составить им конкуренцию как врач.

Сохранилась старинная фотография, сделанная 12 января 1900 года в квартире Л. Средина: объектив захватил Чехова в кругу коллег. Восемь бородатых мужчин в длинных пальто и каракулевых кубанках по тогдашней моде сгруппировались вокруг столика; тут и упомянутые врачи, и академик Н. Кондаков, и лесничий Г. Ярцев. Что-то неуловимо-общее читается в их облике и лицах – не только бороды или пенсне. Это как бы собирательный образ провинциального русского интеллигента, врача, обуреваемого вечными русскими вопросами: где взять денег, где достать медикаменты, как помочь больному, если у него нет денег даже на обычную аптекарскую микстуру?

Чехов сидит, строго глядя в объектив, и кажется, что его губы требовательно сжаты, а все лицо выражает решительность. О чем беседовали, для чего собрались на срединском балконе эти занятые люди? Попробуем догадаться... Лесничий Г. Ярцев недавно вернулся из длительной командировки в Сибирь и на крайний Север: он был довольно известным художником-передвижником и по заданию Географического общества написал серию картин о русской природе для Всемирной выставки. Наверное, на встрече Григорий Федорович не только живописал свои впечатления, но и договаривался о возможности проведения благотворительной выставки. Она, кстати, открылась в курзале уже в феврале и принесла Благотворительному обществу 364 рубля.

Павел Петрович Розанов, санитарный врач Ялты, готовился к участию в очередном Пироговском съезде врачей и обсуждал с коллегами вопросы, которые следует поставить в Москве: съезд как раз был посвящен проблемам санитарии в городах и разрабатывал методику санитарной статистики в России. Надо думать, он собрал с коллег по пять рублей годовых членских взносов Пироговского общества – Чехов сообщал об этом видному деятелю медицинской статистики П.И. Куркину, с которым учился на медфаке. Сам Чехов по болезни в работе Пироговских съездов не участвовал, однако был в курсе дел. Ему присылались информационные листки, один из которых сохранился в ялтинском архиве писателя. 4 февраля 1902 года «лист» информировал, что в участники съезда записалось более двух тысяч (!) врачей, что работало 23 тематических секции, на которых заслушано 110 докладов... На десятой странице Антон Павлович отчеркнул карандашом приятную для себя заметку: 11 января Московский Художественный театр давал для участников съезда бесплатный утренний спектакль – драму А.П. Чехова «Дядя Ваня». «Пьеса прошла блестяще». Театр был переполнен, в антракте труппе актеров был поднесен большой портрет Чехова с лавровым венком...

Вглядываясь в сосредоточенное лицо Чехова, я представляю себе, о чем говорил Антон Павлович со своими ялтинскими коллегами. За месяц до встречи ему принесли письмо от фельдшерицы Вдовиченко о положении дел в приказе для хроников. Надобно сказать, что Ялтинское благотворительное общество, созданное в 1869 году, содержало довольно много учреждений: детский приют, убежище для рожениц, ночлежный приют, народную столовую и чайную, приют для хронических больных (читай – туберкулезных), попечительства для бедных, для приезжих неимущих больных, содержало бесплатного врача

для бедняков. В начале века сюда добавился пансион «Яузлар», в организации которого деятельное участие принял Антон Павлович. Но не всегда количество означало качества. Еще в начале ялтинского «отшельничества» Чехов обратил внимание на непорядки в приюте для хроников. Там оказался его старый знакомый, поэт-юморист С. Елифанов. Чехов навещал его, а когда не мог, просил присмотреть за больным благотворительницу С.П. Бонье. Та нашла положение больного ужасающим: в мрачной казарменной палате, на рваном тюфяке лежал невообразимо худой человек в грязной фуфайке. От имени Чехова она справилась о здоровье, и Елифанов прохрипел: «Антон Павлович мой ангел... Я ему так благодарен... он платит за меня... не забывает... газеты мне присылает...». Софья Павловна доложила об увиденном Чехову. «Ах, как здесь необходима санатория! – Чехов быстро ходил по кабинету, сильно сжимая руки. – Надо вырвать этих несчастных из рук людей, Некоторые думают только о собственных дачах...».

Незадолго до смерти Елифанова Чехов получил от него записку: больной благодарил за 35 копеек, которые в отсутствие сына послала несчастному сердобольная матушка писателя. На листке нервным почерком Чехова приписано: «было выдано 1 р. а не 35 к.» Стало быть, было украдено даже из этого рубля...

О страшных злоупотреблениях писала и Вдовиченко, доведенная до отчаяния невозможностью добиться правды. Этот документ никогда не публиковался, поэтому постараюсь процитировать его подробнее: «...вот уже год, как открылся приют, а я не знаю ни правил, ни устава <...> есть директриса г-жа Яновская и доктор Шмидт, которые делают, что им вздумается. Является директриса раз в месяц на 1/4 часа, вручит наскоро деньги на расходы и назад, не спросивши <...> ни нужды приюта, ни больных <...> Доктор является на 5 минут, наскоро также обследует больных и уходит <...> ванна три месяца испортилась, крыша течет, сырость кругом, печи валяются».

Фельдшерица сообщала, что начались непорядки и в питании: раньше давали суп, кусок мяса на обед, чай да стакан молока на завтрак. Теперь «патроны» находят, что это много: распорядились завтрак не давать, а кормить одним супом всех поголовно. «Явился отчаянный ропот со стороны больных и в приюте просто бунт. Обратились к доктору, который разгромил на чем свет стоит больных и уехал». «Будь я одна, – пишет несчастная женщина, – я сейчас бы ушла, но у меня есть сын 16-летний больной (легочный), ради которого я приехала в Ялту...». Кончается письмо припиской: «Меня сегодня удалили из приюта самосудом, не объявили ни слова – куда мне деться, я не знаю».

Можно представить себе реакцию Чехова... В одном из писем он откровенно удивлялся «здешней бедноте». Думается, на встрече решался вопрос и о руководстве приютом. С начала 1900 года попечителем была назначена жена Ярцева, Анна Владимировна, и это значительно изменило ситуацию.

Такого рода случаи побудили ялтинских врачей общественников в конце века приступить к созданию санатория, и тут они оказались оперативнее даже Пироговского съезда, который выступил с соответствующими рекомендациями только в 1902 году. К этому времени «Яузлар» в Ялте уже работал в полную силу. В Доме-музее А.П. Чехова имеются годовые отчеты Благотворительного общества, и по ним можно судить о специфике благотворительного движения. Отчеты печатались в типографии в виде изящных брошюр, с приложением полного списка действительных членов общества. Заплатил годовой взнос – стало быть, действителен... Одна из старейших благотворительниц – княгиня Трубецкая – благотворила с 1878 года. Чехов вступил в 1898 году и, что любопытно, не фигурировал ни в «почетных членах», ни в членах правления. При выборах «должностных лиц» он неизменно отводил свою кандидатуру и оставался в скромной роли «участкового попечителя о приезжих больных». А ведь Чехов был одним из инициаторов создания пансиона «Яузлар»! Объяснить это можно, наверное, тем, что по болезни Антон Павлович не мог с головой уйти в общественную работу. Но важно и другое.

Благотворение стало модой, стало ристалищем самолюбий и престижей. Ах, Мария

Ивановна дала тысячу рублей? – Я дам две тысячи! К примеру, в приюте для хроников, уже известному нам по скандалу с фельдшерницей, были «именные» кровати: имени князя Корсакова, имени графа Орлова-Давыдова, княгини Барятинской, даже «полуплатная» имени некоего доктора Андрезона. С.И. Вышеградская стала почетным членом Общества, пожертвовав в «Яузлар» две тысячи рублей на обустройство палаты имени ее брата...

Конечно, Чехов не мог и не хотел участвовать в соревновании с честолюбивыми дарителями. По свидетельству ялтинского журналиста Первухина, писатель старательно избегал шумихи. Некоторые приезжие больные вдруг получали конверт с сотней рублей – даже не догадываясь, за кого молиться Богу...

21 апреля 1904 года в помещении городской управы состоялось общее собрание Благотворительного общества, которое насчитывало более 350 членов. Слушали отчет о работе в 1903 году. Это, очевидно, была последняя встреча Чехова с ялтинскими коллегами.

1 мая он уехал в Москву, а оттуда – в Германию. Уехал навсегда...

## ЧАСТЬ 5

### «Загадки таинственный ноготь...»

В натуре Чехова было исследовательское – даже следовательское начало. Ему давалось то, что большинству людей недоступно: способность отыскания неизвестного благодаря строгой логике, строго выверенной научной системе, усиленной писательским «прозрением». В сущности, постановка диагноза, как ее понимал и настойчиво внедрял в практику учитель Чехова, знаменитый Г.А. Захарьин, и была своеобразным медицинским следственным делом. Такие «дела» – истории болезни, или «скорбные листы», у Чехова еще в студенческие годы признавались образцовыми.

Чехов, по мнению специалистов, проявлял поразительные для своего времени познания в причинах происхождения заболеваний. Однажды во время встречи начинающего юмориста Антоши Чехонте с маститым литератором Д.В. Григоровичем у старика случился приступ грудной жабы. Чехов объяснил стенокардию как проявление «атероматозного процесса». В письме к А.С. Суворину дана образная картина этого явления: «...вообразите обыкновенную каучуковую трубку, которая от долгого употребления потеряла свою эластичность стала более твердой и ломкой. Артерии становятся такими вследствие того, что их стенки делаются с течением времени жировыми или известковыми. Достаточно хорошего напряжения, чтобы такой сосуд лопнул <...> обыкновенно и само сердце находят перерожденным <...> сидящие в нем нервные узлы болят, – отсюда грудная жаба».

Г.А. Шульцев, известный советский терапевт, отметил, что сам термин «атероматозный процесс» был применен Чеховым за 6-7 лет до того, как он вошел в широкий врачебный обиход. Столь же глубоко и верно писатель и врач Чехов разобрался в характере заболеваний актера П. Свободина, художника И. Левитана. О смерти знаменитого С. Боткина он же прозорливо утверждал, что виноваты не камни в почках, а рак... «Он видел и слышал в человеке – в его лице, голосе и походке – то, что было скрыто от других», – писал хорошо знавший Чехова А.И. Куприн.

Но самое интересное в диагнозах Чехова связано с разгадками исторических медицинских загадок. В 1890 году уже упоминавшийся издатель и публицист А.С. Суворин запросил Чехова о признаках падучей болезни. Он писал большой очерк о Лжедмитрии и интересовался, мог ли маленький царевич в припадке случайно зарезаться. Случилось так, что Антон Павлович еще в середине 80-х годов занимался этой проблемой, и, проанализировав «Розыск о смерти царевича Дмитрия», показания «мамки» и других свидетелей, однозначно определил: «Самозванец не знал падучей болезни, которая была врожденной у царевича».

«Зарезать себя мальчик мог, – отвечал он Суворину. – <...> падучая у него была на-

следственная, которая была бы у него и в старости <...> стало быть, самозванец был в самом деле самозванцем. Когда случится писать об этом, то скажите, что сию Америку открыл врач Чехов».

Не менее любопытна попытка разгадать характер заболевания евангельского персонажа Ирода Великого. Читая библейскую литературу, Чехов обратил внимание на описание страшных мучений, на которые Бог обрек иудейского царя за неслыханные злодеяния. В попытке избавиться от Христа, в котором видел претендента на трон, он повелел убить в Вифлееме 14 тысяч младенцев. Чехов, опираясь на показания отцов церкви (блаженный Феофилакт). Болезнь и смерть самого Чехова – увы – также стали своего рода загадкой для большинства медиков, да и не только их.

И.Н. Альтшуллер, перебравшийся в Ялту по совету Антона Павловича и ставший его лечащим врачом, с сожалением писал о том, что лишь в 1901 году Чехов перешел на положение настоящего пациента. Он отказывался лечиться, соблюдать режим и постоянно твердил, что лечение «внушает ему отвращение». Он скрывал свой недуг от домашних и посторонних. Он выработал даже особую манеру общения, которая «маскировала» болезнь: говорил, не повышая голоса, медленно и монотонно, чтобы не раздражать гортань; если приходилось кашлять, мокроту сплевывал в маленький, заранее приготовленный бумажный фунтик, припрятанный где-нибудь за книгами, и сразу бросал его в камин.

Когда дело касалось его болезни, мог говорить любые несообразности. С.Я. Елпатьевский, тоже врач и тоже писатель, вынужденный по примеру Чехова жить в Крыму, поражался пристрастию Чехова к Москве. Чехов уверял, что именно московский воздух «живителен» для туберкулезных легких, что октябрьская московская непогода даже полезна для некоторых больных... В такой своеобразной манере Чехов оправдывал свои постоянные воjaжи в столицу, после которых начинались плевриты, лихорадка, обострение процесса.

Г.И. Россолимо, размышляя о покойном друге и однокашнике по университету, отмечал, что туберкулезные больные неоправданно оптимистичны в прогнозах о своем будущем и даже накануне смерти считают себя здоровыми. Чехов, по его мнению, «крайне легкомысленно» отнесся к заболеванию, ставшему роковым, и, обладая способностями к анализу и самоанализу, постоянно впадал в заблуждение. За две недели до смерти Чехов писал ему из Баденвейлера: «Я уже выздоровел, осталась только одышка и сильная, вероятно неизлечимая, лень. Я похудел и отошал. За три дня до смерти Антон Павлович делился планами морского путешествия до Ялты и как бы вскользь отмечал: «У меня все дни была повышена температура, а сегодня все благополучно, чувствую себя здоровым, особенно когда не хожу...». Россолимо констатирует: Чехов абсолютно точно передает симптомы (одышка, слабость, температура) – и «совершенно неверно оценивает состояние»!

Мне кажется, профессор-невропатолог не совсем учитывал индивидуальную специфику личности Чехова. Конечно же, Чехов знал, что едет умирать. Еще в рассказе «Гусев», написанном в 1892 году, он описал смерть легочного больного, который за день до конца говорил: «... Я уже и лежать могу... Полегчало...». С трагической иронией Антон Павлович повторяет предсмертную фразу героя – говоря уже о себе: «Чувствую себя здоровым, особенно когда не хожу».

Как никто другой, Чехов ясно осознавал сложившуюся роковую ситуацию. Кровохарканье у него отмечалось с 1884 года. Спихнулся слишком поздно и, стараясь оттянуть конец, переехал в Ялту. Пытался применять «народные средства»: пил в день по 5-7 сырых яиц, как рекомендовала одна из его преданных почитательниц. К наставлениям коллег-врачей относился с иронией, видя противоречивость их советов. Альтшуллер, к примеру, велел безвылазно сидеть в Ялте – Остроумов же рекомендовал зиму проводить в Подмосковье... И никто не додумался предложить искусственный пневмоторакс, придуманный итальянцем Форланини: благодаря поддуву воздуха в полость плевры легочные каверны закрывались и зарубцовывались.

Не желая огорчать близких и друзей, Чехов сознательно пытался исполнять печаль-

ную мелодию в мажорных тонах. В Баденвейлере запрещал жене сообщать правду о его состоянии: «...он все твердит, чтобы я писала, что ему лучше». Пожалуй, лишь Иван Алексеевич Бунин художнически мудро постиг суть театрального действия, в формы которого Чехов облек драму своего умирания (стихотворение «Художник», 1908 г.). «Было поистине изумительно то мужество, с которым болел и умер Чехов», – написал позднее Бунин. А сегодняшнему врачу остается только воскликнуть: «Если бы я был рядом с Чеховым, то я бы его вылечил!»

## ЧАСТЬ 6

### «Я верую в отдельных людей...»

У Сергея Довлатова, испытавшего сильное влияние Чехова, есть замечательные строки: можно восхищаться умом Толстого, изяществом Пушкина, глубиной психологизма Достоевского, но похожим хочется быть только на Чехова...

Несомненно, некая внутренняя похожесть роднит автора «Палаты №6» с целой плеядой писателей, вышедших из врачебной среды. Среди них нельзя не назвать Михаила Булгакова, который любил Антона Павловича нежной любовью – как любят умного старшего брата. Его жизненный путь во многом напоминает чеховский: школа многописания ради грошового заработка; изысканное чувство юмора, окрашенное глубокой тоской по идеалу; как и автора «Чайки», его втянул в свою орбиту Московский Художественный театр. С булгаковскими «Днями Турбиных» в большое искусство вошло новое поколение мхатовцев – Тарасова, Хмелев, Яншин. Точно так с «Чайкой» на вершины искусства взлетели Качалов, Москвин, Книппер-Чехова... И жизни Булгакову, как Чехову, было дано совсем немного.

В июле 1925 года Булгаков ступил на порог «Белой дачи» – и остался очарован странной красотой последнего чеховского приюта. Он встретился и подружился с Марией Павловной, дарил ей свои книги, а та, в свою очередь, позволила ему перечитать подлинники чеховских писем. Один листок с автографом писателя уехал вместе с Булгаковым в Москву, где Михаил Афанасьевич частенько вспоминал уютную тишину кабинета с большим венецианским окном.

В Ялту, на берег лазурного моря, силой Воланда переносится один из его персонажей... И, что самое важное, зримые черты чеховской «Белой дачи» проглядываются в контурах «вечного приюта», дарованного мастеру на исходе его земного пути... В ином облике, с иной, но родственной судьбой, с иными именами, Мастер постоянно возвращался в Чеховский дом. В 50-х годах, вплоть до кончины Марии Чеховой, частым гостем здесь бывал знаменитый офтальмолог, академик В.П. Филатов. Он прославился новаторскими операциями по пересадке роговицы, создал в Одессе институт глазных болезней, воспитал плеяду учеников. Сохранилась фотография 1952 года, где Владимир Петрович, седобородый, в черной академической шапочке, сидит в чеховском саду в окружении Марии Павловны и Ольги Леонардовны и, раскрыв медицинский журнал, увлеченно рассказывает о науке. Он не гнушался популяризировать медицинские знания и перед широкой публикой: в зал Ялтинского театра имени Чехова, бывало, набивалось народу, как на концертах заезжих эстрадных звезд.

Человек истинно верующий, Филатов чутко воспринимал евангельскую поэзию чеховских рассказов, видел в своей работе исполнение как человеческого, так и христианского долга. Глубоко и искренне верила в Бога и сестра Антона Павловича, не случайно ее доверенным собеседником бывал и крымский епископ Лука Войно-Ясенецкий, чей вклад в гнойную хирургию признан мировой наукой. Случалось, что академик Филатов и епископ Лука наезжали вместе. Музей закрывался от посторонних глаз: в те годы религиозность не афишировалась, а то и преследовалась.

Мария Павловна вела гостей в тихий чеховский кабинет; открыв створки книжного

шкафа, доставала Новый завет, испещренный пометами Антона Павловича, который – при внешнем безразличии к церкви – глубоко знал Священное писание. В знаменитом комод, стоящем в спальне (помните – «дорогой, многоуважаемый шкаф»!) лежал принадлежавший Чехову кипарисовый крест с изображением распятия; в красной углу тускло отсвечивала серебром семейная реликвия – икона с фигурами святых, именами которых Павел и Евгения Чеховы назвали своих детей. Приобщение к этим скромным святыням превращало экскурсию в незримый духовный диалог, когда чеховское безмерное человеколюбие находило живой отклик и развитие в мыслях и делах его замечательных последователей.

Владимир Петрович трогательно заботился о старенькой Марии Павловне, консультировал ее, привозил и присылал из Одессы препараты алоэ, которые поддерживали слабый организм 90-летней «хозяйки» чеховского дома. Поэтическая атмосфера «Белой дачи» и сада вдохновляли его на творчество: он писал этюды, сочинял стихи. Одно из них записано в альбоме Марии Павловны – том же самом, где оставил автограф **Михаил Булгаков**:

«Сегодня солнечной истомой  
Моя душа полна, больна,  
Волной весеннею знакомою  
Она, как встарь, напоена.  
Пойдем тропой неуловимою  
В страну забытой красоты!  
Скользнем над бездною незримою  
На грани чувства и мечты!»

Стремление творить добро Чехов назвал образно: «доброкачественная зараза подвига». Это свойство, присущее «талантам человеческим», возрождается в каждом новом поколении.



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ВВЕДЕНИЕ</b> .....	3
Антон Павлович ЧЕХОВ.....	5
Сельские эскулапы.....	6
Хирургия.....	9
Враги.....	11
Неприятность.....	18
Палата № 6.....	28
Викентий Викентиевич ВЕРЕСАЕВ.....	57
Записки врача.....	57
Михаил Афанасьевич БУЛГАКОВ.....	118
Записки юного врача	
Полотенце с петухом.....	119
Крещение поворотом.....	126
Стальное горло.....	131
Вьюга.....	137
Тьма египетская.....	143
Пропавший глаз.....	148
Звездная сыпь.....	155
Александр Исаевич СОЛЖЕНИЦЫН.....	163
Раковый корпус.....	164
Юлий Зусманович КРЕЛИН.....	222
Семь дней в неделю.....	223

МЕДИЦИНА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  
РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Хрестоматия  
для студентов медицинских учебных заведений

Составитель –  
***АЛЬФИЯ ХАМИТОВНА САТРЕТДИНОВА***

Компьютерный набор и форматирование – авторские  
Технический редактор – Кантемирова Б. И.

Подписано к печати .....  
Гарнитура Times New Roman  
Усл. печ. листов 26,5  
Заказ №            Тираж 200 экз.

---

Издательство ГОУ ВПО  
«Астраханская государственная медицинская академия»  
414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, 121

---